

Н О В Ы Й
М И Р

10

Н О В Ы Й
М И Р

1967

10



1967



50

**ЛЕТ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ**

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, РЕДАКЦИЯ И АВТОРЫ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ВМЕСТЕ С ВАМИ, СО ВСЕМ СОВЕТСКИМ НАРОДОМ И ТРУДЯЩИМИСЯ ВСЕГО МИРА МЫ ГОРДИМСЯ ИСТОРИЧЕСКИМИ ЗАВОЕВАНИЯМИ ПЕРВОГО ПОЛУВЕКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ВЕРИМ В БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ, СТРОЯЩЕЙ КОММУНИЗМ.

ВЕРИМ, ЧТО И НАША ЛИТЕРАТУРА, ВО ВСЕХ ЕЕ ВИДАХ И ЖАНРАХ, ОПИРАЯСЬ НА СВОЙ БОГАТЫЙ ОПЫТ И ПРОЧНЫЕ СВЯЗИ С НАРОДНОЙ ЖИЗНЬЮ, СОЗДАСТ НОВЫЕ, ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВО СЛАВУ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ.

ПРИМИТЕ НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ УСПЕХОВ И РАДОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА.

Масан Трапанин
Волынский
Уланов
Тихомиров
Блюф
Тихомиров
Мухоморов
Тимофеев
И. Кренов
Обезьян
Смирнов
Лакунов
Мещеряков
Р. М. Скандер
Н. Кондратьев
Мухоморов
Забавкина
Догин
Каленников
Кайбасов
Петров
Боровский
Смирнов
Иванов
Евдокимов
А. Тер
Л. Арзамас
Смирнов
Иванов
Ю. Сергеевич
Александров
Ю. Сергеевич
И. Соловьев: Мухоморов

Н(О)ВЫИ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 10

Октябрь, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Пятьдесят неповторимых лет, стихотворение	3
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Герои гор, стихотворение. Перевел с балкарского Н. Гребнев	4
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Из цикла «На передовой», стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	6
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Рождение (1919 г.), стихотворение	9

С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

ВЕЛИКОЕ СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ — Беседа с Председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР Ю. И. ПАЛЕЦКИСОМ	11
ЭКЗАМЕН ПЕРЕД БУДУЩИМ — Беседа с заместителем председателя Госстроя СССР И. А. Ганничевым	18
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Мой Дагестан (Продолжение). Перевел с аварского Вл. Солоухин	27
А. БАРТОВ — Побег из колячковой тюрьмы. Предисловие А. Твардовского	77
АННА ЗЕГЕРС — Тот самый голубой цвет. Перевела с немецкого В. Станевич	87

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Е. ПОЛЯКОВА — Большая Москва, Медведково...	135
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ОКТАБРЬ, 1917 — Воспоминания А. А. Игнатьева, А. Г. Соловьева, Е. Е. Шарова, Б. Е. Этингофа, А. П. Спундэ	165
И. РАНЕВСКИЙ — В революционном Петрограде	199

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ТРУДЯЩИХСЯ С В. И. ЛЕНИНЫМ. Публикация И. Смирнова	224
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. ПОЛЯК — Человек и история (Страницы советского эпоса)	230
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Рошин. Главная книга.— Н. Штейн. Курако и другие герои А. Бека.— О. Михайлов. У начала советской журналистики.— С. Кармалита. «Из ре- ки по имени — «факт»...»	248
<i>Политика и наука</i>	
С. Семанов, В. Старцев. Десять шагов революции.— В. Кабанов. Крестьян- ские мемуары — Бор. Шабалин. Путь завода.— М. Константинов. Эстафета революционной борьбы.— Ф. Светов. Записки революционера.— Людмила Зак. Рыцарь интернационализма.	263
КОРОТКО О КНИГАХ — История СССР с древнейших времен до наших дней.— Голос великой революции.— Н. Е. Буренин. Памятные годы.— Николай Чуковский. Пятый день.— И. Дубинский. Контрудар.— Сер- гей Марков. Топаз.— Ф. И. Хасхачих. Вопросы теории познания диалек- тического материализма.— А. В. Фадеев. Идеиные связи и культур- ная жизнь народов дореформенной России.— Рабочий класс Афри- ки.— В. Гоффеншефер. Из истории марксистской критики Поль Лафарг и борьба за реализм.— Рядом с героями.— Н. И. Наковник. Охотники за камнями.— А. Я. Гуревич. Походы викингов.— Л. Дж. Милн, М. Милн. Чувства животных и человека.— Н. Н. Болховитинов. Ста- новление русско-американских отношений. 1775—1815.— Юрий Алян- ский. Театр в квадрате обстрела.— Времена Хокусая. Сборник япон- ской научной фантастики	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

ПЯТЬДЕСЯТ НЕПОВТОРИМЫХ ЛЕТ

Смольный, полный штормового гула,—
Принимают ленинский декрет...
Полстолетья с той поры минуло,
Пятьдесят неповторимых лет.

С тех декретов о земле и мире
Новая эпоха началась.
Будто наши плечи стали шире,
Будто взяли мы над веком власть,

Будто ветер смел бывшего пепел.
Воздухом восстания дыша,
В эту ночь победы, сбросив цепи,
Выпрямилась гордая душа.

Мы в борьбе мужали год от года,
Делались мудрее и сильнее.
Вечно будет жить в душе народа
Эпос этих богатырских дней.

...Солнце бьет в глаза на перевале
Лучевым, неистовым дождем.
В Завтра, в неизведанные дали,
Мы под тем же знаменем идем.



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ГЕРОИ ГОР

С балкарского

В том крае, где свободными бывали
Лишь выси гор всему наперекор,
Вы с материнским молоком впитали
Мечту о вольности, герои гор.

Как много в вашей жизни было боли,
Как горек был ваш хлеб и солон пот,
И только песню и мечту о воле
Не в силах был сковать извечный гнет.

Зов Октября донесся к вам из дали,
Он смёл незыблемое искони.
И в детских ваших взглядах заблистали
Его знамена и его огни.

Зов Октября расправил ваши крылья,
Путь озарил и веру вам принес,
И вы в огонь ушли, как уходили
На пахоту, на жатву, на покос.

И хоть давно сраженье отгремело,
Я вижу и теперь те времена —
Папахи ваши черны, бурки белы,
И ваша кровь на них красным-красна.

Вы спали в промежутках меж боями,
Валясь, как дерева, на твердый склон,
Вам снилась Справедливость, и крылами
Она шуршала, легкая, как сон.

Погибшие в те дни
или позднее —
В иные, беспокойные года,
Вы умирали, верные идее,
В которую поверили тогда.

И трудный час свой вы встречали смело,
Не пряча взгляда, не сутуля плеч,

Когда в личине праведного дела
Несправедливость обнажала меч.

Вы — не из тех героев, что бывают
Отважны только на пиру хмельном,
Вы — храбрецы из тех, что умирают
За дело легче, чем трубят о нем.

Истлели шапки ваши и шинели,
Горевшие и мокшие не раз,
Но ваш пример и дело не истлели,
Они поныне окрыляют нас.

Мы с вами связаны одной судьбою,
И слышу я наперекор годам,
Как сам Ильич вам машет перед боем
И говорит: «Я, горцы, верю вам!»

Перевел Н. Гребнев.



АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

ИЗ ЦИКЛА «НА ПЕРЕДОВОЙ»

С белорусского

СЕДЬМОГО НОЯБРЯ 1966

Впервые в жизни памятную дату
Отпраздновать не смог —
Я в белую больничную палату
Упрятан, как в острог.

К постели я прикован, словно к нарам,
На волю путь закрыт.
Болезнь моя недремлющим жандармом
У выхода стоит.

Безвольно тело слабое... Но душу
Не сломит груз утрат.
Она — всех лет минувших и грядущих
Бессменный демонстрант.

Что для души небытия овраги
Иль неподвижный быт!
Она за вами, праздничные стяги,
Стремительно летит.

Она — порыв той бури над Невоею
В негаснущем году.
На воле — вы, я тут — в своей неволе
Со смертью бой веду.

НА ПЕРЕДОВОЙ

Я после хвори долгой, как на фронте,
Спешу потери наверстать с лихвой
Не в медсанбате, не в трсфейной роте,
А пехотинцем на передовой.

Здесь день, как век, а ночь, как расставанье,
Здесь, кроме штурмов, нет особых дат.
И ты, придя с опасного задания,
Вернулся, как из вечности, солдат.

Меня разят огнем и лютой стужей,
Меня взрывной волною обдают
И снайперским прицелом криводушья
На мушку сердце сызнава берут.

А я иного счастья не желаю:
В колючке ржавой прорубить проход
И, всем друзьям дорогу открывая,
Безмолвно лечь на вражий пулемет.

Я ТРИЖДЫ ПОБЕЖДАЛ СУДЬБУ

Я трижды побеждал судьбу,
Я трижды, вытянувши руки,
Лежал в постели, как в гробу.
Я знаю, что такое муки.

Чуть слышный сердца перестук...
Болезнь крестами отмечала
Все сбои ритма — вехи мук,
Она почти погостом стала.

Я умирал и воскресал,
Очнувшись, молча ставил точку,
И смерти под ноги бросал
За костью кость — за ночью ночку.

Потом, зимы осилив тьму,
Я встал, весны услышал звуки.
Они всегда слышней тому,
Кто знает, что такое муки.

Не горько и в гробу лежать,
Когда иссякли силы в теле,
А горько, если мир опять
Застонет в смертной той постели.

Вкруг солнца снова я лечу
В сплошном вращении событий.
Я самого себя хочу
Продолжить на земной орбите.

Еще один, другой виток...
Кружись по правилам науки,
Земля — любви моей исток!
Я знаю, что такое муки.

Рожденный заново на свет,
Я, палкой, непривычно робок,
Нашупывая нити тропок.
Пишу тревожный свой завет.

Пишу: «Не для того, поверьте,
Я встал, чтоб тлением дышать,
А для того, чтобы опять
Следить за происками смерти».

Пишу — свидетель многих бед,
Сиротских слез, войны, разлуки,—
Да будет счастлив белый свет!
Я знаю, что такое муки.

:

С юных лет я — узник, верный долгу,
И земля зарок с меня взяла:
Сам себя я приковал надолго
К тишине рабочего стола.

Нет, я легкой не искал дороги,
Шел сквозь пламя, не страшился стуж.
Сердце, как набат, полно тревоги —
Под прицелом миллионы душ.

Если я паду в зловещем гуле,
Как боец, сраженный в битве той
Раннею болезнью или пулей,
Если стол осиротеет мой —

Стоит ли жалеть, что так случилось?
Я бы неотступный свой зарок
Снова дал, когда бы повторилось
Всё — от первых до последних строк.

Перевел Яков Хелемский.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

РОЖДЕНЬЕ

(1919 г.)

К концу подходило крещенье
Горластых российских ребят,
И древние гасли реченья,
И гаснул старинный обряд.

Ударили в окна шрапнели,
А пуля икону прожгла,
И женщина в жесткой шинели
В уездную церковь вошла.

Смеркалось в приделах священных,
Но вспыхнул окладов металл,
Ребенка смущенный священник
Безропотно ей передал.

Тяжелые, властные руки
Легко подхватили меня
Во имя всеобщей поруки,
Во имя всеобщего дня.

Чуть двинула в ласке губами,
Услышав над крышей разрыв,
Свое огневое дыханье
С ребячьим дыханием слив.

Закинулась мать. Закричала:
— Ведь я же его родила!..
С концами смешались начала,
Свершились большие дела.

Упали уездные стены,
Ни тещ от них, ни угла..
По страшным просторам Вселенной,
Спеша, Революция шла.

А в глубь бездонной России,
В глубины всемирной любви
Ее провожали пустые,
Святые глазенки мои.

Держа рукоятку нагана,
Как ангел, в грозе и грязи,
Куда она вдаль прошагала
По нашей жестокой Руси?

А может, она и жесточе,
А может, и мягче ее?
Все дóльше ей путь... Все короче
Короткое время мое.

И я, на путях ее крестных
Не зная иного креста,
Влюблен, долгопамятный крестник,
В ее огневые уста.

На свежих путях поколений,
Обдумав житье и бытье,
Шепчу: — Революция, Ленин,
Россия —
Крещение мое!



С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

ВЕЛИКОЕ СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ

*Беседа с Председателем Совета Национальностей
Верховного Совета СССР Ю. И. ПАЛЕЦКИСОМ*

Эпиграфом к моему рассказу могут быть эти несколько строк из Тезисов ЦК КПСС к пятидесятилетию Великой Октябрьской революции — в них предельно сжато, лаконично сформулированы главные итоги нашего славного пятидесятилетия в разрешении самого сложного, нигде, кроме СССР, не решенного вопроса — национального: *«Октябрьская революция, строительство социализма разбудили и подняли к самостоятельному историческому творчеству отсталые в прошлом народы, а некоторые из них были спасены от физического вымирания. В ходе строительства социализма они обрели собственную государственность, ликвидировали свою экономическую и культурную отсталость, приобщились к высшим, социалистическим формам хозяйства и культуры».*

«СССР — многонациональное государство», — привычно говорим мы. И далеко не всегда задумываемся над тем, что стоит за этими словами. А ведь наша страна — родина, или, как говорят демографы, основное место обитания, более чем ста тридцати наций и народностей. О ней можно с полным правом сказать, что это самое многонациональное государство на всей нашей планете. Даже в таких разноплеменных странах, как Индия, или Индонезия, или Китай, национальных групп немногим более пятидесяти.

В СССР рядом со стодвадцатимиллионным русским народом и сорокамиллионным украинским живут еще двадцать народов, превышающих по численности миллион человек. В то же время в нашей стране есть десятки народностей гораздо менее многочисленных. А есть и такие, численность которых не достигает и тысячи. Это орочи, нгансаны, тофалары, алеуты, юкагиры.

Пятьдесят три национальных государственных образования существуют в Советском Союзе: союзные и автономные республики, автономные области и национальные округа. Их представители и составляют Совет Национальностей нашего верховного органа власти.

В дни сессий Верховного Совета СССР в Большом Кремлевском дворце собираются разные по оттенкам кожи, по одежде и языку, но равные в своих правах сыны и дочери всех народов нашей страны. Глядя на них, я всегда испытываю чувство радостного волнения и гордости. Ведь и сам я — сын «малого» литовского народа.

Сто тридцать больших и малых народов! В условиях любого дружного общественного строя этот факт сам по себе был бы одной из главных социальных проблем. Различия в экономическом развитии и расо-

вые предрассудки, великодержавный шовинизм, национализм угнетаемых меньшинств, территориальные притязания и восходящие к далекой старине межнациональные распри — все эти беды знакомы сегодня многим странам, где нет и десятка народов. Впрочем, за примером не обязательно обращаться к географии. Обратимся к истории. Еще совсем недавно, в начале XX века, на нашей же земле существовал, так сказать, полный спектр этих проблем, объединенных лаконичным термином — национальный вопрос.

«Тюрьмой народов» слыла царская Россия. Нищета, невежество, болезни, суровая природа и равнодушие государственных институтов Российской империи стояли неодолимой преградой на пути развития большинства народов, особенно окраинных. Не украинец, а малорос или хохол; не узбек, а сарт; не ненец, а самоед; не саами, а лопарь; и все они, вместе взятые, — «инородцы». Таковы были презрительные прозвища для людей нерусской национальности, употреблявшиеся официальными учреждениями, записывавшиеся в паспорта.

Великий Октябрь навсегда покончил с этой вековой несправедливостью и предоставил всем народам России равные возможности. Еще задолго до революции Ленин и партия большевиков выставили марксистское требование полного равноправия всех народов. Каждая нация должна иметь возможность самостоятельно решать свою судьбу, у каждого народа должен быть выбор — остаться ли ему в рамках данного государства или отделиться и образовать новое государство.

Но утверждая право наций на выход из федерации, большевики отнюдь не считали этот шаг обязательным и полезным во всех случаях. «Отделения мы вовсе не проповедуем, — говорил В. И. Ленин. — В общем мы против отделения. Но мы стоим за *право* на отделение ввиду черносотенного великорусского национализма, который так испоганил дело национального сожительства, что иногда *больше* связи получится *после* свободного отделения!!»

Партия сдержала свое слово. Одним из первых документов, принятых после Октября, была «Декларация прав народов России», утвердившая в законодательном порядке равенство и суверенность народов России; право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих Россию.

И как итог первых лет власти Советов — 30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, основанный в соответствии с ленинскими идеями на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии.

Но, как известно, народы бывшей царской России пришли к 1917 году с разным уровнем развития экономики, науки, культуры. Поэтому ликвидация политического неравенства и предоставление всем народам одинаковых прав и возможностей были голько первым этапом национальной революции. Молодое государство взялось за грандиозную задачу — в короткий срок преодолеть вековую экономическую и культурную отсталость народов Средней Азии, Крайнего Севера, Закавказья и других районов страны.

Важно хорошо понимать, что до этого ни одно многоязычное общество даже не ставило перед собой такой цели.

И хотя народное хозяйство было разрушено гражданской войной и интервенцией, и хотя в Наркомате финансов счет шел буквально на рубли, уже в первые годы советской власти по инициативе Ленина

Грузия, Туркестан и Бухара начали строительство ряда промышленных предприятий. Эти предприятия стали основой будущей социалистической индустрии в национальных республиках.

С первых дней революции большую и благородную помощь оказал своим братьям русский народ. Промышленные районы РСФСР стали базой для индустриализации союзных республик. Из Москвы, Ленинграда, Иваново-Вознесенска целые предприятия переселялись в Азербайджан, Узбекистан и другие районы страны. Успешно готовили национальные кадры рабочих и инженеров тысячи русских специалистов, в высших и средних учебных заведениях России представители братских республик встречались с особым вниманием и заботой.

Уже первые пятилетки совершенно изменили облик национальной экономики. За эти годы в союзных республиках была создана мощная современная индустрия, высокомеханизованное сельское хозяйство, развернулась культурная революция. К 1940 году уровни экономического развития различных народов СССР существенно выровнялись.

Здесь мне хотелось бы напомнить об одном периоде советской истории, лично мне очень хорошо знакомом. Я имею в виду то время, когда объединенным силам внутренней контрреволюции и империалистов Запада удалось в 1919 году сломить молодую советскую власть в Прибалтике. До 1940 года Литвой, Латвией, Эстонией заправляли буржуазные националисты. Было бы полезно сравнить жизнь этих стран в 1919—1940 годах с тем, что делалось в то же самое время, скажем, в Белоруссии или Узбекистане.

Для всей Прибалтики прежде всего было характерно торможение ряда отраслей тяжелой промышленности. В Латвии закрылся крупнейший завод «Проводник». Не работал и Балтийский вагоностроительный. В его пустовавших корпусах устраивались различные выставки. Прозябала эстонская промышленность. На таллинских заводах, превращая в металлолом, демонтировали исправные машины. Не лучше обстояли дела и на моей родине, в Литве. Здесь развивались пищевые отрасли промышленности, но хирели металлообрабатывающая и кожевенная. В городах не прекращалась безработица. Министр земледелия в одном из своих выступлений заявил, что в литовской деревне триста тысяч лишних пар рук. В 1926 году на званом обеде в честь представителя Лиги наций маркиза де Рогана бывший премьер-министр литовского правительства Леонас Бистрас сказал, что выход из этого положения может быть лишь один — ежегодная эмиграция тридцати тысяч литовцев.

На практике так оно и получалось — в один год несколько меньше, в другой несколько больше. Литовцы уезжали в Бразилию, Аргентину, Канаду, США. Географ Пакштас всерьез предлагал основать где-нибудь в Анголе или в Гвиане «вторую Литву».

В начале тридцатых годов в тогдашней столице Литвы Каунасе началось интенсивное жилищное строительство. Находилось оно, естественно, в частных руках, поэтому цены за квартиры были чуть ли не самыми высокими в Европе. Я хорошо знаю это, так как одно время возглавлял Союз квартирантчиков — прогрессивную организацию, созданную по инициативе коммунистов для легальной работы среди трудящихся. В те годы мне не раз приходилось бывать и в новых квартирах, пустовавших из-за дороговизны, и в «Бразилке», получившей свое название от трюфоб под Рио-де-Жанейро, и воочию наблюдать эти острые социальные контрасты.

Еще хуже обстояло дело в Литве с просвещением и культурой. Четырехлетнее образование лишь провозглашалось, но не имело доста-

точной материальной базы даже в городах. Я уж не говорю о деревне — одна-две зимы учения были печальной нормой для крестьянских детишек. (Кстати, об этом рассказано в романе литовского писателя Юозаса Балтушиса «Проданные годы».) Остро не хватало учителей. Во всех школах их насчитывалось не больше семи тысяч (сейчас в республике сорок тысяч учителей). На всю Литву имелась лишь одна, да и то частная, вечерняя школа. Однако основным пороком этой системы «просвещения» было, пожалуй, другое — его реакционное, шовинистическое и религиозное содержание. Главной фигурой в школе считался ксендз.

И в это-то время реакционные газеты кричали, что в Литве избыток образованных людей, что в стране перепроизводство интеллигенции. Сейчас республика выпускает восемьсот инженеров каждый год (за двадцать лет — с 1919 по 1940 год — их подготовили всего триста), и никто не жалуется на избыток интеллигенции.

Примерно то же происходило в литературе и искусстве. Издательское дело находилось в частных руках, книги издавались малыми тиражами. Антанас Венцлова свою первую книгу смог выпустить лишь благодаря обеспеченному чиновнику, приютившему его и издавшему рукопись за свой счет. Крупнейший литовский писатель Донелайтис, основоположник литовской литературы, по существу не был известен широкому читателю. И только после 1940 года появились серьезные издания его произведений.

Уже из этих немногих фактов четко выявляется антинародная сущность режима, установленного в Литве, да и в других прибалтийских государствах. В то время, когда в советских социалистических республиках, семимильными шагами продвигавшихся вперед, бурно развивалась экономика и культура, Латвия, Эстония и Литва оставались задворками Западной Европы.

Большие и малые народы Советского Союза не на словах, а на деле постигли благотворность социалистического содружества наций. То, что в многонациональных несоциалистических государствах обычно считается причиной их слабости, в условиях социализма стало силой.

Когда в 1941 году армия Гитлера напала на СССР, многие западные специалисты по «русскому вопросу», предсказывая нашей стране неминуемое поражение, называли одной из главных причин уязвимости, неустойчивости Советского Союза его многонациональность.

В чем была их ошибка?

Ответить на этот вопрос нам, коммунистам, нетрудно. Ведь Гитлер и его клика рассматривали Советский Союз как искусственное объединение разных наций, которое держится на силе государственной власти. Они проводили совершенно неоправданную параллель СССР с печально известной Австро-Венгерской монархией. Поэтому мнение, что народы Советского Союза ослабят свою связь после первых же ударов войны, было в ту пору ходячим во многих странах.

Теоретики прошлого, да и многие нынешние «советологи» или даже «кремленологи» искусственно отрывают национальное от социально-политической атмосферы. Они просто не хотят ни увидеть, ни понять того, что, построенное на единстве социальных интересов, Советское государство с первых же часов существования не только объявило законом своей жизни, но и всеми реальными мерами и способами укрепляло сплоченность и братство, классовую солидарность всех больших и малых народов, вошедших в его состав.

Именно поэтому, когда на нашу страну обрушилось тяжкое испытание войны, советские люди стали грудью на защиту революционных завоеваний Октября, на защиту своей социалистической родины.

Для советских людей, уже четверть века строивших новое общество, Великая Отечественная война была классовой войной всех социалистических наций против самого страшного порождения мирового империализма — бесчеловечного фашизма. Все без исключения народы Советского Союза с ясным пониманием своего долга и с горячим желанием отстоять свое социалистическое государство сражались и победили в этой губительной и разрушительной войне.

«Если кто-нибудь стал бы искать ответ на вопрос, разрешили ли русские национальную проблему,— писал американский социолог Франклин Фрейзер,— то он должен был бы отметить, что во время второй мировой войны различные народы и нации были верны Советскому Союзу и с энтузиазмом сражались в его защиту».

Ныне ни один честный политик или историк не станет сомневаться в прочности, благотворности и силе социалистического содружества наций Советского Союза. Плоды его столь очевидны, что не требуют особых доказательств. Взять хотя бы экономическое строительство советских наций за пятьдесят лет. Нельзя забывать, что история отвела Советскому государству для созидательной работы не все прожитые им полвека. Двадцать лет отняли навязанные нам войны и послевоенное восстановление разрушенного народного хозяйства. Но и за три мирных десятилетия свободный труд свободного народа принес замечательные результаты. Причем результаты надежные, принципиально отличные от «чудес» экономического бума — явления, столь свойственного западной экономике: создан прочный фундамент, позволяющий уверенно говорить о еще более значительных перспективах.

Как мы развиваемся? Взгляните сегодня на среднеазиатские республики, наиболее отсталые территории царской России. Я уже говорил о том, что к 1940 году этот экономический район встал по уровню развития почти рядом с РСФСР, Украиной, а по темпам развития значительно превзошел их. В наши же дни по сравнению с 1940 годом продукция промышленности в Узбекистане увеличилась почти в семь раз, в Таджикистане более чем в семь раз, в Туркмении примерно в пять раз, в Киргизии почти в двенадцать раз. До революции народы развитых стран о Киргизии не имели и понятия. Сейчас Киргизия поставляет свою продукцию более чем в пятьдесят стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Нищей, голодной окраиной Российской империи была Белоруссия. Ныне это республика развитой промышленности, растущего сельского хозяйства, процветающей культуры. Любопытный факт: сейчас предприятия Белоруссии за шесть дней дают столько же продукции, сколько до революции здесь производилось за год.

На третье место, после РСФСР и Украины, по производству промышленной продукции вышел Советский Казахстан. Бурно развиваются республики Закавказья — Азербайджан, Армения и Грузия. От века аграрная Молдавия гордится крупными индустриальными комплексами, созданными здесь за годы советской власти.

Больших успехов достигла Украина. По производству чугуна, стали, проката, добыче железной и марганцевой руды, газа, производству сахара и зерна она занимает ныне первое место в Европе. К концу пятилетки республика будет давать промышленной продукции больше, чем ее производила вся промышленность СССР в 1940 году.

Совершенно изменился за полвека облик Российской Федерации. На ее территории появились десятки крупных промышленных центров, сотни индустриальных гигантов, освоены новые громадные территории Сибири. Создан мощный фундамент социалистической экономики — стартовая площадка для ускоренного движения вперед. Интересно, что за

годы пятилетки объем валового производства в республике увеличится в полтора раза!

Так обстоит с экономикой. Но ведь с первых же дней советской власти одновременно и параллельно с экономическим строительством происходила культурная революция.

В чем существо нашей культурной революции?

Позволю себе напомнить, что многие народы Советского Союза до начала социалистического строительства не имели своей письменности и почти не имели собственной интеллигенции. В 1906 году журнал «Вестник воспитания» опубликовал статью одного отнюдь не реакционного социолога, который вполне серьезно утверждал, что для ликвидации неграмотности среди населения Средней Азии понадобится 4600 лет. Это заявление не было случайным. Оно в большой мере отражало общественное мнение того времени.

Не за сорок шесть столетий, а всего лишь за полстолетия советская Киргизия стала краем, где каждый десятый человек, занятый в народном хозяйстве, имеет высшее или среднее специальное образование. В десятках научно-исследовательских институтов республики трудятся свыше тысячи докторов и кандидатов наук. Каждый третий киргиз старше семи лет учится в школе, техникуме или институте. А лучшими произведениями киргизской литературы восхищаются читатели всей Советской страны. Назову хотя бы Чингиза Айтматова, почитателем большого таланта которого являюсь я сам.

Собственно, это уже ответ на поставленный мною вопрос. Но я должен особо отметить еще одну сторону культурной революции в СССР. Наша интеллигенция, вышедшая из народа, кровно связана с ним и служит только ему, тогда как в странах капитализма она в первую очередь служит власти и богатство имущим.

Однако вернемся к родной мне Литве. В 1940 году здесь было около шести тысяч студентов, а ныне в республике их свыше пятидесяти тысяч. Сто шестьдесят восемь студентов на каждые десять тысяч населения. Это в несколько раз больше, чем, скажем, в Западной Германии.

Интеллектуальная насыщенность — характерная черта любой области жизни республики. Это отмечают даже наши идейные противники.

До 1940 года Литве, в сущности, нечего было показать за границей. На Международной выставке «Экспо-67» в Монреале рядом со знаменитыми литовскими витражами республика демонстрировала сложные станки, телевизоры, современные вычислительные машины. Газета литовских коммунистов, живущих в Америке, с восхищением писала, что о такой продукции Литва раньше не могла и мечтать. И даже Кардалис, редактор «Независимой Литвы», типичного белоэмигрантского издания, вынужден был сквозь зубы признать колоссальные успехи «томящегося под игом большевиков» литовского народа.

В эмигрантских кругах нередко говорят и пишут о «русификации» прибалтийских народов. Но только человек, не желающий видеть, может отрицать тот факт, что никогда еще в истории Литвы национальная культура не прогрессировала так бурно и плодотворно.

Разумеется, литовцы лучше, чем прежде, знают сейчас Пушкина и Толстого, так же как русским стали ближе и дороже Донелайтис и Чурленис. Современный литовский поэт Межелайтис известен и любим многими народами Советского Союза. Его творчество получило высокую оценку — поэт отмечен Ленинской премией. Широко известен и поэт Юстинас Марцинкявичюс. Рисунки литовского художника Стасиса Красаускаса уже несколько лет подряд открывают каждый номер журнала «Юность», а фильм Жалакявичюса стал событием советской кинематографии. В этом-то и есть главная черта и достоинство нашей

культурной революции, что последовательное развитие всех прогрессивных национальных традиций идет рядом с взаимообогащением, интернационализацией социалистических культур.

У каждого из нас на памяти Дни союзных республик, прошедшие в Москве накануне октября юбилея. Певцы и музыканты, актеры и художники, профессиональные литераторы и участники самодеятельности несколько месяцев выступали с творческим отчетом перед зрителями столицы СССР. И никому не казалось сверхъестественным, чем-то диковинным высокое профессиональное мастерство узбекских, казахских, туркменских, азербайджанских, литовских певцов и танцовщиц, с равным успехом исполнявших как самобытные вокальные и хореографические творения своего народа, так и произведения русской и мировой классики. И никого не удивляло, что им предоставлялись лучшие московские сцены, что их выступления широко транслировались по радио и телевидению. Иначе и быть не может, ибо каждое творческое достижение любого советского народа становится фактом нашей общей культуры.

В заключение я хочу напомнить то, что отмечал XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза: СССР основан на братстве, дружбе и сотрудничестве всех народов страны, на общности социально-экономического строя, политической системы, единой социалистической идеологии. Экономические и культурные связи народов СССР становятся все более тесными и многообразными. Идет великий процесс сближения народов, укрепления их дружбы и братства, единства и сплоченности.

Полувековой практический опыт первого в мире социалистического многонационального государства вдохновляет все мировое коммунистическое и рабочее движение на дальнейшую борьбу за мир, за труд, за равенство и братство всех народов, населяющих нашу планету.

Беседу записал Г. Устинов.



ЭКЗАМЕН ПЕРЕД БУДУЩИМ

Беседа с заместителем председателя Госстроя СССР

И. А. ГАНИЧЕВЫМ

Все новое, что рождается в нашей стране, начинается со стройки — дороги, линии электропередач, заводские корпуса, города. Повсюду одно начало. Его приносит с собой строитель, и там, где пройдет он, преобразуется земля, закипает жизнь.

Люди, впервые побывавшие в СССР, поражаются огромному размаху нашего строительства. И в самом деле: в городах ли, в таежной ли глухомани, в знойной ли пустыне — строительство идет везде. Это отличительная особенность Страны Советов, подчеркивающая созидательную, мирную устремленность ее целей.

Строительство играло и играет выдающуюся роль в решении наиболее важных хозяйственно-политических и социальных проблем — индустриализации страны, обеспечении ее обороноспособности и экономической независимости, повышении жизненного уровня населения. Наши строители велением самой жизни поставлены на передний край борьбы за создание материально-технической базы коммунизма.

Но, как всегда, на долю идущих впереди трудности выпадают особенные. Преодолевать их нелегко. Есть, конечно, и в работе нашей еще серьезные недостатки.

Но давайте взглянем с вершин пятидесятилетия — с чего мы начинали? Посмотрим, как велось строительство прежде и к чему мы пришли сегодня. Ведь на наших глазах родилось то, что называется индустриальным строительством, и то, что называется строительной индустрией.

Почти полное отсутствие механизмов, полукустарное производство строительных материалов, сезонность работы, жестокая эксплуатация рабочих — вот каким было строительное производство в дореволюционной России. Повышать технический уровень строительства было практически незачем: ресурсы дешевой рабочей силы — крестьяне, занимавшиеся отхожим промыслом, — были неисчерпаемы, объемы работ невелики. «Коза», носилки, тачки, грабарки, бойки для перемешивания вручную бетонных смесей и раствора — вот строительная «техника» тех времен.

Общеизвестно, какое тяжелое наследие досталось молодому Советскому государству: народ голодал, кругом царил разруха. «Россия во мгле», ей не подняться на ноги — такой представлялась тогда наша страна Герберту Уэлсу. Но он не учел одного и притом главного — могучей созидательной силы масс, которые, по словам В. И. Ленина, сами взяли за строительство новой, социалистической России. Строительство социализма непременно означает строительство в прямом смысле слова: сооружение городов, промышленных комплексов, электростанций...

И сегодня, подводя итоги пятидесятилетнего пути нашего государства, мы с законной гордостью можем сказать: это были годы великой стройки!

Нам, строителям, особенно дорого то, что в становлении строительного производства непосредственное участие принимал В. И. Ленин. Напомню: в декабре 1917 года ленинским декретом был создан Высший Совет Народного Хозяйства, а в его составе — подотдел общепользованных государственных сооружений.

Первым значительным организационным шагом, которым Советское государство брало на себя руководство строительством, явился декрет 1918 года о создании Комитета по строительству государственных сооружений (Комгосоор). Он объединил все строительство в Советской республике.

Огромные трудности испытывало Советское государство в первые годы своей жизни. Но строительство велось не только в городе, но и в деревне — началось сооружение небольших сельских электростанций, которое имело большое политическое значение.

А потом был план ГОЭЛРО — план социалистического преобразования народного хозяйства страны на базе электрификации.

Электрификация — это наращивание промышленного потенциала страны, и это означает прежде всего грандиозный размах строительства.

Именно в те годы намечалось сооружение крупнейших металлургических заводов, железнодорожных магистралей, водных каналов. Сооружалась Волховская ГЭС — школа, в которой учились будущие строители Днепрогэса. Кстати, строительство ее велось на высоком для того времени техническом уровне.

СССР на стройке — вот символ того времени. За двенадцать с половиной лет предвоенных пятилеток было сооружено и введено в действие девять тысяч новых крупных предприятий. Вошли в строй гиганты нашей индустрии — Магнитогорский, Кузнецкий металлургические комбинаты, Балхашский медеплавильный комбинат, Волховский, Уральский, Днепровский алюминиевые заводы, Челябинский завод ферросплавов, Березниковский азототуковый завод, Соликамский калийный и Актюбинский химический заводы, Московский, Уфимский, Ишимбаевский нефтеперерабатывающие заводы, Харьковский, Волгоградский и Челябинский тракторные заводы, автозаводы в Москве и Горьком, каналы Беломорско-Балтийский, Москва—Волга, Ферганский. Каждое название — страница нашей истории.

И еще: в 1935 году построена и пущена в эксплуатацию первая очередь московского метро. Дала промышленный ток крупнейшая в Европе гидроэлектростанция Днепрогэс. Сотни новых городов и поселков городского типа появились на картах страны: Магнитогорск, Новокузнецк, Караганда, Игарка, Комсомольск-на-Амуре — это тоже важная страница нашей истории. 104 миллиона квадратных метров площади жилых домов построено в годы предвоенных пятилеток. Сооружено: школ на 11 миллионов мест, детских садов и яслей на 458 тысяч мест, больниц, поликлиник, санаториев и домов отдыха на 378 тысяч коек...

Обратите внимание, как тесно связано строительство со всеми другими отраслями хозяйства, как мобильно решает оно насущные задачи времени. В самом деле, без участия строительства нельзя решить ни одной проблемы. Индустриализация, просвещение, здравоохранение — все это так или иначе замыкается на строительстве.

Расширяясь, строительство менялось и качественно. Немалую роль в этом сыграла наука. Первенцы строительной науки — Государственный институт сооружений (образован в 1927 году), Гипрооргстрой (создан в 1931 году) сделали многое для технического прогресса. В 1936—

1937 годах, например, в жилищном строительстве стали применяться разработанные Гипрооргстроем поточно-скоростные методы ведения работ. Эти методы вели к наиболее полному совмещению во времени различных строительных операций, равномерной загрузке рабочих. Все это позволило достичь высоких темпов строительства.

А в тяжкую военную пору, когда надо было срочнейшим образом перебазировать на восток нашу индустрию, только за 1942—1944 годы в восточных районах страны было построено 2250 (!) крупных промышленных предприятий. Разве не заслуживают самых теплых слов благодарности и признательности за их трудовой подвиг наши строители!

И потом, когда началось восстановление разрушенных фашистскими захватчиками городов и заводов, на долю строителей вновь выпала главная работа. Вот цифры: требовалось вернуть к жизни 5900 промышленных предприятий, в том числе 45 доменных и 165 мартеновских печей, 15 конвертеров, 90 электропечей, 104 прокатных стана, 63 коксовых батареи, 60 угольных шахт... Надо было поднять из руин ряд городов — надо было построить их заново.

Накопленный за многие годы опыт, энергия, творческая мысль, самоотверженный труд — вот что помогло нам добиться успеха в трудном деле восстановления народного хозяйства. В процессе этих работ приходилось отходить от установившихся шаблонов, решать совершенно новые, сложнейшие технические задачи! К примеру, обрушенные конструкции и даже целые сооружения без их демонтажа устанавливались в проектное положение при помощи специально создаваемых подъемных механизмов. Для каменной кладки использовались крупные блоки разрушенных стен. А все это, взятое вместе, дало возможность значительно снизить трудоемкость строительства, сократить сроки, уменьшить стоимость и потребность в материальных ресурсах.

Всего за послевоенные годы (с 1946 по 1958 год) были построены и введены в действие (вместе с восстановленными) 12 090 промышленных предприятий. И более 400 миллионов квадратных метров жилья.

Вот какими темпами шло, например, строительство энергетики.

К концу войны суммарная мощность электростанций значительно превысила довоенную. А к 1958 году ежегодный ввод мощностей электростанций достиг более пяти миллионов киловатт. В 1954 году была пущена первая в мире атомная электростанция. За последнее десятилетие сооружены крупнейшие гидроэлектростанции мира: Братская, Волжская имени XXII съезда КПСС, Волжская имени В. И. Ленина общей мощностью около девяти миллионов киловатт. Энергетическое строительство сейчас высокоиндустриализировано, а созданные в последнее время мощные производственные базы для него полностью обеспечивают стройки конструкциями и деталями.

Неотъемлемая часть каждого электроэнергетического объекта — линии электропередач. Сейчас сооружением этих линий занимаются специальные механизированные колонны, работающие поточным методом. Это в значительной степени повышает производительность труда и сокращает сроки строительства.

Тяжело пострадал во время войны транспорт. Были выведены из строя 26 и частично повреждены 8 магистральных железных дорог и большое количество транспортных сооружений. Здесь перед строителями тоже стояла нелегкая задача — восстановить разрушенные, проложить новые километры железных дорог, шоссе, сооружать новые мосты. С этой задачей они справились.

Строительство железных дорог превратилось сейчас в высокомеханизированную индустриальную отрасль. Решается проблема внедрения бес-

стыкового пути на железобетонных шпалах, опоры контактной сети изготавливаются теперь из железобетона с предварительно напряженной арматурой. Это опять-таки экономия металла и удешевление строительства...

Лучше и больше стали у нас строить автомобильных дорог. Разработаны и успешно внедряются новые виды покрытия дорог — струнотонное, отличающееся высокими эксплуатационными качествами и долговечностью. Стоимость таких покрытий на 25 процентов ниже стоимости покрытий из обычного бетона, армированного металлической сеткой.

Многое сделано в мостостроении. Только за семь лет (1959—1965) было построено более 700 больших и внеклассных мостов. Применение предварительно напряженного железобетона позволило сэкономить металл. Выдающиеся достижения последних лет — разработка и внедрение фундаментов глубокого заложения из сборных железобетонных свай-оболочек большого диаметра. За семилетие на таких сваях сооружено двести мостов.

По существу совершенно новым для нас делом было строительство нефте- и газопроводов. До 1917 года в России было всего четыре магистральных нефтепровода общей протяженностью 1,1 тысячи километров. К концу 1966 года общая протяженность нефте- и газопроводов в нашей стране достигла 76,9 тысячи километров.

В последнее время у нас ежегодно выполняется более четырех миллиардов кубических метров земляных работ, укладывается свыше 60 миллионов кубометров бетона, монтируется до 130 миллионов железобетонных, бетонных и металлических конструкций. Ясно, что выполнение такого грандиозного объема работ возможно только при помощи современных строительных машин, механизмов и приспособлений. Мы уже располагаем довольно внушительным парком — в прошлом году на стройках работало около 75 тысяч экскаваторов, 22 тысячи скреперов, 74 тысячи бульдозеров, более 90 тысяч передвижных кранов. И все же пока самая главная проблема в этой отрасли строительства — всемерная механизация работ и в первую очередь комплексная механизация трудоемких, тяжелых процессов.

* * *

Любая стройка начинается с проекта. И чем больший размах приобретает в нашей стране строительство промышленных предприятий, тем очевиднее становится необходимость поставить проектное дело на уровень, более отвечающий современным требованиям.

В одном только прошлом году Главное управление государственной экспертизы рассмотрело 852 комплексных проекта — на 94 больше, чем в предыдущем году. Мы, конечно, можем гордиться количеством строящихся объектов. Но хотя качество проектов стало заметно лучше в последние годы, проектировщики большинства институтов более тщательно обосновывают свои решения, больше думают над тем, как повысить эффективность общественного производства и капитальных вложений, как улучшить ассортимент и качество продукции и т. д., — все же еще достаточно много проектных организаций работает с перебоями, и проекты их приходится возвращать либо на переработку, либо — бывает и так — навсегда. Из 852 проектов, которые в прошлом году рассматривала государственная экспертиза, 245 (!) возвращены министерствам. Причина одна: низкое качество проектов.

Попытаюсь ответить на вполне естественный вопрос: каким образом институт может выпустить некачественный проект?

Первая причина этому — недостаточно глубокая разработка (еще до начала проектирования) технико-экономических обоснований целесооб-

разности строительства или реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений. Материалы ТЭО—исходный документ, фундамент, на котором составляется задание на проектирование, который затем используется при разработке проектных заданий. Все ошибки и недочеты ТЭО с особой силой проявляются на последующих стадиях проектирования и в конце концов на процессе строительства — стройкам подолгу приходится ждать необходимую им техническую документацию.

Проектные институты и министерства очень часто недооценивают экономическую эффективность проектных решений: непродуманно выбирают район и место строительства, неправильно определяют мощность и состав предприятия, номенклатуру и качество продукции, источники и способы обеспечения водой, сырьем, топливом, энергоресурсами, квалифицированными кадрами. Конечно же, если построить такое во всех деталях не продуманное предприятие, от него нечего ждать ни хорошей работы, ни высокой эффективности капитальных вложений.

Вот пример. Министерство легкой промышленности СССР представило на утверждение в Совет Министров СССР проектное задание на строительство отделочной ситцепечатной фабрики в г. Лодейное Поле. Проект разработал институт ГПИ-1. Но почему фабрику надо строить именно в Лодейном Поле, а не, скажем, во Владивостоке, почему надо строить предприятие именно такого состава и такой мощности — об этом проект умалчивает. Кроме того, удельные капитальные вложения превышали нормативные почти в три раза и опять-таки никаких объяснений этому проект не давал. Наконец, выяснилось, что строительная организация в Лодейном Поле маломощная, у нее нет соответствующей строительной базы и строительных кадров. Вот чего стоит в действительности проект! Народному хозяйству ни к чему такое предприятие, которое предпринял институт ГПИ-1 и одобрило Министерство легкой промышленности страны.

Не нужен и даже вреден хозяйству Крымский содовый завод — в том виде, в каком представляет его проектное задание на строительство, разработанное институтом НИОХИМ и принятое Министерством химической промышленности. У проекта уйма недостатков. Назову лишь один: завод работал бы нерентабельно и убытки от реализации его товарной продукции составили бы более четырех миллионов рублей в год.

Нередко строителям дается проект нового предприятия, которое уже в листах ватмана принадлежит вчерашнему дню, устарело морально. Конечно, строить такое предприятие мы не будем.

Очень часто на первоначальной стадии проектирования стоимость строительства занижается. Понятно, что потом, уже в процессе строительства, вносить изменения довольно сложно, и в результате подрывается реальность планов капиталовложений, а народное хозяйство несет большие потери. Сметную стоимость строительства, например, Болховского витаминного комбината, проект которого разработан «Гипропищепромом» и утвержден бывшим Тульским совнархозом, пришлось увеличить на 36,1 процента.

Министерство речного флота РСФСР представило, например, проектное задание на расширение Волго-Балтийского канала. На это, по расчету министерства, требовалось около 28 миллионов рублей. Когда же экспертиза проверила объем необходимых работ, оказалось, что достаточно около 21 миллиона рублей.

Чтобы проекты новыхстроек были экономически обоснованы, надо прежде всего правильно — на основе тщательного изучения развития и размещения производительных сил — выбрать место для нового предприятия, установить его объемы и технико-экономический уровень, а также календарные сроки строительства и поставок оборудования. Кроме

того, поскольку ни один объект в стране не работает изолированно, а связан множеством технологических, производственных и экономических нитей с другими предприятиями, нельзя утверждение проектов поручать одному ведомству. Пусть отраслевые министерства отвечают за технологическую, технико-экономическую часть проекта и работы своих проектных организаций. Экспертиза же проекта в целом должна быть только вневедомственной, государственной. Наконец, в интересах дела следует, быть может, ввести систему экономического стимулирования за высокую эффективность проекта.

Только коренным образом улучшив проектное дело, можно будет избавиться от многих серьезных недостатков, еще столь явно дающих себя знать в экономике.

* * *

Строительные площадки нашей страны все больше напоминают монтажные цеха — ныне здания собираются из крупных деталей и узлов с помощью новейших механизмов. То, что раньше сооружалось годами, теперь возводится за несколько месяцев.

Дальнейшая индустриализация строительства, превращение строительного производства в механизированный поточный процесс — одна из главных задач наших рабочих, инженеров, ученых. Строительная площадка должна стать поистине только сборочным цехом. К концу пятилетки объем полносборного промышленного строительства намечено довести до 28—30 процентов, а жилищного до 48 процентов.

Большую роль в дальнейшей индустриализации строительства сыграло развитие производства сборных железобетонных конструкций и деталей. Промышленность сборного железобетона была создана после специального постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятого в августе 1954 года. В 1966 году по сравнению с 1958 годом производство сборного железобетона выросло в три раза и достигло 64 миллионов кубометров в год. Сейчас уже широко применяются легкие конструкции и изделия из ячеистых бетонов автоклавного твердения и бетоны на легких заполнителях. В этом году намечено изготовить 5 миллионов кубометров таких конструкций. Их стоимость на 15—20 процентов ниже стоимости аналогичных конструкций из обычного тяжелого железобетона.

Ясно, что успешно выполнить большую программу капитальных работ, намеченных XXIII съездом КПСС, можно только на основе развитой промышленности строительных материалов. У нас немало делается для того, чтобы увеличить выпуск различных материалов высокого качества. Производство цемента, шифера, мягкой кровли, стекла, керамических изделий, сборных железобетонных конструкций и деталей, асбоцементных труб за семилетку возросло в полтора—три раза. Но масштабы строительства неуклонно растут, и некоторых материалов все еще не хватает.

Почему? Да потому, что мы все еще отстаем с вводом новых мощностей в промышленность строительных материалов и строительной индустрии. Ведь известно, что без продукции таких как будто немудреных производств, как щебеночно-гравийные и песчаные карьеры, домостроительные комбинаты, заводы сборного железобетона,— останавливается работа на любой строительной площадке. Современная производственная база — это основа основ строительства. И когда, скажем, затягивается ввод новых мощностей на стекольном заводе «Пролетарий», это значит, что из-за нехватки стекла не могут быть сданы в эксплуатацию новые дома и промышленные корпуса.

Разумеется, многое зависит и от организации работ, и от использования техники на предприятиях промышленности строительных материалов. Но тем не менее было бы целесообразно и Госплану СССР задуматься над более широким развитием промышленности строительных материалов и строительной индустрии.

* * *

Современное строительство — это весьма сложная система. В создании каждого крупного объекта участвуют десятки строительных и монтажных организаций, тысячи рабочих, используются сотни машин и механизмов. Многие промышленные предприятия поставляют строителям изделия, конструкции, оборудование. Проектные институты разрабатывают для них техническую документацию.

Недостаточная согласованность в выполнении проектных и строительных работ, отдельные просчеты в планировании и проектировании — вот главные причины тех серьезных недостатков в капитальном строительстве, о которых говорилось на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС и на XXIII съезде партии. Это ведет к затягиванию сроков ввода мощностей, удорожанию работ, замораживанию государственных средств. Кстати, хочу отметить серьезный и интересный разговор об экономике строительства, начатый недавно на страницах «Нового мира».

Опыт показывает, что эти недостатки в значительной мере можно устранить, используя сетевые графики и электронно-вычислительные машины.

Сетевое планирование позволяет создать правильную технологическую последовательность как самих строительных и монтажных процессов, так и поставки оборудования, конструкций, технической документации, основных материальных ресурсов и т. д. При этом заранее выявляются работы, выполнение которых во всем процессе создания объекта определяет срок строительства объекта. Тем самым ресурсы, внимание руководителей сосредоточиваются на этих работах. Кроме того, появляется возможность предвидеть их на всем периоде строительства. Важно и то, что управление работами при новой системе является плодом коллективного труда инженеров, техников, мастеров, бригадиров.

К сожалению, система сетевого планирования и управления, ее внедрение, наталкивается на ряд трудностей.

Прежде всего этому явно мешают укоренившиеся оценки выполнения плана в денежном выражении (в тысячах рублей).

До тех пор, пока деятельность строительной организации будет оцениваться таким образом — то есть количеством затраченных ею средств, — нет стимула форсировать, ускорять работы, находящиеся на так называемом «критическом пути», то есть те, от которых зависит продолжительность строительства и срок ввода в действие объекта. Вместо этого фактически поощряется ускорение «выгодных» работ, независимо от того, являются ли они узким местом сегодня или могут быть выполнены через несколько месяцев.

Деятельность строительных организаций необходимо оценивать только по вводу в эксплуатацию запланированных объектов и по рентабельности работы. Кроме того, следует помнить, что сетевой график является законом для всех организаций, участвующих в строительстве, — и для заказчика, и для субподрядчиков, и для поставщиков... Только тогда метод сетевого планирования и управления будет в должной мере эффективным.

Сейчас уже более восьмисот строек ведут работу по сетевому графику. Следующий этап — это переход на него всего нашего строительства.

* * *

Конечный результат труда строителей — это сданный в эксплуатацию объект или введенные в действие производственные мощности. Но готовая строительная продукция должна быть получена точно в установленный срок, должна быть высокого качества и само строительство должно вестись с наименьшими затратами материально-технических и трудовых ресурсов. Другими словами, речь идет об обеспечении высоких темпов строительного производства, об ускорении ввода мощностей и наиболее полном их освоении в кратчайшие сроки, о снижении стоимости строительства.

Сейчас завершается подготовительная работа по осуществлению экономической реформы в строительстве, которая, безусловно, будет способствовать достижению этих целей. Для нас несомненно, что у строительного-монтажных организаций должны быть пятилетние планы строительного производства с разбивкой заданий по годам в соответствии с потребностями и возможностями народного хозяйства.

Намечаемое расширение хозяйственной самостоятельности строительного-монтажных организаций и сокращение в связи с этим числа показателей плана, утверждаемых сверху, позволит улучшить технологию строительного процесса, оперативней маневрировать всеми ресурсами, находящимися в распоряжении стройки. Строительно-монтажные организации смогут использовать часть прибыли и другие средства, оставляемые в распоряжении организации, на материальное поощрение работников, социально-культурные мероприятия и жилищное строительство, на развитие производства и внедрение новой техники. Каждая организация вправе определять наиболее рациональные формы, условия и размеры материального поощрения на основе действующих типовых положений. Таким образом значительно усиливается роль прибыли в экономическом стимулировании строительного-монтажных организаций и повышается материальная заинтересованность их работников.

Достаточно сказать, что размер премий за ввод в действие объектов строительства и производственных мощностей увеличится в среднем в два раза по сравнению с существующими условиями. При этом размер премий будет зависеть от качества выполненных работ с учетом соблюдения сметной стоимости строительства. При отличной оценке качества размер премий увеличивается на 25 процентов, а при удовлетворительной — снижается на 25 процентов.

Одним из крупнейших экономических рычагов станет введение платы за производственные основные фонды (механизмы) и оборотные средства. Дело в том, что техника, машины используются у нас еще недостаточно: мы вынуждены делать большие дополнительные вложения в создание новых производственных фондов. А это сказывается на распределении национального дохода и на величине той его части, которая направляется на народное потребление.

Введение платности фондов улучшит использование строительной техники и будет способствовать укреплению хозрасчета. Каждый руководитель строительного-монтажной организации должен будет знать заранее, какую прибыль обеспечивает данная машина, чтобы внести плату за ее пользование и иметь еще средства для пополнения фондов материального стимулирования.

За последнее время все более расширяется практика производства расчетов за законченную продукцию, но главным образом в жилищно-гражданском строительстве. В ближайшие три года предполагается осуществить мероприятия по постепенному переходу на расчеты без промежуточных платежей крупных объектов и сооружений производственного назначения и коммунального строительства.

Большое значение будет иметь повышение роли кредита в строительстве. В частности, при недостаточности средств фонда развития производства затраты по внедрению новой техники, механизации и улучшению технологии строительного производства, обновлению и модернизации оборудования и других мероприятий по техническому совершенствованию организации строительства будут осуществляться за счет кредита банка.

Повышение эффективности строительного производства прямо зависит от того, насколько полно будут использованы те преимущества, которые даст строителям новая система планирования и экономического стимулирования.

В юбилейном году у строителей дел очень много. Сотни крупных промышленных предприятий должны войти в строй. Надо возвести 93,4 миллиона квадратных метров жилья — больше, чем когда бы то ни было.

А если говорить о наших задачах на ближайшее будущее, то в градостроительстве это — постепенное развитие малых и средних городов, преобразование сел и деревень в поселки городского типа. Индустриализация жилищного строительства, расширение сети домостроительных комбинатов, внедрение новых строительных материалов — вот основное направление технического прогресса в этой области.

В энергостроительстве — сооружение новых гидро- и тепловых электростанций. Расширение строительства атомных электростанций.

В промышленном строительстве — научная разработка генеральных схем развития и размещения производительных сил, схем развития и размещения отдельных отраслей народного хозяйства, комплексного развития экономических районов.

Армия строителей готовится к выполнению своих нелегких и благородных задач, день ото дня вооружаясь специальными знаниями, овладевая сложной новейшей строительной техникой. Строители отдают себе отчет в том, что все построенное ими сегодня и завтра должно служить людям по меньшей мере сто лет. Поэтому вся наша работа — это ответственный экзамен перед будущим.

Беседу записал А. Нежный.



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

МОЙ ДАГЕСТАН*

Жанр

Глувец поражает криком, мудрец — поговоркой, приведенной к месту.

Весна настала — пой песню. Зима настала — сказки рассказывай.

Вот стою я перед горой, которую нужно перевалить. Добраый конь перевезет меня через любой перевал. Гора — моя тема, конь — мой язык. Но нужно теперь мне выбрать тропу, по которой я буду преодолевать кругую гору.

Все мои предки-горцы любили прямую тропу. Она труднее, опаснее, но короче... Она может погубить, но зато и к цели приведет скорее.

Или вот я стою перед крепостью, которую нужно взять. У меня есть прекрасное оружие, которое не подведет в бою. Крепость — моя тема, оружие — мой язык. Но нужно выбрать способ, которым легче взять неприступную крепость. То ли неожиданно штурмовать, то ли предпочесть медленную осаду.

Есть поле, засеянное просом, и есть вода в горном ручье. Но как эту воду провести на поле?

Есть дрова в очаге, есть кастрюля и кое-что из того, что в кастрюлю кладут. Но все же какое блюдо варить на обед?

Редактор в своем письме разрешил выбрать мне любой жанр: рассказ или повесть, стихотворение или статью. Чем больше возможностей, тем труднее выбрать.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики.

Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи. Впрочем, теперь стало модно переходить на киносценарии.

Иные короли и шахи меняют своих королей и шахинь, потому что те бездетны. Но именно после смены нескольких жен убеждаются, что виноваты в бездетности вовсе не королевы и не шахини. В то время как иной крестьянин живет всю жизнь с одной женой, и глядишь, у них человек двенадцать детей.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Я считаю так: пей вино и не чуждайся хлеба. Пой песни, но слушай и сказки. Пиши стихи, но не гони от себя и простой рассказ.

ПРОЗА. Было время, когда я лежал в колыбели и мать пела мне колыбельную песню. У нее была одна только песня, других не знала она. И хотя отец у нас был известный поэт, он не написал для своих сынов ни одной песни. Он любил рассказывать нам разные истории, случаи, притчи. Это была его проза.

О своих стихах отец не любил говорить. По-моему, он считал стихотворство несерьезным делом. Его серьезные дела были: пахать землю, чинить гумно, ухаживать за коровой и лошадей, очищать крышу от снега, а позже — принимать посильное участие в делах аула и даже района.

Написав стихотворение, отец не очень заботился, где оно будет напечатано. Ему было все равно — центральная газета или стенная газета аульских пионеров. Я замечал, что стенной газете он радовался даже больше.

Он часто вспоминал, что сказал Анасил Магомет своему сыну, прославленному певцу любви поэту Махмуду. Когда Махмуд, вроде блудного сына, истерзанный любовью и песнями о любви, бледный и голодный, пришел домой и попросил есть, отец спокойно сказал ему:

— Ешь стихи, запивай любовью. Я устал пахать поля за тебя.

Конечно, и песня птице нужна, но все же основная работа птицы — строительство гнезда, добывание пищи, выкармливание птенцов.

На свои стихи отец смотрел точь-в-точь как на птичью песню. Красиво, приятно, но необязательно. Он смотрел на них как на «здравствуйте», которое говорят утром, как на «спокойной ночи», которое говорят, уходя спать, как на поздравление с праздником, как на выражение соболезнования во время горя.

Есть мнение, что поэты в чем-то не от мира сего — у каждого свой особенный нрав. Отец же был по характеру и по складу своему обыкновенный горец. Больше всего он любил неторопливую беседу, когда сидящие в кружке рассказывают, не перебивая друг друга, разные истории и события, то есть опять же прозу.

Свои первые стихи отец показал славному Махмуду. Поэт удивился стихам отца и сказал, что они ему непонятны и что вообще он не понимает, как это можно сочинять стихи о корове, о тракторе, о собаках, о тропинке в аул Хунзах.

— О чем же сочинять? — смиренно спросил отец.

— О любви и только о любви! Надо строить дворец любви.

СТИХИ МАХМУДА:

Чертоги любви я воздвиг на земле,
А сам под забором лежу я в ненастье.
Построил я царственный мост нашей страсти,
Но рухнул мой мост, я один на скале.

Перевел С. Липкин.

Отец не строил дворца любви. Да у него и не было заботы его строить. Его заботой, его дворцом, тем, что наполняло его стихи, были сакля, семья, дети, аул, конь, страна, мир и земля, небо, дождик, солнце, трава.

Правда, однажды он написал стихотворение о любви, о любимой женщине. Но чтобы никто не мог прочитать этого стихотворения, он написал его по-арабски. Это было стихотворение только для нее и для себя.

Да, отец любил неторопливый мудрый рассказ. Перед вечером, в сумерки, он брал меня на колени, закрывал полой теплого душистого тулупа и рассказывал, рассказывал. Он говорил о тех, кто уехал далеко

в чужие земли, и о тех, кто остался здесь, на родной земле. Он говорил о дорогах, о реках, о том, как распускаются цветы и зачем на них прилетают пчелы. Он говорил о том, как восходит солнце и как оно заходит. Он рассказывал о нравах, обычаях старины, о молитвах, творимых перед битвой.

Стоило ему поглядеть на небо, как он уж знал, будет ли завтра дождь или будет вёдро. Он знал, что если кругом идет дождь, а над аулом Телетль светит солнце, значит, на Хунзахское плато выпадет град.

Он рассказывал мне, сколько зерен в одном ржаном колосе и отчего появляется красивая радуга.

Если вдали показывался путник, шедший из аула в аул, отец мог подробно рассказать, кто этот путник, по какому делу он вышел в путь, у кого остановится ночевать...

Ах, зачем все это рассказывал мне? Лучше бы записывал на бумагу. Это была бы его проза, проза поэта Гамзата Цадаса.

Рассказ и жизнь для него были одно и то же. Мысль он считал рассказом, а рассказ мыслью. Стихи же он сравнивал со своим равным сердцем.

Лучше бы записал на бумагу все свои рассказы отец. Потому что все равно, когда я вырос, сердце у меня оказалось на первом месте. Когда мимо пролетает птица, я не задумываюсь, куда и зачем она летит, я хочу схватить ее на лету. Как ни старался отец, но все же одну-единственную колыбельную песню матери я любил в детстве больше, чем все рассказы.

С песней прошло мое детство, с песней я прошел через юность, с песней возмужал, с песней же поседел.

Но теперь я понимаю, что, где б я ни скитался, какие бы песни ни пел, все время была скала, которая ожидала, когда прилетит орел, все время было дерево, которое ожидало, когда на нем птицы совиют гнездо, все время был дом, который ожидал, когда постучатся в дверь, была проза, которая ждала, когда к ней придет поэт.

И вот я опускаюсь на скалу, которая ждет меня, я стучусь в дверь, чтобы мне открыли и приняли меня в дом. Я понял, что не могу высказать в стихах всего, что увидел на земле, всего, что думаю и чувствую.

Я понимаю, что проза не песня, которую можно пропеть и стоять. Нужно садиться за стол, нужно закатывать рукава, нужно заводить будильник на ранний час, нужно заваривать крепкий чай, чтобы не уснуть ночью.

Что ж, если правильно заложить фундамент и правильно возвести леса, то строительство дома пойдет и дальше. Что это будет: рассказ, повесть, сказка, предание, легенда, раздумье или просто статья — я не знаю.

Одни редакторы и критики скажут мне, что я написал не роман, не сказку, не повесть и вообще неизвестно что. Другие редакторы и критики скажут, что это и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое.

А я не возражаю. Называйте потом, как хотите, то, что выйдет из-под пера. Я пишу не по книжным законам, но по велению собственного сердца. У сердца же нет законов. Вернее, у него свои, не годящиеся для всех законы.

Про себя я думаю: не испорчу ли я вкус обеда, если высыплю в один котел и мясо, и рис, и фрукты, и перец, если одновременно добавлю и соли и меда? Или, напротив, это будет вкусное, необыкновенное блюдо? Пусть скажут те, кто будет сидеть за обедом.

Мой рассказ, мои раздумья, моя сказка! Бывало, в детстве в зимнюю ночь я не мог уснуть потому, что с нетерпением ожидал возвраще-

ния в саклю либо братьев, либо отца. Я прислушивался к скрипам и шорохам у дверей, и минуты превращались в часы.

В такие ночи дедушка садился около меня и начинал потихоньку рассказывать. То сказка, то песня, то мудрость, то прибаутка, то смешно, то страшно. Минуты и часы исчезали для меня, оставался только дедушкин голос и картины, которые рождало воображение. Отец или братья появлялись, перебивая дедушкину речь, и было жалко, что они своим приходом прерывали интересную сказку.

Потом, когда я сам стал большим и начал ездить по свету и спешил, как некогда отец или братья, к родной сакле, и чем ближе была она, тем чаще, тем нетерпеливее билось сердце, и я считал ущелья, которые оставались еще на пути, тогда кто-нибудь из спутников принимался рассказывать занятую историю, случай из жизни, сказку или быль, я заслушивался, но наступал конец дороги, и было немного жалко, что дорога кончилась и рассказчик не успел досказать свой рассказ.

Отец спрашивал:

— Ну, как вы перевалили через гору, как вам было в ущелье, не занесено ли оно снегом?

А я и не помнил ни горы, ни ущелья, ни снега. Я помнил то, что мне рассказывал словоохотливый спутник. Его рассказы превращали для меня крутые горы в ровную долину, а холодный снег в теплую вату.

Мои рассказы, мои раздумья! Сумеете ли вы для кого-нибудь скоротать долгую зимнюю ночь в ожидании близких или долгий зимний путь к родному тоскующему очагу?

В мои пресноватые рассказы для аромата, словно душистые травы в суп, я опускаю где одну, где две поговорки и пословицы.

Девушки из аула Таилух ставят на подбородке, ближе к краешкам губ, две маленькие яркие точки. Пусть поговорки будут в моей прозе как эти точки на девичьем лице.

Словно в гладкую стенку угловатый тесаный камень, я вмазываю в мои рассказы воспоминания, строки из записной книжки. Не каждый камень годится в стену. Когда я вставлял некоторые из них и шел в своем рассказе дальше, у меня появлялось чувство, которое, наверное, знакомо религиозным людям, когда молитва продолжается, хотя молитвенное состояние уже нарушено. Неподходящий камень приходилось вынимать из стены.

Итак, от бурных стихов и песен я перехожу к спокойному рассказу, к прозе. Но если я решил на время расстаться с песней, то она не хочет расставаться со мной. Подобно ласковому котенку, она залезает ко мне под одеяло, когда я сплю. Подобно утреннему лучу солнца, брызнувшему из-за горы, она приходит ко мне в окно, едва я его открою утром. Она дожидается меня на дне бокала вместе с последними, самыми сладкими капельками вина. Она подкарауливает меня повсюду, словно женщина, которой неожиданно изменили, а подкараулив и заступив дорогу, говорит:

— Ты что, серьезно решил порвать со мной? Но подумай, сможешь ли ты прожить без меня. Ты тур, привыкший пастись в прохладном лесу. Ты лосось, привыкший к ледяной летящей струе. Неужели ты думаешь, что тебе понравится в тихом и теплом озере? Ну, что ж, если ты решил уходить, давай хоть посидим напоследок.

ПОЭЗИЯ, разве ты не знаешь, что я никогда не смогу расстаться с тобой? Могу ли я расстаться со всеми радостями, которые возникают во мне, со всеми слезами, которые роятся во мне?

Ты похожа на девочку, которая родилась, когда все ожидали сына. Ты похожа на девочку, которая родилась и как бы самим рождением своим говорит: «Я знаю, вы не ждали меня и никто из вас пока что меня

не любит. Ну что же, дайте мне вырасти и расцвести, дайте мне расплести косу и спеть песню. Посмотрим, найдется ли тогда человек на земле, который посмел бы не полюбить меня».

ПОЭЗИЯ.

Бывает работа, после работы — отдых,
Бывает поход и привал на десять минут.
Ты для меня и поход, и привал во время похода,
Ты для меня и отдых, и каторжный труд.

Песней была колыбельной, дремала в моем изголовье,
Была ты мечтою о подвиге и о весне.
Ты для меня родилась вместе с моей любовью,
Но вместе со мною любовь родилась во мне.

Был я мальчишкою — матерью ты мне казалась,
Любимой мне кажешься нынче, а стану седым —
Дочерью будешь беречь мою старость,
Сгину — ты памятью станешь над прахом моим.

Порою ты кажешься мне неприступной горою,
Порой ты мне кажешься птицей, послушной, ручною,
Ты — крылья в полете моем,
Ты — оружие в борьбе,
Все для меня ты, поэзия, кроме покоя.
Хорошо ли — не знаю, но верно служу я тебе!

Где же кончается труд и начинается отдых?
Где же поход, где привал на десять минут?..
Ты для меня и поход, и привал во время похода,
Ты для меня и мой отдых, и каторжный труд.

Перевел Н. Гребнев.

МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ: чтобы остановить надоедливого болтуна, нужно, чтобы слово взял почтенный старик либо гость. Если и после этого болтун не остановит своего пустого красноречия, нужно запеть песню. Если же и песня не подействует на него, тогда смело можно брать за воротник и выводить из сакли. Всякому, кто своей болтовней мешаает песне, можно также дать хорошего тумака.

ПОЭЗИЯ, ты сама знаешь лучше других, что разговоры о тебе не делают тебя ни лучше, ни выше. Можно ли разговорами возвеличить песню? Можно ли из чайника усилить горный поток? Можно ли дуновением рта усилить летящий ветер? Можно ли кучей снега усилить величавость заоблачной горы? Можно ли покроем одежды либо фасоном усов усилить любовь матери к сыну?

ПОЭЗИЯ, я был бы без тебя сиротой.

ПОЭЗИЯ,

Мир был бы без тебя пещерой, что темна,
О солнце не имеющей понятия.
Иль небом, где звезда не светит ни одна,
Любовью, не слыхавшей про объятье.

Мир был бы морем, но без синевы,
Без этой вечно блещущей прохлады.
Иль садом без цветов и без травы,
Без пенья соловья или цикады.

Деревья стали б голы и черны,
Сплошной ноябрь: ни лет, ни зим, ни весен.
А люди б стали дики и бедны.
А песни... Песен не было бы вовсе.

АВАРЦЫ ГОВОРЯТ: «Поэт родился за сто лет до сотворения мира». Этим они, видимо, хотят сказать, что если бы поэт не участ-

вовал в сотворении мира, то мир не мог бы быть сотворен таким прекрасным.

Нас у отца было четыре брата и одна сестра. Сестра среди всех — старшая. На ее долю, как на долю всякой горянки, выпало много работы, печали, слез. Отец не раз говорил нам:

— Вас четверо, а сестра у вас одна. Берегите ее, заботьтесь о ней. На земле у вас нет никого роднее сестры.

Это правда, сестра — самый родной для меня человек. Но у меня есть и вторая сестра, и я не знаю, которая из них мне роднее. Вторая моя сестра — Поэзия. Жить без нее нельзя.

Иногда я спрашиваю, что могло бы ее заменить. Конечно, есть у меня еще горы, есть снег и ручьи, дождь и звезды, солнце и хлеб... Но разве горы, и дождь, и цветы, и солнце могут обойтись без поэзии, а поэзия — без них? Без поэзии горы превратятся просто в нагроможденные камни, дождь превратится в неприятную воду и лужи, солнце превратится в небесное тело, излучающее тепловую энергию.

И снова я спрашиваю: что могло бы ее заменить? Конечно, есть дальние земли, пение птиц, небо, биение сердца. Но без поэзии ничто не могло бы быть самим собой. Остались бы географические понятия вместо дальних заманчивых стран, нелепое вместилище воды вместо океана, необходимые призывы самок самцами вместо пения птиц, смесь некоторых газов вместо синего неба и кровообращение вместо трепетания сердца.

Конечно, есть также нежность, доброта, жалость, любовь, красота, отвraga, ненависть, гордость... Но все эти понятия рождены поэзией, так же как поэзия рождена ими. Они не живут без нее, она не живет без них.

Моя поэзия создает меня, а я создаю мою поэзию. Друг без друга мы мертвы — больше того, нас просто нет. У меня есть мышцы, и у меня есть кости. Постороннему взгляду не дано заглянуть и определить, которые кости у меня целы и крепки, а которые были сломаны, но потом срослись. Однако лучи рентгена просвечивают меня насквозь, и все, что есть во мне скрытого и тайного, открывается взгляду посторонних.

Моя душа скрыта еще глубже и надежнее, чем мои ребра, мой позвоночник, мои легкие. Но лучи поэзии просвечивают меня, и каждое движение моей души становится доступным для людей. Душа моя как на ладони, открытая и прозрачная, просвеченная волшебными лучами поэзии, и люди видят меня насквозь.

Тысячи проводочков и ячеек у современной аналитической машины. Ей задают сложнейшие программы из многих цифр. Электрический ток бежит по бесчисленным ячейкам и проводам. Никакому глазу, никакому мозгу не охватить всех процессов, которые происходят в этой сложной машине. Но потом появляется число — как последний ответ, как результат.

Никто не может знать, какие впечатления, какие токи любви и ненависти бегут по бесчисленным проводам моего организма. Но потом получается стихотворение — самое конечное и самое высшее, что может породить или произвести моя душа из тех жизненных впечатлений, которые протекают сквозь меня.

Я немало поездил по земле. То я ходил пешком, то ехал в седле, то летел в самолете, откинувшись в кресле и как будто бы задремав, то лежал в поезде, забравшись на верхнюю полку, то мчался в автомобиле.

Увидев меня на пешеходной тропе или на коне, люди могли бы сказать: вон Расул Гамзатов. Он один идет (или едет), наверное, скучно ему одному. Но я никогда не бываю один. Всегда со мной моя сестра — Поэзия. Ни на минуту мы не разлучаемся с ней. Даже во сне я

иногда сочиняю стихи, или вспоминаю свои уже написанные стихи, или читаю наизусть стихи других поэтов.

Раньше я думал, поэтов на земле очень мало. Наверно, поэтам очень скучно среди других людей. У каждого в жизни свой интерес — то, о чем можно поговорить с товарищем или соседом: работа, жена, зарплата, выходной день, родимый дом, рыбная ловля, кино, болезни... Конечно, о всех этих вещах поэт может, думал я, говорить с людьми, но кто разделит его поэтическое восприятие мира, его поэзию?

Потом я понял, что людей-непоэтов нет. Каждый человек в душе немного поэт. И уж во всяком случае поэзия приходит в гости к каждому, как кунак приходит в саклю к своему кунаку.

У нас в народе любовь к песне так же естественна и понятна, как любовь к детям. Да, мы все поэты. Разница между нами только та, что одни пишут стихи, потому что они умеют их писать. Другие пишут стихи, потому что им кажется, что они умеют их писать. Ну, а третьи не пишут стихов совсем. Может быть, они-то, эти третьи, и есть настоящие поэты?

Было время, когда я не писал стихов. Разве я не был тогда поэтом? Разве мое сердце билось реже, а кровь была холоднее? Разве печали терзали меня слабее, а радость была менее радостна? Разве жажда все узнать была во мне меньше? Разве глаза мои видели землю не такой же прекрасной, как они видят ее теперь? Разве меньше волнения испытывал я, увидев синюю крупную звезду в разрыве между черными облаками? Разве журчанье ручья не казалось мне мелодичным? Разве не тревожили меня крик журавлей или конское ржанье? Разве слеза не набегала на мои глаза, когда я слушал старую песню и предание о делах отцов?

В С П О М И Н А Ю, когда я был маленьким, то нанялся к соседу пасти коня. За три дня пастьбы сосед должен был рассказывать мне одну сказку.

В С П О М И Н А Ю, тогда же я ходил в горы к чабанам. Полдня идти туда, полдня обратно. А ходил я, чтобы услышать одно стихотворение.

Унцукульские груши, имринский виноград, буцринский мед, аварские песни.

В С П О М И Н А Ю, когда я учился во втором классе, я пошел из родного аула Цада по крутым горным тропинкам в аул Буцра, до которого двадцать километров. Там жил старик, кунак моего отца, который знал много старинных песен, стихов, легенд. Четыре дня с утра до вечера старик читал мне и пел, а я старался, как мог, записать его песни. Возвращался я радостный, с хурджуном, набитым стихами и песнями.

Над аулом Буцра нависает гора. Когда я поднялся на эту гору, на меня откуда ни возьмись ринулись огромные злые овчарки. Их было не меньше дюжины. Они мчались по зеленой траве, как нацеленные торпеды мчатся по волнам к черному борту корабля. Я уж видел раскрытые пасти овчарок с желтыми мокрыми клыками. Еще минута — и они меня растерзали бы, но тут я услышал крик чабана:

— Ложись! Не двигайся!

Я лег, прижался к земле и замер. Я боялся пошевелиться, кажется, я даже перестал дышать. Только сердце мое гулко било в землю, и мне казалось, что удары его слышны далеко окрест. Собаки в недоумении остановились около меня, обнюхали и меня и мой хурджун, набитый поэзией. Подумав, что обознались, собаки недоуменно поглядели друг на дружку и помчались дальше догонять меня, который стоял в их воображении. Вскоре они исчезли за поворотом горы.

Я лежал до тех пор, пока не подошел с отарой чабан.

— Ты чей?

— Я Расул, сын Гамзата из Цада.— Я нарочно назвал имя своего

отца, надеясь, что, услышав его, чабан отнесется ко мне внимательнее и не даст в обиду.

— А что ты делаешь здесь, на горе?

— Я ходил в Буцру за стихами, вот они в сумке.

Чабан достал стихи и пересмотрел их.

— Значит, ты тоже хочешь быть поэтом? Тогда почему же ты испугался собак? Разве такие собаки будут набрасываться на тебя на твоём пути? И они уж не отбегут, понюхав стихи, как отбежали мои овчарки. Но ты не бойся, не надо ничего бояться. Ты знаешь, что это за гора? С этой горы прыгнул Хаджи-Мурат, обманув своих конвоиров. Конвоиры остались ни с чем, а Хаджи-Мурат спасся. В родном краю помогают даже горы

Раньше я думал, что поэтическое волнение, которое овладевало мной, что тревога, которая постоянно жила в моей душе, что любовь, поселившаяся в моем сердце, и что само кипение крови — все это временное и очень скоро пройдет. Но вот уж голова моя поседела, вот уж подрастают мои дети и старятся мои книги, но ни одно из чувств не покидает меня. Вернее же других сопутствует мне моя Поэзия.

Теперь я обращаюсь к ней.

ПОЭЗИЯ, ты не оставляла меня в далеких путешествиях по земле и жизни, не оставляешь и теперь, когда я выхожу в широкое ровное море прозы. Я знаю, что рассказ бессмысленно рифмовать. Самый хороший рассказ тем самым можно превратить в очень плохие стихи. Но поэзия в рассказе может быть как соль в пище. Ведь и для всей моей жизни поэзия — соль. Моя жизнь была бы без нее пресна и безвкусна. У нас в горах, подавая гостю на стол еду, никогда не забывают поставить и солонку.

Проза летает дальше, но поэзия взлетает выше. Проза похожа на большой самолет, который может спокойно облететь вокруг земного шара. Поэзия же — как истребитель и перехватчик, она свечой взмывает с места в зенит и в мгновение ока настигает большой самолет прозы, как бы высоко он ни летел.

Разные жанры хочу я смешать в моей книге и отправить эту книгу за пределы Аварии. Почему бы нет? Наши стихи давно уж торят тропинки и дороги в читательских сердцах далеко за пределами Дагестана. Некоторые рассказы тоже получили визы на выезд. Правда, наша драматургия все еще сидит дома. То ли проверяют анкеты, то ли нужно подучиться хорошему поведению, хорошим манерам.

Если бы я задумал написать драму, то местом ее действия был бы весь Дагестан, аулы, города, а также все страны и весь мир. Декорациями были бы горы, небо, живые реки, море, земля. Временем действия — прошедшие века, настоящий день и все будущее; тысячелетия я перемещивал бы с мгновениями. Действующими лицами были бы и я сам, и мой отец, и мои дети, и мои друзья, и люди, давно умершие, и люди, которые еще не народились.

Эта драма была бы моей главной книгой — моя «Война и мир», мой «Дон-Кихот», моя «Божественная комедия», — но я не рискую не только написать драму, но и вложить в стены моей будущей книги хотя бы один «драматический» камень. Драму оставляю я для другого времени, а скорее всего для других писателей. Буду пробавляться стихами и прозой, буду перемежать их. Стихи — полет на коне, проза — хождение пешком. Пешком уйдешь дальше. На коне доедешь быстрее. Буду то спешиваться, то вскакивать в седло. О чем сумею — расскажу, о чем не сумею рассказать — спою. Во мне есть и задор молодости, и мудрость старости. Молодость пусть поет, а мудрость пусть говорит прозой.

Во мне живут разные люди: то я чинно обедаю, пользуясь крахмальной салфеткой, держа вилку в левой руке, то двумя руками беру баранью лопатку и ем, сидя с земляками на траве, и запиваю баранину бузой.

Отправляясь из города в горы, я на городской манер беру с собой тонкие вина и фрукты. Возвращаясь в город от простодушно-гостеприимных чабанов, я везу баранью тушу, перекинутую поперек седла.

Ведь и море бывает то ласковое, то вкрадчивое, то сердитое, то разгневанное. Точно так же разные характеры живут во мне.

Я видел, на краю пропасти сидели, обнявшись, юноша и девушка. Был виден их общий силуэт, и нельзя было отличить их друг от друга — так крепко они обнялись, так слились воедино.

Точно так же живут во мне нераздельно радость и скорбь, слезы и веселье, сила и слабость.

...И на дыбы скакун не поднимался,
Не грыз от нетерпения удила,
Он только белозубо улыбался
И голову тяжелую клонил.

Почти земли его касалась грива,
Гнедая походила на огонь.
Вначале мне подумалось: вот диво —
Как человек, смеется этот конь.

Подобное кого не озадачит.
Решил взглянуть поближе на коня,
И вижу: не смеется конь, а плачет,
По-человечьи голову клоня.

Глаза продолговаты, словно листья,
И две слезы туманятся внутри...
Когда смеюсь, ты, милый мой, приблизишься
И повнимательнее посмотри.

Перевел Я. Козловский.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Один горец из аула Сиюх увидел у подножия скалы белое облако, подумал, что это навалена мягкая пушистая шерсть, и прыгнул. Как бы ни было похоже пушистое облако на груды шерсти или на вату, все же ватой оно никогда не станет.

Как бы ни была красива по форме книга, написанная только ради формы, все же никогда она не затронет человеческого сердца.

Нельзя смотреть только на форму. Один рыбак, всю жизнь проведенный на море, увидел, оказавшись в лесу, кучу муравьев и подумал, что это куча черной икры. Один горец, никогда не бывавший на море, увидел кучу черной икры и подумал, что это муравьи.

ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

И пуля и орден стремятся к одной груди,
И улыбка и слезы на одном лице, погляди.
Яд и мед одни и те же уста таят,
Сокол и голубь в одном и том же небе летят.
И огонь и вода в черной туче — в одном гнезде,
И кумуз и кинжал висят на одном гвозде.

ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Молодая горянка, впервые познавшая любовь, посмотрела утром в окно и воскликнула:

— Ой, как красиво расцвели эти деревья!

— Где ты видишь цветущие деревья? — возразила старая мать. — Это снег, на дворе ведь поздняя осень, зима.

Так одно и то же утро для двух женщин показалось и весенним и зимним. А во мне в одном живут эти двое: молодое и старое, цветенье и

снега, весна и осень. Не удивляйтесь же, что в моей книге вы встретите то стихи, то прозу.

— Но не хочешь ли ты удержать одной рукой два арбуза?

— Нет, — отвечаю я, — не хочу.

Когда я смешиваю разные жанры в одном, это не значит, что я беру разные фрукты и режу их, чтобы перемешать и получить некий фруктовый винегрет. Но я хочу смешать их живыми, скрестить их, как это делают мудрые садоводы, и таким образом вырастить новый сорт.

Не знаю, что из этого в конце концов выйдет. Но ведь то же самое бывает и в каждом деле. Разжигая огонь, нельзя представить себе всех последствий. Но это не значит, что каждый раз нужно бояться разжигать огонь. И вот я зажигаю спичку, подношу ее к сухой ветке, загорается ладонью от ветра. Огонь начинает жить. Я не боюсь, что он, пока такой робкий, слабый, вдруг превратится в зверя, с которым невозможно справиться. Я не думаю об этом, я разжигаю огонь.

У Шамяля на сабле было высечено его же собственное изречение: «Тот не храбрец, кто, идя на битву, думает о последствиях».

Г О В О Р Я Т. Полезен и яд змеи, если он в умелых руках. Вреден и пчелиный мед, если он в руках дурака.

Г О В О Р Я Т. Если не умеешь рассказывать — спой, не умеешь спеть — расскажи.

Стиль

*Узнаешь ты по голосу певца,
А по узору — златокузнеца.*

Надпись на кубачинском изделии.

— *Что ты на меня кричишь?*

— *Я не кричу, у меня такая манера разговаривать.*

Из разговора жены и мужа.

— *Что-то твои стихи не похожи на стихи.*

— *У меня такая манера писать.*

Из разговора читателя и поэта.

Нас, мальчиков, не пускали на годекан аула, туда, где беседовали между собой старшие. Устроившись на большом камне, мы смотрели иногда издали на их беседы.

Однажды мы увидели, как гость из аула Анди говорил на годекане целый час и как весь джамаат слушал его, не перебивая. Мы обсуждали меж собой: наверное, какие-нибудь важные новости принес андиец, если его слушают столько времени и с таким вниманием.

Дома я спросил у отца:

— Какие новости рассказывал вам гость из Анди?

— А! Цадинцы уже двадцать раз слышали то, что он говорил сегодня, но рассказывает он так, что и не хочешь слушать, да будешь. Молодец андиец, да продлит аллах его дни!

ЕЩЕ О МАНЕРЕ. У каждого зверя свои уловки, своя манера уходить от охотника. У каждого охотника своя манера настигать и добывать зверя. Точно так же у каждого писателя есть своя манера, свой стиль работы, свой характер, свой почерк.

Когда я, будучи молодым поэтом, приехал учиться в Литературный институт, я попал в новую, непривычную для меня обстановку. Меня учило все — и сама Москва, и семинары, и крупные поэты на семинарах,

и профессора, и мои друзья по курсу и по общежитию. Уроки сыпались на меня со всех сторон, и я на некоторое время растерялся, сбился с толку и начал писать как-то по-новому, в каком-то странном стиле, не существовавшем доселе в аварской литературе.

Не скрою, мне очень хотелось тогда видеть свои стихи переведенными на русский язык. Я рвался к русскому читателю, и мне казалось, что моя новая манера для русского читателя будет понятней и ближе. Я совсем перестал обращать внимание на музыку родной аварской речи, на музыку стихотворения. На первое место выходили конструкции, голая мысль. Я думал, что обретаю нужную манеру письма, в действительности же — теперь понимаю это — я делал маневры.

К счастью, я вовремя понял, что поэзия и хитрость несовместимы. Но еще раньше понял меня мой мудрый отец. Когда он прочитал мои новые стихи, ему сразу стало ясно, что ради курдюка я хочу пожертвовать самым бараном, что я пытаюсь вспахать и засеять голое каменное поле, на котором никогда ничего не вырастет, как его ни поливай, что я хочу иметь дождь, не имея неба.

Отец все это понял сразу, но он был очень внимательным и осторожным человеком. Однажды в разговоре он мне заметил:

— Расул, меня беспокоит, что твой почерк начал меняться.

— Отец, я уже взрослый человек, а на почерк обращают внимание только в школе. Со взрослого спрашивают не только то, как он написал, но и то, что он написал.

— Для милиционера и секретаря сельсовета, выдающего справки, может быть, это и так. Для поэта же его почерк, его стиль — ровно половина дела. Стихотворение, какую бы оригинальную мысль оно ни выражало, обязательно должно быть красивым. Не просто красивым, но по-своему красивым. Для поэта найти свой стиль и найти себя — это и значит стать поэтом.

Ты спешишь, но торопливый бойкий ручеек никогда не добегаёт до моря, он поглощается другим, более плавным, более спокойным потоком.

Птица, которая меняет много гнезд и все не знает, какое выбрать, остается в конце концов совсем без гнезда. Не проще ли свить свое собственное гнездо — тогда выбирать не придется.

Сейчас, когда мне за сорок, я сижу над сорока своими книгами, перелистывая их и вижу, что на поле, засеянное моей пшеницей, попали растения с чужих полей, те, которые я не сеял. Пусть это не сорняки, пусть это добрые растения — ячмень, овес или рожь, — но они чужие на поле моей пшеницы.

В своей отаре я вижу чужих овец. Им никогда не привыкнуть к высоте и к воздуху гор.

В самом себе я замечаю иногда других людей. Но в этой книге я хочу быть самым собой. Хорош ли я, плох ли — принимайте таким, каков есть.

Горец, проходящий в горах на свадьбу, спрашивает у собравшихся раньше его:

— Вас хватает самих или можно войти еще и мне?

Горцы на свадьбе отвечают гостю:

— Входи, если ты на самом деле есть ты.

Вот моя книга, которой я должен доказать, что я — это я. Хочу быть писателем, а не исполнителем роли писателя. Смотрите, как актер на сцене пьет коньяк. И вот уж он захмелел, язык заплетается, голова клонится на грудь. Но в бутылке на сцене не коньяк, а чай. От чая не захмелеешь. Я думаю, с этим согласятся даже те, кто никогда не пробовал коньяка.

Оказывается, если в драме есть роль поэта, то самое трудное для драматурга — написать за этого поэта стихи. Поэтому чаще всего если в спектакле и действует поэт, то он не читает своих стихов. А какой же поэт без стихов? Чем он отличается от манекена из папье-маше, что красуется в витрине магазина?

Я не должен быть похожим на кого-то — даже на Омара, на Пушкина, на Байрона.

Иные воры, когда украдут буйвола, отшибают у него рога или обрезают хвост. Иные воры, когда украдут автомобиль, перекрашивают его в другой цвет. Однако, несмотря на все хитрости, воровство остается воровством.

Всего радостнее мне было бы услышать в разговоре читателей, что Расул написал книгу, как Расул.

Поющих птиц я люблю больше, чем чирикающих. Птицу во время полета я люблю больше, чем птицу, копошащуюся на помойке. Корабль в синем море я люблю больше, чем корабль, стоящий в тесном порту.

Посмотрите на легковесные лодки, как они подсакивают на всякой волне. Посмотрите на большие тяжелые корабли, как они устойчивы даже во время шторма.

Глупцы, если даже не выпьют и капли вина, шумят и ссорятся, точно пьяные. Мудрецы, если даже и выпьют по большому кубку, беседуют тихо, мирно и трезво.

Книга Расула, веди себя среди людей так, как подобает вести себя книге Расула.

Если незнакомый гость пришел в саклю горца, у него не спрашивают имени и откуда он, пока не пройдет три дня.

Принимайте и вы мою книгу, не спрашивая, кто такая, откуда, чья. Пусть она сама говорит за себя.

Я не хочу быть ни хуже и ни лучше, чем я есть. В двадцать лет силы нет — не жди, не будет. В тридцать лет ума нет — не жди, не будет. В сорок лет денег нет — не жди, не будет. Так говорит русская пословица. В горах же у нас говорят: если человек в сорок лет не орел — ему уже не летать. Пусть моя арба катится по моей дороге.

В нашем ауле, когда идет дождь, с горы, что поднимается над аулом, стекают многочисленные ручейки. Внизу все они сливаются, образуя временное дождевое озеро. Из этого озера вытекает уже только один большой ручей.

С окрестных гор много узких тропинок спускается к нашему аулу. Все они, как ручейки, вливаются в наш аул. Если же нужно уйти или уехать из аула в райцентр, в город, в большой мир, есть только одна широкая торная дорога.

Я не знаю, с чем мне себя сравнить — с дорогой или с рекой. Но я знаю, что мысли многих моих земляков, слова многих моих земляков, чувства многих моих земляков слились во мне, как горные ручейки или извилистые горные тропинки. Моя же собственная тропа, моя дорога увела меня из аула в поэзию.

Побывал я в разных концах земли, в разных странах, встречался я с разными людьми. Приходилось мне бывать на высоких торжественных приемах — то у президентов и королей, то у премьер-министров, то просто у министров, то у послов. Как блестят на таких приемах туфли и лысины, как повязаны галстуки, как белоснежны манишки, как вежливы поклоны и улыбки, как продуманы каждое слово и каждый жест! На таких приемах артисты похожи на премьеров, а премьеры похожи на артистов.

Я на таких приемах никогда не бываю самим собой. Я делаю жесты, которые мне не хочется делать, и говорю слова, которые мне не хочется

говорить. Сквозь блеск таких приемов я вижу вдруг родной очаг Цада и моих родных, сидящих вокруг него, или вижу своих веселых друзей, собравшихся где-нибудь в номере гостиницы, и вместо заморских кушаний мне хочется тогда хинкалов с чесноком. О, какое блаженство засучить рукава рубашки и пожирать хинкалы с чесноком у родного очага, среди друзей, так, чтобы жир стекал по рукам.

Когда я читаю некоторые книги, мне кажется, что они на дипломатическом приеме. В них нет свободы жестов, свободы поведения, свободы речи.

Книга моя, не будь гостем на дипломатическом приеме. Пусть у тебя будут только те слова, которые соответствуют твоему истинному характеру, а не те, которые нужно говорить из приличия.

Я видел людей, которые — люди как люди, пока они у себя дома, в кругу семьи, с женой, с детишками, или с друзьями. Но вот они в канцелярском своем кресле — сухи, черствы, злы, как будто их подменили. С каждым новым чином, с каждым новым креслом меняется их характер, их поведение, их лицо.

Будь постоянной, моя книга, не изменяй своего характера, как я не изменяю себе. Люби друзей и дым очага, а не торжественные приемы, люби поля, а не концерты, слушай голоса земли, а не шум собраний. Ведь бывает так, что на собраниях говорят одно, а после собраний совсем другое.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Кто из дагестанцев не знал огромной папахи Сулеймана Стальского, его тяжелого тулупа из душистых овечьих шкур, его легких чарыков, сшитых из телячьей кожи! Я думаю, не только дагестанцы не могли бы представить себе Сулеймана без чарыков и без папахи.

И вот Сулеймана Стальского наградили орденом, и Максим Горький назвал его Гомером XX века. И Сулеймана вызвали в Москву, и в Москве встретился с ним один дагестанский министр.

— Ай-ай, дорогой Сулейман, — сказал министр поэту. — Нельзя вести себя в Москве, как в ауле. Эту форму тебе придется сменить.

По поручению дагестанского правительства был сшит для Сулеймана бостоновый костюм, ему принесли также новые туфли, шапку-ушанку и зимнее пальто с каракулевым воротником. Сулейман пересмотрел каждую вещь в отдельности. Пальто, распахнув, подержал на весу, туфлями постучал подошву о подошву, затем все кое-как свернул и уложил в чемодан.

— Спасибо. Хорошие, новые вещи. Как раз впору моему сыну, Мусаibu. Я же хочу остаться Сулейманом. Свое имя не хочу променять ни на костюм, ни на туфли. Мои чарыки обидятся на меня.

Эту приверженность даже к внешнему проявлению самобытности очень ценил в Сулеймане мой отец.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Сыновья Сулеймана много раз пробовали научить своего отца грамоте. Сулейман всякий раз начинал со старанием, но потом он откладывал бумагу и говорил:

— Нет, дети. Как только я возьму карандаш в руки, стихи сразу от меня убегают, потому что я думаю не о стихах, а о том, как нужно держать этот проклятый карандаш.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Эффенди Капиев был другом Сулеймана Стальского. Он же переводил его на русский язык. Эта дружба вызвала зависть мелких и никчемных людей. Они старались унижить Капиева в глазах прославленного поэта или даже оклеветать его. Они говорили Сулейману:

— Ты не умеешь читать по-русски, а мы знаем, что Эффенди Капи-

ев, когда переводит, портит твои стихи. Где хочет, он добавляет, где хочет, сокращает, а многие строки переделывает по-своему.

Однажды во время неторопливой беседы Сулейман завел разговор. — Друг, — сказал он, — я слышал, ты бьешь моих детей.

Эффенди сразу понял, о чем идет речь.

— Твои стихи — не дети твои, Сулейман. Они — это ты сам, Сулейман Стальский.

— В таком случае я, старик, заслуживаю еще большего уважения, чем дети.

— Но что для тебя важнее, Сулейман, количество строк в стихах или стиль и дух? Вот перед нами стоит вино. Если оно выдохнется, то его почти не убудет, но оно не будет уж тем вином, которое мы пьем и которым наслаждаемся. Дело не в количестве вина, но в его аромате, во вкусе и крепости.

— Ты прав, это важнее всего.

Так в действительности и получилось, что Сулеймана Стальского русскому читателю дал Эффенди Капиев.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

— Никак не подберу ключ к стихам твоего отца, — жаловался мне Эффенди: Гамзата Цадаса он тоже переводил на русский язык. — Твой отец — со своим замком. Думаешь, что он смеется, а на самом деле грустит. Думаешь, он расхваливает, а на самом деле иронизирует, даже издевается. Думаешь, он бранит, а на самом деле хвалит. Все это я понимаю, но передать по-русски еще не могу. Я могу передать его поэтические приемы и смысл его стихотворений, но мне нужен сам Гамзат, живой, каким мы его знаем. Ведь именно таким его должны узнать все читающие по-русски. Как будто бы он похож на всех остальных людей, но все же его не спутаешь ни с одним человеком.

Такими же должны быть и стихи поэта.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Теперь меня знают в ауле как поэта Расула Гамзатова. А было время, знали как растяпу и неряху. Я делал одно, а думал в это время о чем-нибудь другом. И получалось, что рубашку я надевал задом наперед, пуговицы у пальто застегивал неправильно, да так и выходил на улицу. Шнурки у ботинок не завязывал, а если завязывал, то так, что они тотчас развязывались. В то время про меня говорили:

— Как могло получиться, что у такого опрятного, аккуратного и спокойного отца мог родиться такой суетливый и неорганизованный сын? Кто из них стар и кто молод: тот ли, кто забывает завязывать шнурки, или тот, кто ничего никогда не забывает?

— Да, — отвечал я на эти досужие рассуждения. — Я взял себе старость отца и отдал ему свою молодость.

В самом деле, мой отец до конца был подтянут и легок, как юноша. И внешне и внутренне он был всегда собранным, дисциплинированным, точным. Все в ауле знали тот час и ту минуту, когда мой отец, надев тулуп, подымался на крышу сакли. По этим выходам отца на крышу можно было проверять часы. Один молодой аулец писал из армии своим родителям: «Мы встаем рано. Нас будят в то самое время, когда Гамзат подымается на крышу».

Если кто-нибудь хотел встретиться с Гамзатом утром, то знал, в какой час и в какую минуту нужно быть на дороге, ведущей в Хунзах. Гамзат, идя на работу, выходил из дому всегда в одно и то же время.

Люди знали про него все: знали, до какого места он поведет коня в поводу, а потом уж сядет в седло; знали его простую черную рубашку, его брюки-галифе, его сапоги, которые он сшил сам и собственноручно чистил каждое утро. Они знали его пояс, его аккуратно подстриженную,

но ни разу не бритую бороду; знали его папаху, которую он носил как-то очень строго. Каракуль на папaxe был не очень круто завит, но, с другой стороны, не очень космат.

Был образ отца, и все, что отец носил, все, что он делал, удивительно шло этому образу. И трудно было представить себе что-нибудь другое в одежде, в поведении Гамзата.

Он и сам не любил никаких перемен. Когда одежда изнашивалась и нужно было обзаводиться новой, он искал точно такую же. И хотя новая одежда шилась по той же мерке, по той же выкройке, все же в первые дни отец чувствовал себя в ней неловко и стесненно.

Однажды у него перетерся и оборвался ремень. Ничего не стоило купить новый, но Гамзат тщательно сшил привычный пояс и носил его еще некоторое время. Он не был жадным, и деньги у него водились, но ему жаль было расставаться с тем, к чему он привык. В конце концов ремень оборвался снова, и отцу пришлось купить новый. Все же и к новому ремню он пришел пряжку от старого.

Свою папаху он всегда гладил, как живого ягненка. Если уж он дорожил своим привычным ремнем, то как же он дорожил папахой!

Летом 1941 года, когда началась война, правительство Дагестана настояло, чтобы отец переселился с гор в Махачкалу. После прохладного высокогорья в городе ему показалось душно и жарко. Одежда, пригодная для высокогорья, стала обременительной в разогретом городском воздухе. Особенно не по климату оказалась папаха. Отец пробовал примерять разные шапки и шляпы, но они настолько сразу меняли весь облик Гамзата, что он отбрасывал их в сторону, несмотря на то, что мы, дети, очень уговаривали отца.

Так и ходил Гамзат по Махачкале с папахой в руке. Иногда надевал, иногда снимал, но не расставался с ней ни на минуту.

Даже такое бедствие, как война, может сделаться привычным, и жизнь входит в свою — пусть новую, пусть военную — колею. Отец снова стал временами уезжать в горы. Как свободно ему там дышалось, с каким наслаждением носил он там свою неизменную папаху! Был в эти дни похож на человека, который долго мучился оттого, что нечего закурить или строго запрещено, и вдруг есть возможность неторопливо свернуть самокрутку из крепкого душистого табака, неторопливо и с чувством прикурить, неторопливо и с чувством глубоко затянуться.

Отец мой никогда не курил, но такое же или даже еще большее наслаждение он находил в других мелочах жизни, не говоря уж, конечно, о главных радостях — о радости творчества, о радости любви к родному краю.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ОТЦА. «Хотя Раджаб мой друг, но поступил он со мной хуже врага. А в союзники против меня взял бритву» — вот что записал однажды мой отец у себя в блокноте. А дело было так. В 1934 году отец поехал в Москву на Первый съезд писателей. Тогда был жив еще аварский писатель Раджаб Динмагомаев. Он затасил отца в парикмахерскую, дабы немного подправить отцу волосы на бороде и на голове. Нарочно ли все подстроил Раджаб, парикмахер ли не понял, что от него требовалось, только отцу начисто сбрили его седую, его ни разу не бритую бороду. Отец спохватился поздно. Увидев в зеркале совершенно чужое, незнакомое даже лицо, он закричал, загородил лицо руками и бросился вон из парикмахерской. Он не появлялся больше на заседаниях съезда, не осмеливался показаться на глаза людям.

— Я не мог изменить своему лицу в жизни, — говорил впоследствии отец, — каково же изменять своему лицу в стихах?

Не любил отец вычурности как в жизни, так и в стихах, хотя однажды он чуть не привык к чужой, вычурной позе.

ВОСПОМИНАНИЕ. К отцу в гости в Махачкалу приехали земляки из аула. Они заметили, что, разговаривая с ними, Гамзат Цадаса сидит в какой-то неестественной, непривычной позе, а именно: свой подбородок он поддерживает тремя пальцами. Один из горцев спросил у Гамзата:

— Раньше мы не замечали, чтобы ты держался за свой подбородок тремя пальцами. Давно ли ты привык к этому и зачем? Эта привычка тебе не идет. Это, Гамзат, не твоя привычка.

— Ты прав,— ответил отец.— Надо бы отучиться. Во всем виноват художник Муэтдин Джемал. Дело в том, что он целых три месяца писал с меня портрет. Три месяца я сидел перед ним неподвижно, держась за подбородок тремя пальцами. Так он мне велел, и я должен был подчиниться художнику.

— Тяжело это было?

— Сидеть было не тяжело, но эта поза! Иногда мне начинало казаться, что три чужих пальца поддерживают мой собственный подбородок. Иногда мне казалось, что три моих пальца держатся за чей-то чужой подбородок. Так сидел я три месяца изо дня в день и постепенно привык. Сеансы давно кончились, картина готова и висит, а я, как видите, все еще продолжаю держаться за подбородок тремя пальцами. Бывает, что человек с большим сердцем хватается за сердце и в те минуты, когда оно у него не болит. Но не беспокойтесь, я постараюсь отучиться.

В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ОТЦА есть запись о том, как ему вставляли новые зубы.

Когда дело подошло вплотную, врач спросил у Гамзата, какие зубы ему лучше вставить: золотые, серебряные или стальные? Гамзат растерялся, ища поддержки, он посмотрел на друзей, бывших тогда около него.

— Ставь золотые,— подсказал один друг,— золото — благородный металл.

— Ставь стальные,— советовал другой.— Сталь крепка, никогда не изнашивается.

— Ну что же получится,— возразил Гамзат.— Если я вернусь в аул с золотыми или стальными зубами, люди будут глядеть на меня, как будто у меня во рту не зубы, а фонари. Люди будут смотреть не на меня, а только на мои зубы. Зубы затмят мое лицо. Нельзя ли вставить костяные, такие, чтобы никто и не заметил, будто у меня новые зубы. На такие, незаметные, зубы я согласен.

Врач выполнил просьбу Гамзата и вставил ему зубы, похожие на те, что были у него до сих пор.

Впоследствии, замечая в стихах поэта чужеродные или заимствованные строчки, отец говорил:

— В этих стихах сверкают вставные зубы.

Конечно, и золотыми зубами можно надкусить яблоко, но сдается, что хрупнет оно не так сочно и не так вкусно, как если бы надкусил его своими собственными зубами.

ВОСПОМИНАНИЕ. В 1947 году в Махачкале в театре был большой торжественный вечер: чествовали моего отца, поэта Гамзата Цадаса, которому исполнилось тогда семьдесят лет. Много было речей и поздравлений, много читалось стихов, много подарили подарков. В конце концов слово дали самому юбиляру, моему отцу. Гамзат вышел на трибуну, спокойно вынул из нагрудного кармана лист бумаги с переписанными стихами, сочиненными специально к этому дню, спокойно полез в другой карман за очками... Но тут движения отца из спокойных превратились в беспокойные. Он сунулся в один карман, в другой. Все поняли, что виновник торжества забыл дома очки.

За очками тотчас послали. Но Гамзат уже стоял на трибуне, и делать ему было нечего. Тогда друг Гамзата Абуталиб дал ему свои очки, которые как будто подходили. Отец надел очки Абуталиба и действительно начал читать. Он читал свои стихи, но в голосе, во всей позе его была какая-то неуверенность, робость, и всем казалось, что отец читает не свои стихи, а какие-то другие, случайные, которые он сам видит впервые.

Когда отец начал уже читать следующее стихотворение, юноша, которого посылали за очками, вбежал в зал. Гамзат снял очки Абуталиба, надел свои, и сразу у него изменилась осанка, сразу голос его зазвучал тверже, и весь зал заплодировал отцу, как будто только сейчас настоящий Гамзат Цадаса вышел на трибуну, а до этого там стоял его двойник.

— Очки чуть не испортили мне юбилей, — улыбаясь, сказал Гамзат.

— Разве мои были хуже? — громко спросил Абуталиб.

— Они очень хороши, но все-таки это твои очки. У каждого человека свои глаза, и очки тоже должны быть свои.

Мой отец не любил ослепительно-яркого, не любил непроглядно-темного. Он не любил слишком густого и слишком жидкого, слишком холодного и слишком горячего, слишком дорогого и слишком дешевого, слишком отсталого, но и слишком передового.

Он не любил свирепости волка и слабости зайца. Деспотизма власти и рабского подчинения. Он говорил:

— Не будь столь сухим, чтобы тебя хрупнуть и сломаться, но и не будь столь мокрым, чтобы тебя выжимали, как тряпку.

Мой отец был не из тех, кто размокает от капли дождя или высыхает от легкого дуновения. Мой отец был простым работником, в нем жили все привычки и все качества нашего народа, и он с достоинством носил их в себе.

В О С П О М И Н А Н И Е. Однажды мы с отцом должны были поехать из Махачкалы в аул, чтобы навестить большого родственника. Во главе правительства Дагестана стоял Абдурахман Даниялов. Узнав о том, что мы собираемся в горы, он дал нам черную правительственную машину. Кажется, это был «ЗИМ».

Пока мы ехали по городским улицам, отец чувствовал себя превосходно. Но как только на загородной дороге стали мы перегонять горцев, едущих на осликах, мулах, конях или бредущих пешком, отец начал беспокойно ерзать на удобном мягком сиденье. В то время как я по молодости старался высунуться из окна, чтобы все видели, в какой машине я еду, отец отодвигался как можно дальше в глубину, в тень.

Шел дождь. Подъехав к гоцатлинской речке, мы увидели, что старик, ехавший на арбе, застрял посредине потока. Отец тотчас остановил машину, вошел в реку и начал помогать старику. Вместе со стариком они понукали волов, упирались в колеса. Скоро арба очутилась на ровной дороге. Мы поехали дальше. Через несколько километров на пути попала еще одна река. Отец снова остановил машину и стал дожидаться старика с арбой.

— Старик обязательно здесь застрянет. А я знаю, как перевести волов через эту речку. Я подожду старика и помогу ему.

Действительно, мы дождались, когда арба доскрипела до этой второй речки, и отец умело перевел волов.

— Много раз я попадал в такое же положение, когда возил, бывало, разные грузы из Буйнакса в горы, — говорил нам отец, возвращаясь к машине и вытирая руки о полы своей одежды. Он печально улыбался вслед арбе, как будто вместе с ней уезжало все его прошлое, вся его жизнь.

При подъеме на Хунзахское плато нашу машину задел грузовик. Сломалось колесо. Отец, казалось, обрадовался этому обстоятельству и

пошел в аул пешком. Как мы ни уговаривали его подождать, пока поставим запаску, отец ждать не захотел.

— Даже на свадьбу мне было бы совестно приезжать на такой машине, тем более не нужен весь этот парад, когда навещаешь больного друга. Нет, я очень рад, что машина испортилась, я пойду пешком.

Мой отец ушел по тропинке, знакомой с детства, по той тропинке, которой ходили в наш аул бесчисленные поколения горцев. Мы починили колесо и поехали по большой дороге. В аул мы прибыли одновременно с отцом.

Потом в Махачкале Абдурахман Даниялов с тревогой спрашивал отца о дорожной аварии.

Отец ответил шутя:

— Уж очень хороша была машина. Если бы была чуть-чуть похуже, ничего бы с ней не случилось.

ВОСПОМИНАНИЕ. В последние годы своей жизни отец тяжело болел. Болезнь неожиданно настигла его во время поездки в горы, куда он ездил на встречу с избирателями. Приближались очередные выборы в Верховный Совет СССР, а Гамзат Цадаса был выдвинут в кандидаты.

До районного центра доехали на машине, но дальше в горные аулы нужно было ехать на лошадях. Отец любил тихих, смирных лошадей. Обычно он ездил шажком, но чаще всего вел коня в поводу. Пешая ходьба была больше всего по душе Гамзату.

Местные власти постарались. Они подвели будущему депутату молодого резвого скакуна. Корить их нельзя, они хотели сделать как лучше. Они считали, что такому дорогому гостю нужно дать лучшего коня из всего района.

Семидесятидвухлетний старец не захотел обидеть хозяев и, вспомнив былые годы, молодецки вскочил в седло. Окруженный молодыми людьми на конях, седобородый поэт походил на имама в окружении наибов.

Молодые люди ударили своих лошадей плетью и поскакали по разным дорогам в разные аулы, чтобы сообщить о скором прибытии Гамзата. Поддавшись общему азарту, конь под Гамзатом тоже понес. Старик не сумел его удержать, и началась бешеная скачка. Гамзата потрясло, укачало в седле, он чувствовал себя все хуже и наконец совсем вылетел из седла. В Махачкалу он вернулся больным, и эта болезнь не оставляла уж его до самой смерти.

— Так получается со стихами, — говорил отец, кашляя. — Поэт должен ездить на своем привычном коне, а не садиться на чужого, неизвестного скакуна. Чужой скакун как раз и выбросит из седла.

Долго я мог бы рассказывать о своем отце, но теперь мне хочется рассказать немного о его друге Абуталибе. Весь вчерашний день я как раз провел вместе с ним.

ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ С АБУТАЛИБОМ. Труднее всего мне бывает сесть за стихи, которые почему-либо не дописал, не закончил в свое время и вот нужно снова садиться и заканчивать. Горцы говорят, что лягушка только потому до сих пор без хвоста, что приклеить его оставила на завтра.

С утра я решил дописать длинное стихотворение, которое начал две недели назад. Работа предстояла трудная, и я сказал домработнице Фросе:

— Если кто будет спрашивать, говори, что меня нет дома. Кому нужно, пусть приходит после обеда.

Распорядившись таким образом, я пошел в свою верхнюю комнату и спокойно принялся за работу. Но все же уличные звуки доносились

до меня, и вот я услышал, как скрипнули входные ворота. Через некоторое время прозвенел звонок у дверей дома. Я не слышал голоса Фроси, но зато донесся до меня голос Абуталиба. Стул подо мной тотчас же превратился в раскаленную сковородку либо в терновый куст. Не было случая, чтобы в доме Гамзата Цадаса, или теперь вот — Расула Гамзатова, хоть раз отказали Абуталибу, чтобы он повернул от порога дома и ушел. Такого не было и быть не могло. Но я оказался в затруднительном положении: с одной стороны, Абуталиба отпустить нельзя, с другой стороны, неудобно подвести Фросю, которая честно исполнила мою просьбу и уже сказала Абуталибу, что меня нет и что я буду только после обеда.

Я поступил по совету сердца, а не рассудка. Я высунулся из окна и крикнул старому другу моего отца:

— Заходи, Абуталиб, я здесь!

— А, милостивый аллах! Неужели сын Гамзата из Цада скрывается от кредиторов? — Абуталиб быстро снял папаху и, проходя мимо Фроси, покосился на нее. — Скажи этой женщине, Расул, что, когда в дом приходит Абуталиб, двери раскрываются сами собой и что ты, Расул, в это время всегда дома. А если тебя и нет, то всегда в этом доме есть для Абуталиба попить и поесть, а если понадобится — и поспать.

— Фрося не виновата. Патимат, уходя на работу, поручила ей говорить всем, что меня нет дома. Жена заботится обо мне.

— Хорошо, когда есть жена и есть на кого свалить все свои грехи. Но разве Патимат забыла, что сегодня четверг, — говорил Абуталиб, отряхивая свою мохнатую мокрую папаху.

— Но чем знаменит четверг?

— Это мой банный день. Разве ты не заметил, что каждый четверг я хожу в баню, а так как баня рядом с твоим домом, то всегда можно ждать, что я зайду и к тебе — посидеть, побеседовать, покурить.

— Зачем тебе баня, Абуталиб? У тебя в квартире есть ванна и даже горячая вода.

— Ванна и душ — это кусок черного хлеба. А баня — свадебный пир. У меня есть сад и есть ручей, который тысячами течет с гор, и я пускаю его под каждое дерево, и он орошает их. Разве я сумел бы полить все деревья при помощи черпака и лейки? Баню я сравню с обильным горным ручьем, а твой душ и твою ванну — с лейкой и черпаком. Нет, Расул, оставь эти игрушки для детского поэта Нуратдина Юсупова. Говорят, он пишет теперь кукольный сценарий. Так вот, для его кукол это будет как раз.

— После бани хорошо бы попить чайку, — предложил я Абуталибу, когда мы вошли из коридора в комнату.

— Валлах — годится и чай, биллах — неплохо и суп, таллах — не помешает и вино. А лучше всего после бани чистая водочка.

— Суп-то у нас есть, только он вчерашний. Теперь утро, мы не сварили еще свежего супа.

— Мы начнем с вчерашнего, а там, глядишь, подоспеет и свежий.

Пока Фрося хлопотала вокруг стола, я хвастался своей заграничной винотекой. Из разных заморских стран я навез в красивых разноцветных бутылках то ром, то коньяк, то джин, то виски, то кальвадос, то абсент, то вермут, то сливовицу, то венгерский уникум... И коньяки тоже были разных сортов: то мартини, то камю, то плиска.

— Выбирай, Абуталиб, что ты хочешь пить.

— Всю эту белиберду ты, Расул, убери. Угости, если хочешь, меня обыкновенной белой головкой. Белоголовая водка хороша не только тем, что мы знаем ее, но и тем, что она знает нас. То, что ты мне показываешь, может быть, очень вкусно, но все эти бутылки приехали издалека,

они говорят на других, неизвестных мне языках, а я говорю на языке, который будет непонятен для них. А привычки, а характер? Нет, мы совсем не знаем друг друга. Эти бутылки похожи на незнатных гостей, с которыми нужно сначала разговаривать, познакомиться, съесть пуд соли. Я боюсь, что мы не поймем друг друга. Оставь их для своих друзей — московских писателей. Оставь их и для тех, кто забыл вкус пищи, приготовленной родной матерью на родном очаге.

В моей коллекции не оказалось ни одной бутылки водки. Я сделал вид, что сейчас пойду в магазин, надеясь, что Абуталиб начнет меня отговаривать: ведь на улице дождь с холодным ветром, а спиртного в доме полно. В конце концов это прихоть — требовать водки, когда на столе стоят лучшие французские коньяки.

А Абуталиб действительно начал меня отговаривать:

— Нет, Расул, сразу видно, что ты еще молод, хотя и поседел. Разве ты должен сам ходить за водкой, разве нет людей помоложе тебя? Выйди во двор, попроси соседского парня, он и сходит. А я никуда не тороплюсь, я с удовольствием подожду его возвращения.

Пришлось сделать так, как сказал Абуталиб. Я дал денег соседскому парню, и тот побежал в магазин. А Абуталиб между тем оглядывался по сторонам.

— Что-то не видно в твоём доме гостей с гор. Неужели нет ни одного гостя?

— Сегодня нет никого.

— Когда был жив мой друг, а твой отец Гамзат, в этом доме всегда жили гости. А гости тем хороши, что у них всегда при себе табак.

— Курево у меня тоже есть.— И я достал из ящика набор сигарет и папирос.

— Эти гладкие белые трубочки не для меня. Это ваше московское курево, а мне по душе только наш крепкий горский табак. Придется доставать свой кисет.

Абуталиб вытащил из-за пазухи большой кисет и, вывернув его, наскреб на доньшке и в швах табаку — на одну самокрутку. Мастерски он свернул ее, склеил языком.

— Разве можно сравнить с этой самокруткой твои ровные табачные палочки? У моей самокрутки есть свое лицо, она похожа только на себя, а твои сигареты все как одна похожи друг на дружку. Теперь скажи мне, в чем больше удовольствия — достать из пачки готовую сигарету или скрутить самому такую вот замечательную самокрутку? Ведь когда я ее скручиваю, я уже получаю удовольствие, зачем же я буду этого удовольствия лишаться?

Я чиркнул не то швейцарской, не то бельгийской газовой зажигалкой, но Абуталиб отвел мою руку с огнем. Он вытащил из кармана кусок стали, обломок камня и кусок веревки. Конец веревки он приставил к камню и ударом железа высек искры. Потом он помахал трутом, заставляя его разгореться, и прикурив. Горящий трут он поднес мне к ноздрям.

— Понюхай, как пахнет. Хорошо? То-то. А чем пахнет от твоей зажигалки?

На некоторое время Абуталиб исчез в облаках табачного дыма. Потом дым немного рассеялся, и Абуталиб спросил:

— Скажи мне, Расул, почему твоя голова уже поседела?

— Не знаю, Абуталиб.

— А я вот знаю, почему я седой.

— Расскажи.

— Моя голова поседела оттого, что мне всегда приходилось долго ждать, пока эти проклятые мальчишки сбегают в магазин за водкой.

Да, Расул, дети не понимают родительских переживаний, пока у них не народятся свои дети. Точно так же нас не могут понять те, кто не пьет. За водкой нужно посылать того, кто сам любит выпить, тогда не будет задержки.

Между тем Фрося накрыла на стол. С некоторым запозданием на середине стола появилась и бутылка водки.

— Уф,—сказал Абуталиб.—Точно сурхинский председатель появился среди рядовых колхозников.— Он взял бутылку водки и покачал ее, как ребеночка.— Ай-ай-ай, какая хорошая бутылка! Наверно, очень хорошим человеком будет тот парень, который ее принес!

В это время Абуталиб обратил внимание на маленькие рюмочки, расставленные на столе. Лоб его сморщился, как от сильной горечи во рту или зубной боли. Он повертел рюмочку и так и сяк, заглянул в нее— по-моему, ему очень хотелось сунуть в нее окурок, дабы тем самым выразить окончательное презрение к предмету, ничего, кроме презрения, не заслуживающему.

Я взял большой рог, подаренный мне грузинами, передал Абуталибу.

Старый поэт долго разглядывал его с разных сторон и наконец оценил:

— Хороший рог, но он выглядел бы еще лучше, если бы на нем не было серебра. Словно пояс на женихе, это чеканное серебро на роге. А зачем оно? Разве водка от серебра станет крепче или вкуснее? Нет, Расул, дай-ка ты мне простой граненый стакан, который всю жизнь держала моя рука. Я знаю, сколько в стакане глотков, знаю, когда остановиться, когда продолжить.

Я исполнил и это желание Абуталиба. Он налил, бросил в стакан небольшой кусочек хлеба и сказал по-даргински:

— Дерхаб! — Затем выпил залпом до дна, перевел дух и добавил: — Слово «дерхаб» всегда нужно произносить перед тем, как выпить. Конечно, смысл его объяснить трудно, может быть, у него и нет никакого особенного смысла, но разве не понятно и так — «дерхаб»!

Выпив, Абуталиб пододвинул к себе тарелку с супом, вынул на отдельную тарелку мясо, а в суп стал крошить хлеб. Он ел неторопливо, с удовольствием, прочувствуя каждую ложку горячей и вкусной пищи. Время от времени он так же неторопливо отрезал от мяса небольшой кусочек и отправлял его в рот. Я думаю, что мясо для него не было бы таким вкусным, если бы он ел его по-другому или даже другим, а не своим карманным ножом.

Покончив с супом и мясом, Абуталиб собрал со стола все хлебные крошки и положил их в рот. Затем выпил еще немного и разгладил усы.

— Может, теперь хочешь чаю?

— Теперь мой чай — снова табак. Скажи мне, Расул, чем отличается папироска от всякой вещи?

— Не знаю.

— Всякая вещь, когда ее тянешь, делается длиннее, а эта, наоборот, укорачивается.— И он засмеялся, довольный своей немудреной загадкой.

— Много ты куришь, Абуталиб, не вредно ли для здоровья?

— Говорят, после сытного обеда закуривает даже сам аллах.

Накурившись, Абуталиб неожиданно спросил:

— Когда будет заседание правления?

— Завтра.

— Не знаешь, заявление Зайнуddина в Литфонд не будет разбираться на этот раз?

— Не знаю, да тебе зачем?

— Расскажу тебе притчу. Когда я был подростком, я пас телят.

Телята у меня были смиренные. Я свободно лежал на зеленой траве, на солнышке, а они паслись вокруг, и все были довольны: и я, и телята, и хозяйка моих телят. Но потом случилась беда — один бойкий теленок проведаль дорогу в овсяное поле. За ним потянулись и остальные. Моя спокойная жизнь на этом и кончилась. Не мог я отвадить телят от овса, и пришлось не отходить от них ни на шаг. Так получилось и с Литфондом для наших поэтов. Жили они спокойно, писали свои книжки, пока не разнюхали про Литфонд. Не знаю, кто из них был самый первый, но теперь-то все они пасутся в Литфонде, как мои телята в овсе. Про стихи они думают меньше, чем про Литфонд. Утром, вставая с постели, они пишут не стихи, а разные заявления о пособиях. Вот и я хочу написать одно заявление, а вы его на правлении обсудите.

— О чем же, Абуталиб, в чем твоя нужда?

— Ты знаешь, что мое тело не видел еще ни один врач. Но все же я теперь решил взять путевку в санаторий.

— Можешь считать, что путевка уже у тебя в кармане. Но не лучше ли вместо Союза писателей тебе обратиться в Верховный Совет Дагестана? Ты ведь член Президиума Верховного Совета. Правительственный санаторий лучше, чем писательский.

Абуталиб покачал головой и начал цокать языком. Это цоканье у него могло выражать самые разные чувства — и восторг, и досаду, и удивление, и, как вот теперь, отрицание.

— Нет, Расул, во-первых, в Верховный Совет меня избрали временно, на четыре года, а писатель я на всю жизнь. А во-вторых, и в том и в другом санатории все равно будут недостатки. Теперь скажи, кого мне сподручнее будет ругать — тебя с Хаппалаевым или сам Верховный Совет?

— Тогда пиши заявление, завтра разберем.

— Заявление-то мне напишет Мирза, сам я никогда не писал, а вы уж подготовьте путевку.— С этими словами Абуталиб встал, собираясь уходить.

— Куда ты теперь пойдешь, Абуталиб?

— Хочу сходить в издательство. Говорят, вышла моя новая книга. Надо посмотреть, сынок или дочка.

— Приходи вечером в Педагогический институт. Будет встреча писателей со студентами.

— Хорошо, приду. А зурну захватить?

— Ах, Абуталиб, ты ведь не зурнач, а поэт. Захвати лучше сборник стихотворений.

— Увидимся,— сказал Абуталиб и ушел.

Литературный вечер в женском Педагогическом институте был назначен на семь часов. Собрались поэты многонационального Дагестана. Ровно семь. Я посматриваю по сторонам, Абуталиба не видно. Пришлось начать вечер без него. На трибуне один поэт сменял другого. Они читали стихи каждый на своем языке. Кто по-лакски, кто по-кумыкски, кто по-лезгински, кто по-аварски. В то время как один молодой поэт читал свою поэму, раздались неурочные аплодисменты. Оказывается, из-за кулис на сцену вышел Абуталиб Гафуров. Девушки аплодировали ему.

Прослушав еще двух поэтов, я дал знак Абуталибу, чтобы он готовился выступать. Абуталиб сразу сделал серьезное лицо, уселся, как перед фотоаппаратом, и начал крутить усы. «Как видишь, готовлюсь», — хотел мне сказать тем самым старый поэт.

Выступая, Абуталиб поговорил немного с девушками то по-русски, то по-аварски, то по-лакски, ибо он все дагестанские языки знает каждый понемножку. Прочитал по-лакски два стихотворения.

Но всю эту свою, так сказать, литературную часть он вел торопливо, как нечто предварительное, как предисловие, как бы оставляя время для главного. Остановив жестом руки аплодисменты, Абуталиб спросил у зала:

— Хотите, я вам сыграю на своей зурне?

— Хотим, хотим, сыграйте! — закричали девушки.

Абуталиб принес из-за кулис зурну, свирель и начал потихоньку играть то на одном инструменте, то на другом. Но все понимали, что это лишь подготовка, лишь настройка инструмента, проба голоса. Убедившись, что инструменты налажены, Абуталиб неожиданно взял со стола стакан с водой и вылил воду в зурну.

— Прежде чем напиться самому, напои коня, — говорят горцы. — Прежде чем напиться сам, напои зурну, — говорят в горах зурначи.

Абуталиб начал играть на зурне, поворачиваясь вместе с ней то в одну, то в другую сторону. Перед целым залом молодых девушек Абуталиб был в ударе. Наверно, на всю Махачкалу разносилась в ту ночь зурна Абуталиба.

Садясь на свое место в президиуме, Абуталиб простодушно спросил у меня:

— Ну как я играл, хорошо?

— Хорошо.

— Тогда почему же так вяло аплодировал? Сейчас же аплодируй еще.

Эти слова Абуталиба были встречены дружным смехом зала.

Мне, как ведущему вечер, действительно не очень понравилось, что Абуталиб — замечательный поэт — выступил в роли зурначи. Это все равно, что, например, русский поэт Есенин, вместо того чтобы читать стихи, пустился бы на сцене в пляс. Плясать-то, наверно, Есенин умел. Но ведь всему свое время. Должно быть, я нахмурился, сидя в президиуме, и мало хлопал, чем и вызвал веселую, насмешливую зал реплику Абуталиба.

Провожаемые гурьбой девушек, мы спустились по широкой лестнице к гардеробу. Я надел свое пальто и посмотрелся в зеркало. В те годы были модны пальто с высокими прямоугольными подложными плечами. На мне было как раз такое пальто. Абуталиб увидел меня и покачал головой:

— Раньше плечи делались широкими от курдюка, то есть от жирной, здоровой пищи, а теперь — от ваты. Раньше песни пели, подыгрывали на кумузе, а теперь читают их по бумажке. Большие изменения произошли в мире. Не нравятся мне они.

— Почему опоздал на вечер, Абуталиб?

— Я совсем был готов и уже собирался выйти из дома, как вдруг прибегает из аварского театра артист...

— Зачем ты понадобился аварскому театру?

— У них, видишь ли, в спектакле должна быть свадьба. Теперь ведь без свадьбы не бывает ни одного спектакля. А зурнач заболел. Какая же свадьба без зурначи? Вот они и позвали меня поиграть на зурне. Всего на десять минут. Но пока мы дошли до театра, пока началась свадьба — время-то и прошло. Я им сыграл две такие песни, что зрители забыли про спектакль, слушали только меня. Если бы я играл им весь вечер, они бы сидели и слушали.

— На месте Абуталиба Гафурова, знаменитого поэта и члена Президиума Верховного Совета республики, я не пошел бы исполнять роль зурначи.

— Абуталиб лучше тебя знает, что ему делать, а что не делать.

— Был ли ты в издательстве и как твоя книга?

— Слава аллаху, книга вышла. Слава аллаху, денег немного получил. Слава аллаху, отдал долги. Слава аллаху, купил гуся.

— Будешь устраивать магарыч?

— Кому?

— Редактору, художнику, бухгалтеру. Всем, кто участвовал в издании книги.

— Редактору магарыч?! — Абуталиб даже остановился от возмущения. — Ему нужно устроить не магарыч, а могороч!

«Могороч» по-аварски значит что-то вроде «скрутить, надавать колотушек». Абуталиб долго смеялся своей удачной игре слов, затем он продолжал:

— Послушай, Расул, я слышал, что дагестанцев, которые делают своим сыновьям обрезание, могут чуть ли не снять с работы, а то даже исключить из партии. Почему же не снимают редакторов, которые кроме моих стихов, режут их на части? По отредактированной книге я сразу скажу тебе, из какого аула редактор. У нас, лакцев, в каждом ауле свой диалект. Так вот, редактор стремится перевести меня на язык своего аула. — Абуталиб вдруг замолчал и улыбнулся. — А вот женщина, которая дает подписывать договор, там хорошая. Ай, какая хорошая женщина! Этой женщине я сказал большое спасибо.

— А еще что ты ей сказал? Может быть, преподнес какой-нибудь подарок?

— Я ей сказал, что если у нее есть какая-нибудь худая, протертая, помятая и сломанная посуда, чтобы она приносила ее ко мне, а я почию, запаяю, исправлю, и будет как новая.

Эта выходка Абуталиба мне не понравилась еще больше, чем его игра на зурне в аварском театре. Увидев около забора кучу медного лома, я назвал старику спросил:

— Раньше, когда ты был лудильщиком, эта старая посуда, наверно, здесь не валялась бы. Ты бы ее подобрал и отнес домой?

— Нет, мне не удалось бы ее взять, Расул, — добродушно ответил Абуталиб. — Ее подобрали бы до меня.

Навстречу нам попался запоздалый пешеход. Абуталиб недолго думая остановил его, попросил табачку, спичек и закурил.

Что говорить, не нравилось мне поведение Абуталиба. Народный поэт Дагестана, прославленный на весь родной край человек, член правительств то играет на сцене как зурнач, то собирает чинить посуду секретарше в издательстве, то просит табачку у случайного прохожего на вечерней улице Махачкалы. Но я не стал выговаривать старику. Я боялся его обидеть. Вместо этого я сказал ему:

— Ты человек уже старый, Абуталиб. Не лучше ли будет для твоего здоровья, если ты бросишь курить?

— Ну вот, сегодня бросай курить, завтра бросай лудить, послезавтра бросай играть на зурне. А стихи в таком случае перестанешь писать поневоле, они сами убегут от меня. Они знают и любят Абуталиба, того, который лудильщик, курильщик и зурнач. Если же я перестану быть Абуталибом, то зачем я буду нужен моим стихам? Я — Абуталиб Гафуров, а не Расул Гамзатов, который не хочет курить и не умеет лудить, а умеет зато руководить Союзом писателей. Я также не Юсуп Хаппалаев, не Нуратдин Юсупов, не Максим Горький и даже не Зошенко...

(В то время ругали Зошенко, вот его имя и запало Абуталибу.)

— Где прятаться туру, кроме гор? Куда течь ручью, кроме ущелья? Ты не надевай на меня чужую папаху. И что ты все придираешься к моему прошлому? Ну да, я в прошлом зурнач, пастух и лудильщик. Но разве я стыжусь своих прошлых лет? Это ведь тоже был я, Абуталиб.

Запомни, Расул, что я тебе сейчас скажу: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Я оставлял жен, и жены оставляли меня. Но дело, которое я умею делать, не может от меня уйти, и я не могу уйти от него.

Да, это был он, старый поэт Абуталиб, друг моего отца! Таким он был, и таким нужно его принимать. Если бы он стал другим, он одновременно перестал бы быть и Абуталибом и поэтом.

Расскажу еще одну историю, которую можно назвать **НОВАЯ КВАРТИРА АБУТАЛИБА**. Это было в то время, когда меня только что выбрали председателем правления Союза писателей Дагестана. У должности этой больше прав, чем обязанностей, и если самому не искать себе работы, то можно спокойно заниматься своим основным делом, то есть писать стихи. Но я тогда еще был горячим молодым человеком. Я начал проявлять активность. Я начал искать себе всяческого дела, связанного с моей новой должностью.

Я думаю, что если человек хочет оценить крепость и устойчивость своего дома, то он начинает с осмотра балок, угловых столбов и вообще всяких опор. Я пригляделся и увидел, что опорой Союза писателей Дагестана являются четыре народных поэта четырех дагестанских народностей: лезгин Тагир Хрюгский, кумык Али Казияв, аварец Загид Гаджиев и лакец Абуталиб Гафуров. Усвоив это, я задумал мероприятие. Я решил, что будет неплохо, если эти четыре старца встретятся с правительством Дагестана. Поэты выскажут правительству свои нужды, правительство выскажет поэтам свои пожелания.

И вот мы беседуем с секретарем обкома Абдурахманом Данияловым. Беседа непринужденная, за чашкой чая, по душам. Мои поэты на седьмом небе от радости и в четыре голоса говорят, какой хороший наш новый председатель Союза Расул Гамзатов. Товарищу Даниялову хорошо с народными поэтами, и он в душе похваливает Расула, а я при сем присутствую как ни в чем не бывало.

Говорим о Дагестане, о жизни, о стихах. Наконец секретарь обкома сказал, чтобы каждый поэт в отдельности высказал какую-нибудь свою просьбу. Первым начал Тагир Хрюгский:

— Очень мне обидно, товарищ Даниялов. Когда приходит холодная зима, на кутанах погибают овцы. Разве нельзя летом послать туда много-много людей, чтобы они заготовили корма на всю зиму?

Товарищ Даниялов записал слова поэта и спросил:

— Больше просьб нет?

— А еще нельзя ли выдать одну автомашину для нашего колхоза в ауле Хрюг?

Слово перешло к Казияву Али. Казияв открыл рот и показал нам всем, и секретарю в том числе, свои старые, больные зубы.

— Вот нельзя ли мне вставить новые, хорошие зубы, а то трудно жевать. Да и петь беззубому не так хорошо. Когда читаешь стихи, приходится шепелявить.

Тотчас же Казияв показал нам на деле, как неудобно читать стихи без зубов. Он прочитал стихотворное послание председателю Хасавюртского горисполкома. В послании содержалась трогательная просьба дать старому поэту угля для отопления дома.

— Ну и что же, дали вам уголь? — спросил Даниялов.

— Дело тянется с прошлого года.

Секретарь снова пометил у себя на бумаге, и мы приготовились слушать Загида Гаджиева.

— Молодые люди на концерте, вместо того чтобы петь, кричат. Своим криком они портят хорошие народные песни. А новые песни такие,

что заставляют певцов кричать поневоле. Это все надо остановить. По радио слишком много поют о любви. А иные даже воспевают гурий из старинных сказаний. Скажите им, товарищ Даниялов, чтобы не воспевали гурий, а воспевали бы наших передовиков сельского хозяйства.

Окончив свою речь, Гаджиев повернулся ко мне и шепнул:

— Кроме того, оказывается, вчера Шахтаманов и Сулейманов в ресторане пили вино. Надо запретить писателям выпивать. По этому поводу я к тебе зайду отдельно.

Очередь дошла до Абуталиба.

— Дорогой Абдурахман, — обратился Абуталиб к первому секретарю. — Моя последняя жена родила мне сына.

— То есть как это так «последняя»?

— У меня было много жен. А что ж делать — ведь мои фотографии печатаются в газетах, обо мне говорят по радио, называют меня во всеуслышание народным поэтом Дагестана, депутатом, орденосцем. Легковерные женщины идут на эту приманку, обманываются, думают, что если я такой знаменитый, то у меня дворец, сундуки добра и мешки денег. И вот они выходят за меня замуж. Но потом они видят бедного Абуталиба, сидящего в подвале. Это им не нравится, и они покидают меня. Вот почему я был женат много раз. Да, дорогой Абдурахман, песни мои улетают в небо, как жаворонки, а сам я продолжаю сидеть в подвале. Из жалкого подвала выпускаю я в небо мои золотые песни. Теперь вот моя новая жена, родившая мне сына, грозит уйти от меня, если я не получу новую, хорошую квартиру. Она пойдет, прижав ребенка к груди... Слушай, Абдурахман, она еще не ушла, а мне ее уже жалко, не разрушай мою семью, дай мне очаг, где я мог бы оседлать кастрюлю. Мне уже за семьдесят, моя арба катится не вверх, а под гору, под уклон. Кроме того, если ты дашь мне квартиру, то я приглашу тебя в гости.

Не прошло и недели, как Абуталиб получил ордер. Прощай, веселый подвал! Наш Абуталиб переехал в трехкомнатную квартиру на третьем этаже нового дома по улице Пушкина.

Однажды на улице мне повстречался Абуталиб. Увидев меня, он сделал вид, что чего-то ищет в куче железного лома.

— Здравствуй, Абуталиб, как живешь на новом месте, нравится ли квартира?

— Да вот который день все ищу колокол, чтобы повесить около дома и звонить, зазывая тебя в гости, сын Гамзата из аула Цада. Трижды я открывал окно в сторону моря и играл на зурне, надеясь, что ты услышишь мою зурну и придешь на ее зов. Но, видно, не обойтись без большого колокола. Пойду искать.

Тотчас мы отправились смотреть новое жилище Абуталиба. В новом его жилище были одни лишь стены. На полу там и сям лежал скарб Абуталиба, перенесенный из подвала: старая зурна, кумуз, старые кузнечные мехи (бог знает, зачем они ему в новой квартире), старые керосинки, тазы, ведра, кувшины, сапоги, тулуп. Старые гости приходили к Абуталибу с гор. У них были старые хурджуны. Люди с гор приезжали не только в гости, но хлопотать о каких-нибудь своих делах. Держа пустой хурджун такого гостя, Абуталиб говорил:

— Проклятый хурджун, почему ты пуст? Если бы ты был наполнен чем-нибудь тяжелым вроде баранины, дело моего гостя сладилось бы гораздо быстрее. Сколько раз из-за того, что ты пуст, людям приходится напрасно преодолевать гору Чанх!

Так ругал Абуталиб пустой хурджун, ища глазами место, куда бы посадить меня. Наконец, не найдя ничего подходящего, он дал мне в руки большой нож и, подойдя к окну, показал на сарайчик во дворе:

— Там сидит гусь, иди и зарежь его. Это будет наша еда.

Я присткрыл дверь сарая, кое-как поймал гуся. Гусь отчаянно трепыхался в моих руках, когда я приступил к делу. Сверху донесся голос Абуталиба:

— Кто же так режет? Поверни гуся головой в другую сторону. Ты что, не знаешь, в какой стороне находится Мекка?

Но вообще-то я со своей задачей справился неплохо и даже в конце концов заслужил одобрение Абуталиба.

Абуталиб, как у нас говорится, оседлал кастрюлю и долго возился с обедом. Я между тем осматривал его квартиру. Хотя старый поэт и переселился из подвала, но всю свою подвальную жизнь, начиная со старой кастрюли и кончая привычками, он перенес сюда. В квартире не было ни одного стула, ни стола, ни шкафа, ни кровати, никакой мебели вообще.

— Где же ты пишешь стихи, Абуталиб?

— В этих комнатах я не написал еще ни одного путного стихотворения. Сначала я ходил писать в старый подвал, но теперь его передали художнику под мастерскую. Аллах свидетель, даже спится мне здесь хуже, чем в том подвале. У меня там и денег шло меньше, и времени было больше. Люди тоже надоедали не так сильно. Редко кто забредет ко мне в тот подвал. Ну, правда, не было видно моря. А теперь вот оно, всегда перед глазами старого Абуталиба.

Абуталиб долго смотрел на Каспий, кипящий в это время сине-белым порывистым штормом. Я не мешал ему, мы молчали. Потом Абуталиб снова заговорил:

— Расскажу тебе, Расул, о двух днях моей жизни: о самом радостном и о самом печальном дне.

— Расскажи.

— Видишь ли, Расул, радостных дней у меня, конечно, было немало. Орден дали — я радовался; ордер дали — я радовался; когда в двадцатом году красные дали мне боевого коня — я радовался. И я ездил с красными, и был зурначом отряда, и на боевых дорогах мой конь касался мордой крупа нашего командира. И это тоже для меня была радость. Но все же самая первая и самая большая радость была не та. Я был тогда одиннадцатилетним мальчиком и пас телят. И вот отец подарил мне первые в жизни чарыки. Не найдется слов, чтобы передать гордость, которая поднималась в моем сердце от этих новых чарыков. Я смело ходил по ущельям, по тем тропинкам, где еще вчера ранил ноги об острые холодные камни. Теперь же я твердо наступал на эти камни, не чувствуя ни боли, ни холода. Моя радость длилась ровно три дня, а вслед за ней пришли и самые горькие минуты моей жизни. На четвертый день мой отец сказал: «Ну вот, Абуталиб, теперь у тебя есть новые, крепкие чарыки, у тебя есть палка, у тебя есть за плечами одиннадцать лет, прожитых на земле. Пора тебе отправляться в путь, чтобы самому кормить и одевать себя». Отец сказал, чтобы я шел по аулам и собирал милостыню. В этот час я пережил больше душевных мук, чем за всю остальную жизнь. Слезы и потом падали из моих глаз, но это уж были не такие горькие слезы. Один писатель сказал про меня: «Абуталиб получил новую квартиру. Посмотрим, какие стихи он в ней напишет». Как будто я не знаю, что стихи не завясят от квартир. Поэт — сам квартира для своих стихов. Сердце поэта — вот где жилище его поэзии. Во мне живут все, и радостные и горестные мгновения моей жизни. А где живу я сам, не имеет значения.

Квартира Абуталиба произвела на меня сильное впечатление. Я рассказал о ней руководителем Дагестанской республики, и было решено использовать часть гонорара Абуталиба за его книгу «Ласточки летят

на юг», чтобы купить для новой квартиры поэта новую, хорошую мебель. Была создана «оперативная тройка»: директор Дагестанского книжного издательства, министр торговли и я. Мы должны были найти всю необходимую мебель, купить ее и перевезти на квартиру Абуталиба. Все переговоры с ним, которые могли возникнуть по ходу дела, было поручено вести мне.

Мы втроем объездили все склады Махачкалы и выбрали, что нужно: спальню — пусть отдыхает с удовольствием наш народный поэт, кабинет — пусть он пишет свои замечательные стихи, столовую — пусть вкусно ест и сладко пьет.

Мы думали, что, получив всю нашу мебель и расставив ее, Абуталиб прибежит, чтобы рассыпаться в благодарностях. Но от него не прилетело к нам и простого спасибо или хотя бы подтверждения, что мебель уже на месте. Тогда мы сами решили пойти проведать Абуталиба и посмотреть, как он распорядился нашими покупками.

Стучаться нам не пришлось, так как дверь в квартиру была открыта. Мы вошли в комнату. Рядом с обеденным столом, на полу, на ковре, сидел Абуталиб со своей семьей. Они сидели на корточках кружком. Перед ними на газете лежала еда. Абуталиб хлебал кефир из тарелки. Абуталиб поглядывал на полированный обеденный стол, как на девушку, которая набивается в объятья, но обнимать которую он, Абуталиб, не имеет никакого желания.

В другой комнате мы увидели прекрасный письменный стол. На нем лежали нетронутыми бумага, ручки, стояла чернильница. Эти предметы, как, впрочем, и сам стол, походили скорей на музейные экспонаты, нежели на предметы обихода. В противоположном конце комнаты на полу лежали листочки бумаги, исписанные арабским шрифтом.

— Что ж, Абуталиб, разве ты не умеешь пользоваться современным алфавитом?

— Умею, но привык писать по-старому. Сначала напишу арабским шрифтом, а потом для редактора переписываю по-нашему, вроде бы как перевожу сам себя.

— И на кровати еще ни разу не спал, — сообщила нам жена. — Напрасно только вы покупали такие дорогие вещи.

— А, что кровать?! В первое время, в первый год моей жизни в городе, я вместо подушки клал горный камень и спал крепче, чем на подушке. Спать на камне я привык, когда пас телят.

— Так, значит, ты недоволен обстановкой, которую мы тебе подобрали? Этим кабинетом, этими стульями, столом, шкафом?

— Мебель очень хороша. Но она больше подошла бы для моего соседа Годфрида Гасанова.

— Хороший сосед Годфрид Гасанов?

— Может быть, он и хороший человек, но мы с ним не ладим.

— Почему же?

— Слишком уж он культурен. Кроме того, я слишком деревенский, а он слишком городской. Я слишком горный, а он слишком равнинный. Папахи у нас тоже разные. Наверное, не одинаковые и головы. Я сын своей земли, а он сын своего ремесла. Он терпеть не может мою зурну и ее песни, а я терпеть не могу его пианино и его симфонии. Стараюсь получить удовольствие от его музыки и не могу. И он тоже — только я возьму в руки зурну, он уже стучит: «Абуталиб, мешаешь работать». Я ему нарочно говорю, что это, мол, не я, а радио. И правда, были случаи, он стучался ко мне, когда по радио играла зурна. Выходит, он запрещает мне не только самому играть на зурне, но и слушать игру зурны по радио. Одним словом, не похожи мы друг на друга. Ко мне приезжают гости с гор, из аулов с хурджунами, а к нему из Москвы с

портфелями. У меня для гостей — буза и хинкалы с чесноком, а у него — коньяк и кофе. Я хожу на базар, а он в магазин. Когда я сплю, он пишет, когда он спит, я пишу. Он любит цветы, которые растут на городской клумбе, а я люблю цветущие травы на высокогорных лугах. Слышите, он и сейчас играет какую-то свою симфонию.

Абуталибова соседа мы хорошо знали. Это был заслуженный деятель искусств Дагестана и Российской Федерации Годфрид Алиевич Гасанов. В то время он работал над своим концертом для фортепьяно. Я с наслаждением слушал его тонкую, вдохновенную музыку. Я думал: «Какая воистину великолепная симфония получилась бы, если бы слить в один эти два больших и сильных таланта: простой народный талант Абуталиба и профессиональный, образованный талант Гасанова».

А еще я подумал, что было бы большой удачей, если бы в моих стихах, в моих книгах я смог соединить эти две струи: простодушный характер моего народа, его непосредственную открытую душу — с отточенным мастерством профессионала. Я хочу, чтобы Абуталиб и Годфрид соединились в моих стихах. Я хочу, чтобы их соседство в моем творчестве было мирным, не таким, как соседство по дому.

Да, я надеюсь на содружество этих двух начал. Но все же, если бы его не могло быть и если бы меня заставили выбирать... Пожалуй, в конце концов самому тонкому цивилизованному напитку я предпочел бы ледяную хрустальную струю горного родника. И то сказать, культура, цивилизация, тонкости профессии — дело наживное. Если их нет, их можно приобрести, в то время как национальные народные чувства даны человеку от рождения. Народный поэт и зурнач Абуталиб в других условиях мог бы стать профессиональным музыкантом и даже композитором, но профессиональный композитор и музыкант Годфрид никогда не может стать простым народным певцом.

Когда мы прощались, Абуталиб вдруг спросил:

— Нельзя ли, Расул, привести ко мне телефон?

— Зачем тебе телефон, если ты отказываешься даже от письменного стола и от кровати?

— По телефону я буду играть на своей зурне. Иногда Николаю Тигонову в Москву, иногда председателю нашего колхоза. Должен же председатель знать, что я еще жив, что моя зурна поет все те же самые песни. Послушав мою зурну по телефону, председатель поймет, что в моей городской квартире живут звуки и запахи наших гор.

— Полно, Абуталиб, твои мелодии, напоенные ароматами гор, и без телефона долетают и до Москвы, и до родного аула, и до всех дагестанских аулов, и во все стороны белого света. Они летят выше гор.

Теперь я прощаюсь с Абуталибом и расскажу вам случай, который произошел со мной и моим отцом.

ВОСПОМИНАНИЕ. У нас почему-то не было заведено читать стихи друг другу и даже разговаривать о них. Я узнавал о новых стихах отца, когда они уже были опубликованы или читались по радио. Или когда друзья, слышавшие эти стихи, говорили о них. Точно так же и отец не знал моих новых стихов, пока они не были напечатаны.

В 1949 году аварская газета опубликовала мою поэму «Год моего рождения». Газета, естественно, побывала в руках отца, и вот я обнаружил экземпляр этой газеты с карандашными пометками. Оказывается, отец внимательно прочитал мою поэму и очень многие строки переделал на свой лад. Легко было заметить, что отец заменял мои наиболее витиеватые строки, ему не нравились мои наиболее сложные метафоры, наиболее броские сравнения. В строках, написанных повесть моих строк, отец старался выразиться проще, яснее, доходчивее.

Я жалею и до сих пор, что не сохранилось этой газеты с исправлениями Гамзата. У меня привычка: как только стихи опубликованы, я сжигаю все черновики и все рукописные варианты.

Большинству исправлений я был рад. Я увидел, что поэма стала лучше, но со многими поправками я не согласился. Я говорил отцу:

— Конечно, ты мудрее, талантливее, крупнее меня. Но я ведь поэт другого времени. У меня другая школа, другие литературные пристрастия, другой стиль — все другое. В этих поправках сразу виден поэтический почерк Гамзата Цадаса. Но я ведь не сам Гамзат, а всего лишь Расул Гамзатов. Позволь мне иметь свой стиль, свою манеру.

— Ты не совсем прав. Твой стиль, твоя манера, то есть твой нрав и характер, должны стоять в стихах на втором месте. На первое же место нужно поставить нрав и характер своего народа. Сначала ты горец, аварец, а потом уж Расул Гамзатов. Ты высказываешься в своих стихах так, как никогда не высказался бы ни один горец. Если же твои стихи будут чужды духу горцев, их характеру, то твоя манера обернется манерничанием, твои стихи превратятся в красивые, хотя, может быть, даже и интересные игрушки. Откуда возьмется дождь, если не будет тучи? Откуда возьмется снег, если не будет неба? Откуда возьмется Расул Гамзатов, если не будет Аварии и аварского народа? Откуда возьмутся твои собственные законы, если не будет общих для народа законов, выработанных веками?

Вот какой разговор произошел однажды между мной и моим отцом. Все мои остальные годы, все мои остальные дороги подтвердили потом правоту отца.

ПРИТЧА О ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЕ. Молодой дагестанский поэт поехал учиться в Москву в Литературный институт. Прошел год, и вдруг появилось объявление, что наш студент разводится со своей женой, женщиной из далекого горного аула.

— Почему ты разводишься? — спросили мы у него. — Женился ты недавно, женился, как видно, по любви, что же произошло?

— Между нами нет теперь общего языка. Она не знает Шекспира, она не читала «Евгения Онегина», она не знает, что такое «Озерная школа», она никогда не слышала о Мериме.

Вскоре молодой поэт приехал в Махачкалу с женой-москвичкой, как видно, слышавшей и о Мериме и о Шекспире. Один только год прожила она в нашем городе, и пришлось ей снова возвращаться в Москву, ибо муж объявил развод.

— Почему ты разводишься? — спросили мы у него. — Женился ты недавно, женился, как видно, по любви, что же произошло?

— Между нами, как оказалось, нет общего языка. Она не знает ни слова по-аварски, не знает наших аварских обычаев, не понимает характера горцев, моих земляков, не хочет видеть их у себя гостями. Она не знает ни одной аварской пословицы, ни одной аварской загадки, ни одной песни.

— Что же ты будешь делать?

— Придется, наверно, жениться в третий раз.

Мне кажется, что, прежде чем искать третью жену, молодому поэту нужно найти себя.

Пусть моей книге будут сродни и горы Аварии, и сонеты Шекспира. Я хочу, чтобы моя книга была той самой третьей женой, которую до сих пор ищет молодой дагестанский поэт.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. В Махачкале построили со-рокаквартирный писательский дом. Началось распределение. Одни тре-

бовали, чтобы квартиры распределялись соответственно таланту, другие говорили, чтобы учитывалось количество детей.

Нужно сказать, что распределение квартир среди писателей — трудное дело. Но кое-как все утряслось. Сорок писательских семей въехало, справило новоселье, а на другой день двадцать писательских жен дружно укатили в Москву. Возвратились они через несколько дней усталые, исхудавшие, как после войны. Несколько позже, багажом, начала прибывать новая московская мебель.

Оказывается, сначала они очень долго искали и выбирали. Потом одна осмелилась, купила. Другие не хотели, чтобы у них мебель оказалась хуже. На несчастье, первая жена купила самую дорогую мебель, и перешеголять ее покупку было нельзя. В результате все двадцать квартир похожи одна на другую, как похожи зубья одной расчески. Придя в такую квартиру, нельзя сказать, что в ней живут аварцы.

В других квартирах, едва вы переступаете порог, вам в нос бросается крепкий запах вяленого мяса, сушеной домашней колбасы, бузы, овчины, жареного бараньего сала. Да, здесь видно, что живут аварцы, но не видно, что живут писатели, которые имеют понятие о духе и стиле времени.

Пусть каждый, кто будет читать мою книгу, сразу поймет, что здесь живут аварцы, но пусть он сразу поймет и то, что здесь живет его современник, человек XX века.

Я не хочу ни только тени, ни только солнца. Пусть в моей квартире будут большие солнечные окна, но пусть в ней будут и тенистые укромные уголки. Я хочу, чтобы каждый гость чувствовал себя в моей квартире легко, свободно, непринужденно, чтобы ему не хотелось из нее уходить, вернее (если говорить о гостях), чтобы они уходили из нее с сожалением и с желанием вернуться вновь.

Однажды в Японии мы, представители разных стран, стали делиться своими впечатлениями. Мы стояли у фонтана, который был выложен, казалось, нашими дагестанскими камнями, теми самыми, которыми в ауле выложено место, где собирается годекан.

— Удивительная страна, — первым сказал американский композитор. — Мне кажется, в лике Японии я узнаю лик индустриальной Америки.

— Что вы, — возразил журналист с Гаити. — Я только что вернулся из японской деревни — больше всего Япония похожа на наш небольшой остров.

— Не спорьте, господа, все веселье и вся грусть Парижа сосредоточены здесь, — возразил им обоим французский архитектор.

А я смотрел на камни японского фонтана, которые, казалось, привезены из аварского аула, и думал: «Удивительная страна Япония. В ней есть все, что есть в других странах мира, но в то же время она не похожа ни на одну другую страну. Она — Я п о н и я».

Пусть и в тебе, моя книга, каждый найдет свое, но все же останься моей книгой, будь сама собой, будь не похожей на все другие книги. Ты мой аварский, мой дагестанский дом. Пусть в этом доме рядом с тем, что лежит века, лежит и то, что в нем еще никогда не лежало.

О Т Е Ц Г О В О Р И Л. Литературное произведение, если в нем не видно автора, все равно что конь, бегущий по дороге без всадника.

Г О В О Р Я Т. У одного горца рождались все время дочери, а он мечтал иметь сына. Каждый считал своим долгом дать неудачливому отцу какой-нибудь совет. Столько ему советовали, что он, наконец, рассердился и сказал:

— Перестаньте, наслушавшись ваших советов, я разучился и тому, что умел.

Здание этой книги. Сюжет

*Мы камни. Скоро в стену ляжем мы
Дворца, сарая, храма или тюрьмы.*

Надпись на камне.

*На драгоценный камень смотрят в оправе,
на человека — в доме.*

Свадьба сыграна — надо строить жильё.

Просторные дворцы моих мыслей, тяжелые башни размышлений, дома рассказов, возвышенные шпили стихов... Вот я навозил камня, приготовил бревен, выбрал место для возведения нового здания. Теперь мне надо быть всем понемногу — зодчим, инженером, математиком, каменщиком, плановиком.

Какое здание воздвигнуть мне? Какие очертания придать ему, чтобы радовало глаз? Чтобы оно было стройное и красивое, чтобы оно было невиданным до сих пор и казалось знакомым. Не такое, чтоб головами задевать за потолок, как в теперешних малогабаритных квартирах, но и не такое, чтобы на потолок смотреть, задирая голову. Не такое, чтобы в дверь не протащить обыкновенного стола, но и не такое, чтобы в двери проезжать на верблюде. Не такое, чтобы оно было проходным двором или клубом, где послушают концерт и уйдут, но и не такое, чтобы оно было мечетью, куда приходят только помолиться. Чтобы оно не годилось под контору, набитую справками, заявлениями, и чтобы оно не было похоже на вечно крутящуюся мельницу Али.

Прочитав поэму молодого горца, отец сказал:

— Слишком красивы стены у этой поэмы. Она похожа на курятник, который построил Аликебед. Курятник не должен напоминать дворец, а дворец не должно употреблять под курятник.

Когда же отец прочитал слишком длинный рассказ другого писателя, рассказ, который писатель, казалось, не может никак закончить, он сказал писателю:

— Ты открыл дверь, которую тебе не закрыть. Ты отвернул кран, который тебе не завернуть. Ты слишком размочил веревку, когда затягивал узел.

В детстве, я помню, в наш аул приходили певцы. Я лежал на краю крыши, смотрел вниз на улицу и слушал певцов. Они подыгрывали себе кто на бубне, кто на скрипке, кто на чонгуре, а чаще всего на кумузе. Они приходили из разных мест и в разное время. Они пели разные песни и ни разу не повторяли одну песню дважды. Особенно мне нравилось, когда два-три певца начинали соревноваться между собой.

Песни были длинные, и я их все перезабыл. Но все же из каждой почти песни остались в памяти где четыре, где восемь строк, где две строки. Наверно, эти запомнившиеся строки были самыми поэтичными, либо самыми умными, либо самыми острыми, либо самыми веселыми, либо самыми печальными.

Не знаю, почему мне запомнились именно эти строки, а не другие, но я ношу их в себе до сих пор и твержу иногда как самое заветное, самое близкое, как имя любимой.

Впрочем, и в других аварских песнях, которые я знаю наизусть с начала до конца, у меня все равно есть избранные строки, которые я люблю больше, чем всю остальную песню.

Да что песня?! В своих собственных стихотворениях я тоже выделяю и тоже люблю некоторые строки, которые кажутся мне удачнее, сильнее, поэтичнее остальных. Признаюсь вам по секрету, у меня есть

длинные стихотворения, которые я написал ради нескольких дорогих мне строк.

Эти строки: если стихотворение — ремень, то они кинжал на ремне; если стихотворение — поле, то они колосья в поле; если стихотворение — птица, то они крылья птицы; если стихотворение — олень, стоящий на краю скалы, то они глаза оленя, смотрящие вдаль.

Однажды я подумал: если в стихотворении мне особенно дороги, скажем, восемь строчек, то зачем я пишу еще восемьдесят? Нельзя ли сразу так и писать эти восемь самых лучших строк? Вот почему я написал целую книгу восьмистиший.

Обрадовавшись приходу гостя, горец хватает нож и режет быка. Но гостю нужен был всего лишь небольшой кусок мяса. Никакой гость быка съест не может.

«Зачем же и мне,— подумал я,— резать целого большого быка, если мне хватит и одной курицы?»

Вот почему из книги, которую я когда-нибудь напишу, мне хотелось бы убрать все лишнее и оставить только те места, которые мне все равно были бы дороги, если бы даже книга была в десять или двадцать раз длиннее.

Однажды в моем присутствии молодой лакский поэт читал Абуталибу свои стихи. Он прочитал десять стихотворений. Когда поэт ушел, Абуталиб сказал мне:

— А все-таки он молодец, из него выйдет толк.

— Тебе понравились его стихи?

— Все стихи у него слабые. Но было восемь строк, за которые можно отдать крепость, только что завоеванную в бою. Такого восьмистишия еще никто по-лакски не написал.

Но если в стихотворениях и песнях существуют незабываемые строки — четверостишия, восьмистишия, — то точно так же существуют встречи и дни, а для страны — события и подвиги, которые остаются в памяти. Я хотел бы включить их, вмазать, вмонтировать в стены моего нового здания — моей новой книги. Мне не хотелось бы подменять их красивыми разъяснительными словами, пусть они говорят сами.

Март на побережье моря всегда бурный месяц. Однажды в марте над Махачкалой пролетел ураган. Столкнулись два ветра: один — прилетевший с Каспия, другой — спустившийся с гор. Один врезался в город, разогнавшись на морском просторе, другой обрушился, свалившись с большой высоты. Ветры сцепились в жестокой схватке, переплелись, и пошла борьба. Когда борются два великана, опасно путаться у них под ногами. На этот раз под ногами у борющихся оказалась Махачкала.

Все, что плохо лежало, все, что плохо держалось за землю, тотчас полетело по ветру. Летели тощие деревца, пустые ящики, крыши хиброк, фанерные ларьки, всякий мусор.

Но прочно и гордо стояли, крепко вцепившись в землю, старые деревья и большие дома. Все легковесное и непрочное было унесено, а основательное и устойчивое осталось.

ТОЧНО ТАК ЖЕ: события, чувства, мысли человека бывают такими, что их уносит даже легким ветерком времени, но они бывают и такими, что даже могучим житейским ураганам не под силу развеять и сдуть их.

Из этих устойчивых событий, из этих мыслей, из этих чувств мне и нужно строить здание книги. Оно должно быть построено в традиционном аварском стиле, но в то же время должно быть и современным. Дом нужен такой, чтобы и семья была рада в нем жить, но чтобы и гость был доволен. Дом должен быть такой, чтобы дети находили в нем свое счастье, молодые — свою любовь, старые — свой покой.

Моя книга — мой Дагестан. В каких очертаниях я вижу тебя? С чем сравню? С парящим орлом? Но орел не дело рук человеческих, его творила природа, и от нашей мысли в нем нет ничего. Тогда, может быть, с самолетом? Но самолет летает слишком высоко над землей, а когда катится по земле, то вокруг него только пейзаж аэродрома. Не люблю, когда на землю взирают с высоты и говорят о ней с высоты.

Нет, я вижу очертания такого аппарата, который летает, как самолет, ездит, как поезд, и плавает, как корабль. Я на нем и летчик, и машинист, и кормчий. Наша отправная станция — наш аэродром, наша пристань, наше депо — тысячелетний бессмертный Дагестан. Отсюда мы можем мчаться по воздуху, по суше и по воде в любые края земли. Туда, где я уже побывал, или туда, где побывала хотя бы моя мечта. Мы едем, летим, плывем. В окнах видны белоснежные горы, изумрудные сочные луга, широкие реки, безбрежные океаны. Бурная весна, кроткая осень, жестокая зима и знойное лето проплывают мимо наших окон. А сколько пассажиров вокруг меня! Тут и мюриды Шамиля с повязками, сквозь которые проступает кровь, и горцы-партизаны, и мои современники — люди разных профессий. Вокруг меня все, кого я когда-либо видел, встречал, с которыми разговаривал и которых запомнил.

Да, в мою книгу-поезд, книгу-самолет, книгу-пароход нужен единственный билет или пропуск: чтобы я запомнил. Чтобы люди и события были, как те восьмистишия и строки, которые запали в мою память из длинных песен, исполнявшихся бродячими певцами. Чтобы они были, как те восемь строк, которые отметил Абуталиб, прослушав десять длинных стихотворений поэта. Чтобы они были, как те деревья и те дома, которые устояли под ураганом, в то время как все легковесное и неустойчивое унесло наподобие осенних листьев.

Иначе я уподобился бы Муслиму из аула Казанищи. Расскажу вам теперь, что с ним случилось.

В мае, когда овец из душной, пыльной степи угоняют в зеленые прохладные горы, Муслим из аула Казанищи попросил у Союза писателей командировку, чтобы написать очерки о перегоне овец. Впрочем, может быть, это было в сентябре, когда овец, наоборот, с холодных уже к этому времени гор перегоняют на зимовку в более теплые степи. Командировку мы Муслиму дали. Муслим уехал и добросовестно прошел весь путь вместе с чабанами и отарами. Когда он возвратился, то блокноты, исписанные им, везли на отдельной лошади. Оказывается, он изо дня в день записывал все, что видел. Ничего, никакая мелочь не ускользнула из-под его карандаша. Увидев коня, записывал про коня, увидев чабана, записывал про чабана, увидев овцу, записывал про овцу. А ведь сколько там было чабанов и овец! Писал он и о том, что увидел, и о том, что услышал. И опять-таки не пропустил ни одного рассказа. Писал он и о тех, кто забегал вперед и кого приходилось удерживать, и о тех, кто отставал и кого приходилось подталкивать. Книга о дороге получилась длиннее, чем сама дорога. Получилась книга, на чтение которой нужно потратить столько же времени, сколько потратил Муслим на само путешествие. Чабаны рассказывали нам потом, что, когда поднимались на Гемринский хребет, повстречался мул. Мало того, что Муслим, увидев этого мула, тут же взял беднягу на карандаш, — ему захотелось поглядеть на каждое из четырех копыт. Муслим бросился к мулу, схватил его за заднюю ногу и хотел поднять. Но мул не мог знать благих намерений писателя и всей важности события, он нетактично лягнул досужего Муслима и попал как раз в нос.

Чабаны смеялись вокруг:

— И это должен записать Муслим.

Конечно, мул — животное капризное и с дурным нравом, но в этом случае он, пожалуй, был прав. Излишняя назойливость должна быть наказана.

Потом обсуждали труды Муслима в Союзе писателей. Шутя мы спросили у него:

— Скажи, Муслим, в твоей книге написано обо всем, начиная с осленка из аула Хариколо и кончая копытом мула. Почему же ты пропустил безрогого козла?

— Что вы, как можно пропустить! Безрогий козел у меня тоже есть, но только я сказал о нем на местном диалекте. Он у меня называется «ханква».

Мы все посмеялись, но потом все же попытались вразумить Муслима, что писатель не должен писать обо всем, что увидит, но должен выбирать из всего только то, что ему нужно. Одна фраза может выразить большую мысль. Одно слово может выразить большое чувство. Один эпитет может выразить все событие.

Не так давно у нас проводились всевозможные реорганизации. И сейчас мы нет-нет да что-нибудь реорганизуем. Я тоже заразился этим. Я реорганизую жанр, которым владею. Я собираю все жанры в одну книгу, осуществляю общее над ними руководство. В одном случае я сокращаю штаты, в другом увеличиваю. Меняю жанры местами, сливаю два в один, а один разделяю на два. Если очень много реорганизовывать, то одна какая-нибудь реорганизация хотя бы случайно получится удачной.

ПРИТЧА О ГОРЦЕ, ПРИЕХАВШЕМ В МАХАЧКАЛУ. Горец приехал в Махачкалу в командировку. У него было много денег, к тому же они были не свои, а командировочные. Обедал и ужинал он в ресторане. В день приезда он кричал на весь ресторан:

— Официант, еще коньяку!

Все слышали, оборачивались в его сторону и дивились, кто это такой, кто так много пьет и не жалеет денег на дорогой коньяк.

В последний день командировки наш горец тихонько, шепотом спрашивал у того же официанта:

— А почему у вас в ресторане лапша?

Итак, быка узнают не в начале пашни, а в конце, не по тому, как он брыкается на лугу, а по тому, как он ходит в ярме. Не тогда говорят о коне, когда на него садятся, а когда с него слезают.

Не раздуваю ли я свою книгу, как ансалтинцы трубу? Не делаю ли я деревянной печи наподобие сиюхцев? Не убиваю ли я собаку вместо волка, как это сделали однажды мои земляки цадинцы?

Когда начинаешь путь к цели, цель далека. Хватит ли у меня смелости, любви и терпения, чтобы ее достичь? Или придется в конце пути почесывать себе затылок и думать, почему лапша?

ВОСПОМИНАНИЕ. Однажды в Дагестан пришла лютая зима. Неожиданно выпал снег, который покрыл землю чуть ли не на метр. Овцы и ягнята остались без корма. Они начали гибнуть. Меня вызвали в обком партии и говорят:

— Поезжай, Расул, на кутаны, нужно спасти овец.

— Какую же помощь я им окажу?

— На месте увидишь. Придумаешь. Надо найти пути для их спасения.

Дороги к овцам я не знал как следует и в хорошую погоду, какое же мне было искать ее в пургу! Но партийная дисциплина превыше всего, и я брел сквозь снег и ветер. Наконец я набрел на одну кошару. Меня встретили печальные чабаны. Слезы на их щеках и усах превра-

гились в ледяные мутные бусинки. Окровавленными мордами овцы пытались сквозь обледенелый снег добраться до травы. Но прогрызть ледяную кору они не могли и погибали. Собаки спрятались от ветра в укромные места, не думая ни о волках, ни о ворах. Одним словом, бедствие и беспомощность — вот что я нашел здесь. Увидев меня, чабаны горько засмеялись:

— Чего нам не хватает сейчас, так это стихов и песен. Ведь ты пришел, чтобы читать нам стихи или спеть нам песню, о сын Гамзата из аула Цада? Ты лучше изобрази нам плач, а мы тебе будем подвывать.

Три дня я просидел в шалаше чабанов, а потом, увидев, что никакой пользы от меня нет и не может быть, показал чабанам свою спину. Путь мой лежал к Махачкале.

— Ну как, спас овец? — спросили меня в обкоме.

— Трех баранов я спас.

— Каким образом, расскажи?

— Очень просто, чабаны зарезали трех баранов, и мы их съели. Считаю, что этих баранов я спас.

— Ладно, — рассердились в обкоме, — иди занимайся своими стихами, а спасать овец мы будем, как видно, без тебя. А чтобы лучше писались стихи, объявляем тебе строгий выговор.

Не случилось бы подобного и с моей книгой. Выхожу спасать отары, но с чем вернуться? День, начинающийся на рассвете, не всегда бывает таким, как нам бы того хотелось.

ВОСПОМИНАНИЕ. Помню первый день учебы в Литературном институте в Москве. Только мы начали учиться, а у меня день рождения. Конечно, меня не поздравляли, потому что никто еще не знал, что я в этот день родился. У меня были отложены деньги на покупку пальто, мне их дал отец.

«Давай-ка, бедный Расул, — сказал я, — сделаем в день рождения подарок самому себе — купим пальто». Взял я деньги и пошел на Тишинский рынок.

В те первые послевоенные годы что за рынки были в Москве! Свои законы, свои спекулянты, свои милиционеры. Наверно, там можно было купить все, за исключением разве осла или ослицы.

Больше всего Тишинский рынок походил на встревоженный муравейник. Целый час я толкался среди людей, трясущих перед самым моим носом разным барахлом: костюмами, сапогами, кителями, шинелями, фуражками, платьями, кофтами, туфлями, костылями...

В то время мне хотелось походить на министра. Среди толчеи я искал такое пальто, чтобы как надеть — так сразу и сделаться министром. Наконец я увидел нечто подходящее, перекинутое через плечо одного спекулянта. Вдобавок ко всему была еще и фуражка — под цвет пальто, из того же материала.

Начал я, конечно, с фуражки. Примерил, посмотрелся в зеркальце — настоящий министр. Давай торговаться. Пока я громко и внятно называл маленькую цену, продавец будто меня не слышал. Когда же я тихонько, шепотом назвал ему настоящую цену, он услышал, как артист слышит самую тонкую лесть. Ударили по рукам. Чтобы удобнее считать все мои грешки и пятерки, я отдал пальто спекулянту подержать. Насчитал две тысячи двести пятьдесят рублей. Вручил деньги. Торжественно, с видом министра, пришел в общежитие. И только тогда вспомнил, что пальто осталось в руках у спекулянта. За две тысячи двести пятьдесят рублей купил я одну фуражку.

Итак, мечтая походить на министра, я остался без пальто и без денег. Не получилось бы то же самое и с моей книгой!

Все знают, что им нужно, но не все имеют. Все видят свою цель, но не каждый ее достигает. Есть люди, которым кажется, что они знают, как нужно писать книгу, но они не умеют ее написать.

ГОВОРЯТ. Одна и та же игла шьет и свадебное платье, и саван.

ГОВОРЯТ. Не открывай дверь, которую не сумеешь потом закрыть.

Талант

Гореть, чтобы было светло.

Надпись на лампаде.

ПРИТЧА О ПОЭТЕ И ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ. Рассказывают, что один незадачливый доселе поэт поймал в Каспийском море золотую рыбку.

— Поэт, поэт, отпусти меня в море, — взмолилась золотая рыбка.

— А что ты мне за это дашь?

— Все твои тайные желания будут исполняться.

Поэт обрадовался и отпустил золотую рыбку. Откуда ни возьмись посыпались на поэта удачи. Одна за другой вышли книги его стихотворений. У него появились дом в городе и великолепная дача за городом. Поэт сделался знаменитым, его имя узнали все люди. Весь мир лежал перед ним, как готовый, уже и поджаренный, и посыпанный луком, и обрызганный лимоном, шашлык. Протяни руку, бери, наслаждайся.

И вот однажды, когда он был уже академиком, депутатом и лауреатом, жена ненароком обронила:

— Ах, зачем же ко всему этому ты не попросил у золотой рыбки еще и таланта?

Поэта словно осенило, словно он понял, что ему не хватало все эти годы. Побежал он к морю, обратился к золотой рылке:

— Рыбка, рыбка, дай хоть немного таланта.

Отвечала золотая рыбка:

— Все я тебе дала, что ты сам пожелал. Все и впредь я могу тебе дать, что пожелаешь. А вот таланта дать не могу. У меня у самой его нет, поэтического таланта.

Итак, талант либо есть, либо нет. Его никто не может дать и никто не может отнять. Талантливым нужно родиться.

Поэт наш, всячески облагодетельствованный золотой рылкой, вскоре почувствовал себя вороной, наряженной в павлиньи перья. Вся радужная красота искусственного оперения вскоре отпала, да к тому же за эти годы и собственные перья частично выпали, и стал поэт хуже, чем был.

Молитва от повторения не портится, повторю и я еще раз. Чтобы писать, нужен талант, а где же его возьмешь, если его нет даже у золотой рыбки.

МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ. Один горец из далекого аула пришел к отцу и стал читать свои стихи. Отец внимательно выслушал новоявленного поэта, затем отметил наиболее слабые и беспомощные места. Затем он объяснил горцу, как он сам, Гамзат из Цада, написал бы эти стихи.

— Но, дорогой Гамзат, — воскликнул горец, — чтобы написать так, нужен талант!

— Пожалуй, ты прав, немного таланта тебе не помешало бы.

— А где его взять, посоветуйте,— обрадовался горец, не поняв проницания в ответе Гамзата.

— В магазинах я сегодня был, там его нет, разве что поискать на базаре.

Неизвестно, откуда берется в человеке талант. Неизвестно, земля или небо его дают. Или, может быть, он сын земли и неба? Неизвестно также, где он помещается в человеке: в сердце, в крови, в мозгу? С самого рождения он уже гнездится в маленьком человеческом сердце или человек находит его потом, совершая свой нелегкий путь по земле? Что больше питает его: любовь или ненависть, радость или печаль, смех или слезы? Или нужно все это — и одно, и другое, и третье,— чтобы талант рос и креп? Передается ли он по наследству или человек накапливает его в себе в результате всего, что он увидел, услышал, прочитал, пережил, познал?

Результат труда или игра природы? Цвет глаз, с которыми человек родился, или мускулы, которые он нарастил себе ежедневной тренировки? Яблоня, взращенная кропотливыми усилиями садовода, или яблоко, упавшее с дерева прямо в ладони мальчика?

Талант — нечто настолько таинственное, что, когда всё будут знать про Землю, про ее прошлое и будущее, когда всё будут знать про Солнце и звезды, про огонь и цветы, когда всё будут знать даже про человека,— в последнюю очередь все-таки узнают, что такое талант, откуда он берется, где помещается и почему он достается этому человеку, а не тому.

Таланты двух талантливых людей не похожи друг на друга, ибо похожие таланты — это уже не таланты. Тем более талант не зависит от внешнего сходства людей, его носящих. Я встречал много лиц, похожих на лицо моего отца, но отцовский талант я не встречал нигде.

Талант не передается по наследству, иначе в искусстве царили бы династии. Нередко от мудреца рождается глупец, а сын глупца вырастает мудрым человеком.

Талант, вселяясь в человека, не спрашивает ни о величине государства, в котором человек живет, ни о численности народа. Приход его всегда редок, неожидан и поэтому удивителен, как блеск молнии, как радуга в небе или как дождь в омертвевшей от зноя и уже не жаждущей дождя пустыне.

КАК Я ПОТЕРЯЛ КУНАКА. Однажды, когда я сидел за своим столом, к моему дому подъехал молодой всадник.

— Салам алейкум!

— Ваалейкум салам!

— Я приехал к тебе, Расул, с одной небольшой просьбой.

— Заходи в дом, клади просьбу на стол.

Молодой человек вынул из кармана и действительно положил на стол несколько бумажек. Первая из них оказалась письмом большого отцовского кунака, да и моего частого гостя. Друг нашего дома и нашей семьи писал: «Дорогой Расул, этот парень — наш близкий родственник и хороший человек. Помоги ему стать таким же известным поэтом, как ты сам».

Остальные бумажки оказались: справкой из сельсовета, справкой из колхоза, справкой из парторганизации и характеристикой.

В справке из сельсовета говорилось, что такой-то действительно является племянником знаменитого поэта Махмуда из Кахаб-Росо и что сельсовет считает его достойной кандидатурой в известные дагестанские поэты.

В других справках указывалось, что племяннику Махмуда исполнилось двадцать пять лет, что он окончил девять классов и что он совершенно здоров.

— Ну, прекрасно, — сказал я. — Давай посмотрим твои произведения, может быть, ты действительно талантлив и станешь со временем известным поэтом. Я был бы рад помочь тебе, чем смогу, и тем самым выполнить просьбу нашего общего друга.

— Как! Но меня и послали к тебе, чтобы ты научил меня писать стихи. Я еще никогда не пробовал.

— А что ты делаешь?

— Работаю в колхозе. Но толку от этой работы мало. Пишут трудни, а потом на них ничего не дают. А семья у нас большая. Вот и надумали послать меня в поэты. Я знаю, что мой дядя Махмуд зарабатывал немало, больше, чем я в колхозе. Да и ты, Расул, говорят, получаешь большие деньги.

— Боюсь, что при всем моем желании я не смогу сделать из тебя поэта.

— Как? Я же племянник Махмуда! В справке все сказано. И сельсовет выдвигает, и парторганизация.

— Будь ты даже сыном Махмуда. Как известно, у самого Махмуда отец был обжигателем древесного угля, а вовсе не поэтом.

— Но где же справедливость? Здесь, в Махачкале, вы, поэты и писатели, делите между собой жирную тушу литературы, неужели мне не достанется хотя бы немного потрохов? Я согласен на потроха. Что же мне теперь делать? Помогите мне устроиться куда-нибудь. Справки у меня в порядке.

Как племяннику Махмуда мы выдали ему из Литфонда небольшое денежное пособие, а затем по моей просьбе его взял на работу директор завода Дагэлектромаш.

Но, как оказалось, претендент в популярные поэты остался недоволен своей судьбой. Вскоре его отец, наш кунак, прислал мне рассерженное письмо:

«Все мои просьбы твой отец Гамзат всегда выполнял. Никогда он мне ни в чем не отказывал. А ты, сын Гамзата, отказался выполнить такую маленькую просьбу — устроить моего сына в поэты. Видно, зазнался ты, Расул, не в отца пошел. Никогда я не менял своих кунаков, а теперь вот приходится. Прощай».

Таким-то вот образом из-за таланта, вернее, из-за отсутствия его, я потерял хорошего кунака. Кунак мой и правда был хорошим человеком, он только не понимал, что никто — ни председатель Союза писателей, ни секретарь парторганизации, ни глава правительства — не может раздавать таланты, как куски баранины, когда горцы усядутся вокруг стола, а курящаяся горячим паром баранья туша уже взгромождена на стол.

Или видишь, когда идешь по дорогам Дагестана, как в гору поднимается нагруженная арба. Один человек помогает тянуть ее вверх, другой толкает сзади;

или видишь, как большой грузовик тросом вытягивает из снежного заноса маленького «Москвича»;

или видишь, как быстроходной легковой машине не дает ехать вперед тихоходный громоздкий самосвал — горная дорога узка, и никак легковой машине не обогнать тихохода.

И вот — талант не арба, которую можно толкать или тянуть вдвоем; талант не «Москвич», который нужно вытаскивать тросом; талант не машина, которая не может обогнать и вырваться вперед.

Талант не нужно подталкивать сзади и не нужно тянуть за руку. Он сам находит себе дорогу и сам оказывается впереди всех.

А ведь много еще людей, которые надеются, что их либо подтолкнут, либо подтянут. Вот маленькая история, которую можно было бы назвать так:

ПУСТЬ БУДЕТ СТАРАЯ, НО ТАЛАНТЛИВАЯ. Когда я учился в Литературном институте в Москве, я подружился со многими русскими поэтами, тоже студентами института. Они начали переводить мои стихи. Переводы стали появляться в разных газетах и журналах. Благодаря русским переводам мои стихи прочитали другие народности Дагестана.

В те годы нашлись досужие языки, которые злословили: мол, Расул Гамзатов вовсе не умеет писать стихи по-аварски, его стараются вывести в люди талантливые русские переводчики и что он сразу пишет так, чтобы приспособиться ко вкусам русских читателей.

В связи с этим я вспоминаю каждый раз об одном дагестанском поэте.

Существует небольшая народность — таты. Их всего не больше пятнадцати тысяч. Однако есть пять-шесть хороших татских писателей, известных всему Дагестану. Их книги издаются и на родном языке в Махачкале, и в переводах на русский. Об одном татском поэте я хочу рассказать. Имя его называть необязательно.

Моя учеба в Литературном институте окончилась, и я вернулся в родную Махачкалу. В первые же дни меня пригласил в гости татский поэт. Он угощал меня на открытом воздухе. Перед нами — широкий Каспий, сзади нас — высокие горы. Поэт читал мне стихи по-татски, а потом слово за словом переводил на русский язык, чтобы я уразумел смысл его стихотворений.

Учитывая то, что я гость, а он хозяин; учитывая то, что он может подумать, будто я хочу блеснуть своими знаниями, приобретенными в Москве; учитывая то, что все поэты больше любят похвалу, чем критику; учитывая то, что никакая критика ему все равно не поможет; и учитывая, наконец, то, что он сам до небес превозносил каждое мое стихотворение и каждую мою строчку, — учитывая все это, я безбожно хвалил все, что он мне читал.

Правда, некоторые стихи мне нравились, и я говорил о них от души, но другие мне не нравились, и я говорил о них, кривя душой. Тотчас я мысленно протягивал руки к волнам Каспия, даже становился перед ними на колени и говорил: «Простите мне эту ложь». Потом я мысленно поворачивался к горам, протягивал руки к их белым вершинам, становился перед ними на колени и говорил: «Простите мне эту ложь».

Начитавшись друг другу стихотворений и нахвалив друг друга, мы некоторое время молчали. Я просто слушал море, а друг, как оказалось, был занят своими мыслями. Наконец он завел такой разговор.

— Расул, мне хотелось бы поделиться с тобой одной важной мыслью. Но обещаю, что никому не расскажешь.

Я обещал.

— Ты знаешь, — продолжал мой друг, — мы, таты, народность малочисленная. Мне со своими стихами тесно. Ты правильно делаешь, что ищешь читателей в Москве. Я хочу последовать твоему примеру, хочу переехать жить в Москву. Но у меня ведь нет там ни родных, ни друзей, ни знакомых. Нет и крова. Как думаешь, если я с гонораром, полученным за новую книгу, поеду в Москву, найду я там подходящее пристанище?

— Почему же не найдешь? Если будут деньги, снимешь комнату.

— Я не про то. Найду ли я там себе жену? Пусть она будет старой,

уродливой, какой угодно, лишь бы она была талантлива, лишь бы она переводила меня на русский язык, лишь бы она вывела меня в люди. Потом-то уж, встав на ноги, я нашел бы свою дорогу. А без этого я задохну в национальной скорлупе.

Я еще раз присмотрелся к его внешности. Двадцатипятилетний, мускулистый, напоенный огнем кавказец. Большие руки и даже пальцы поросли волосами. Волосы на груди жестки, как гвозди, забитые в стену. На смуглом, почти коричневом лице толстые губы и синие, как озера, глаза. Его голову можно принять за ежа. Зубы белые, крупные. Ноги как сваи. Бугры мышц по всему телу. Первозданное дитя природы. Ему ли не найти жены в многомиллионном городе на третий год после войны. Я сказал:

— Тебе стоит только остановиться посреди улицы и свистнуть, как прибегут жены, каких ты только захочешь.

Мой друг обрадовался, как ребенок. Он встал на руки и на руках пошел в воду, в море. Перед тем как уплыть, он еще спросил:

— Как ты советуешь добираться до Москвы — самолетом или поездом?

Прошло полгода. Отряхивая мокрый снег с шапки, я поднимался на четвертый этаж в издательство «Молодая гвардия». Мне навстречу с большим портфелем под мышкой спускался татарский поэт, угощавший меня на берегу Каспия. В первую очередь я обратил внимание на то, что портфель он нес не за ручку, как носят обыкновенные писатели, а под мышкой, как носят бухгалтеры и кассиры. Еще я заметил, что он сильно изменился за эти полгода. Волосы, похожие на ежа, отросли и теперь разделены аккуратным пробором. На щеках бакенбарды, словно у декабриста. Ноготь мизинца длинен и отточен, торчит, как штык. На пальце перстень с камнем. Вместо галстука к воротнику прикреплено нечто вроде крыльев майского жука. Изящен, галантен. После взаимных приветствий он поправил на мне галстук, очевидно сбившийся на сторону. Я, разумеется, поблагодарил.

Ахмет представил мне свою жену, а меня ей.

— Очень приятно,— сказала она и протянула мне три пальца.

У нас в Дагестане не принято целовать руку женщине, поэтому я попросту ограничился легким рукопожатием, но она так на меня закричала от боли, точно я перемешал все косточки ее пальцев.

— Простите меня, темного горца... я не хотел...

— Пора привыкать к культуре,— бросила мне она и отошла к зеркалу и начала кривляться перед ним, как будто зеркало что-нибудь могло изменить в ее внешности.

Да, она была и стара и уродлива, а пудры на ней было столько, что хватило бы на штукатурку комнаты средней величины. Больше всего я жалел, что не было здесь Абуталиба, уж он бы, верно, сказал про нее меткое словечко.

Говорят, нет никого хитрее лисы и ее хвоста. Но как же могла опростоволоситься чернобурая, если угодила на воротник этой старой кляче. Женщина отошла к журнальному киоску, и мы с Ахметом на некоторое время остались одни.

— Как живешь, как себя чувствуешь, друг Ахмет?

— О, я чувствую себя, как вол, которого запрягли, чтобы молотить чечевицу. Жена руководит мной в моей работе. Если б ты знал, какая она образованная. Светлая голова. Лично знала Блока и Маяковского. Была другом Сергея Есенина. Бывала в Париже. Превосходно говорит по-английски. У нас четырехкомнатная квартира, и мы одни. Детей у нас нет. Есть только собачка Тарзан. Японская собачка, меньше кошки.

— Да, как видно, повезло тебе в жизни. Куда же теперь идешь?

— Да вот приносил стихи в «Мурзилку». Говорят, слишком глубоки для детей. Думал отдать в журнал для юных колхозников. Там стихи понравились, только нужно дописать строфу, чтобы упоминалось слово «колхоз». Сегодня вечером допишу, а завтра принесу снова... Да, Расул, вот, оказывается, как нужно работать и жить. Моя жена говорит мне: дети, прежде чем научатся ходить, тоже ползают. Потом я напишу и настоящие произведения.

— Алеша,— нежно и требовательно сказала подошедшая жена.— Пойдем накормим Тарзана, а потом сходим еще в «Крокодил» и в «Работницу».

После этой встречи мы с Ахметом долго не виделись. Однажды я получил от него письмо. Он просил меня заказать в Балхарах кувшин с надписью «Моей дорогой жене». Я заказал кувшин и подумал: «Должно быть, и правда она для него много делает». Его стихи в переводах жены мелькали иногда то в «Мурзилке», то в «Пионере», то в «Крокодиле». Не появлялось его стихов только у нас в Махачкале на родном ему татском языке. Несколько раз мы просили его прислать что-нибудь, но не получали ответа.

Увиделись мы спустя пятнадцать лет после первой встречи. В Москве проходила Декада дагестанского искусства. Сорок поэтов приехали из Дагестана в Москву. На разных языках мы читали свои стихи в Колонном зале, в Кремлевском театре, на автомобильном заводе, в гвардейской Кантемировской дивизии.

На заключительном вечере декады к нам за кулисы пробрался сторонкой наш Ахмет.

— Расул,— взмолился он,— возьми меня из Москвы в Дагестан. Хотел я отрастить курдюк, но потерял и последний хвост.

Итак, Ахмет возвратился в Дагестан. Но никак не настраивается его пандур, никак он не может взять верную ноту. Он похож на сосуд, который дал трещину, и вот вытекло все вино. Как ни заклеивай потом кувшин, а вино все равно сочится, утекает.

Итак, переводчик не может прибавить таланта тому, у кого его нет. Одни говорят, что Эффенди Капиев создал Сулеймана Стальского. А другие говорят, что Сулейман создал Эффенди Капиева. На самом же деле они были оба талантливы. Талант Эффенди создал Эффенди, а талант Сулеймана создал Сулеймана.

Я СКАЖУ ИЗЕ. Так можно было бы озаглавить следующую историю, всплывающую мне.

В Аварском педагогическом институте со мной вместе учился известный ныне дагестанский писатель Магомед Сулиманов. Он с детства был разносторонне талантливым человеком: неплохо рисовал, танцевал народные танцы, сочинял стихи. Он страстно любил «Евгения Онегина». С этой книгой он не расставался и знал ее почти всю наизусть. Уже тогда у него была мечта перевести «Евгения Онегина» на аварский язык. Эту книгу он даже брал с собой на войну.

В конце войны, изрешеченный пулями и осколками, Магомед очутился в московском госпитале. Там он познакомился с молодой москвичкой Валей. Когда раны зажили, он женился на Вале и остался в Москве.

Приехав в Москву учиться, я через адресный стол нашел своего друга. Я соскучился по нему, он по мне, Валя не мешала нашей дружеской пылкой беседе. Мы долго сидели вдвоем за бутылкой крепкого вина. Магомед рассказывал о войне, я о Дагестане, о родных горах, о родном ауле. Я читал им стихи, свои и своих товарищей, молодых аварских поэтов. Потом я спросил у Магомеда, чему же он хочет посвятить свою жизнь.

— Я долго думал, чем бы мне заняться. Но у Вали есть тетя, а у тети есть Изя, очень влиятельный в Москве человек. Тетя увидела, что я мучаюсь раздумьем, и говорит: «Ну что ты мучаешься, Магомед. Я скажу Изе, и он все устроит». Действительно, Изя подобрал мне хорошую должность при Академии наук. Там я сейчас и работаю.

— А твое рисование?

— А, хватит того, что меня разрисовали пули.

— А стихи?

— Это было детство, Расул. Теперь я взрослый серьезный человек, и дело нужно искать себе серьезное.

— А «Евгений Онегин»?

Мой друг задумался. Как видно, я попал в большое место.

— Почему не хочешь возвратиться в Дагестан?

— А как быть с Валею?

— Возьми с собой.

— У меня нет дома, кроме как в ауле. В аул же с Валею я зайти не могу. Ведь она даже не сможет разговаривать с моей матерью. Не брать же мне еще переводчика, чтобы Валя понимала маму, а мама понимала ее.

Чтобы прервать трудный для Магомеда разговор, я поднял тост за него, за Валею, за «Евгения Онегина».

Когда я в следующий раз зашел к своему другу, Валя сказала мне, что Магомеда словно подменили. Целыми днями и ночами, каждую свободную минуту, за счет еды, сна и отдыха он что-то пишет, рвет, и снова пишет, и снова рвет.

Тетя Вали понаблюдала за Магомедом и наконец спросила, что он пишет и почему рвет написанное.

— Я хочу стать поэтом, — ответил ей Магомед. — Я хочу перевести «Евгения Онегина».

— Так о чем разговор и зачем так мучиться? Я скажу Изе, и он все устроит.

— Нет, дорогая тетя, ни сам Изя, ни его начальник, ни даже его жена не помогут мне сделаться поэтом. Я могу им стать только сам.

Вскоре Магомед прочитал мне перевод первой главы «Евгения Онегина» на аварский язык. А через три года и все аварцы получили возможность читать этот роман на своем родном языке.

Ч Ъ Ю Ф О Т О Г Р А Ф И Ю П О М Е Щ А Т Ь? Говорят, что энергичная жена немало может способствовать успеху мужа. Да, встречали и мы таких энергичных жен. Была такая жена у одного небезызвестного дагестанского поэта. Весь Союз писателей, все издательства и газеты бросало в дрожь при упоминании ее имени. Я тоже ее побаивался и даже, чтобы задобрить ее, повесил у себя в кабинете портрет ее мужа. Я думал, она будет довольна и будет обходиться со мной помягче. Но это на нее мало подействовало. Ведь она не получала ни копейки за то, что портрет ее мужа висел в моем кабинете.

Однажды она потребовала от издательства, чтобы немедленно был издан сборник стихотворений ее мужа. Директор робко возражал, что планы на этот год утверждены, мало бумаги и что они могли бы издать в следующем году...

— Ты бессовестный человек! — кричала разъяренная женщина. — Ты просто боишься, что люди увидят, насколько стихи моего мужа лучше твоих. Вот для чего ты рассказываешь мне сказки о бумаге и планах. О, я тебя вижу насквозь. Я не дам себя провести. Я заставлю тебя издать сборник моего мужа.

С этими словами женщина хлопнула дверью издательства.

Через два часа на директорском столе зазвонил телефон. В трубке послышался голос секретаря обкома.

— Ради бога, сделай как-нибудь так, — умолял секретарь, — чтобы эта женщина больше ко мне не приходила. Я не успеваю менять стекла на своем столе: она разбивает их, стуча кулаком по столу.

Что же получилось в итоге? Выкинули из плана повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат», а также детскую книгу Гамзата Цадаса. За счет этих двух книг поставили в план сборник стихотворений мужа воинственной женщины.

Казалось бы, должен наступить мир. Но вскоре разразился новый скандал. Оказывается, в сборник не поместили фотографии поэта.

— Бессовестные люди! — кричала разгневанная жена. — Вы бойтесь, что люди увидят, насколько мой муж красивей вас всех! Вот почему вы не поместили фотографии.

— О нет, — ответил директор издательства. — Просто мы не знали, чью фотографию помещать в этой книге: твою или твоего мужа.

— А что, — ухмыльнулась женщина, — еще неизвестно, стал ли бы он поэтом, если бы не я.

Абуталиб, встретив того поэта, ему сказал:

— Послушай, Куса, уступи мне на неделю свою жену — я сразу же стану лауреатом Сталинской премии.

— Что ты, Абуталиб, я уже десять лет живу с ней, но не получил и премии Хаджи Хасума.

— Так попроси у нее немного таланта.

ПРИТЧА ОБ АБУТАЛИБЕ И ХАТИМАТ. Абуталиб сначала пас овец. Потом он полюбил ремесло лудильщика, но свою пастушью свирель носил с собой и в свободные минуты на ней играл. Ремесло водило его из одного аула в другой, и вот однажды, кто говорит — в Кули, кто говорит — в Кумухи, к Абуталибу подошла с худым кувшином девушка по имени Хатимат.

Долго чинил Абуталиб этот кувшин. То он откладывал его в сторону и неторопливо закуривал, то он откладывал его в сторону и начинал играть на свирели, то он откладывал его в сторону и начинал рассказывать Хатимат разные были и небылицы.

Хатимат торопила лудильщика и кричала:

— Хоть бы сворачивал самокрутки покороче!

— Что ты, милая Хатимат, теперь я буду сворачивать их длиной по аршину, чтобы они подольше курились.

Наконец девушка рассердилась вовсе, и Абуталиб вынужден был вернуть ей кувшин. Кувшин весь сиял, как новый: так постарался Абуталиб. Однако не успела девушка набрать в кувшин воды, как он потек. Рассерженная, чуть не плача от обиды, она снова пришла к Абуталибу.

— Сколько времени ты чинил мой кувшин, а он течет сильнее прежнего.

— Чтобы каждый день в твой кувшин кидали камешки смелые, красивые парни! Зачем ты сердишься, Хатимат, я ведь нарочно оставил дырочку, чтобы ты пришла ко мне еще раз и чтобы я мог посмотреть на тебя.

— Пусть парни кидают камни в твою голову, а не в мой кувшин! — выпалила Хатимат и ушла навсегда.

Абуталиб сильно тосковал. Любовь его к Хатимат разгоралась все сильнее. И чем сильнее разгоралась она, тем крепче становилась тоска. Тоскующий Абуталиб написал песню, в которой воспел Хатимат и свою любовь к ней. Потом он написал вторую песню, потом десятую, потом двадцатую, а потом он из лудильщика превратился в знаменитого поэта.

Хатимат тем временем вышла замуж за человека по имени Гаджи. А потом развелась с ним и вышла замуж за человека по имени Муса.

Однажды, когда знаменитый поэт Абуталиб шел через базар, его окликнули:

— Эй, Абуталиб, не починишь ли кувшин?

Поэт оглянулся и видит Хатимат, старую, сгорбленную, больную.

— Наверно, ты зазнался, Абуталиб. Еще бы! И депутат, и орден на груди. Видно, забыл ты свою лудильную мастерскую. А ведь если разобраться, то я, Абуталиб, сделала тебя поэтом. Не принеси я тогда чинить кувшин, так бы и сидел ты до сих пор лудильщиком на базаре.

— Если на самом деле столь велика твоя власть, о Хатимат, если на самом деле ты умеешь делать из людей поэтов, то почему же ты не сделала поэтом своего первого мужа — Гаджи? Да и песен твоего второго мужа Мусы пока не слышно...

Абуталиб уже ушел, а Хатимат все еще стояла с открытым ртом, не зная, что ответить. Накрапывающий дождь привел ее в чувство.

Итак, никто не властен сделать человека поэтом, если он сам не станет им.

МОИ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ, что когда я написал первые свои стихи, то один человек, очень известный и уважаемый в Дагестане, старый друг отца, говорил:

— Было бы хорошо, если б Расул теперь сильно влюбился. Неважно, счастливая или несчастная, ответная или безответная была бы эта любовь. Пожалуй, даже лучше, если бы он влюбился без взаимности, если б любовь принесла ему одни страдания. Вот тогда бы он сразу стал большим поэтом.

Друг моего отца даже подыскал девушку, юную и прекрасную, которая могла бы сделать меня несчастным человеком, но зато поэтом.

Отец ответил своему другу:

— Посмотри, сколько на свете влюбленных, но разве каждый из них поэт? Красиво любить тоже нужен талант. Может быть, любви талант нужен больше, чем любовь таланту. Слов нет, любовь сопутствует таланту, но не заменяет его. То же самое скажу о чувстве, противоположном любви,— о ненависти.

— Но возьми Махмуда, певца любви...

— Правильно. Таким поэтом, каким мы его знаем, Махмуд во многом стал благодаря своей возлюбленной. Но только я думаю, что если бы этой возлюбленной вовсе не было на свете, все равно бы Махмуд стал большим поэтом. Его беспокойные, мятежные силы все равно нашли бы себе дорогу, как в сырой, тяжелой, темной земле находит дорогу к солнцу нежный росток травы. Ведь иногда трава пробивается даже из-под камня.

Да, легко согласиться с тем, что подобно тому, как огонь питается сухими дровами, талант питается сильными человеческими чувствами — любовью и ненавистью, что стихотворение рождается от светлой улыбки или соленой слезы. Но я хочу привести вам два примера.

Какое горе, какие страдания могут сравниться с горем матери, потерявшей сына? И вот его хоронят, и вот собрался народ. Но мать безмолвна, она просто плачет, она не способна выразить свое горе в словах, в таких словах, чтобы все заплакали, как плачет она сама.

Тогда приходят умелые плакальщицы. Слез нет у них на глазах, ибо тут не их, а чужое горе. Однако когда они пускают в ход свое ужасное искусство, все вокруг начинают рыдать.

Я называю это искусство ужасным. Оно и на самом деле ужасное, жестокое. Не зря мусульманская религия утверждает, что плакальщица на том свете уготованы вечные муки — наравне с лицемерами, притворщиками, клеветниками. Но с искусством, которое заставляет плакать людей, ничего не поделаешь.

Теперь противоположный пример. Кто может быть счастливей отца и матери, у которых сын вырос, окреп, стал мужчиной и теперь женится? Свадьба — радостный праздник. На свадьбах танцуют и поют песни. И, конечно, больше всех радуются отец и мать жениха. Но каждый ли из них может выразить свою радость словами, песней, такой песней, чтобы возликовали все вокруг и чтобы для всех эта чужая радость свадьбы стала как бы своей?

Нет, родители заранее идут по аулам и приглашают умелых певцов. Певцы приходят. Вчера они пели на другой свадьбе, завтра споют на третьей. Им все равно. Но их талант воодушевляет людей и приносит людям настоящую радость.

Тогда, может быть, талант питается кропотливым опытом жизни? И всякое проявление таланта в искусстве есть результат обширных познаний, сложных судеб, великих дел?

Но если бы это было так, то разве мог бы четырнадцатилетний и к тому же слепой аварский паренек своей игрой на пандуре удивлять и очаровывать аварские аулы?

Другой юноша, Магомет Раджабов, с детства прикованный к постели, написал такую песню о матери, что нет в Аварии человека, который не знал бы и не пел эту песню. Музыку для этой песни сочинил Ахмед Цурмилов, человек, у которого парализованы обе ноги. О нем я однажды написал стихи:

Восемь струн у твоей мандолины,
Восемь тысяч мелодий у них...

Талантливый слепой увидит больше, чем бездарный зрячий. Кем-то было сказано еще: умный, сидя в своем кабинете, увидит больше, чем дурак, совершивший кругосветное путешествие.

К тому же слепой Магомет, собиравший милостыню на базаре, никогда не ошибался, считая свою дневную выручку.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Если сила таланта в одном зрении, то как же пел лезгинский поэт Кочхурский, которому хан выколол оба глаза? Если сила таланта в богатстве, то как же прославился лезгинский поэт Етим Эмин, бедняга и сирота? Если сила таланта в образовании, то как же Сулейман Стальский сделался «Гомером XX века», не умея даже расписаться, — вместо своей подписи он прикладывал палец, макнув его предварительно в чернила? Если сила таланта в начитанности и эрудиции, то почему же я встречал столько начитанных, очень эрудированных людей, которые не могли написать ни одной путной строчки?

Раньше в горах было принято устраивать интересные состязания. С одной стороны выступали образованные, умеющие читать и писать по-аварски муталимы, а с другой стороны — неграмотные, ничего не знающие, кроме своего ремесла, чабаны. Обе стороны вступали в поэтические состязания. Чаще всего побеждали чабаны. Расчетливый голос образованных певцов заглушали и побеждали песни, свободные, как ветер, летающий над зелеными склонами гор.

Но все-таки тех и других побеждали поэты, которые были одновременно и муталимами и чабанами. Если в состязании участвовали Махмуд или мой отец Гамзат, то им приходилось соревноваться между собой, а не с другими певцами. Другие оставались далеко позади.

Может быть, сила таланта просто в уме? Но я встречал и в Москве, и в других странах очень умных людей. Если бы их ум воплотился вдруг в стихотворную форму или в форму романа и рассказа, это были бы бесценные произведения искусства. Но что-то мешает перейти их умным мыслям с кончика пера на бумагу, и умные мысли развеиваются по воздуху или уходят в могилу вместе с их обладателями.

В таком случае, может быть, сила таланта в упорном труде, в работе до седьмого пота? Очень часто я слышал, что талант сам по себе вовсе не существует, что он может проявиться только в результате упорного труда. Но представьте, что песня соловья, просто сидящего на ветке, мне нравится больше, чем песня осла, влекущего тяжелую ношу.

Не тот песни поет, кто арбу тынет, а тот песни поет, кто на арбе сидит.

Аллах великий, сколько же в мире противоречий! Если песни есть плод праздности человека, сидящего на арбе, то, может быть, все искусство есть результат праздности и досуга, материальной обеспеченности и беззаботности?

Но разве не поют в богатых дворцах песен, родившихся в убогих хижинах? Все сказки о ханах и богачах сочинены бедняками. Шамхал сослал в Сибирь Ирчи Казака. Сосланный в Сибирь, Ирчи Казак продолжал писать стихи. Из стихов Ирчи Казака люди знают теперь о кумыкском шамхале.

Молодого грузинского князя Давида Гурамишвили похитили горцы. Они посадили его в яму в Унцукуле. Сидя в сырой яме и тоскуя по своей голубой и жемчужной Грузии, князь начал сочинять стихи. В некотором роде можно сказать, что горцы сделали из Гурамишвили поэта.

Дочь хунзахского хана Айшат влюбилась в молодого красивого чабана. Отец, узнав об этом, выгнал дочку за порог дома. Была зимняя холодная ночь. В стужу, по колено в снегу, под пронзительным ветром, в легком платье, сочинила Айшат свою первую песню.

Но если так, то, может быть, вся сила таланта в человеческой слабости, в бедности? Может быть, несчастья и горе рождают лучшие песни? Кто вы, стихи, и что вам нужно? Вы пришли к Батыраю, когда он, больной, старый, голодный, сидел у погасшего и остывающего очага. Вы пришли к Махмуду, когда он мерз в карпатских окопах, а его возлюбленная, та, что была ему дороже солнца, земли и жизни, вышла замуж за другого. Вы пришли к Абуталибу, когда с палкой и хурджуном он пошел побираться по деревням и когда любимая им Хатимат отвергла его, выйдя замуж за другого. Вы пришли к Эльдарилаву тогда, когда он принял чашу с ядом из рук своих убийц. Жестокий Зунти-наиб зашил нитками рот Анхил-Марин, и тогда-то Марин спела лучшую свою песню. Эта песня лишила наиба покоя и сна на всю остальную жизнь.

В чем же сила твоя, талант, Расскажи мне. Кто ты — совесть, честь, мужество или, может быть, страх? Ведь боязливый человек тоже поет, отправляясь в ночную дорогу и тем самым ободряя себя.

Ты счастье или беда, ты награда или наказание? Ты красота, созданная, чтобы люди мучались из-за нее, или муки, в которых рождается красота? Или ты дитя времени и событий? Искры рождаются от ударов камня о камень. Война не прибавляет людей на земле, но она прибавляет на земле героев.

Я не знаю, что такое талант, как не могу сказать, что такое поэзия. Но иногда — то на пути к дому, то в чужой стороне, то во время сна (как бы приподняв полу моей бурки), то когда я ступаю по зеленой траве (как бы переливаясь в меня из живой зелени и разливаясь в крови),

то во время еды, то во время музыки, то в кругу семьи, то в кругу шумных друзей, то когда я поднимаю на руки ребенка, как бы благословляя его на долгий путь, то когда я подпираю плечом, помогая нести, гроб с останками друга, провожая его в последний путь, то когда я смотрю в лицо своей любимой — вдруг меня посещает нечто редкое, удивительное, загадочное и могучее. Оно бывает то веселое, то печальное, но всегда побуждает к действию, всегда заставляет меня говорить. Оно приходит без приглашения и без спроса.

Оно приходит, и за ним мерещатся и Махмуд в черкеске, с пандуром в руках, с его любовной страстью, так и не выплаканной до конца в его песнях, и мой отец с нежной грустной улыбкой, и Эльдарилав с чашей яда в руках, и Марин с окрашенными кровью губами, защитными жестоким набобом; за ним мерещатся далекие образы великанов — Данте, Толстого, Шиллера, Блока, Гёте, Бальзака, Достоевского... Иногда мне кажется, что брезжит сквозь пронизанный светлым лучом туман образ самого бога.

— Что ты такое? — спрашиваю я у этого нечто.

— Я твой талант, я твоя поэзия.

— Откуда ты?

— Я есть повсюду.

— Тебе столько же лет, сколько мне?

— О нет, мне одна секунда и мне тысяча веков. Во мне наивность ребенка, страсть безумного юноши, мудрость старца. У меня нет возраста. Я костер, который не может погаснуть. Я песня, которую никто не может спеть до конца. Я полет, который никто не в силах завершить. Я очень далеко от тебя, и я в тебе самом. Носить меня — радость и наслаждение, и носить меня — горькие муки. Нет ничего легче меня и нет ничего тяжелее меня.

Если я есть, то от дрожания скрипичных струн могут расколоться холодные скалы. Если я есть, то от игры на зурне будут плясать дикие туры в ущельях гор. Если я есть, то кинжал выпадает из руки убийцы, а влюбленные сливаются в поцелуе.

Когда снимали чохто с Пати из аула Анди, я был там. Когда похищали Мариам, перекинув ее через седло скакуна, я был там. Когда Жанна д'Арк обнажала свой меч перед воодушевленным ею войском, я был там. Когда человек, придумав себе крылья, прыгнул с колокольни, я был там. Когда Магеллан или Колумб поднимали паруса, я был там. Когда писалась «Сикстинская мадонна», я был там.

Поле моей деятельности — все времена и все земли. Мои герои — люди. У людей есть умы и души. На всех материках им свойственны любовь и ненависть, отвага и страх, благородство и хитрость, самоотверженность и ложь, святость и клевета. Умы и души людей — вот поле моей битвы, вот поле моих поражений и побед, вот поле моих свершений.

— Тогда скажи мне правду: на что я гожусь? Не рискую ли я уподобиться снегу, который завтра растает, не пытаюсь ли налить воду в кувшин, на дне которого трещина? Запала ли в мою душу хоть одна искра от твоего неугасающего костра, упала ли на мои губы хоть одна твоя жгучая, огненная, пьянящая капля?

Из моих глаз текут слезы радости и печали. Но есть у меня и еще слезы — они затаились в глубине глаз, как таится пугливая птица, заслышав шаги охотника. Но и эти затаившиеся слезы — одна от любви, другая от горя; одна от беды, другая от счастья. На голове моей волосы двух цветов — черные и седые. И сам я стою одной ногой в молодости, другой в старости. Старость и молодость всегда сражаются меж собой, и поле битвы — моя душа.

Моя любовь — чинара — два ствола.
 Один зачах, другой покрыт листвою.
 Моя любовь — орлица — два крыла,
 Одно взлетает, падает другое.

Болят две раны у меня в груди.
 В крови одна, рубцуется другая.
 И так всегда: то радость впереди,
 То вновь печаль спешит, ее сменяя.

Жизнь имеет границы, она коротка, а мечты безграничны. Сам я иду по дороге, а мечта уже дома. Сам я иду к любимой, а мечта уже у нее в объятиях. Сам я живу в этот час, а мечта улетает на много лет вперед. Она летит дальше той черты, где во тьме обрывается жизнь. Она летит в века.

ШАМИЛЮ ЗАГАДАЛИ ЗАГАДКУ. Ему дали в руки веревку с тремя узлами. Два узла на одном конце близко друг от друга, а третий на дальнем конце веревки. Отгадай!

Шамиль расправил веревку, поглядел и сказал:

— Один узел — это я сам. Второй узел — это моя смерть. А тот, третий, дальний, — то место, где живут сейчас мои мечты и мои помыслы, цель, которой я хотел достичь в жизни.

Поле, которое пашут мои мечты, гораздо обширнее того поля, которое я пашу в действительности. Кому же ты должен служить, талант, мне или моим далеко улетевшим от меня мечтам?

Да, ты костер, который не может погаснуть. Ты песня, которую никто не может спеть до конца. Ты полет, который никто не в силах завершить. Но сумею ли я вплести хоть одну мелодию в твою извечную песню — мою, аварскую мелодию? И тогда, может быть, вся песня станет еще богаче.

Сумею ли я зажечь на вершинах Дагестана свет небольшого костра — ответвление твоего негасимого пламени? Сумею ли я хоть немного, хоть от одной скалы до другой, продлить твой нескончаемый беспрерывный полет?

Мой аул — Цада! А это значит — огонь! Однажды человек из другого аула спросил меня:

— Откуда ты, парень?

— Из Цада.

Собеседник заметил:

— Сначала прочитай свои стихи, тогда я скажу тебе, из огня они или из холодной золы.

Сомнения одолевают меня. Не надеваю ли я бурку, когда уже кончилась непогода и солнце вновь показалось из рассеивающихся туч? Не запираю ли я сарай на замок после того, как воры уже угнали быка? Не рассказываю ли я то, что все уже слышали много раз? Не зову ли я в гости людей, которые только что вышли из-за гостеприимного праздничного стола? Нужно ли мне писать мою книгу?

— Если можешь не писать, не пиши.

— Могу ли я не писать? Может ли не стонать больной, когда ему очень больно? Может ли не улыбаться счастливый? Может ли не петь соловей в молчанье лунной ночи? Может ли не расти трава, когда семечко уже лопнуло в сырой и теплой земле? Могут ли не расцвести цветы, когда бутоны уже обогревает весеннее солнце? Могут ли горные ручьи не течь вниз, к морю, когда уже тают ледники и вода кувыркает камни и мчится с грохотом? Может ли костер не гореть, когда ветки высохли и пламя уже охватило их?

Я в детстве еще полюбил костры: ночью у чабанов, на берегу реки, у подножия скал, на вершинах окрестных гор или даже в камнях домашнего очага. Я знаю, что разжечь костер — половина дела, что гораздо труднее его поддерживать и хранить в течение долгой ненастной ночи.

Я чувствую, что в сердце моем есть огонь. Но что мне сделать, как мне себя вести, чтобы мой огонь не зачах, не угас раньше времени, до того, как он успеет кого-нибудь обогреть и кому-нибудь осветить дорогу во тьме? Что я должен делать, чтобы сберечь и укрепить свой талант?

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОТЦА. Один горец пришел к отцу и сказал:

— Я попробовал и убедился, что могу сочинять. Но я не знаю, что нужно, чтобы писать настоящие стихи.

Отец ответил:

— Мало уметь настроить скрипку, нужно уметь на ней играть. Мало иметь поле, нужно уметь его обработать и засеять.

— Что же мне делать, чтобы писать стихи?

— Как это что? Работать.

Перевел с аварского Вл. Солоухин.

(Окончание следует)



А. БАРТОВ

★

ПОБЕГ ИЗ КОЛЧАКОВСКОЙ ТЮРЬМЫ

«Биография и приключения Бартова Александра Степановича, родившегося в 1884 году 12 августа в бывшей д. Бартово в семье у деда с отцом, середняка». Так озаглавил свои записки пенсионер А. С. Бартов из г. Лысьвы Пермской области, и это не только определяет степень его подготовленности к столь непривычному делу, но, в сущности, вполне соответствует содержанию этих записок, уместившихся на семнадцать страничках машинописи («Как умел, писал сам раз, не перечеркивал ни одного слова, точки-запятые уже поставили, кто печатал на машинке», — сообщает он в сопроводительном к рукописи письме).

Действительно, это и краткая автобиография, и «приключения» — история побега с баржи, на которой отступавшие колчаковцы увозили из тюменской тюрьмы заключенных — пленных красноармейцев и низовых советских работников.

Мы знаем книги мемуаров, написанных людьми, которые вышли из таких же народных низов, как и А. С. Бартов, но прошли вместе с революцией иной жизненный путь, стали высокообразованными представителями первого поколения советской интеллигенции. Вспомним хотя бы печатавшиеся на страницах нашего журнала мемуары генерала армии Героя Советского Союза А. В. Горбатова или члена-корреспондента Академии наук СССР Героя Социалистического Труда В. С. Емельянова.

А. С. Бартов — человек иной жизненной судьбы. Это рядовой из рядовых. Революция застала его солдатом из крестьян, сделала его свидетелем и участником ее исторических моментов, запечатленных в произведениях всех видов и родов искусства, на страницах сотен и тысяч книг.

Автор «Биографии и приключений» вряд ли читал хоть одну из этих книг, — можно предположить, что его представления о минувших днях ограничиваются запасами собственной памяти. Он и не пытается показаться иным, чем он есть на самом деле. Не в пример иным мемуаристам, склонным вольно или невольно несколько преувеличить и выделить свою роль или место в великих исторических событиях, он предельно скромно и правдив. С покоряющей откровенностью говорит он о себе, вместе с солдатской и рабочей массой встречавшем Ленина на Финляндском вокзале.

«Я ходил на Финляндский вокзал встречать Ленина. Что я мог там видеть, когда был гул, как ледоход, и тысячи тысяч разных головных уборов только я мог и увидеть».

Бесценно теперь и это свидетельство полувековой памяти о великом событии народной жизни, вызвавшее в душе одного из «тысячи тысяч» удивительное по простоте и поэтической емкости сравнение с торжественным, грозным и радостным явлением природы — «гул, как ледоход»...

Бесхитроsten, но необычен и трогателен его рассказ о том, как он, бросившись за борт баржи-тюрьмы, куда он попал как советский активист, работник земотдела вол-исполкома, под пулями доплывает до берега, нагишом скрывается в прибрежных зарослях и, заедаемый таежной мошкой, сплетает себе из травы подобие одежды. А примеры того, как в своих долгих скитаниях беглец всюду встречает от местных жителей, как только они узнают, что он бежит из колчаковской тюрьмы, участие и бескорыстную помощь, — еще одно достоверное подтверждение того, на какие глубинные народные

силы опиралась наша революция. Скитания А. С. Бартова заканчиваются 23 августа 1919 года приходом в уже освобожденную от колчаковцев родную деревню. На этом он кончает свои записки. В ответ на мое письмо, в котором я спрашивал о дальнейшей его судьбе, А. С. Бартов сообщает, что после гражданской войны он работал в своем хозяйстве и в волсполкоме, сожалея, между прочим, что «сделал ошибку, не подался на учебу сразу по демобилизации». Подлинность своей биографии и приключений А. С. Бартов скрепляет нотариально заверенными копиями справки от Тюменского военно-революционного комитета.

Не жалуясь, но с оттенком некоторой горечи А. С. Бартов сообщает, что он свои воспоминания «приносил в Лысьвенскую типографию газеты «Искра», где их «прочитали, сказали: это не подвиг, печатанию не подлежит».

Не в упрек районной газете, по условиям которой эти записки могли быть и отклонены, хочу сказать, что можно к ним подойти и по-другому. Во-первых, побег из вражеского плена или заточения с очевидным риском для жизни — это все-таки какой ни есть, но подвиг. А во-вторых, право на воспоминания о пережитом имеют не только герои, совершившие исключительные подвиги, или деятели, известные особо выдающимися заслугами, но и все люди, которым есть что вспомнить в связи с событиями тех времен, когда решались исторические судьбы их родины.

Мною сделаны самые минимальные, чисто грамматические исправления в тексте записок А. С. Бартова. Сохранены, как есть, даже места неумелые, но очень выразительные стилистические обороты, чтобы не лишиться важных деталей содержания и примечательных особенностей народной письменной речи автора.

А. Твардовский.

Когда отца отделили, почти ему ничего не дали. В то время отец был бедняк, с 6 лет я начал боронить, 7 лет отдали учиться в церковноприходскую школу.

Как сейчас вижу, на стене висит плакат большими славянскими буквами: «Во имя отца и сына и святого духа, аминь!»

В школу я пришел, буквы знал все, от дядьев научился. Ученье мне давалось отлично, но не было размаху, только и знали евангелие читать, часослов, псалтырь, переводили устно на русский язык, ничего не понимая.

Так я проучился три зимы, все мне опротивело, учиться бросил потому, что учиться было бесполезно, одно и то же и опять снова. Учитель у нас был инвалид на одной ноге, образования, наверно, не имел, жалование ему платили с рук, один рубль за 8 месяцев за ученика. Кормили его ученики дома, каждый — неделю, если недель не хватало, тогда вторично докармливали. Отец был портной, в зимнее время работал по домам, 10 лет я начал приучаться работать с отцом, и так проходило время, летом — по сельскому хозяйству, зимой — иглой.

17 лет я уже мог работать самостоятельно без отца. За 4 дня до объявления японской войны в 1904 году на 20 году я женился, не предполагая идти на военную службу. После войны, в конце 1905 года, я был взят на военную службу, хотя мне была льгота 2-го разряда. Набор был большой, больше других годов.

На службу я был назначен в пехоту, в 8-й гренадерский Московский полк, в город Тверь, теперь Калинин.

Прибыли мы в начале 1906 года; так как железнодорожники бастовали, нас лишний месяц оставили дома. Когда поступили в полк, я о политике почти ничего не знал, но нам прокламации подбрасывали. В роте старых солдат было всего человек 10 — все были новобранцы, подброска прокламаций не имела успеха, так как ротный командир 9-й роты был самый реакционный из полка, из-за него был у нас чрезвычайный режим.

Трое из нас вздумали ему написать нелегальное письмо. Как будто было все в секрете, но он узнал, двоих откомандировал в пограничный полк, а меня весь год пытал через своего полкового писаря насчет этого письма и сажал под строгий арест. Но когда ничего не добился, сказал: «Считай за счастье, что не отдал под суд». Немного смягчало еще то, что я на него шил брюки и кителя.

Я кончил службу 1 декабря 1908 года. По приезде домой семейное положение резко изменилось: бабушка, материна мать, жила с нами, а родная мать померла, две сестры вышли замуж, младших два брата померли, всех нас было четверо, и отец женился. В 1912 году, когда был пересмотр нашему году, меня, как по болезни, зачислили в ратники 1-го разряда.

В 1913 году я от отца отделился, так как с мачехой не стало совету.

В германскую войну я был взят уже с ратниками 1-го разряда 10 сентября 1916 года в Петроград в лейб-гвардии Московский полк, 2-ю литерную роту. Нас приняли столько, так было тесно, что сельдей в бочке. Началось ученье, на первой же маршировке меня узнали: «Что ты попал с неучеными, а ходить умеешь?» Дело было выяснено.

Кадры были молодые, лет 18—19, над ратниками лет по 35 всячески издевались, заставляли кричать в трубу, ходить гусиным шагом. Я страшно был возмущен поведением учителей, заявлял им поодиночке протест, из этого ничего не вышло, даже начали подозревать. Однажды унтер-офицер спросил, кто знает, что такое политика? Все молчали. Я сказал, что знаю немного. Больше он ничего не стал спрашивать, и когда кончилось ученье, тогда мне сказал унтер: «Ты знаешь, что такое политика, и заступаешься за тех, которые не понимают. Смотри, в последний раз тебя предупреждаю, а то не поздоровится».

Служил в нашем взводе некий Жуков, Екатеринославской губернии, он все время читал газеты, покупал «Новое время», разбираться мог хорошо. Я часто с ним беседовал, он говорил, что что-то должно быть в правительстве, какая-то перемена. Время шло, с сентября до февраля, отпускать из казармы стали плохо. Ничего не зная, числа 23 февраля я пошел в булочную, слушаю песню «Отречемся от старого мира». Толпа приближалась — человек около ста. На второй день пронесся слух, что учебную команду увели куда-то. В следующий день узнали, что команду увели туда, где группируются больше рабочих, что заставляли их в рабочих стрелять, но они отказались. Настроение стало тревожно. 26-го во время обеда увидели, что учебную команду расположили у железной ограды с фундаментом, с колоннами, а по Сампсоновскому проспекту шел автомобиль, слышались выстрелы, на дороге оказался убитый подпрапорщик, и унтера побледнели. Вдруг заходит юноша лет 17, из рабочих, в блузе, с тесаком в руке, и кричит: «Товарищи! Кто с нами и кто против нас?» В это время вваливается толпа женщин и мужчин, забирают винтовки, кто сколько сможет унести, но наши начальники стоят как мертвые, молчат. Растащили винтовки, тогда подпрапорщик и унтеры начали срывать с себя погоны, рядовые шли, куда хотели, пустили слух, что ночью, когда солдаты уснут, их отравят газами. Спать почти никто в казарме не стал, спали у знакомых рабочих. Я лично переночевал 3 ночи у рабочего ниточной фабрики.

Прием для солдат был всюду самый хороший, было ясно, что раз солдаты отказались стрелять, революция обеспечена. Мало-помалу начали собираться, в казарме не ночевали, дисциплина отсутствовала совершенно. (На кухню работать не шли, а обед требовали во время дня и ночи, к кашеварам приступали с кулаками, если кто пришел даже ночью: почему обед не оставил.) В караул шли только убеждением более сознательные.

Когда приехал Ленин из эмиграции, то по ротам провокаторы ходили и говорили, что приехал германский шпион. Я ходил на Финляндский вокзал встречать Ленина. Что я мог там видеть, когда был гул, как ледоход, и тысячи тысяч разных головных уборов только я мог и увидеть. Когда все немного утихло, новое начальство было выбрано, меня откомандировали в портняжную мастерскую. Маршевые роты отправлялись одна за другой, народу на нарах осталось — где человек, где два. Эти оставшиеся люди ночи проводили за картами, играли на деньги в двадцать одно. Некоторые проигрывали свои манатки, даже сахар. Так время шло.

Большевики будили массы, наш полк был в Выборгском районе в среде рабочих, и весь полк обольшевичился. Подошли июльские дни. Наш полк тоже ходил к Таврическому дворцу в полном составе, присоединялись к революционным полкам. Требование на лозунгах было, помню: «Капиталистам — штык, булат и пулемет», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!»

Выше упоминал товарища Жукова. Мы с ним очень увлекались событиями, где только был назначен какой-либо митинг или собрание, всегда посещали, во всякое время, лишь бы только быть не в наряде.

Во время корниловского наступления наш полк был назначен к Риге, но почему-то только приехало 6 рот, а остальные не приехали. Нам был дан участок около города Валки рыть окопы. Пробыли там месяц. Обрато нас вернули в Петроград перед самой Октябрьской революцией. После этого мне вскоре дали отпуск на месяц. По истечении его стало известно, что армия демобилизуется. Я поехал в Кунгур, зашел в воинское присутствие, там сказали, что я демобилизован. Так я остался дома, не поехал в Петроград.

В деревне много перебывало разных агитаторов от других партий, но демобилизованные настроены были по-большевистски. Пришло распоряжение из Кунгура, дабы заменить волостную управу Советом, хотя организация была трудная, все же демобилизованных подобралось человек 25. Управу удалось заменить волостным исполкомом и его отделами. Состав избирался всего на три месяца: март, апрель, май. Я лично был избран предземотдела. Сначала работа была очень трудная с уравнением земель. Имущие лица предлагали взятки и всевозможные услуги, дабы отстоять нажитые земли. Прошли три месяца, состав был переизбран. Прошло лето. Осенью в ноябре месяце началось отступление красных, пришел Колчак в конце декабря. Более 20 человек нашей волости были арестованы и посажены в Кунгурскую тюрьму. Просидел и я с полмесяца, — меня освободили как бы на поруки, а в то время послали опросный лист в общество о принятии меня обществом. Не приняло по инициативе некоторых заправил, и я, проживши дома два дня, снова был арестован и увезен обратно в Кунгурскую тюрьму.

Две тюрьмы в Кунгуре были забиты битком и не один частный дом — арестованными. В тюрьме много приходилось видеть исхлестанных плетью, битых прикладами. Люди больные, не получавшие от своих посылок, терпели голод, так как паек был 400 грамм хлеба.

В нашей 8-й казарме сидели люди более подозрительные, нас не отпускали ни на шаг. Начались допросы. Меня допрашивал бывший наш земский начальник Накаряков, допрос короткий и всего один раз. Вскорости после опросов меня судили заочно, осудили на срок до октября месяца 1919 года.

Если бы власть устояла, пересуд был бы еще, так как давали авансом. После суда мне дали работу: лошадь с бочкой — вывозить нечистоты по городу. Проработавшего день в такой обмазанной одежде закрывали в камере, донельзя переполненной, вместе с сидевшими, а от него

шло невыносимое зловонье. Через месяц от начала работы я заболел и был переведен в другую тюрьму, где была больница. После пребывания в больнице (три недели) меня перевели в камеру той же тюрьмы. По ночам, случалось, арестованных уводили неизвестно куда, по вероятности, в расход.

Однажды из нашей камеры увели некоего Цыбина, не было ни слуху об нем, думали: расстреляли. Когда эвакуировали, я с ним увиделся. Он потерпел в тот вечер, в который увели, ему дали 150 плетей и бросили в одиночку. Так он пролежал на животе две недели полумертвым, и потом дали еще 100 плетей, выпытывая от него, где находится небольшой склад оружия. Терпел, но не сказал, хотя знал, как мне передавал по секрету.

Пришла весна, деревья начали одеваться, сидеть стало очень трудно без работы, конвой нас охранял, все время успокаивал, что, «когда красные придут близко, мы вас освободим». Наши надежды не оправдались, началось отступление, пошли обозы и мирное население, отступающее с Колчаком. 10 июля вечером часов в 11 отворились двери и послышалась команда: «Вставай, забирай вещи и выходи». Сначала все молчали, так было три команды. Послышалась четвертая и последняя: «Не выходите, стреляем в вас», — прозвучал голос. Делать было нечего, пришлось одеваться и выходить строиться по 4 в ряд. Когда все вышли, нас повели ко второй тюрьме, и там уже шла перекличка, всех выстроили в одну колонну, по бокам и сзади обставили конным и пешим конвоем и двинулись из города на самом рассвете. Первый день прошли до с. Березовки, 32 километра. В этом селе один вздумал бежать, был убит, и в следующие дни, кому предстояли удобные случаи, бежали. Шли все по Благодатскому тракту. Когда дошли до реки Чусовой, там пошли более лесистой местностью, бегство увеличилось. Тогда придумали такой метод: поставили 5 человек в ряд и по локтям связали всю пятерку и предупредили — в случае, если из связанных кто убежит, отвечает вся пятерка расстрелом. Тогда бегство прекратилось. Всего мы шли из Кунгура до с. Горноблагодатского, то есть до завода Кушва, дня четыре. Которые ослабли, везли на подводах. Пронесся слух, что красные окружают; нас погнали в сильный жар бегом. Дошли до станции, нас посадили в вагоны без нар человек по 40—50, так мы сидели, лежали и стояли почти друг на друге. Доехали до Свердловска, там нас накормили обедом, и мы двинулись до Тюмени. На станции Тюмень по списку выкликали, ровно 100 человек увели в Тюменскую тюрьму, в их число и я попал, а остальных увезли по железной дороге. Тюменская тюрьма была до нас набита до отказа. Нас посадили в какой-то подвал всего с одним окном и дверью, раньше это помещение служило для склада тюремного имущества. Блох, вшей там было такое количество, что на квадратном сантиметре было не по одному паразиту. Спали только днем, и то немного, больше всего время проводили в том, что били и искали в одежде паразитов. Пищу давали на 100 человек — утром бак горячей воды ведер 5 или 4, в обед этот же бак с водой и картофельного осадку сантиметров на 10. Вечером опять бак воды и буханку черствого хлеба на 10 человек, килограмма 3. У дверей день и ночь стояла так называемая, по-тюремному, параша, которая издавала зловонный запах хуже всякого ватера. Так мы сидели 8 дней, потом опять эвакуация. Постепенно нас выгоняли, делали перекличку, всех тщательно обыскивали. Эту процедуру начали делать часов в 12 дня, кончили часов в 9 вечера. Передние два ряда были в кандалах, я угодил в 3 ряд. Стоять при сильной жаре так много времени и без воды — самое худшее для меня за время заключения. Всех из тюрьмы выгнали — более тысячи человек, — выстроили, предупредили, что при малейшем выходе из строя будет пристрелен. Был конвой конный и

пеший, заранее все улицы от народа были очищены, у окон форточки были заперты, город Тюмень казался мертвым. Только было слышно крик конвой и язг впереди идущих кандалников, и вспомнилось мне тогда до слез из похоронного марша «Идешь ты усталый, брэнча кандалами».

Пришли на пристань на реке Тура. Стояла барка, название «Волхов», и впереди буксирный пароход. Стемнело, появились огни, нас посадили в баржу, там были устроены нары, как в казарме. Ночью пароход не пошел, простояли до утра, утром двинулись часов в 10. У кого были родные, долго бежали по берегу, махали, кричали, плакали и ревели, зрелище было ужасное, а родных было много, так как местных тюменских на барже было до 500 человек. Участвовали в восстании, противились мобилизации Колчака, за это были посажены. Еще были с нами австрийцы пленные — 250 человек, их оставили на палубе и варили для них обед, а мы, как русские преступники, сидели в трюме и страдали от невыносимой жары, снимали последние рубахи, но все же были мокрые, дышать было нечем, а в отверстие пробивался наверх пар, как от парового котла.

На второй день на палубу арестованных вышло более половины, нам дали немного хлеба. Сделана была подготовка к восстанию, но, должно быть, были шпионы. Конвой узнал, и под угрозой оружия все были загнаны обратно в трюм. Что оставалось делать? Был придуман такой план. На палубе был ватер, и там всегда была очередь, и в очередь один за другим ставили нас люди, которые должны были руководить восстанием. По сигналу — крику «ура» — должны были из трюма выходить. Я лично был на палубе, попросил разрешения с себя выстирать белье, так многие до этого тоже стирали. Выстирал сначала рубашку, день был солнечный, я сразу надел ее на себя, снял кальсоны и только их смочил, как послышался крик «ура». Восставшими сразу были убиты несколько конвоиров и взяты винтовки, и пошла схватка. В это время конвой успел отверстие закрыть крышкой и несколько конвоиров на нее встали, так что выход был прекращен, я оказался среди конвоя, медлить было нельзя ни секунды. Бросаюсь в воду в одной рубахе рваной. Впоследствии я узнал от тех лиц, которые были увезены на барже в Томск, а оттуда до Хабаровска, что после восстания людей ставили в шеренги и штыками прокалывали глаза, только и слышно было раздирающие душу крики, кандалники были в первую очередь приколоты. Остальных повезли дальше. 3 дня не давали хлеба, оправляться не отпускали наверх, а там оправлялись внизу, где жили. Появилась зараза, люди гибли, как мухи. Не многим пришлось вернуться, часть была убита, а другие умерли от голода и заразных болезней.

После того, как я соскочил в воду, старался плыть в большие волны, которые происходят от баржи, а за баржой было прикреплено несколько лодок: в них сидели попы и их семейства, следовавшие за баржой. Когда я плыл в волнах и пене, меня было плохо видно, а когда поплыл дальше, пули жужжали около самой головы. У меня была уверенность, что не попадут. Плыв дальше, видел, как у одного волосы исчезли в воде, начал тонуть, а другой старался ухватиться за меня, я не дался. Немного погодя я почувствовал под ногами почву, от испуга ноги мои отказались шагать, еле-еле я добрал по воде до берега, а пули все время старались положить меня, но судьба миновала. Я выбрался на берег, он был крутой. Который человек в воде за меня хватался, он тоже вышел на берег неподалеку от меня, ни он и ни я не сказали, что идем вместе, а решили, очевидно, спастись поодиночке.

Когда выбрался на берег, был покос, стояли копны со сгребенным сеном, хотел лечь под копну, но подумал, что придут сено убирать и меня найдут. Решил забраться в куст ивовый с травой, рознял осторожно траву, заполз, сижу, а пули еще все свистят выше меня, стрельба продолжа-

лась еще с полчаса. Это время было 28 июля, часа 2. Досидел до заката солнца, начали меня шупать оводы, комары и мелкая мошка, что делать — ноги голые, спасенья нет, начал рвать траву пырей, закрылся. Сидеть не будешь, надо было куда-то идти. Давай траву свивать, как прядь веревки, начиная со ступни ноги обматывать кругом до живота, на животе завязал, чтобы не развязывалась, вот и кальсоны, не каждому комару стало доступно.

Когда стемнело, я вышел из куста, сделал из веток веник, начал отмахиваться от наседавших на меня туч насекомых. Место незнакомое, везде встречал преграды заливов, идти было невозможно, так проходил ночь, продвинуться много не мог, пришлось спуститься к реке, идти берегом вверх по течению, то есть обратно. Пройдя немного, повстречал на берегу будку-сторожку на перекате реки. Подойдя к ней, услышал разговор, но войти в нее не посмел, висело белье возле нее, хотел взять, подержал в руках, не взял, считая это воровством, — двинулся дальше. Начало светать, вышел на обрывистый берег. Стояла высокая трава, выше меня, пырей, я в него осторожно зашел и нужное количество ее нарвал, лег на землю, укрылся этой травой и заснул непробудным сном. Проснулся не раньше как в 10 часов утра, слышу — неподалеку косят сено косилкой. Сколько смотрел на них, узнавая, что за люди, но идти к ним не было решимости. Так я дождался того время, когда они ушли, — не стало слышно и видно.

Что-то надо было делать. Стал из вырванной травы себе вязать рождо. Когда сплел достаточное количество, которого вокруг меня хватало, надел, померил, наготу не видно, и пошел по близлежащей тропинке. Смотрю, люди гребут сено, подошел из-за кустов к самому мужчине, говоря: просьба спасти, не выдавать меня. Он говорит: «Что ты, с баржи?» Отвечаю: «Да». Он говорит: «Вас никто не выдаст». Я его спросил, нет ли каких-нибудь брюк. «Завтра, говорит, приходи сюда — привезу», дал мне хлеба с килограмм и старый в заплатках мешок. Я отправился на ту «квартиру», на которой спал по дороге. Попадались ягоды и в ямках вода, подкусил хлебом с ягодами, воды напился, лег спать. Ноги положил в мешок, травой потолще укрылся, крепко заснул. Пробудился, кто-то за ногу меня трогает. Догадался, что в мешке есть в одном углу хлеб, мышь нашла его, давай мешок прогрызать. Ничего, настроение мое не испортилось, я снова уснул и проспал до позднего утра. Утром был мелкий дождь, встал, пошел к тому человеку, который вчера велел прийти за брюками, но, так как был дождь, он не приехал. Неподалеку косило семейство из 4 человек — два парня лет по 14—15 и муж с женой. Подхожу к ним, женщина увидела — такое движется зеленое чудо, от испуга закричала, а парни ко мне с хохотом бегут навстречу. Я думал, что они меня хотят поймать, немного оробел. А мужчина видит, что я стусевался, говорит: «Не бойся». Я начал спрашивать про того человека, которого ранее видел, он сказал, что «тот сегодня не приехал по случаю дождя, но нам сказывал про тебя, подожди, я дам вот с себя шаровары». Пошел к балагану, снял с себя ситцевые крупноцветные шаровары, отдал мне, а на себя надел брюки суконные серого цвета. Дал еще кусок хлеба и сказал: «Хочешь есть — пойдешь к той опушке, там есть наш человек, он варит рыбу, тебя накормит». Пройдя немного, я увидел огонек, в люльке качается ребенок и мужчина с женщиной сидят. Хотел подойти. Поглядев на противоположный берег, в том месте как раз был паромный перевоз, там была избушка, около этой избушки виднелся кто-то из военных, разоб- рать было трудно по дальности, и я не решился идти к предлагаемому обеду.

Вернулся обратно, пройдя мимо тех людей, которые мне дали штаны, я повернул в сторону. Темнело, начался мелкий дождь и подул силь-

ный холодный ветер, тело мое начинало судорожить. Подойдя к копне сена, бросил зеленый халат, надел шаровары, они мне такие показались теплые, как меховые, на голову надел мешок, поднял часть копны и залез под сено. Думал, будет тепло и удобно. Но ветер рвал до того сильно, и копна давила своею тяжестью, и я всю ночь не мог заснуть. А утром начал щелкать зубами, вышел из копны, это было еще рано, только что солнце всходило. Пошел по направлению к солнцу, но шел я медленнее черепахи, ноги мои идти отказывались вследствие того, что они были все исколоты, на подошве были сплошные раны, так как в местности рос терновник. Шел я, вероятно, один километр больше часу, сначала поставлю ступню на землю, и если не колет, дает опереться, вторую ногу поставлю, если колет — ищу место, на которое можно опереться. Так двигался, солнце взошло высоко, я согрелся. Где упирало солнце, было тепло, я лег и заснул, спал крепко, долго ли, мало ли спал, не знаю, проснулся, слышу — слева стрекочет сенокосилка, а вправо косят два косаря. От сенокосилки доносится разговор непонятный, не русский и не татарский, а кое-какие слова понятны. Хочу подняться, думаю, что они меня видят, и обратно сяду, сил нет. Впал в уныние, ноги болят, бежать не в силах, если где придется быть в опасности. Слезы покатались за все время моего ареста впервые. Была такая думка, если бы кто дал мне жизнь свободную, чтобы китаться и не быть под страхом, лишаюсь всего, что есть дома, и на 10 лет иду в работники.

А действовать было надо: ведь самое дорогое на свете — это жизнь. Посмотрел на мешок, он весь в заплатках, заплатки пришиты суровыми нитками, и есть 2 шнурка. Осторожно развиваю нитки обратно, этой ниткой сшивать нужно рубаху, так как она разорвалась, на плече несколько не держится. Нашел колючку, складываю разорванное вместе, прокалываю, а нитку в дырочку продеваю, начинаю шить и так отремонтировал себе рубаху. Разобранный по частям мешок я начал подбирать к ногам — которая часть подходит, обвернул обе ступни, обвязал шнурками и встал, почувствовал, что ходить могу свободно, даже могу бегом бежать, и угол мешка еще остался на кепку. Вздохнул свободно, почувствовал больше силы и энергии.

Вот уже косари кончили работу. Загорелся огонек — видно было, как люди копошились около него, он постепенно потухал и совсем потух. День кончился. Стало темно. Я встал с места и пошел туда, где горел огонь. Подошел, люди были в балагане, разговаривали друг с другом, укладывались спать. Подошел к балагану, спрашиваю: кто здесь, отвечают: есть двое. Они вышли оба из балагана, как бы испугались. То были два подростка, старший Тимофей, 17 лет, беженец Волынской губернии, а другой Гаврило, 14 лет, местный. Гаврилов отец — Зырянов Иван Васильевич, я их видел, когда они косили, а на сенокосилке косили Тимофей и его брат Петр. Жили у крестьянина села Сазоновское Тюменского уезда — у Ивана Михайловича, фамилия забыта. Зырянов Иван и Петр Волынский ушли за хлебом в село Сазоновское пешком. У них было 5 лошадей — они спрятали я на покосе от Колчака, а в балагане остались Тимофей и Гаврило. Я им рассказал, ребята слушали: как плыла баржа и что там случилось. «Знаем», — отвечали. «Так я с нее, говорю, меня не бойтесь». Они сходили на реку за водой, скипятили чай, дали огурцов, белых масленых шанег, начали меня угощать. Чай пил с такой жадностью, хотя сахару не было, выпил чайник литра на три, а пить все хочу, так и сказал, что не напиться сегодня, давайте спать. Они легли впереди, а я у входа. Вместо одеяла мне дали рогожу.

На восходе солнца я проснулся, встал, ребятам сказал, что ухожу и рогожу унесу с собой, пойду в кусты спать, боясь того, кто бы врасплох меня не обнаружил. Проснулся, наверное, часов в 9, выглядываю на бала-

ган, смотрю — людей больше, толпятся у костра. Незаметно, крадучись, несу рогожу. Зырянов увидел, что иду я неуверенно, кричит: «Иди скорее, чай пить ждем». Они уже пришли с хлебом из своего села. Подойдя к нему, прошу спасения. Он улыбается. «Не бойся, говорит, спасен будешь, давай садись чай пить. Я ведь давно пришел, ребята жалуются, что какой-то человек с баржи унес рогожу, я говорю: принесет». Потом он еще кричал: «Большевик, иди чай пить». Я не слышал. За чаем разговорились, опасно ли мне здесь жить. Он уверил, что на этом берегу реки нет жительства на 30 верст вокруг, а село Сазоновское было за рекой верст за 7. Я спрашиваю: «Большое ваше село?» — «380 дворов», — отвечает. «А сколько против советской власти?» — «Человек 20». Ну, думаю, процент мал, бояться нечего. Иван Васильевич Зырянов оказался активный защитник революционеров. Он рассказал, как в 1905 году провозжал и указывал дорогу бежавшим политическим из городов Березова и Туруханска. После его рассказа я окончательно убедился в своем спасении. Он дал мне на ноги свои сапоги, а сам надел лапти, сознавая, что у меня ноги болят. Я ему начал помогать косить и грести сено, а он каждые два дня уходил в село за хлебом и узнавал, где находится фронт красных. Каждый раз фронт все двигался ближе. Пароходы курсировали больше всего вниз, то есть отступали, а наверх ходили редко, а потом вовсе вверх не пошли, только вниз. Сидя на берегу реки, я покачиваю ногами и помахиваю кепкой, которую дал Иван Васильевич. Указываю в отступающую сторону, посылаю проклятья.

Так жили, косили, гребли сено. Пища была хорошая: белые шаньги, пшенная каша с большим количеством масла, огурцы, яйца. Наконец стали слышны орудийные выстрелы, по тракту бесконечный поток обозов не прекращался день и ночь. Начали на нашем покосе появляться отступающие солдаты — скрываются от своих частей и направляются по домам. Перебегали и конные кавалеристы, и пехота. Иван Васильевич всех угощал чаем и хлебом, ничего с них не брал, направляя, указывал дорогу к их селениям. Он точно знал все лесистые местности, куда вели дороги. Отступающие солдаты дали мне рубаху, еще портянки.

Однажды Иван Васильевич приходит из дому, улыбается. «Ну, говорит, Александр, дождался. Красные в селе». Я как переродился и помолодел, и вся забота исчезла, но Иван Васильевич попросил сгрести сено и сметать.

Еще проработали два дня и отправились в долгожданный путь. Версты за две нас остановила застава, опросила подробно, пропустила. У самого села опять остановили, но уже много не спрашивали, и мы пришли на квартиру Ивана Васильевича. У него красноармейцы, и баня приготовлена мыться. Пошел я в баню, мылся и парился целый час, тело очерствело так, что никак не мог его удовлетворить, все чешется, так и бросил. Пошли меня смотреть: жив ли? После бани всевозможная стряпня, как для гостей. А красноармейцы дали сахару. После этого меня положили на перину спать, и я заснул спокойным радостным сном. Это было 14 августа 1919 года. На второй день позавтракали, я отправился в штаб 1-го Северного полка, который находился в селе, политическим комиссаром был кунгурский Опарин, — дали мне удостоверение и ботинки и часть денег. Я пришел к товарищу Зырянову, простился, поблагодарил за все хорошее, он еще мне дал 2 буханки белого хлеба и 50 руб. денег. Я двинулся в путь.

Ботинки оказались мне малы, и я завернул свои ноги в портянки. Так шел. В тот день прошел всего 15 километров, там переночевал. На этой квартире мне дали плетенные из липовых лык калоши, вроде лаптей, я положил в них сена и так благополучно дошел до Тюмени — 35 километров. По дороге я везде встречал самый радушный прием, и все проклинали

ли белых. Придя в город Тюмень, заявиться хотел к коменданту, но уже было поздно, занятие кончено. В это время с верхнего балкона окрикает меня знакомый голос — некто Кулаков с Юго-Кнафского завода Пермской губернии.

«Бартов, ты откуда?» — «А ты откуда?» — спрашиваю я. Оказывается, в воду мы поскакали в одно время, но спасались по-разному. У него была знакомая квартира. Пошли мы на его квартиру ночевать. На второй день у коменданта оформились, дали мне на пропитание денег, я пошел справиться на станцию, узнать, ходят ли поезда. Только что первый поезд пришел, дорога исправлена, ехать было можно, начальник станции дал мне билет, так я благополучно доехал до Кунгура, а из Кунгура 25 километров шел до дому пешком. Через некоторое время ноги начали заживать, так как с подошв вся кожа слезла.

За время пребывания на службе и в тюрьме моя жена развратилась донельзя. Немного прожил с ней, но никакие убеждения не помогли. Пришлось добровольно развестись и жениться на другой.

Всего под арестом и в бегстве пробыл 235 дней, домой пришел 23 августа 1919 года.

Пермская обл., г. Лысьва.



От автора :

С радостью узнала, что моя повесть появится в юбилейном номере «Нового мира». В пятидесятую годовщину Великой Октябрьской революции, которая предопределила всю мою жизнь и всю мою работу, я сердечно приветствую читателей журнала.

АННА ЗЕГЕРС

★

ТОТ САМЫЙ ГОЛУБОЙ ЦВЕТ

Написано в Дилижане

Посвящаю

моим армянским друзьям — писателям и гончарам.

Бенито со всей своей семьей и нагруженным мулом медленно спускался к городской окраине; последней шла Луиза с привязанным за спиной малышом.

Андрес, старший сын, подражая отцу, степенно шагал рядом с мулом, чтобы не случилось какой беды. Средний мальчуган, Габриэль, шел немного впереди. Порой он забывался, подпрыгивал, срывал с ветки цветок: после периода дождей все росло и зеленело, лужайки пестрели цветами, а белые дома пригорода были окружены лиловой дымкой бугенвиллеи.

Мул ступал осторожно. Он отлично понимал, какой груз несет на себе. Всю эту посуду, которую его хозяин Бенито сделал, обжег, раскрасил и покрыл глазурью, мул и сам бы в сохранности доставил на рынок в городе Мехико. Он всегда, не дожидаясь указаний, по собственному разуму делал то легкое движение, которое было необходимо, чтобы не стукнуть обо что-нибудь свой груз.

Обычно, задолго до того, как семья пускалась в путь, посуду укладывали в сетки и привязывали ему на спину. На матово-белом фоне посуды выступал узор яркой и неподражаемой голубизны. Многие люди искали на рынке в Мехико лавку гончара Бенито Герреро из деревни Сантьяго Иксуинтла, чтобы пополнить свой набор посуды или обзавестись новой.

Если у кого-нибудь из этих покупателей бывали гости, например у доньи Исабель, то кто-то из гостей нередко заявлял:

«Ну и тарелки! Такого голубого цвета больше нигде не увидишь». А в ответ говорилось: «Пойди да купи себе такие же на рынке у гончара Бенито».

Мул был нагружен только посудой. Отец нес в перекинутом через плечо двойном мешке сандалии, свои и женины, а также банки для краски и еще кое-какие нужные вещи.

Перед тем как войти наконец в город, они еще раз сделали привал. Мать раздала взятые на дорогу припасы. Она успокоила малыша, их третьего сына. Старший мальчик повел мула к ручью. Он торопился зачерпнуть воду, чтобы животное не вздумало само наклониться. Но хотя мулу очень хотелось пить, он знал, что может попить только с помощью мальчишка. И он не шевельнулся, чтобы ничего у него не соскользнуло и ни одна тарелка не стукнулась о другую.

Войдя в город, родители надели сандалии, и затем—из улицы в улицу — вся семья направилась к рынку. День начался, вскоре стало многолюдно и шумно. Средний мальчуган уже не прыгал, он был так же внимателен и осторожен, как его старший брат. Его угнетали пыль, шум, эта необходимость соблюдать осторожность, о которой каждый член семьи не забывал ни на секунду. А мул смотрел то на отца, то на кого-нибудь из мальчишек, то на мать. И его удивленные печальные глаза выражали благодарность, когда Бенито бережно клал руки на его шкуру или, словно желая защитить, заслонял его всем телом, если, вынырнув из сумрака подворотни, им переходил дорогу пьяный или какие-нибудь недостойные люди.

Наконец дошли до большого двора, где имелась стоянка для мулов, а также в положенное время вода и корм. Бенито дал за мула грошовую плату вперед. Средний мальчик еще раз обнял голову животного — ему не хотелось с ним расставаться. Мул озабоченно поглядел ему вслед, словно опасался, что с посудой может что-нибудь приключиться, когда он сам уже не будет оберегать ее.

Луиза, поудобнее устроив малыша за спиной, первая добралась до их лавки. Она поздоровалась с соседями справа, слева, а также в лавке напротив. Затем перетерла всю посуду, которую вынул из сеток ее муж, и аккуратно расставила. Голубой цвет на ободках был ясно виден даже в сумеречном проходе между прилавками.

Подошли первые покупатели, они разглядывали посуду и болтали. Однако Бенито молчал. Он был уверен в себе и скуп на слова. Да и что бы он мог людям рассказать? Они знали, какой он гончар. Знали его узоры, достоинства его краски.

Донья Мерседес длинными гибкими пальцами сунула кружечку в свою корзинку. Они поторговались из-за нескольких сентаво, как было в обычае. Донья Исабель, которая всегда что-нибудь покупала то для своей деревенской гостиницы, то для городской квартиры, сказала, окинув быстрым взглядом товар Луизы:

— У вас нынче не очень большой запас. Верно?

По глазам Луизы было видно, что она ждала таких вопросов.

— Вам хватит.

— Вы очень ошибаетесь,— отозвалась женщина.— На этой неделе, когда свадьба была окончательно решена, моя дочь от волнения грохнула целый поднос с посудой — несла ее из кухни в столовую. Чуть не десять кружек и тарелок расколола. Вот я и хотела сегодня купить сразу три набора. Она ведь тоже привыкла к вашему голубому цвету, дон Бенито, и я сейчас же взяла бы посуду и для ее приданого. Никакой другой, кроме вашей, она иметь не желает.

Бенито молчал. Вместо гордости он чувствовал растерянность, ибо торговец дон Виктор с улицы де лас Мансенас, у которого он обычно

покупал все необходимое, уже дважды не смог ему предоставить ту краску, какой Бенито пользовался уже не одно десятилетие. Луиза, тоже подавленная тем, что не может удовлетворить требование покупательницы, сказала:

— К следующему разу я непременно отложу для вас набор тарелок, дорогая госпожа, как только будет возможность.

Андрес, старший сын, только взглядом окидывал проходивших мимо, а сам стоял неподвижно, как бы оберегая мать: он знал из разговоров между домашними, что сегодняшняя поездка на рынок грозит родителям неприятностями. Выполнена была только часть заказов. Многих, многих людей приходилось все вновь и вновь только обнадеживать. Правда, оставалась еще кое-какая нерасписанная посуда землистого цвета, но от нее мало выгоды.

Так как в лавке дела не было — ни укладывать, ни раскладывать, — Луиза дала ребенку грудь. Все еще не сходя с места, Андрес наблюдал всякие споры, происходившие в полутемном проходе между лавками. Их место в ряду гончаров было предпоследним. У иных в узорах на посуде преобладал красный или зеленый цвет. В соседнем проходе торговали предметами, сделанными из мочала и соломы: корзины и циновки, птицы и всадники. Ко всем запахам примешивался запах глины, и в воздухе тонко поблескивала мякина.

К лавкам гончаров примыкали лавки с головными уборами. Андрес покосился на девочку, сидевшую среди наваленных стопами сомбреро. Она грызла пряник. Какой-то тощий покупатель стал примерять одну шляпу за другой. Девочкина бабушка, проворная и болтливая, повернула к нему зеркало. Люди принялись давать всякие советы: «Бери эту. Бери ту». И когда тощий наконец выбрал себе сомбреро, сейчас же следом за ним какой-то весельчак и толстяк быстренько тоже примерил одну за другой несколько шляп. Девочка была так мала, что могла бы угнездиться в сомбреро. Она уже принялась за второй пряник. Андрес пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал.

Габриэль давно убежал к мулу. Он еще не возвратился.

Андрес тоже незаметно ускользнул. Он бегал по улицам, которые вели к рынку. Порой останавливался и разглядывал в сумрачных пещерах лавок смутно различимые предметы — обитые золотыми гвоздиками роскошные седла и сбрую, — так бы и не отрывался от этого зрелища, но кто-то вдруг схватил его за шиворот и встряхнул. Оказалось, отец.

Однако Бенито не стал браниться. Он продолжал свой путь. Андрес бежал рядом. Бенито не обращал внимания на сына. Лишь перед дверью какого-то магазина он приказал ему:

— Подожди.

Витрина показалась Андресу скучной: банки, тюбики с краской, флаконы с маслом и всякие материалы, которыми отец постоянно пользовался у себя в мастерской.

— Дон Виктор, — сказал Бенито, входя, — я пришел сам, чтобы наконец получить то, что вы мне твердо обещали.

— Милый друг, придется вам немного потерпеть.

— Вы мне это уже десять раз повторяли, я не могу больше ждать. И мои покупатели тоже не хотят. Подавай им непременно мой голубой цвет. Я всех растеряю.

— Неужели вы не понимаете, — возразил дон Виктор, — ну не могу я достать с неба ваш голубой цвет! Фирма Фернандеса заставляет и меня ждать и ждать!

Бенито спокойно спросил:

— А где он живет, этот Фернандес?

— На улице Альваро Обрегон, возле большой площади. Может, вы сами хотите с ним поговорить? Пожалуйста!..— И он рассмеялся.

Бенито смотрел на него, опешив. Только потом он сказал:

— Дон Виктор, вы должны сейчас же еще раз поехать к вашему Фернандесу. Вас он знает, меня нет. До того, как мы отправимся домой, я хочу знать, на что я могу рассчитывать. Этой голубой краской, которую я у вас покупаю, расписаны мои тарелки, кружки, миски. Вы, вы должны объяснить господину Фернандесу, что мои клиенты к ней привыкли. Да, прямо не могут без нее. Дон Виктор, ради Христа, отправляйтесь сейчас же. Я не могу ни домой уехать, ни через неделю вернуться на рынок без этой краски.

Тут дон Виктор заметил, что глаза Бенито блестят от великого отчаяния. Это была не просто досада, а настоящее горе. И он вдруг, к собственному удивлению и почти против воли, сказал:

— Ладно. А вы, Бенито, тем временем постерегите мою лавку, чтобы в нее не зашли какие-нибудь бродяги.

Трамвай был облеплен гроздьями человеческих тел. Дон Виктор с трудом подтянулся на ступеньку. Он потел, он бранился.

У фирмы Фернандеса, снабжавшей товарами многие аптекарские и москательные магазины, не было витрины, лишь над главным входом висела вывеска с фамилией владельца.

В сравнении даже с самым последним служащим фирмы дон Виктор имел обтрепанный вид. На руках темнели плохо сведенные пятна краски, словно отметины его профессии, ибо из кадок, которые ему предоставлял Фернандес, он собственными руками вычерпывал краски или масла, нужные его покупателям.

Вылощенные служащие напрасно пытались от него отделаться, дон Виктор резко заявил:

— Хватит. Мне необходимо поговорить с вашим шефом. Только с ним. Немедленно.

Процветания своей фирмы дон Фернандес добился хитростью и настойчивостью. Он понимал, что его доходы зависят от десятков мелких торговцев. Правда, как раз в последний год Фернандес задумал и более крупные операции. Ему мерещились, например, переговоры с трамвайным управлением относительно предохранительной пропитки шпал. Осуществление этого плана сулило деловые знакомства с людьми из совсем другого, более высокого коммерческого мира. Все же он считал правильным не отталкивать и маленьких людей. Они останутся про запас. Ведь крупная затея может и сорваться.

И когда дон Виктор вошел к нему в комнату, он сказал:

— Двое мужчин могут быстро все уладить, если потолкуют друг с другом. В чем дело?

Тогда дон Виктор изложил свои жалобы, касавшиеся не только красок, хотя бы голубой краски Бенито, но также и ряда других поставок, давным-давно обещанных ему Фернандесом.

Фернандес вздохнул. Он сказал:

— Знаю. Знаю. Поверьте, меня, воплощение точности, каждое промедление приводит в отчаяние.

При этом он вспомнил о своем излюбленном проекте. Еще в прошлом году, желая обогнать конкурентов и раздобыть самую лучшую и самую дешевую пропитку для предохранения дерева, он связался с неким Альфредо Мюллером, бывшим в то время представителем наиболее известной немецкой фирмы. Сейчас он подумал: «У меня же договор с этим человеком, надо его поторопить».

И он сказал дону Виктору:

— Я могу вам только обещать, что на этой же неделе свяжусь с со-

ответствующим лицом. Трудность для нас обоих заключается в том, что фирма, которая уже много лет снабжает и меня, к сожалению, находится в Германии. А Германия сейчас — враг Соединенных Штатов. И не только это: между нами ведется война, такая, какой вы себе, дон Виктор, даже представить не можете. По ту сторону океана сжигаются города. Да, Германия развязала войну. И нам запрещено что-либо покупать в этой стране. Она заодно с японцами. А те бомбят американское побережье. Эта фирма внесена в черный список. А также фирма, которая уже много лет посылала нам краски и многое другое. Запрещено под угрозой огромного штрафа покупать тайком что-либо из ее запасов, которые все взяты на учет.

— Не может же быть, господин Фернандес, что у человека, который раньше представлял эту запретную фирму, где-нибудь да не припрятана часть товаров, от которых он сам был бы рад избавиться.

— Я лично не хотел бы на них обжечься. Во всяком случае, друг мой, справьтесь на той неделе.

Дон Виктор поблагодарил за сведения и в смятении удалился. Порыв жалости, внезапно побудивший его отправиться к господину Фернандесу, настолько угас, что он сразу даже не мог понять, почему гончар Бенито Герреро стоит в его лавке.

Быть может, Бенито ожидал, что дон Виктор так сразу и притащит ему целый чан голубой краски?

— Можете идти. Ничего нет,— раздраженно сказал дон Виктор.

Несколько других клиентов также ожидали его возвращения, хотя, может, и не с таким нетерпением и трепетом.

— Понимаете,— добавил дон Виктор,— в стране, откуда вы получаете ваш голубой цвет, в разгаре война.

— А при чем тут мой голубой цвет? — спросил Бенито.

— Ах, Бенито, зайдите узнать на той неделе. Может быть, Фернандесу еще удастся кое-что раздобыть.

Бенито посмотрел на него так странно, что дон Виктор снова ощутил опасное приближение жалости.

И он торопливо продолжал:

— Ну почему непременно этот голубой цвет? Вы просто себе внушаете. Посмотрите-ка мои краски. Взять хотя бы вот эту... Разве она не почти что такая же, как ваш голубой?

Бенито глухо ответил:

— Это не мой настоящий голубой цвет.

— Господи, но ведь он, пожалуй, только слегка лиловатый. Вроде бугенвиллеи.

— По-вашему, бугенвиллеи голубые? — печально спросил Бенито.

— Слушай-ка, попробуй сделать что-нибудь совсем другое. Я тут в первый раз достал одну краску и тебе первому продам ее. Уверяю тебя, она будет выглядеть превосходно. Она не похожа на голубой. Она совсем другая: кирпично-красная. Взгляни сам.

Он открыл другой чан. Бенито внимательно посмотрел внутрь. Сначала он не сказал ни слова. В его воображении возник узор: зеленое с коричневым и кирпично-красными завитками. И такой же каймой. Ему показалось, что это будет неплохо, не лишь как дополнение. Наконец он попросил:

— Дайте мне две банки. Хочу попробовать.

Перед отъездом на рынок он посовал все свои пустые банки в мешки, надеясь наполнить их голубой краской.

Его мальчуган ждал за дверью. Он, может быть, надеялся, что ему все-таки перепадет пряник. Однако он не попросил об этом: по отцу было видно, что ничего не выйдет. Бенито сказал:

— Я пойду за мулом. Приведи всех.

Вечер еще не наступил. Было еще жарко. Люди толпились повсюду. Впереди пошел отец с ненагруженным мулом. За ним мелкими шажками следовали мальчики. Позади всех шла мать, привязав к спине младшего. Когда достигли городской окраины, Бенито посадил жену на мула.

Они еще ни о чем друг с другом не говорили. Там, где они по пути в город сделали привал, все напились досыта. Луиза покормила малыша. Когда двинулись дальше, Бенито сказал жене:

— Голубой краски больше нет.

— Почему?

Он пожал плечами.

— Страна, из которой ее получали, ведет войну,— отозвался он наконец.

И Луиза спросила, как и ее муж:

— А какое отношение имеет наш голубой цвет к войне?

Но вместо того, чтобы объяснить то, что и самому было не совсем понятно, Бенито только сказал:

— Дон Виктор продал мне две банки красной. Такая кирпично-красная. Я хочу придумать кое-что новое. Пусть покупатели привыкают.

Луиза промолчала. Оба мальчика, с удивлением слушавшие разговор между родителями, стали подгонять мула.

Когда они вошли в свою деревню, уже стемнело. Леона, Луизина сестра, еще не ложилась. Она приготовила для семьи ужин из риса и коричневых бобов. Ее муж полгода назад уехал в глубь страны. Он так и не вернулся. Леона тогда сказала: «Все мы ему надоели, и я, и наши дети, и наша деревня, и работа на Нильпе, и он решил: Бенито, мол, о них позаботится».

Луиза ничего не ответила. Она знала, что Бенито никогда своих детей не бросит. Он и этих трех еще будет кормить. Правда, до сих пор в мастерской гончара для всех находилась работа.

На следующее утро гончарный круг опять завертелся. Маленькие запасы посуды еще оставались. Леона своими ловкими руками попробовала применить к прежнему узору новую краску.

В этом году Андрес так умолял отца, что тот наконец отпустил его в школу. Но когда он и дома стал что-то рисовать в тетрадке, которую ему подарил учитель, Бенито начал браниться.

Леона сказала мягко:

— Оставь ты его. Пробу мы можем сделать только сами.

Когда наступила темнота, Леона занялась лепешками из маисовой муки. Ее руки, которые так осторожно наносили краску, теперь энергично месили тесто. Она еще засветло натерла на терке маис. Вот уж кто никогда не сидел сложа руки! Так благодарна она была семейству Герреро за помощь.

Раздался резкий стук в дверь. Еще резче. Не успели открыть, как дверь распахнулась. На пороге стоял гончар Леопольдо, а из-за его плеча выглядывало несколько соседей.

Леопольдо заявил с ненавистью:

— Ты украл у меня мой кирпично-красный. Не воображай, что такие дела можно скрывать.

Дети кинулись к банкам с краской, заслснили их собой. Иначе он все разнес бы на куски.

— Что ты выдумываешь,— отозвался Бенито,— да я в жизни своей ничего не крал. Кто это говорит, тот сам жулик.

Сильный и кряжистый Бенито уже оттеснил непрошенных гостей за порог. Вот-вот начнется драка на деревенской улице при свете луны.

Но тут со своей всем хорошо знакомой суковатой палкой появился старейший гончар, их судья, древний старик Мануэль. Он сказал:

— Не все сразу. Сначала ты, Леопольдо, потом ты, Бенито.

Выслушав обоих, он закрыл глаза. Затем вынес свой приговор:

— Да, Леопольдо давным-давно раскрашивает узоры кирпично-красным. Ты, Бенито, оставайся при своем голубом.

Бенито ответил тихо:

— Да я ничего, кроме голубого, и не хочу. Другой цвет мне нужен был только, чтобы один раз пойти на рынок.

— И ради одного раза брать нельзя.

Когда Бенито объяснил, что ему не удалось раздобыть свой голубой цвет, сейчас-де за морем идет война и голубую краску больше не посылают, судья Мануэль заявил:

— Это непонятно. Этому люди не поверят.

Леопольдо так злорадствовал, что выказал даже неожиданное великодушие: он-де даже готов уплатить Бенито за потраченную им глину и недозволенную краску. Бенито швырнул бы ему в морду эти несколько сентаво, но он совсем не представлял, как они будут теперь существовать.

Ночью Бенито потянул Луизу с циновки. Они сидели в потемках и обсуждали случившееся. Он сказал:

— Говоря по правде, я один во всем виноват. Я дал проклятому дону Виктору навязать мне эту новую краску. А почему? Нужды побоялся. А надо было продолжать поиски голубой краски, которая так дорога моему сердцу, она одна мне и полагается. Я за нее не держался, вот со мной и стряслась такая беда.

Луиза молчала. Но Бенито стал спокойнее оттого, что он открыл жене свое отчаяние и все ей рассказал.

Поставщик Фернандес был маленького роста, подвижный, с искристыми глазами. Когда дон Виктор заявился к нему так неожиданно, словно из земли вырос, Фернандес быстро принял решение: пусть этот немец Альфредо Мюллер наконец даст ответ, объяснит, в чем дело. Правда, Мюллер давно перестал быть настоящим немцем, он уже много лет мексиканец, он здесь женился. Но с тех пор, как Фернандес его знает, Мюллер служит представителем могущественной немецкой фирмы красителей. Кроме того, у него связи во всевозможных предприятиях. Уже довольно давно он обещал Фернандесу материалы, которые тот намеревался использовать для государственного заказа, поэтому Фернандес и заверил депутата Рамиреса, что средства для пропитки трамвайных шпал при востребовании могут быть доставлены. Мюллер утверждал, что они имеются в его запасах.

Однако отделение немецкой фирмы было теперь закрыто. На имущество наложен арест, конторские книги конфискованы. А после нападения на Пирл-Харбор США стали вести войну против Японии и Германии; Мексика примкнула к американцам, Альфредо Мюллер внезапно исчез на несколько месяцев. Затем, будто случайно, столкнулся с Фернандесом.

— У меня все по-старому.

Он дал свою визитную карточку с новым адресом. И как бы мимоходом добавил:

— Даже если вам придется немного подождать, убытков от этого не предвидится.

Однако теперь настало время встряхнуть его. И хотя Фернандесу

это претит, ему, видно, все же придется самому отправиться к этому чертову Альфредо Мюллеру. В конце концов что ему за дело до какой-то войны там, за океаном, да еще кто знает, как все обернется? Кроме того, он не хотел ссориться с маленькими людьми. Восстановить одного из них против себя — значит восстановить весь рынок. И уж меньше всего он хотел ссориться с Альфредо Мюллером.

Хотя Фернандес и был чрезвычайно заинтересован в заказах города на пропитку для трамвайных шпал и телеграфных столбов, а также в связях с тем или иным адвокатом и депутатом, он не забывал и о мелких заказах, исходивших от лавочников и рыночных торговцев: это были постоянные и устойчивые заказы, и как раз благодаря им его фирма приобрела широкую известность. Но почему-то один Мюллер — бог его знает почему — имел те товары, которые всем были нужны.

И вот Фернандес, быстро приняв решение, поехал на улицу Сан Хуан де Летран. Он удивился, что Мюллер перебрался в столь ветхий дом, и был еще более удивлен, когда выяснилось, что дом этот не выходит фасадом на улицу. Фернандесу пришлось пройти через задний двор и подняться на третий этаж, где, хотя это и казалось ему совершенно невероятным, он и нашел контору Мюллера. На вывеске стояла та же фамилия, что и на визитной карточке, а также название английской фирмы, которую теперь представлял Альфредо Мюллер.

Барышня, открывшая ему дверь, была для убогой прихожей, или как там этот коридорчик назывался, удивительно нарядно одета, такая хитроглазая, вежливенькая барышня.

— А, сеньор Фернандес! — Она его сразу узнала и повела в соседнюю комнату.

Здесь, очевидно, и помещалась контора Мюллера. В первую минуту Фернандес невольно подумал: «А он, наверно, совсем разорился, он, наверно, попал в самый черный список, этот Альфредо Мюллер».

Правда, человек, сидевший за письменным столом, выглядел, как обычно. Вылощенный и выхоленный. Беззаботный. От него пахло хорошим одеколоном. Костюм и белый галстук были из лучшего магазина, значит, он все еще мог себе это позволить. Чтобы хоть немного замаскировать лысину, он так тщательно зачесывал жидкие волосы, что можно было сосчитать не только прядки, но и отдельные волоски. Если человек угнетен заботами, ему не до таких пустяков.

В этой комнате письменный стол был единственной солидной вещью. За окном против стола видны были склад мебели и грузовая контора. Мюллер сидел на вращающемся конторском табурете. Он предложил Фернандесу единственное устойчивое кресло для посетителей. По двум стенам тянулись полупустые полки. Фернандес успел разглядеть на корешках книг юридические названия, связанные с законодательством страны, а также некоторые заглавия, но не понял: то ли они по-немецки, то ли по-английски. В окно проникал со двора пыльный свет и ложился на лицо Мюллера, на его белые руки. Он носил только обручальное кольцо. Уверенно и спокойно Мюллер попросил своего посетителя рассказать обо всех его затруднениях. На его зов «сеньорита!» явилась красotka-малютка. Она принялась стенографировать. Затем ушла в соседнюю комнату и там стала печатать на машинке. А Мюллер и в этой тесноте, в пыльном свете, проникавшем со двора, держался так же непринужденно, как и в большой светлой конторе, в которой еще так недавно командовал. Он попросил Фернандеса немножко потерпеть.

— Мы наведем порядок, — сказал он. — Это ясно. Вы должны понимать, что фирма, которую я представлял, после изменений в Европе

снабжает теперь территории в три раза большие, чем занимает все государство Мексика.

Фернандес еще не успел обдумать, что это заявление означает, как вошла красотка с опечатанными на машинке жалобами.

Альберто Мюллер медленно прочел их вполголоса, пункт за пунктом, затем, чуть повертываясь то вправо, то влево на своем вращающемся табурете, стал выдвигать один за другим ящики стола. И в каждом, корешок к корешку, аккуратно лежали всякие списки и папки. Он вытаскивал то одну, то другую папку своими белыми пальцами с одним только обручальным кольцом. И отвечал на каждую жалобу. Через неделю Фернандес-де получит из Веракруса вот это, а через десять дней из Кампече то и кое-что еще из Монтеррея. Сквозь очки, стекла которых, несмотря на миллиарды танцующих солнечных пылинок, оставались такими же чистыми, как и его лицо, он быстро просмотрел еще один список.

Даже упоминание о голубой краске, которой был одержим дон Виктор, нашел Мюллер в одной из папок.

— Однако, — оказал он, — известные товары, например некоторые красители, сейчас, увы, трудно достать. Остальное получите самое позднее через месяц. Успокойте ваших клиентов.

Он сказал это так уверенно и решительно, что Фернандес согласно кивнул.

Мюллер то отпирал, то запирает ящики стола. Он нашел записи обо всех до последнего товарах, о которых тревожился Фернандес. А Фернандес тем временем понял, что фирма Мюллера занимается поставками в весьма разнообразные и удаленные друг от друга места. А почему — это уж его, Мюллера, дело.

Во всяком случае после короткого разговора стало ясно, что все лаки, составы для пропитки дерева и прочие заказанные им химикалии имеются в списках, хранящихся в этом письменном столе.

— Значит, договорились, — сказал Альфредо Мюллер.

— Разумеется, — подтвердил Фернандес и протерся.

Луиза не говорила с мужем об угрожавшей семье тяжелой заботе. Но сестре Леоне она сказала:

— Может случиться, что мы потеряем многих покупателей, если Бенито не раздобудет свой голубой цвет.

Леона ответила:

— Если вам придется очень туго, мне что же с детьми — уходить?

— Нет-нет, — возразила Луиза, — вы теперь часть нашей семьи. Да и куда ты пойдешь?

Леона нерешительно заметила:

— Зачем Бенито непременно нужна именно эта голубая краска? Разве нет другого оттенка среди товаров дона Виктора? А если у него нет, неужели нельзя купить где-нибудь в другом месте?

Луиза, обычно очень мягкая, ответила даже с каким-то высокомерием:

— Ты этого не понимаешь, Леона. Посмотри, вот я приберегла здесь набор тарелок для доньи Исабель, потому что обещала. Ведь я знаю ее давным-давно. Ей нужно очень много посуды для ее деревенской гостиницы. И всю сделает Бенито. На каждом предмете ты найдешь хоть чуточку его голубого цвета. Дон Виктор предложил Бенито какую-то голубую краску вроде лиловой, похожа на цвет бугенвиллеи. Но тогда уж лучше что-нибудь совсем другое. Уж лучше взять кирпично-красный. А тут Леопольдо поднял шум. Наверно, в других лавках найдется и голубой другого оттенка. Но если кто привык к голубому

цвету Бенито, тот не желает иметь никакого другого. Этот он полюбил и его требует.

И не удивительно, что Луиза вспомнила со всеми подробностями, как у нее закупила посуду донья Исабель. Она была их первой покупательницей. Тогда Луиза и Бенито только что поженились. Потому ли, что ее привлекла робким и кротким взглядом жена гончара, или ей уж очень понравился голубой узор, но донья Исабель взяла посуду. И она осталась верна ее голубому цвету, и всякий раз, когда ей надо было что-нибудь купить или прикупить, она шла к мужу и жене Герреро. У нее в гостинице были постоянные жильцы и гости, они всегда к ней возвращались. Честные, надежные люди. Сейчас ей предстояло перебраться в новый дом, со всем хозяйством.

И ей не хотелось перемешивать старую посуду с другой, с чуждыми узорами и красками. Она понимала, в чем дело: постоянные жильцы и в самом деле привыкли к посуде Бенито. А новым сразу же понравилось есть на этих тарелках. И она решила, что голубая краска Бенито — неотъемлемая часть ее гостиницы и ее удачи.

И вот теперь донья Исабель явилась на рынок спозаранку. Она заявила:

— Мне нужны не только тарелки, которые я заказала. На улице Сан Рамиро я открываю другую гостиницу, гораздо большую. Поэтому мне нужно увеличить и запас посуды. Вот я и явилась до того, как вы начнете ее распаковывать. А то, что я возьму, вам и развертывать не нужно.

Луиза переглянулась с мужем. Иной раз она получше него умела разговаривать с покупателями. Она ответила торопливо, но тихо и мягко:

— Дорогая донья Исабель. Пожалуйста, потерпите еще немного. Ведь посуда вам на этой неделе еще не понадобится. Вот набор тарелок, который я обещала. А большой заказ вам, наверно, будет нужен, только когда вы совсем переберетесь.

— Я из-за этого и пришла так рано,— заявила донья Исабель,— разве вы не захватили все, что мне нужно?

— Нет, увы, нет,— ответила Луиза.— Это обыкновенная нерасписанная посуда.

Донья Исабель сказала:

— Жаль, тогда я приду к вам в другой раз. Ты же знаешь, Луиза, я всегда вам останусь верна.

— Ну конечно, я знаю,— отозвалась Луиза, бросив на донью обычный спокойный, мягкий и дружелюбный взгляд.

Адрес, который все понимал, стоял неподвижно, слушая со страхом и трепетом. Его брат Габриэль пошел к мулу.

Гончарный круг был давно остановлен. Последние маисовые лепешки, сохранившиеся от прошлого вечера, стали сухими и жесткими. Все же и старшие и ребята не спеша их смаковали. Затем улеглись на циновках. Младшие дети скоро заснули. Родители словно онемели от горя. Бенито продолжал сидеть на земляном полу. Он не вышел на воздух, ему было стыдно, ибо его, именно его, знавшего, что хорошо и справедливо, точнее, чем любой житель их деревни, этот Леопольдо перед лицом всех людей выставил лгуном. И еще он стыдился того, что к следующему рыночному дню сможет изготовить лишь самое ничтожное количество посуды — и продавать-то будет нечего, во всяком случае если и продадут, то на такую ничтожную сумму, которой не хватит ни чтобы жить, ни чтобы умереть.

Как же ему теперь быть и со своими детьми, и с этими чужими,

с собственной женой и с сестрой жены? Он взял под защиту ее семью, когда ее муж удрал и был таков. Погряз в долгах, не знал, как ему выкрутиться, и предпочел удрать, решил — семье, мол, помогут, главное, чтобы меня здесь не было. И Бенито в самом деле помог. Но теперь он тем более не мог совершить то, что сделал тот, — просто исчезнуть.

А что будет с ним самим? Бенито любил свой голубой цвет, словно в нем — его судьба. Да это, вероятно, и была его судьба. Необходимо его добыть. В конце концов люди находят то, что им принадлежит.

В эти размышления как бы вплетался новый узор, который изобретала его голова, как будто она думала сама по себе и у нее были другие мысли, чем у человека, на чьих плечах сидела эта голова. Но какой бы узор он ни придумал, хорошо был только тот, в котором светился его голубой цвет. Ни с каким другим этот узор сжиться не мог. У Бенито было такое ощущение, словно он получил приказ. И внутренний приказ был не менее решителен, чем приказ Мануэля.

А донья Исабель сказала: «Мы уж как-нибудь потерпим, пока ты не достанешь свой любимый голубой цвет».

Она не хочет никаких других оттенков, и она права, конечно, права. Стояла такая тишина, что слышно было, как за стеною во сне посапывает мул. Бенито смотрел перед собой в темноту. Вдруг кто-то стал снаружи шарить по двери; шорох прекратился, потом послышался опять. Бенито чуть приоткрыл дверь и поглядел в щелку. Ему навстречу неудержимо заискрились пронзительные зеленые огоньки глаз. Силуэт тяжелой переполненной корзины, которую женщина несла на голове, резко выделялся на фоне звездного неба. А теперь стали отчетливо видны и глаза на морщинистом лице — мудрые и древние, как звезды.

— О... тетя Эусебия, это ты...

Бенито сейчас же разбудил жену.

— Вставай. Разведи огонь.— И добавил: — К счастью, у нее уже все на завтра приготовлено... Да, и яйца тоже,— приказал он.

И сейчас же замерцал под навесом костерик. Старуха Эусебия стала греть над ним руки. Корзину она сняла с головы и поставила наземь.

В ночной тиши несколько минут раздавалось шлепанье по тесту — Луиза готовила лепешки. Бенито признался, что пультке у него нет. Тетка вынула из мешка свою бутылку.

После того как Луиза из всего, что у нее было, состряпала ужин для гостей, она снова улеглась на циновку.

Эусебия наблюдала, как ей жарят лепешки, и все заметила своими древними зеленовато-желтыми звездными глазами. У людей горе. Бенито не такой решительный и уверенный, как раньше. И лепешек, как видно, в обрез, даже красного перца мало. А эти яйца у них последние.

Она сидела с главой семьи перед домом. Сначала говорила о себе, желая приободрить Бенито. Она-де идет в Сан Блас. Тамошнему аптекарю раза три в году бывает нужна ее лекарственная трава. Найти эту траву трудно, она есть только у нее. На эти деньги Эусебия покупает себе на рынке материю, а если материи не нужно, то бобы и табак.

Она прервала свои пояснения на полуслове, когда Бенито начал рассказывать о себе так поспешно, словно ему даны были последние минуты, чтобы поведать о невыносимой тяжести: он погибает от неудач.

Подумав, Эусебия ответила:

— Слушай, сынок...— (Хотя у Бенито у самого были сыновья, он был и оставался старшим сыном в ее семье, пусть он внук или внучатый племянник, все равно).— Слушай, сын мой, ты ведь знал хромого Рубена — у него от рождения одна нога короче другой,— он кое-чего добился против всякого ожидания, сейчас он вроде надзирателя на руднике. Это дальше, гораздо дальше, чем город Мехико. Кажется, в Дуранго.

Но он приезжал к нам, когда его дед умер, добирался и поездом и машиной. А твой голубой цвет, Бенито, сынок, я отлично его помню. Ничего похожего я ни у кого больше не видела. И не удивительно, что все твои покупатели прямо помешались на нем, вынь да положь. Как разобьют тарелки или горшки — заменять не желают какими попало: у других одна слава, что голубые, иначе-то не умеют назвать, но сердце от них не расцветает, это твои покупатели почуяли, хоть и не поняли, в чем тут дело. Ну а я, я-то знаю: у человека радостно становится на душе, когда перед ним этот цвет. И вот этот самый Рубен, когда он подробно рассказывал о счастливом повороте в его судьбе, показал нам порошок, в его сумке был целый мешок того порошка, это и был порошок для краски, которая тебе нужна, именно твой голубой цвет, могу поклясться. Дело в том, что он сообразил собственным умом — а ума у него побольше, чем у других, может, оттого, что одна нога поменьше, — словом, он сообразил вот какую вещь: отходы от руды, которую добывали на руднике, где он служит надзирателем, — а рудник серебряный — отходы эти считались совершенно бесполезными, но в этих отходах есть странный красящий камень, если его размолоть и обжечь. По-моему, он постоянно таскает эту породу с собою, оттого что она приносит ему счастье. У него есть двоюродный брат, ловкий длинноногий парень, его зовут Лоренсо; и вот Лоренсо сначала устроил Рубена на рудник, а теперь то и дело доставляет ему с отвала домой эти отходы. Потом они их размалывают и обжигают или еще что-то делают — не знаю. Знаю только, что они в некоторых городах нашли покупателей. Советую тебе, поезжай к этому Рубену. Если он мог добраться до нас, то почему тебе не добраться до него? Почему его брат Лоренсо тебе, самому старшему в семье, не может продать что-нибудь подешевле? Почему голубой цвет, из-за которого ты мучишься, нужно сбывать в чужие города? И вот я советую тебе, поезжай на этот рудник, и лучше завтра, чем послезавтра.

Бенито задумался, но тетка посмотрела на него сверкающими сердитыми и добрыми глазами. Точно небо сверкало двумя необычайными звездами. И она добавила:

— Ты еще раздумываешь? Этот торговец в рыночном проулке не может достать того, что тебе нужно. И не надейся на него. Не грать зря своего времени. Добывай себе краску сам.

— Да, — отозвался Бенито, — ты, наверное, права, тетя Эусебия, а теперь ложись на нашу циновку.

— Нет-нет, — ответила тетка. — Мне пора двигаться дальше. Пока солнце не начнет жечь. Ну, сынок, до свидания. Увидимся, когда ты вернешься. Да, увидимся. В Сан Бласе, куда я теперь иду, есть железная дорога, по ней ты можешь поехать в глубь страны и спросить — какой-нибудь попутчик, наверное, знает, — где этот самый серебряный рудник. Это где-то недалеко от Сан Матео. Помнится, он принадлежит господам Гонсалес. Рубен говорил: они, мол, прямо одержимы этим серебром, их даже прозвали Серебряные Гонсалесы, никто больше и не подступает к их отвалу. Только твой двоюродный брат Рубен доискался, какая штука в нем скрыта.

Она нагрузилась корзиной, поблагодарила за гостеприимство. А также за большое подаренное ей доверие. Бенито поблагодарил ее за посещение и за ценный совет. На сердце у него стало легче. Он лег спать.

По саду, казавшемуся особенно большим и глубоким, так как он примыкал прямо к парку Чапультапек, отчего ценность этого участка земли необычайно возросла, ходили депутат Рамирес и его зять Васкес;

Рамирес говорил очень взволнованно и резко. Его дом был построен недавно в простом и успокаивающем глаз новейшем стиле; строил друг зятя, молодой талантливый архитектор, уже заваленный заказами.

Дочь Рамиреса Мерседес, несмотря на свою мягкую красоту, чем-то все же напоминала угловатого отца: у нее так же приоткрывался рот, когда она слушала,— у старика он был маловат, но менее заметен под усами,— и такие же у нее были глаза и быстрый взгляд в сторону, словно кто-то на нее может напасть и нужна осторожность. Мерседес сидела на веранде с матерью — полной, бесхитростной и довольной жизнью женщиной. Там же находилось трое гостей: две подруги Мерседес и мать одной из них, вдова. Горничная налила всем горячего какао. На столе высилась гора сладких булочек, а также стояла бутылка теквилы¹ для мужчин, которых ждали. Зоопарк находился так близко, что были слышны рев и фырканье зверей: как раз в это время происходила кормежка. Женщины смеялись. Мерседес крикнула в сад:

— Отец! Педро! Идите же наверх!

Ее муж крикнул в ответ:

— Сейчас! Сейчас! Одну минуту!

Она заметила, что мужчины обсуждают что-то важное, и второй раз не стала их звать...

— Я все рассказал тебе подробно, ибо считал, что это может тебя заинтересовать. По-моему, из такого дела никакой неприятности для нас выйти не может, это исключено. Ведь Мюллер, или как там его фамилия, уже двадцать лет, даже больше — значит, давным-давно, еще до войны, — стал местным жителем. Его жена из Норелии. Из семьи Коваррубис. Коваррубисы — лесоторговцы. И почему с этим человеком, который надежнее всякого другого, я должен вдруг прекратить все дела? Хотя немецкая фирма сейчас реквизирована, но Мюллер является теперь представителем других фирм — английских, аргентинских. Кроме того, я дал согласие, это прямо-таки правительственное поручение. Ему нужно получить еще только одну подпись, специальное разрешение, поэтому он и обратился ко мне, понимаешь?

— Да, понимаю. И даже слишком хорошо, — отозвался зять Васкес, — и так как ты меня спросил, я должен тебе отсоветовать, особенно как депутату тебе не следует иметь никакого отношения к подобным делам. И никаких особых разрешений, тут никаких исключений не существует для связей с фирмами, внесенными в черный список. Мне кажется, твой Мюллер ловко умеет сочетать запрещенное с дозволенным.

Рамирес тут же пожалел, что посвятил зятя в свои планы. Но теперь дело уже сделано. И он решил все же непременно выслушать молодого Васкеса, чтобы знать обо всех существующих запретах и их причинах и быть начеку, но вступать в те деловые отношения, которые кажутся ему разумными.

Молодой Васкес был горячим приверженцем президента Карденаса. К счастью, президент, согласно закону, мог занимать свой пост только в течение шести лет. В данном случае Рамирес был безоговорочно на стороне закона. Достаточно президент экспроприировал собственности и роздал земель. Мерседес же, единственное дитя Рамиреса, взяла да и влюбилась в скромного адвоката Васкеса. А то, что она, как попугай, повторяет его болтовню и выслушивает поучения мужа, тоже естественно. До женитьбы Васкес очень недолго выступал по земельным делам в защиту общин и крестьян. Эти процессы возникали в связи с новым положением о правах. «Но он ничего не имел бы про-

¹ Водка из агавы.

тив.— думал Рамирес,— теперь, при новом президенте, получить практику, которую я раздобуду ему здесь, в столице, и не возразит против того, чтобы с Мерседес и их двумя мальчуганами жить вместе с нами в доме, который обошелся мне в полтора миллиона песо. Однако все это невозможно, если он будет постоянно совать нос в мои дела, как, например, в дела с Мюллером».

Васкес то и дело прерывал его:

— В этой войне мы, конечно, на стороне Рузвельта. Мы на стороне американцев. Их Рузвельт — самый справедливый и разумный человек нашего времени. А от этих фирм красителей, чьим представителем Мюллер здесь был не один десяток лет, надо теперь держаться в стороне, не то еще посадят — ведь этих немцев ведет Гитлер. Они на стороне Японии, бомбившей Пирл-Харбор. Гитлер совершил нападение на всю Европу. Я читал во многих газетах, и английских и французских, какой он злой и жестокий. Немцы, оказывается, убивают пленных, они сжигают деревни и урожаи. Они вдруг стали как дьяволы, и все немецкие фирмы связаны с их дьявольскими планами. Из-за этого то и возник черный список. Он так называется потому, что ни один честный человек не будет торговать ни с одной из этих фирм. Ведь каждое такое предприятие только способствует продолжению ужасной войны.

День вдруг угас, и звери в зоопарке тоже затихли. Когда мужчины повернули к дому, его окна были уже освещены. Женщины сидели в комнатах.

Рамирес сказал:

— Да успокойся ты. Европа ведь так далеко от нас. И видишь, как этот Фернандес каждый день нажимает. Он говорит, что торговцы, мелкие рыночные торговцы, его доведут до сумасшествия оттого, что он не может достать им некоторые краски, лаки и масла.

Они прошли через веранду в гостиную. Мерседес почувствовала, что отец и муж в чем-то друг с другом не согласны. Когда Васкес поклонился, она спросила его взглядом. Он пробормотал:

— Потом, любимая.

Лев или какой-то другой зверь неожиданно еще раз зарычал среди мрака.

Мерседес сказала:

— Они ведь уже заснули. Интересно, видит зверь сны?

Васкес погладил ее по голове. Она все еще очень нравилась ему. И здесь в доме ему очень нравилось.

Бенито последовал совету Эусебии. И жена дала ему с собой провизии на дорогу. Одному богу известно, каким образом Луизе это удалось. Но лепешки были нафаршированы мясом. Откусив первый кусок, Бенито почувствовал изумление, благодарность и вместе с тем глубокую тревогу: ведь он отнял это у своих сыновей. Но как обычно бывает в дороге, нить, связывавшая его с домом, натягивалась все туже, потом ее напряжение стало невыносимым. Бенито угрюмо перебирал в памяти заботы и опасения, заставившие его собраться, сесть в поезд и ехать в Сан Блас, как бы поехал самый обыкновенный человек, который скупает по привычным кушаньям, по рису, маисовым лепешкам — словно он не ехал по особому делу, не отдавался ему всеми своими помыслами и чувствами. Но с самыми насущными заботами должна была дома справляться жена, это было тем неизбежнее, чем дальше уходил его поезд. Ей предстояло решить, как она будет перебиваться с сестрой и детьми до его возвращения. Может быть, она подработает на муле, которым Бенито несколько дней не будет пользоваться, и разрешит домовладельцу и даже наглецу Леопольдо возить на нем всякую всячи-

ну? А может быть, зарежет индеек, что делалось обычно к рождеству, и часть продаст, а часть засолят?

Нестерпимо туго натянувшаяся нить все еще держала его с такой силой, что он безмолвно и в отчаянии начал жевать лепешки, ибо был голоден.

На следующую же ночь после разговора с Эусебией Бенито уже шагал один в ночном мраке. Он шел на вокзал, чтобы добраться до Сан Бласа. В битком набитом купе люди уже давно болтали и закусывали, а ему казалось, что он не в силах больше выдержать — так натянута была нить, связывавшая этот душный вагон с его домом, где остались голодные ребята, неподвижный гончарный круг в его мастерской, ибо не хватало главного. И вдруг нить порвалась, она была слишком туго натянута. Бенито перестал думать о доме, сейчас он был занят только поездкой. И решил не возвращаться, пока не найдет свой голубой цвет.

Его спутники, может быть, заметили, что сейчас он стал просто-напросто таким же пассажиром, как и они, и принялись его расспрашивать. Из рук в руки быстро пошла бутылка пульке. Бенито тоже сделал глоток и почувствовал такую легкость, какой давно не испытывал. Он, правда, не признался, что именно его гнетет, вернее, угнетало, — пока он рассказывал, а его спутники слушали, тяжесть становилась все легче и легче. Тяжесть исчезла, едва он сказал: «Я разыскиваю одного родственника, он в Сан Матео, работает на серебряном руднике», — о том, почему, собственно, он его разыскивает, даже не возникало речи. Бенито, конечно, не мог поклясться, что это действительно серебряный рудник, — ведь в конце концов какое отношение мог иметь такой рудник к его голубому цвету? А с другой стороны, почему бы и нет? Тут щедрый пассажир, к которому бутылка вернулась уже пустой, сказал:

— Так ты едешь в Сан Матео? По-моему, эти господа давненько уже там копают. Вот на земле — взять, к примеру, кукурузное поле — все опять вырастает. А в руднике все вдруг прекращается.

Пятеро или шестеро пассажиров нахлобучили свои соломенные шляпы одну на другую. Какой-то смешливый коротышка установил эту башню из шляп на коленях. Бенито все еще был в шляпе. Женщина, быть может жена самоуверенного и щедрого мужчины, державшая одного ребенка на коленях, а другого в платке — за спиной, — они могли быть и внуками этого мужчины — сказала:

— Да, уж эти Гонсалесы умеют погреть руки, на серебре греют.

Бенито спросил:

— А где мне выходить?

По этому поводу долго спорили. Щедрый мужчина — у него было суровое безбородое лицо и на богатырских руках тоже почти не росло волос — сказал:

— А ты знаешь, в какой шахте он сидит, твой двоюродный брат? Нет? Тогда тебе нужно сначала пойти в главную контору. В дирекции есть книга, где наверняка записаны все, и твой двоюродный брат тоже. Тогда тебе надо сойти в Сан Матео. В Верхнем Сан Матео. А оттуда идти час по дороге.

— Впрочем, — заметила женщина, которая показалась Бенито чересчур болтливой, — еще успеешь выбрать, где тебе выходить. День-то только начался, мы будем ехать еще всю ночь и часть следующего дня.

«Может, мне не следовало отправляться в такое путешествие», — думал Бенито. Он понятия не имел о том, сколько оно будет продолжаться. А Эусебия всегда была неразумно предприимчивой женщиной. Когда он, измученный, наконец прислонил голову к стене, шляпа съеха-

ла ему на лицо, и в этой темноте, созданной шляпой, он пытался представить себе двоюродного брата Рубена, ведь Бенито когда-то, наверное, с ним встречался. Поезд помчался вниз, в шахту воспоминаний, все глубже, глубже, пока наконец он не сошел с него. Правда, теперь он находился глубоко под землей. Ему стало бы жутко, если бы его взгляд тотчас же не упал на лицо двоюродного брата. Да, ему вспомнилось это лицо: удлинненное, злое, сильные зубы, торопливая речь, внезапное, словно по приказу, молчание. Сейчас лицо блестело, все покрытое потом. Здесь внизу было гнетуще глухо. Но Рубен его ждал: «Иди скорее».

Бенито хорошенько не знал куда и зачем, но он побежал, согнувшись, по низкой штольне вслед за Рубеном. Он слышал рассказы о таких местах, но тут было как-то особенно тесно и глухо. Ему настолько не хватало воздуха, что он охотнее всего повернул бы обратно. Но он знал, что двоюродный брат ведет его правильно, даже и тогда, когда они из этой штольни перешли в соседнюю, потом еще в одну и там двигались ползком, так как она была еще гораздо глуше и ниже. «Теперь мы в середине земли»,— подумал Бенито. Силы и надежды покинули его. Рубен сказал: «Здесь», он слегка поцарапал стену, и в мокром камне появилось что-то сияющее. Бенито охватило торжество: это был тот самый голубой цвет, который он искал.

Рубен сказал: «Мы это соскоблим и унесем». Но потом Рубен стал оттеснять Бенито в глубь штольни. Тот еще раз обернулся и увидел, как засветился голубой цвет, хотя уже вдалеке, но, пожалуй, еще сильнее среди гнетущего мрака. И Бенито почувствовал такое торжество, какого не чувствовал еще ни разу в жизни...

Он услышал, что захныкал ребенок, положил шляпу на колени и глубоко вздохнул. Смешливый коротышка взяла у него шляпу и насадил на грудь остальных шляп. Болтливая женщина, оказавшаяся вовсе не дочерью, а женою щедрого пассажира, дала малышу грудь. Старший тоже начал хныкать, ему тоже хотелось пить. Но лишнего молока у матери уже не оставалось. Мужчины рассмеялись. Щедрый строго посмотрел на старшего мальчика своими желтыми глазами. Он дал ему банан. Когда младший зачмокал, всем тоже захотелось пить, Бенито принялся за свою маисовую лепешку, она была начинена острым и обильным фаршем, как и первая. Щедрый мужчина, казалось, имел неисчерпаемые запасы, он достал вторую бутылку пульке и пустил ее по кругу.

Бенито смотрел вверх сидевших на голые незнакомые горы. Поезд остановился на железнодорожной насыпи. Здесь вышел один пассажир с мешками. Его ждал мальчик и мул, мальчик помог нагрузить мула. Затем мальчик свел мула с насыпи и повел его обратно в деревню. Вдруг ощутив глубокую тоску по его собственному рассудительному, несравненному мулу, который, может быть, теперь бережно носит тяжести для других и кормит его семью, Бенито следил за чужим животным, как оно рядом с мальчиком спускается с откоса. Потом оба зашагали по равнине в сторону ближайшей деревни. «Да, но я не имею права вернуться домой,— подумал Бенито хоть и с грустью, но с гордостью.— Я поехал за своим голубым цветом, а этот человек нет».

Он снова смежил веки, но мрак уже не был так плотен, как под шляпой; сны не возвращались, возникали только мысли и картины: Бенито и его семья составляли стопки тарелок и горшки, перевязывали их бечевками, все это укладывали в две сетки, пристегивали их справа и слева к бокам мула. Бенито помогали Луиза и ее брошенная мужем сестра, а также старший сын. И вдруг в каждой петле сетки вспыхнуло сияние, как перед тем в каменной стене отвала. Мул слегка повернул

голову, словно и он почуял это сияние и оно встревожило его. Серьезные и печальные глаза животного искали глаза Бенито: после таких трудов и усилий, после долгой дороги будь осторожен — как бы говорили они...

Лучи беспощаднейшего солнца вдруг ударили Бенито прямо в лицо. Он уже не мог ни грезить, ни размышлять. В окне, над головами пассажиров, ущелья становились все уже, попадались все чаще. Они стали лесистыми. Вершины гор порой заслоняли солнце, а потом оно опять выскакивало — беспощадное, неистовое. Но вдруг оказалось, что оно стоит ниже, чем горы. Когда поезд, выйдя из лесов, помчался над нагими плоскими склонами, на небе были одновременно и солнце и луна. Какая-то деревня лежала в угасающем свете дня. Какой-то одинокий кактус словно цеплялся за землю и за луну.

Вокруг Бенито все хохотали как сумасшедшие. Женщина без конца рассказывала какие-то истории.

Бенито каждый раз думал: «Ну почему она не помолчит? Как молчалива и мягка Луиза!»

Наконец ночью все стали постепенно затихать. Чужой ребенок скользнул к Бенито на колени. Бенито прижал его к себе, будто дитя могло что-то сломать, но и этот ребенок — он мог быть и его собственным малышом — тоже втягивал глазами ночь, словно в ней таилось то, в чем Бенито так нуждался, что он искал.

Рано утром, когда солнце еще не жгло, щедрый пассажир и его невыносимо болтливая жена с двумя детьми сошли с поезда.

Он еще раз повторил Бенито:

— Так ты выходи в Сан Матео. Поезд там стоит только три минуты.

Бенито сказал ему вслед слова благодарности. Отныне он был охвачен новой большой тревогой. Он боялся, что опять заснет и пропустит остановку. Но ехали еще несколько часов по наклонной равнине. Затем земля пошла складками, складки становились все выше, а ущелья теснее, поезд начал подниматься по спирали настолько крутой, что у Бенито голова закружилась. Он боялся также, чтобы вагоны вдруг не заскользили назад, чтобы весь поезд не свалился в одну из пропастей. Но поезд был надежен, как его мул. На одной остановке в вагон вскочила целая ватага каких-то властных, угрюмых, надменных мужчин, их набилось столько, что дверь в купе нельзя было закрыть, а некоторые повисли снаружи на ступеньках.

Бенито сразу понял, что новые пассажиры и есть настоящие шахтеры; он узнал, что часть из них сходит в Сан Матео, и стал искать кого-нибудь, на чьем лице сквозь застывшее угрюмое высокомерие все же сквозила бы какая-то доступность. Он остановился на одном парне гораздо моложе его самого. Парень был необыкновенно худ, его дерзкий взгляд не стал замкнутым, когда Бенито к нему обратился. Наоборот: он понял, что пространные объяснения были бы этому приезжему ни к чему, и коротко, насмешливо ответил:

— Пошли вместе!

Бенито вслед за толпой шахтеров выбрался на остановке из вагона. Когда он спохватился, все они уже скрылись из виду, даже чертовски тощий парень. Но тот все-таки подождал его и поспешил вперед, только когда увидел, что Бенито следует за ним. Они добрались до какого-то подобия улицы. Бесчисленные ноги затопали в одном направлении. Бенито услышал, чем дальше они шагали, какое-то все нарастающее грохотание, словно ему навстречу мчался поезд, с которого они только что сошли. А скоро донеслось также равномерное постукивание. Постукивание как бы предостерегало его, а грохот волновал. Но задержать его, как видно, не могла никакая человеческая сила. Их догнали груп-

пы шахтеров, он и парень уже давно шли вместе со сменой. Бенито боялся замешкаться хоть на секунду, потерять из виду этого гордого, но отзывчивого парня. Теперь эта переполненная топотом улица влилась в другую, уже, несомненно, проходившую через новый поселок Сан Матео. Здесь имелось несколько солидных каменных зданий, а также шаткие деревянные лачуги, которые были гораздо хуже его дома. В этом непрерывном стуке и грохоте, от которых все сотрясалось, вероятно, ни у кого не было времени сбить гвоздями готовые обрушиться доски. То там, то здесь осыпи пустой породы сползали длинными языками до самой улицы.

Бенито остановился в нерешительности, его взгляд обшаривал груды отвала. Он забыл о грохоте, забыл о стуке, в нем вдруг мягко и мощно возникла надежда, что здесь он найдет именно то, о чем ему говорила Эусебия. Вероятно, оно скрыто в отвале. Парень ускользнул. Вся смена уже давно приступила к работе. Но подходили кучками и поодиночке другие — вялые, вконец обессиленные — рабочие, они или направлялись домой, или в пулькерию. Хотя Бенито мучительно экономил, все же он не смог удержаться и тоже вошел в первую попавшуюся пулькерию. Со скамейки, на которую он сел, ему был виден широкий язык осыпи, который уже облизывал крайние хибарки. Казалось, этот маленький городок, как бы порожденный рудником, будет очень скоро им же и сожран. Бенито ни на секунду не забывал о том, что хотел найти, и глаза его все время искали. Куда бы он ни смотрел, на всем лежал отблеск его голубого цвета; он выпил горячего кофе, выпил пульке.

Кто-то спросил Бенито, не ищет ли он работы, ведь набор уже кончился. Когда Бенито ответил, что никакой работы ему не нужно, а разыскивает он родственника, пожилой человек, спросивший его, только кивнул. Он не выказал никакого любопытства, и потому Бенито почувствовал к нему доверие и осведомился, где контора или дом дирекции, ибо слышал еще в поезде, что там есть списки всех, кто здесь работает. Старик был еще крепок, и как раз в этой конторе он, давая о себе сведения, убавил себе возраст, чтобы продолжать кормить семью; он направился вместе с Бенито к дверям пулькерии и указал ему трехэтажное каменное строение. Потом шахтер уже не задавал вопросов, хотя они еще некоторое время пили вместе. Тогда Бенито осведомился:

— А как же все эти осыпи, весь этот мусор, разве они скоро не сползут на город? И разве там не попадают всякие камни, которые можно использовать?

— Вполне вероятно. Кто знает!

А когда Бенито наконец увидел среди пустой породы желанное поблескивание и уже не мог отвести глаз, ибо ему почудился там его голубой цвет, его охватил восторг, и он спросил своего собеседника:

— Разве там постоянно не шарят? И ничего не ищут?

В ответ тот только пожал плечами и уже не произнес ни слова.

«Значит, это правда», — решил Бенито. Он испугался, что приехал слишком поздно. Отовсюду доносился непрерывный стук; он чуял — это разбивали породу, и то, что оказывалось ненужным, осыпалось по склонам. И уж наверно его двоюродный брат не единственный, кто при этом не терпит убытка. Бенито поблагодарил старика, опять-таки молча кивнувшего, и снова зашагал по улице, направляясь к конторе дирекции.

Настолько-то он умел читать, чтобы разобрать на вывеске буквы, две буквы: «г» и «с» — «Гонсалес». На лестнице было полно народу. Господа и рабочие, взбешенные и равнодушные. Бенито поборол свой страх и постучал в дверь, на которой висело объявление: «Прием пре-крашен».

Комната разделялась на две половины деревянным барьером. Приближаясь к барьеру, Бенито вооружился терпением, ибо пока удалось до него добраться, вокруг раздавалась непрерывная брань и угрозы. Казалось, после долгого молчания ярость и отчаяние прорвались именно здесь, у этого барьера. Бенито увидел даже женщин с детьми и грудными за спиной; когда они становились в очередь, то начинались бесконечные жалобы. Вдруг на Бенито накинулся одетый в белое усатый господин с жестким взглядом, сидевший скрестив ноги, позади барьера:

— Ты разве немой? Говори скорее. Что тебе нужно?

Бенито все еще разглядывал этого господина, который сидел в другой, более обширной, просторной, почти пустой половине помещения, затем сказал:

— От вас мне ничего не нужно. У меня есть своя работа. Я был и останусь гончаром. Я хотел узнать адрес двоюродного брата Рубена Альвареса. Адрес должен быть здесь.

Одетый в белое господин презрительно посмотрел на него. Однако крикнул своему писарю:

— Найди адрес!

Низкорослый писарь порылся на полках и в своих тетрадах, потом шепнул что-то начальнику, и тот сказал Бенито:

— Нет здесь такого.

Бенито посмотрел на него уже не вопрошающе, а с отчаянием и пробормотал:

— Я приехал очень издалека, он мне срочно нужен.

Тогда хозяин этого помещения, на две трети просторного и на одну набитого разъяренными людьми, сказал:

— Чего же ты стоишь? Нет у нас никакого Рубена Альвареса.

Бенито воскликнул:

— Он должен быть!

— Вон отсюда! Да поживее! — заорал господин в белом.

Невысокий молодой парнишка, на вид почти мальчик — лицо у него было покрыто грязью и потом, но на нем блестели умные и ясные глаза, — громко отозвался:

— Рубен?

— Да, а ты его знаешь? — спросил Бенито. И он стал искать глазами парнишку, который был ниже ростом, чем остальные. Он нашел его не сразу, однако голос парнишки бесцеремонно настаивал:

— Будьте так добры, проверьте еще раз. Он наверняка был здесь в списках. Он только совсем недавно ушел в Нижний Сан Матео. Ну что вам стоит посмотреть?

Все это он кричал писарю, которому, как видно, этот звонкий бесцеремонный голос был знаком, так как последовал ответ:

— Он теперь не у нас. Он был у нас.

Парнишка еле протиснулся к Бенито и сказал:

— Слушай, жди меня на лестнице. Мне нужно сначала свои дела здесь закончить. Эти жулики мне еще должны десять песо.

Через некоторое время он появился на лестнице, посмотрел снизу вверх на Бенито дерзкими, но внушающими доверие глазами и спросил:

— Как тебя зовут-то? Меня — Хосе Фрейтас. Итак, мы поедем вместе в Нижний Сан Матео. Я там знаю отца твоего родственника Рубена Альвареса.

Если Бенито еще мог до сих пор высчитывать время — «дома мастерская встала, одну ночь прождали поезда в Сан Блас, да одну ночь провели в поезде, да третью мы, кажется, просидели в пулькерии», — то теперь он догадывался, что невозможно точно наметить день, когда он поедет домой. А с пустыми руками он ни за что не вернется. Самое боль-

шее, что он рисовал себе — думать по-настоящему он уже не мог, — это была картина будущего, как он, нагруженный банками с порошком для голубой краски, приезжает в Сан Блас и Андрес с мулом встречают его. Однако он отстранял эту грезу, которая пока казалась ему неосуществимой.

Автобус облепила гроздь людей. Хосе тоже висел в этой грозди, стоя одной ногой на площадке и крепко уцепившись за Бенито, которого ему удалось протолкнуть вперед на надежное место. Хосе не умалкал ни на минуту. Братья Гонсалес, которым сначала принадлежал весь серебряный рудник, поссорились между собой и разделились. Старшему брату не повезло, его при разделе обидели, и через два года его рудник истощился. Родственник Бенито, этот Альварес, вовремя об этом проведаль и перебрался в Нижний Сан Матео, за шесть часов езды отсюда...

— Шесть часов! — воскликнул Бенито.

— А что? — удивился Хосе.

Когда автобус останавливался, часть грозди отрывалась и тут же нарастала новая. Теперь Хосе уже стоял на площадке.

— На следующей остановке мы оба будем сидеть. Я-то ведь тоже взял расчет и еду до Фондо. Иначе мы бы и не встретились у этого проклятого сеньора.

«Да, это верно, — подумал Бенито, — и если мы даже приедем только ночью, я могу переночевать у родных среди отвалов — вот они совсем рядом с автобусом, и в них уже мерцает голубоватый отблеск, а мы уж столкнемся, Рубен и я».

Тут Хосе спросил:

— Ты тоже работу ищешь?

— Нет, — ответил Бенито и добавил, как обычно в таких случаях, с гордостью: — Я гончар в деревне Сантьяго Иксуинтла, недалеко от города Мехико, а свой товар я продаю на его большом рынке.

— Значит, ты уже проехал путь немалый, — заметил Хосе.

Ему казалось невежливым расспрашивать, что же заставило Бенито тащиться сюда. Бенито же до смерти хотелось рассказать, чего он здесь ищет, но он из осторожности сдержал себя: «Узнает вся округа, и кто-нибудь может захватить то, что нам нужно для нашей краски». Про себя он уже думал: «нашей голубой краски».

Как Хосе и предвидел, они вскоре втиснулись на скамейку внутри автобуса. Кроме Бенито, только один-единственный человек был в сомбреро и шерстяном плаще. Остальные ехали на работу и все, что могло мешать, оставили дома. Хосе продолжал:

— Да, твой родственник Рубен был старшим над нами, наверное, и теперь он тоже старший.

Они ехали между лесистыми горными склонами, и Бенито решил, что опять наступила ночь. Затем автобус попал в косые лучи предвечернего солнца, на голых обрывах запылали редкие перечные деревья. Теперь Бенито уже не боялся гигантских спиралей дороги. Он насчитал двадцать витков. Он знал, что неизвестно по какой причине, но автобус соскользнуть вниз не может. Впервые за всю поездку у него действительно стало легко на сердце. Этот Хосе мог бы быть его младшим братишкой. В окно он увидел озаренные вечерним светом крутые, но как будто знакомые очертания гор. Хотя он никогда здесь не был, но вчера проезжал через точно такие же ущелья. Его глазам незачем было теперь трудиться, отыскивая в склонах те отсветы, которых жаждала его душа. Здесь совсем не было отвалов. И ему стало легче оттого, что сердце могло немножко отдохнуть от своего страстного желания. Теперь он с надеждой думал о краскотерке Рубена, о которой рассказывала Эусе-

бия. Да, только сейчас ему опять пришло на ум, что Рубен, может быть, втихомолку открыл таинственную горную породу, с помощью краскотерки размельчил ее.

Здесь, в автобусе, никто не предлагал пульке. А Бенито жаждал хотя бы глотнуть — особенно после того, как он разделил последнюю лепешку с Хосе. Жестянку с коричневыми бобами он приберегал на крайний случай.

Ночь наступила внезапно. И в ту же минуту небо проклюнулось звездами, а долина огоньками. Когда автобус остановился, Бенито снова услышал непонятный грохот и сквозь него — равномерные постукивания. Его жгло желание наконец добраться до цели.

— Нам выходить? — спросил он Хосе.

— Нет еще, — отозвался тот, — да и потом я схожу раньше тебя, а ты доедешь до конечной остановки, затем спросишь, как пройти к новому отвалу, а когда дойдешь — это тоже займет время, — узнаешь, где дом Альваресов. — Хосе перешепнулся с несколькими горняками — вероятно, его новыми друзьями — и обратился к Бенито: — Спасибо за компанию и за угощение. Желаю удачи.

— Тебе тоже спасибо, — сказал Бенито.

Теперь он поедет до самого конца один. «Прямо ангел-хранитель этот Хосе, прямо ангел», — подумал он. А если едешь до конечной остановки и автобус дальше не идет, в этом есть что-то успокоительное, не надо быть начеку; и он стал вслушиваться в грохот, ставший, быть может, немного глуше, и в постукивание, которое стало несколько громче. Бенито удивлялся, что вокруг так много огней, — это может грозить опасностью для Рубена, когда он в пустой породе будет искать то, чего не имеет права искать. Ведь в этом руднике, как успел заметить Бенито, дело поставлено строго. По пути Хосе насмешливо упомянул о том, что его обыскивали, выворачивали карманы, как будто он наворовал серебра и намеревался кому-то его передать.

...В сторону бесконечной улицы с редкими домами и хибарками полз отвал из рудника молодого Гонсалеса, и Бенито подумал: «Нет, здесь тоже все может рухнуть, и что тогда будет с нашей краскотеркой?»

Когда кондуктор выпроводил его, последнего пассажира, из автобуса, местность показалась ему похожей на каменный обвал. Вся долина была перекрыта пустой породой. В конце концов он заметил, что отдельные людские фигуры ходят по тропинкам, протоптанная среди щебня. Он справился, и ему указали куда-то в сторону. Когда он сам вступил на такую тропинку, он увидел, сколько хибар — почти целая деревушка — стойко защищается своими дощатыми стенами от надвигающихся осыпей; квадратные садики были у многих обнесены изгородью из кактусов.

Бенито, вспомнив свой дом, и конюшню, и мастерскую, решил, что он счастливчик. Так тупо и тихо было здесь, словно все живое на три четверти засыпано. В его голове не укладывалось, что драгоценную краску, которую он искал, можно найти именно в таком месте.

Жилье Альваресов было больше засыпано, чем остальные домишки. Бенито постучал сначала в какое-то подобие двери, затем, обойдя кругом, в какие-то доски. В конце концов ему отперла старуха и зло спросила:

— Ну, что опять стряслось? — Старуха была прямо скелет, с седыми космами, насколько он мог разглядеть, и кожа у нее висела лохмотьями, как и платье.

Ошеломленный, он даже забыл поскорее объяснить, что он двоюродный брат. Он сказал, что приехал из деревни Сантьяго Икскуинтла, от самого города Мехико, и что ему надо поговорить с Рубеном.

— Его давно уже нет здесь,— ответила старуха. И так как Бенито оцепенел, спросила: — А что тебе от Рубена нужно? — Потом она вдруг исчезла и сказала кому-то уже внутри дома: — Тут пришел один, зачем-то ему нужен Рубен.

Грубый и четкий голос сейчас же отозвался:

— А что ему нужно? — И немедленно появился бровастый, тощий, но отнюдь не призрачный, а злобно-живой человек; он, как видно, только что натянул рубашку.— Ради чего ты из Мехико притащился сюда, в такую даль? — осведомился он.

— Где ваш Рубен? — спросил Бенито, уже сдержавший свое отчаяние.

Старики принялись наперебой рассказывать.

— Он уехал в Кристобаль. Дорога берет несколько дней. Здесь у него было хорошее место. А там он, видно, получил еще лучше. Там, Рубен уверяет, он сам себе хозяин. Нас он пока оставил здесь. Пока, так он уверяет, этот пес...— говорил отец.

— Нет-нет,— воскликнула женщина,— он очень хороший сын! Он каждый месяц посылает нам по двадцать песо и скоро заберет нас отсюда. Он свое обещание выполнит и сделает это. Рубен добрее и умнее всех на свете.

Бенито спросил:

— Есть здесь где-нибудь пулькерия?

Старик ответил:

— Как же ей не быть.— И, обращаясь к старухе, добавил: — Ложись-ка спать, я провожу его.

То, что старик называл пулькерией, было просто хибарой раза в три больше, чем его собственная, и она тоже грозила развалиться. До нее было всего несколько минут ходу. Пулькерия была полна народу. Горел свет. Смена только что кончилась. Хозяин быстро налил им. Женщина, помогавшая ему, казалась красивой и кроткой. На нее у нее были бусы, а в волосах гребни, все вместе при свете искрилось и блестело. Бенито угощал Рубенова отца и уже представлялся как родственник. Подействовала ли тут пульке или имя Эусебии, но Альварес потеплел, он кивал.

— Она сказала,— пояснил Бенито,— что твой Рубен здесь делает ту голубую краску, которая мне нужна позарез.

И он описал, как его покупатели требуют от него привычной для них посуды, которую он с юности вывозит на рынок. И вдруг голубую краску точно заколдовали. Но Эусебия видела несколько ее образцов в мешке у Рубена. Он знает, как ее составлять. Для него, Бенито, от встречи с Рубеном зависит ужасно многое, прямо-таки все, надо как можно скорее разыскать его.

Старик внимательно слушал. А Бенито заказывал пульке еще и еще, чтобы развязать ему язык, хотя знал, что дорожные деньги тают кагастрофически. Но средства и пути должны найтись, он должен встретиться с Рубеном и получить в руки его изобретение. Он заметил также, что сверкающая девушка особенно часто ходит возле их стола.

И вот отец Рубена, разгоряченный и взбудораженный, приступил к своему сообщению о Рубене:

— Эусебия, она мне, впрочем, приходится двоюродной сестрой, все тебе верно рассказала. В отвале среди пустой породы, которую выбрасывает дробилка, было скрыто какое-то вещество, и Рубен его искал. На руднике — он теперь принадлежит старшему Гонсалесу — Рубен был старшим, и там работал еще один горняк из Сахаса. Этаким ужасным хитрец, только хитрость была этому парню ни к чему, он то и дело куда-то уезжал, ну, не может выдержать долго

на одном месте. А Рубен если уж что узнает, так не отступится до тех пор, пока не добьется своего. И вот этот человек, который добрался сюда из Сахаса, а потом перебрался отсюда в Веракрус — ему нетерпелось увидеть оба океана, один на востоке, другой на западе, — уверял, что страна Мексика лежит между двумя океанами, поэтому его и тянет увидеть оба. И вот этот непоседа, этот ветрогон-парень торчал вместе с Рубеном в отвале. И когда он немножко пошарил, вдруг кричит: «Ах, посмотри-ка, Рубен, эта штука и тут есть и, конечно, пропадает зря. Там, где я был раньше, ее размалывали особыми машинами. Но машины стоят дорого. Богатые господа на этом, конечно, кучу денег нажили. Если его перемолоть, это вещество, да еще раз, да потом обжечь, да просеять, получится порошок для чудесного голубого цвета». Так говорил этот человек, а потом вскорости уехал, не мог здесь вытерпеть.

Дочь хозяина, или кем она там ему приходилась, вкрадчивая, не щурившая глаз с густыми ресницами, еще раз налила им полные стаканы. Как ни слаб был свет от лампы, все же стеклянные бусы, серьги и гребни девушки ловили его отблески и отражали во все стороны набитой людьми пулькерии.

Отец Рубена невесело засмеялся:

— Это невеста Лоренсо, двоюродного брата моего Рубена. Но Рубен хромой. У него нет никакой невесты. Поэтому в нем живет великий дар изобретательства. Вроде как для равновесия. Тот самый легкомысленный человек, наверное, уже успевший уехать и из Веракруса, взбудоражил моего сына, будто на этой краске в порошке, или как ее там делают, его бывший хозяин, и без того богатый, еще больше разбогател. Сначала моего сына Рубена тот парень позвал с собой, бери, мол, сколько войдет в карманы. Дома Рубен все спокойно обглядел. Потом открыл тайну Лоренсо, а тот умеет держать язык за зубами, и Лоренсо сначала прямо помешался на Рубене, а затем на том, чтобы попробовать что-то новое. Они вместе построили ручную мельницу, она до сих пор стоит у нас дома, правда, она уже не годится.

Поблескивающая девушка вертелась вокруг них и прислушивалась с тех пор, как было названо имя Лоренсо.

— И получилось удачно, — продолжал отец Рубена, — что мы живем посреди всего этого мусора. Рубен сам пробился к своей голубой краске, которую ты теперь ищешь. И Лоренсо тоже. Тот ему родня по матери, как Рубен тебе родня через меня. И в конце концов из этой грязи, которую ты видишь вокруг нас, из этой пустой породы, в которой мы, кажется, скоро потонем, после обжига получается нечто, что можно назвать чудесным.

Хотя мой Рубен, как старший, хорошо зарабатывал — он служил сначала у одного, затем у второго Гонсалеса, — но вдруг стал еще больше зарабатывать на красителе. Хозяева до тех пор не замечали, хотя и трясутся над каждым сентаво, что такая драгоценность лежит без пользы в их отвале. Только жить они заставили нас именно здесь. Может, у них денег не хватило на особые машины, которые применял тот, в Сахасе. Рубен и Лоренсо у нас дома просеивали и обжигали это вещество.

Бенито взволнованно слушал. Он воскликнул:

— Ну и?..

Старик Альварес ворчливо продолжал:

— Лоренсо отыскал людей, которые у них купили их краситель. Для него главное — заработать. И вот во время одной деловой поездки он открыл местность, в точности такую, какая им была нужна, — так он уверял. В Сан Кристобале. И ручей в горах. Там должна стоять наша мельница, говорит он, и тогда не нужно будет вертеть ее рукой.

В Сан Кристобале большой спрос на голубую краску Рубена и много покупателей. Может быть, Бенито, не ты один так гоняешься за этим голубым цветом, может быть, и там эта краска совсем иссякла, а люди ни за чем так не охотятся, как за тем, чего уже нет. Поэтому Рубен и его двоюродный брат Лоренсо теперь интересуются мельницей, чтобы пустить ее в ход.

За Кристобалем есть еще рудник. И там тоже есть в отвалах эта штука. Правда, Рубену не так удобно, как было у нас здесь. Он сидит один в горах. Но это тоже имеет хорошую сторону, так уверяет Лоренсо: никто не может их подстеречь, только сначала нужно, чтобы мул все это увозил с рудника. А когда краска готова, доставлял ее в город.

Хозяин выпроводил последних гостей. Бенито ни за что бы не нашел обратной дороги, если бы отец Рубена не вел его. Покачиваясь и даже порой оскользаясь, он все-таки указывал Бенито путь, а гость то поддерживал старика, то помогал подняться, и так они наконец доплелись до дому. Они улеглись на циновку, такую же потрепанную, как и все в этом жилье. Бенито казалось, что если он останется здесь надолго, то разложится раньше, чем умрет. А старики повторяли все вновь и вновь, что их сын Рубен должен спешить, чтобы они могли уехать отсюда, пока пустая порода не завалит их. Бенито не понимал, как здесь можно жить. В сравнении с этим его лачуга казалась просто раем. Но разве он сам теперь не жил здесь? Вдруг, уже лежа, он обнаружил, что у старика Альвареса глаза Эусебии, старые и мудрые, как звезды, которые все видят, освещая своим неистощимым светом.

Старик Альварес еще раз начал сквозь сон говорить о том, что сын каждый месяц посылает им через Лоренсо немного денег. Он ни за что их не бросит на произвол судьбы. Как раз совсем недавно приезжал Лоренсо и поэтому у них есть кофе, бобы и рис.

Однако Бенито на другой день подогрел остаток своих бобов, так как заметил, что старикам приходится туго, пока этот самый Лоренсо не вернется. Он ломал себе голову, как бы ему поехать к Рубену. А в конце концов и домой. Но последний вопрос он упорно гнал от себя. Теперь он знал, что нужная ему краска существует, и даже знал приблизительно где. Так что о доме он пока еще не имеет права думать.

Целое утро они просидели молча, Бенито и отец Рубена, у дощатой стены хибары, в тени своих шляп. Бенито хмуро смотрел на серую, коричневатую унылую землю. Вдруг у него как молния промелькнула мысль, он вскочил и крикнул:

— Пресвятая дева! У вас же, наверное, есть где-нибудь хоть крошечный остаток этой краски, которую намолот Рубен?

Старуха высунула лицо, серовато-коричневое, как отвал, но все же с тенью постоянной насмешки возле тонкого, как нитка, рта. Правда, в ее глазах не было такого света, как в глазах мужа, но они казались удивительно ясными в сравнении с тусклостью пустой породы.

— Кто знает? Может, что и найдется. Надо поискать там, где лежит куча досок, из которых они когда-то сделали ручную мельницу. Рубен разрешил нам их сжечь, если будет уж очень холодно.

— Вот видишь,— сказал старик,—Рубен и не думает увозить нас отсюда до зимы...

— Кто знает,— отозвалась старуха без надежды и без отчаяния.

Она повела Бенито под какое-то подобие навеса, который тоже уже успел завалиться. Она елозила и искала между досками, и скребла повсюду, затем сказала:

— Вроде вот это! Может быть.— Она поплевала себе на кончики пальцев. Подтянув юбку над старым, сморщенным коленом, она растерла часть соскобленной пыли. Потом воскликнула: — И правда!

Бенито тоже растер немножко этой пылью на своем рукаве. Старуха радостно засмеялась и повторила:

— Да, да, оно и есть.

Так как Бенито в тени навеса ничего не видел, он снова вышел на солнечный свет и все плевал и тер. И вот, без сомнения, в этом замусоренном и запыленном уголке мира на его рукаве заголубел именно тот цвет, которого жаждало его сердце.

Он в самом деле где-то сидел в пустой породе, а теперь вот он, вот он! Бенито увидел его наконец собственными глазами. И он заявил, стараясь унять радостную дрожь:

— Это то самое. Я хочу сейчас же туда поехать.

— А я советовал бы тебе дожидаться Лоренсо,— сказал старик.

Бенито же ответил:

— Не буду я ждать Лоренсо... нет, мне нужно ехать. Спасибо вам за гостеприимство.

— Один ты не можешь поехать в Сан Крестобаль,— возразил старик Альварес,— а если бы и мог, это вовсе еще не значит, что ты найдешь Рубена. Какая досада, что Лоренсо только недавно побывал здесь. Но он приедет опять и привезет подарки, а может, и деньги нам на проезд наконец-то. А приедет он уж прежде всего по одному тому, что эта девушка — ее зовут Консепсьон, и ты ее знаешь, ну, красotka из пулькерии,— неудержимо притягивает его к себе. Поэтому успокойся и жди. Никуда твоя голубая краска не денется. Мы поедем все вместе.

— Я не могу задерживаться так долго.

— А почему?

— Меня дома ждут.

— Пускай ждут. Подождут.

Они снова сидели все вместе в тени хибары. Бенито посмотрел на свой рукав. Его сердце трепетало от радости, когда он представлял себе, что теперь его голубой цвет доступен, как бы далеко до него ни было. Он пробормотал:

— Моя жена и мои сыновья могут подумать невесть что.

— Послушай,— начал старик,— найдется у вас человек, который умеет хорошо читать и писать? Мы здесь отыщем такого, и он от твоего имени напишет к тебе домой.

Бенито повернул голову. Опять ему почудилось, будто глаза Эусебии заблестели на морщинистом лице Альвареса. Бенито воскликнул:

— Андрес, мой старший сын, смог бы.— Потом подумал и добавил: — И Хосе, который проводил меня к вам, тоже.

Он вспомнил, что в конторе старшего Гонсалеса Хосе читал какие-то бумаги, написанные от руки. Его, Бенито, не надуешь, а позднее не надуют и его сыновей. Второй, Габриэль, и тот будет учиться читать и писать.

Он сказал:

— Хосе за меня напишет: готовьте, мол, глину, Бенито скоро вернется, он все нашел. Он кланяется вам.

Хосе — это только сейчас выяснилось — был им почти сосед. Только здесь каждая хибара всасывала все живое и возвращала немим, словно задушенным осыпями.

Хосе очень хотелось узнать, что именно нашел Бенито. Но так как Бенито на этот счет молчал, то Хосе без лишних слов заставил его, гордый своим умением писать, оплатить открытку.

Однажды под вечер Фернандес заявился к господину Рамиресу, но не в контору, а домой, в Чапультапек; конечно, он не мог осуществить свой план без помощи Рамиреса, но лучше вначале не заводить разговор

о делах. Рамирес стал прохаживаться с ним по той же дорожке, на которой накануне совещался с зятем.

— Хотите верить, хотите нет,— сказал Фернандес,— но точно известно, что Альфредо Мюллер имеет около пятидесяти агентов, все они внесены в бухгалтерские книги и распределены в пятидесяти точках. Он посылает их в определенном порядке ко всем заказчикам. За исключением двух-трех незначительных агентов, которых я могу раздобыть и в других местах, основные пункты гарантированы. Я готов обеспечить моим собственным покупателям точную доставку. Договоренность с Мюллером успокаивает меня также и ввиду будущих договоров.

Рамирес сказал:

— Друг мой, я полагаю, что вы не стали бы тратить ни ваше, ни мое время, только чтобы восхвалять надежность господина Мюллера, который, насколько мне известно, представляет у нас вот уже двадцать лет крупную немецкую фирму.

— Верно,— отозвался его гость.— Он уже давно получил здесь право гражданства. Он мексиканец, такой же, как вы и я. Если американцы в самом деле закрыли фирму, которую он представляет, они в тот момент не приняли во внимание, что в самое короткое время Германия будет владеть целой частью света. И этот немец или бывший немец все-таки имел возможность выполнять в срок поставки. Что ж, в этом народе живет дух предприимчивости.

— Не забудьте, друг мой,— заметил Рамирес,— что гринго тоже понимают кое-что в делах. И неплохо осведомлены. Мой зять переводит мне английские газеты. Но поживем — увидим. Да, земляки этого господина Мюллера захватили чуть не целый континент. А так как японцы — их союзники, они, может быть, тоже желают посетить нас на побережье Тихого океана примерно так, как они посетили Пирл-Харбор. Но сейчас наступление приостановлено. Русским, знаете ли, тоже палеца в рот не клади. А в военное время приостановка наступления — почти отступление, это значит, друг мой, что я на вашем месте, несмотря на удачные дела с вашим доном Мюллером, не стал бы гарантировать моим клиентам обещанное этим доном Мюллером выполнение заказов.

Фернандес на миг задумался. Потом заговорил другим тоном:

— Среди тех сорока—пятидесяти пунктов, на которые опирается бывший представитель немецкой фирмы — ведь в конце концов у меня с ним заключен твердый договор,— есть много мелких, от которых быстро можно избавиться, однако есть и столь важные, без которых не может быть осуществлено то, что мы задумали. Например, средство для предохранения дерева. Я озабочен состоянием железнодорожных шпал и телеграфных столбов в нашей стране.

Теперь задумался Рамирес. Он ходил с Фернандесом по этой дорожке в десять раз чаще, чем с зятем.

— Когда вы с ним будете говорить, дайте ему понять, так сказать, предостерегите его: все, что он предлагает, он берет на свою ответственность.

— Ну разумеется. Это будет подтверждено и письменно и устно,— ответил Фернандес, а сам подумал: «Рамирес, сын мой, ты завтра получишь на моем официальном бланке подтверждение того, что с этим проклятым Мюллером я порву на условиях, которые ты сам мне посоветовал, и потом я получу подтверждение этой бумаги от вашей конторы, с вашей печатью, чего и добиваюсь. Действительно, какое мне дело, перевезет этот человек свой склад в Монтеррей или еще куда-нибудь? Откуда мне знать, какие поставки он производит из конфискованных немецких товаров, а какие — из продукции наших местных фабрик. Впрочем, этот ловкач сидит в Мехико уже двадцать лет, он и сам

ускользнет от петли и просидит еще двадцать лет. Я был бы просто дураком, если бы испортил с ним отношения; чем бы там война ни кончилась, это не моя война, а Мюллер свое дело знает и никогда его не бросит».

— Я тебе серьезно советую поискать работу,— начал отец Рубена уже в который раз,— надо же раздобыть денег, пока не вернется Лоренсо. На домашней циновке тебе, конечно, всегда место найдется, но без Лоренсо ты пропал. Мельница Рубена находится вдали от всякого жилья, чтобы никто ничего не пронюхал, как уже было однажды. Еще одна из причин, почему он так внезапно уехал: люди начали следить за ним. Надзиратель вдруг заявил, что Рубен обворовывает пустую породу. До этого ни одному человеку дела не было до пустой породы, а потом вдруг оказалось, будто он что-то там выкрадывает. Именно тогда Лоренсо и открылся. Он сказал: Рубен потому, мол, до сих пор не посылает нам денег на дорогу, что ему тут же приходится давать отступные надзирателю на новом руднике. Ведь сразу убоготорить человека легче, иначе он скоро заметил бы, что Рубен или Лоренсо чего-то ищут в пустой породе и что-то увозят на своем муле. Но эти карманные деньги уменьшают доходы Рубена. Поэтому ты хорошо сделайшь, сын мой, если до приезда Лоренсо найдешь себе какой-нибудь заработок.

Бенито молчал. Он думал: отец Рубена мог бы в первый же вечер рассказать ему об этих шпионах, которые донесли надзирателю на Рубена, а также что Рубен надзирателю нового рудника платит отступные. Ведь мог же отец Рубена сообщить ему все это с самого начала. Но раз уж этого не произошло, то, по мнению Бенито, совершенно бесполезно теперь укорять его: почему ты не сказал раньше?..

Он не хотел стирать налет голубизны на своем рукаве. И когда он бывал угнетен, этот чуть заметный след давал ему силы.

Когда он однажды вечером лежал на замызганном полу, на потерянной циновке рядом со стариком, ему вдруг пришло в голову: «Не буду я дожидаться Лоренсо. Я хочу сейчас же уехать, и непременно один. Ради чего еще искать здесь работы? Если у меня денег не хватит на всю дорогу, лучше я в пути подработаю».

С этой мыслью он и заснул. И Хосе, с которым он приехал сюда, теперь ехал с ним во сне все дальше в горы, местами покрытые лесом. Хосе вдруг сошел. Но он, Бенито, не чувствовал страха. Его душу переполняла надежда невероятной силы, такой он еще никогда не испытывал. И как будто человеку могла быть дана надежда — такая цельная и незыблемая — только если он раньше пережил подлинное горе, мучительное разочарование. Это чувство надежды было настолько сильным, что его даже трудно было выдержать. И вот то, на чем он ехал — автобус или поезд, — остановилось на крутой высокой насыпи. Далеко внизу Бенито увидел деревенку. И когда он выбрался из сутолоки, он увидел своего старшего мальчугана, Адреса, который уже так хорошо умел читать и писать; сын вместе с мулом ждал отца. И сын смотрел умными, сияющими, тоже полными надежды глазами то на толпу сходящих пассажиров, то на тяжело нагруженного мула, чтобы ничего не случилось с его драгоценной ношей, так как Бенито достал порошок для своей голубой краски, а старший сын пришел с мулом к приходу поезда. И именно в тот момент, когда эту краску ожидали с почти невыносимым напряжением, ибо только Бенито мог сделать посуду для следующего рыночного дня. Бенито же, которому сразу все стало ясно, увидел также спокойные глаза мула, в них нельзя было прочесть ни разочарования, ни надежды, а лишь неутомимое терпение. И одновременно, уверенный в своем муле, в том, что тот будет избегать малейшего толчка, Бенито уви-

дел у него на спине и награду за труд: через каждую петлю сетки с обожженной посуде сиял голубой цвет, в котором ему дома вдруг было отказано. Он даже испугался от радости. Просыпаясь, он решил: «Я должен скорее отвезти это домой, совершенно невозможно, чтобы мой сын меня с этим ждал».

И вот тайком, не обмолвившись старику Альваресу ни словечком, Бенито — он за время своих мучительных поисков с успехом научился молчанию и даже лжи — направился в пулькерию, которая во время рабочей смены обычно пустовала. Он велел налить себе самую маленькую стопку. Его денег, сколько ни считай, могло кое-как хватить до половины пути к Рубену. Эти несколько глотков пульке — на последние сентаво, которые он разрешил себе истратить, — налила красотка, запомнившаяся ему с первого вечера. Только сейчас на ней ничего не блестело и не искрилось, она была в поношенном платье. Дорогие гребни, серьги и бусы — всем этим она могла украсить себя только позднее. И все-таки ее глаза и зубы сверкали так соблазнительно, что Бенито понял, как может тянуть к ней Лоренсо издалека, даже если теперь он способен добиться благосклонности других девушек.

— Будь добра, — сказал Бенито, — передай кое-что твоему Лоренсо, когда он опять сюда приедет.

— Лоренсо? — дерзко удивилась девушка, качнув серьгами, хотя их еще не надела. — Какому еще Лоренсо?

— Ну, двоюродному брату хромого Рубена.

— Ах тому, ах тому, — отозвалась девушка, будто его совсем забыла, хотя сердце ее тосковало по нем, это видно было по ее глазам и уголкам губ. — Да он разве еще когда-нибудь приедет? — И в голосе ее слышалась дрожь.

— Лоренсо-то? Конечно, — сказал Бенито, ложь не только не отталкивала его — он уже почти к ней привык. — Мне ли не знать, ведь я у Альваресов живу, сейчас я, правда, еду к Рубену. А так как может случиться, что именно в это время твой Лоренсо приедет сюда и мы разминемся, мне нужно тебя кое о чем спросить. Но сначала открой мне, как тебя зовут, красотка?

— Концепсьон. Странно, сначала ты поручаешь что-то передать, а потом боишься с ним разминуться. Пусть как ты поручал, так и будет: если он в самом деле приедет, все будет ему прощено и забыто.

— А что именно? — спросил Бенито, улыбаясь. Здесь было пыльно и сумрачно, хотя светило солнце, но Концепсьон и без украшений озяряла пулькерию.

Она сказала:

— Все зло, которое он мне причинил. Теперь я уже не верю, нет, не сдержит он свое обещание. Да и что он нашел во мне? Густые косы — это да, и глаза, и зубы. А что у меня есть? Горсточка бус из цветного стекла, и то я должна беречь их.

— Не знаю, — ответил Бенито и погладил ее плечо, чего дома никогда не сделал бы, — по-моему, ты красивее всех девушек, каких я только встречал на своем долгом пути.

— Зачем ты говоришь такие слова?

— Оттого, что в самом деле так думаю. У меня жена и дети. И завтра я отсюда уеду, надо кое-что раздобыть для моей мастерской. Я ведь гончар и кормлю семью. А Рубен как раз делает порошок, необходимый мне для моей краски. Потому я и должен к нему ехать. Если я там встречусь с твоим Лоренсо...

— Слушай, ты меня надул. Если ты надеешься встретиться с ним у Рубена, значит, он еще и не в пути.

— Он может быть уже в пути, красотка. Но, как и всякий, может же он задержаться. Я вот считал, что давно дома буду с моей голубой краской, которую должен раздобыть мне Рубен. А вот теперь они оба ушли отсюда, и Рубен и Лоренсо, чтобы где-то в другом месте собирать пустую породу и добывать из нее то самое, размалывать и обжигать.

Он положил свои гибкие от работы пальцы на ее руку, а та словно бабочка — трепеща, выскользнула и улетела. Девушка сказала:

— Передай, что я ему поверила, потому и ждала его. А могла бы иметь великолепных женихов, каждый вечер являются новые, среди них есть и надзиратели, да не хромые, как Рубен, а статные и сильные.

— Все это я ему передам, — обещал Бенито, — если его там еще захвачу. А ты мне скажи, как поскорее найти ту мельницу, на которой они работают.

Консепсьон отозвалась задумчиво, почти мечтательно:

— Мельница-краскотерка. Ах да! Лоренсо поклялся мне: в следующий раз я, мол, непременно тебя заберу. Нам в таком пустынном месте необходима женщина, чтобы о нас заботилась.

— А если мельница стоит возле ручья, то как он называется?

— Почему я знаю? Знаю только, что ручей впадает в речку, по крайней мере после периода дождей, а речка называется Ла Пура, это мне сказал Лоренсо. Он сопровождает мула с грузом в город Кристобаль. Там на осыпях пустой породы он опять нагружает его и с ним снова должен вернуться. У них уже есть постоянные покупатели в этом серебряном городе. Голубую краску покупают строительные подрядчики. Если мы уедем вместе, Лоренсо и я, мы выйдем в Кристобале. Он в последний раз нарисовал мне весь путь и твердо обещал, что мы будем вместе, наверное, он придет, если он не подлец. Но где это написано, что он никогда, никогда не будет подлецом?

— Наверное, он не такой, — ответил Бенито. — А теперь скажи мне, красотка, если та бумажка у тебя цела, какой дорогой он хотел с тобою ехать?

Она выбежала из комнаты. Конечно, она сберегла каждый клочок бумаги, который остался от ее любимого. Бенито, чувствовавший, как далеко он в своей лести отошел от того, что думал на самом деле о поездке Лоренсо с этой девушкой, уставился на лист бумаги, который она положила перед ним. Охваченный глубокой благодарностью, он погладил Консепсьон по волосам. Они оказались жесткими на ощупь. Сейчас они были заплетены в тугие косы, чтобы придать им волнистость, когда она косы распустит и воткнет в них гребни. Она посмотрела на Бенито теплым и печальным взглядом.

— Если ты его встретишь, не забудь же сказать, как сильно я его жду.

Бенито почувствовал облегчение, она, как видно, не возлагала на его обещание больших надежд. Она была ко всему готова.

— Я же тебе говорю: где бы я ни встретил твоего Лоренсо, я ему объясню, что он потеряет красотку из красоток, если как можно скорее не придет сюда.

Она чуть кивнула и, не дожидаясь его просьбы, налила ему еще полную стопку. Бенито поцеловал ее таким легким прикосновением губ, что в этом не было никакого греха, и ушел.

Когда он шел в последний раз к хижине Альвареса по безлюдной пыльной тропе, на сердце у него было радостно, как будто все горести наконец растаяли и он получил эту единственную награду за всю свою, порою убогую, порою горькую, жизнь: лишний стаканчик пульке, красота девушки, о которой Лоренсо, может быть, и думать

забыл, отличный, четкий рисунок дороги, сделанный Лоренсо во время своего последнего посещения девушки, словно им предстояло совместное свадебное путешествие, и наконец самое важное — мельница Рубена, благодаря которой пустая порода превращалась в голубую пыль... Он заснул на циночке, словно в каком-то радостном облаке.

Отец Рубена опешил, когда рано утром Бенито стал с ним прощаться. Кроме залитого слезами благословения, матери нечего было послать сыну. Она сунула несколько засохших, попорченных маисовых лепешек в один из мешков Бенито с пустыми звякающими банками.

— Что вдруг нашло на этого человека?— спросила она вслед удившему Бенито.

А муж ответил:

— Кто его знает.

Бенито ждал автобуса, на котором ехал сюда с Хосе, и ловко вскочил в него, как человек, привыкший раздобывать себе место. Он не узнал шахтеров, теснившихся вокруг и ехавших заступать смену, но они узнали его. Им очень хотелось разведать, чем одержим этот человек, а он одержим чем-то очень важным, это ясно, так как внезапно появился у старика Альвареса, вместе с ним сидел перед хижиной и что-то обдумывал. И вот, так же загадочно, как он приехал,— ведь на руднике он не искал работу,— он снова куда-то отправился. И они теснились вокруг Бенито, эти шахтеры, и главное — вокруг его мешков. Они на него не сердились, нет, но им хотелось знать, в чем же дело. Они сразу заметили, как звякают банки, значит, они еще пустые. Значит, отсюда он ничего с собой не забрал.

Он не поехал через долины, высчитав, что его денег хватит только на несколько станций. Груды отвала казались ему сегодня только серыми, коричневатыми, желтоватыми. Он не задавался вопросом, кто же, если Рубен уехал, извлекает пользу из такой ценной пустой породы. Должно быть, никто. Горы отвала будут все нарастать и в конце концов пожрут деревни и людей. А что тогда? Ему все равно. Ему нужен тот самый порошок, и он будет счастлив.

Бенито спросил кондуктора, далеко ли он еще может ехать на свои двадцать сентаво. Кондуктор заорал:

— Ты что, спятил? Тебе давно пора слезать.— Он дал остановку и с яростной бранью вышвырнул Бенито.

Бенито вскарабкался по крутому склону. Становилось жарко. Он постучался в одну из последних лачуг. Попросил у какой-то женщины напиток. Она была похожа на его Луизу. Кроткая, не злая. Он сказал:

— У меня два больших сына.

Она сказала:

— У меня две дочери. Может быть, ребенок, которым я беременна, будет мальчик.

Бенито выпил невероятно много воды, потом сказал:

— Желаю счастья вам и вашим детям.

Женщина налила ему остатки кофе. Она спросила:

— Далеко едете? Ведь если кто сюда взбирается, значит, он хочет пройти на станцию, ясно.

— В Сан Кристобаль.

— Господи! Там что же, ваша семья?

Бенито горько засмеялся:

— Нет, семья живет под Мехико. Я должен выполнить одно важное дело.

Он не сказал какое, хотя слова так и вертелись на языке.

— А мешки у вас тяжелые?

— Нет, домой придется везти пустые банки.

— Вот тут еще остатки риса,— сказала женщина.— У мужа началась смена, он уже перекусил.

Бенито поблагодарил. Теперь он разглядел, как уже расплелась женщина. Две смешные девчурки с удивительно тонкими косичками выглядывали из-за материнских юбок. Бенито затосковал по дому. Луиза теперь, может быть, тоже ожидает ребенка. Он очень хотел девочку. У свояченицы тоже были только мальчишки.

Он долго высчитывал, стоя наверху у кассы. Люди ругались: считают, мол, дома! Когда отошел первый поезд, кассирша, седая, со скорбным лицом, спросила, когда и где ему надо быть.

Бенито ответил:

— Мне надо в Сан Крестобаль. По пути я должен что-нибудь заработать.

— В таком случае,— отозвалась кассирша со скорбным лицом, но, видно, отзывчивая, словно судьба научила ее прислушиваться к горестям друзей,— я советую вам взять билет до Альтамильпы. Во-первых, там делают насыпь, у нас будет новая железнодорожная ветка, и вы, может быть, найдете там работу. Во-вторых, оттуда в Крестобаль идет автобус.

— Большое вам спасибо,— сказал Бенито. Он был изумлен, что женщина эта не стала ругаться, а подробно обдумала, как ему лучше ехать.

Он сказал себе: «У меня теперь есть рис и маисовые лепешки». И он был доволен своей судьбой. Может быть, это последний поворот судьбы. Ведь дома была просто жизнь, там эта жизнь наконец освободилась бы от судьбы. И он еще подумал: «Две хороших женщины, одна за другой. Два добрых человека».

В купе своего поезда он, как делал обычно, подтянул колени к подбородку и положил мешки один на другой, чтобы не мешать чужим ногам. Поезд часто останавливался. Впереди у Бенито было еще много часов. Теперь он уже приобрел опыт. И он заснул, прикрыв лицо шляпой.

Под шляпой ему приснилось, что он явился к Рубену. Рубен кивнул ему с дьявольской наглостью. И стал издеваться над Бенито. «Голубую? — сказал он, состроив рожу.— Кто же это тебе наврал? У нас размалывают только зеленую!» И действительно, из желоба струилось что-то зеленое прямо в мешок, который кто-то, вероятно Лоренсо, держал наготове. «Я приехал не за зеленой,— ответил Бенито.— Меня привела сюда надежда получить голубую». Рубен высмеял его: «Не хочешь — не бери. Без тебя сплавим».

«В самом деле, почему именно голубая? — размышлял Бенито, просыпаясь.— Оттого, что тетя Эусебия про нее узнала? А может, она ошиблась?» Его вдруг сковали сомнения и неуверенность.

Какой-то человек в чистой белой куртке, сидевший против него и наблюдавший за ним, сказал:

— А ты, приятель, наверно, видел плохие сны. Очнись-ка поскорее! — И, удивительное дело, трудно даже поверить — он сунул Бенито под нос, правда не бутылку с пульке, но какую-то бутылочку: — Это против болей в сердце, выпей глоток, от твоих стонов можно с ума сойти.

— Ну спасибо. А что это за снадобье?

— Если ты его так называешь... это мой отец продает в своем магазине в Альтамильпе три раза в неделю по двадцать бутылочек.

— А далеко еще до Альтамильпы?

— Будем ночью.

— Там строят насыпь для железной дороги?

— Какую еще насыпь? Понятия не имею.

Хотя пассажир был не стар, но в своей чистенькой куртке казался осторожным до нелепости. Наверное, брюзга, чистюля, и отец его тоже боится, что близость человека может запачкать его. «Это его куртку я видел ночью»,— подумал Бенито. Тут вмешался третий пассажир:

— Я был на постройке насыпи.

— А сколько платят? Плата вперед?

Третий бросил на него быстрый взгляд. Шахтер, такой же, как все шахтеры, он понял, к чему этот вопрос.

— Да разве вперед за работу что-нибудь получишь? Никогда. Но можешь поговорить с прорабом. Можешь ему сказать: ты, мол, не знаешь, на какой день тебя вдруг могут вызвать домой, твоя жена, дескать, очень тяжело болеет.

— Никогда я такой штуки не сделал бы,— сказал Бенито.

— Да по мне делай, что хочешь,— рассердился шахтер.

Бенито в самом деле не хотел бы ссылаться на болезнь Луизы, а вдруг накличешь. Кроме того, он ответил резко потому, что пассажир в белой куртке внимательно прислушивался. Он уж, наверное, всем бы рассказывал, что вот приехал человек ненадолго и морочит голову.

Никто на Бенито больше не обращал внимания; хотя купе было полным-полно, казалось, это купе молчунов, и Бенито заявил вслух:

— Я должен заработать хоть сколько-нибудь. Должен.— Сказал без нажима, а лишь оповещая о том, что он, Бенито, существует, что он здесь.

...А дома все шло, как обычно, то есть как должно было идти. Его мула поместили на скотный двор для мулов, а жена тем временем расставила тарелки и горшки. «Девчурка из соседней лавки устала на моего старшего сына,— подумал Бенито.— Она станет его невестой». Уже появились первые покупательницы. Луиза еще не успела отпустить их, как уже подошли следующие. Все требовали свою любимую посуду с голубым узором, иногда брали отдельные предметы в запас, иногда целый набор. И никто не удивлялся, что такая посуда опять есть. А почему бы ей не быть? Это же был его коренной цвет, его узор. Это была та посуда, которую он привык продавать, и все привыкли покупать ее именно у него. Бесчисленные незнакомые люди привыкли к этой посуде, привыкли есть из нее. Вот он отослал мальчиков, дав им несколько сентаво,— пусть купят себе пряников. И когда второй, смеясь, вонзил зубы в пряник, Бенито самому захотелось есть. Он вспомнил о засохшей майсовой лепешке, которую ему сунула старуха Альварес, а также о рисе незнакомой женщины. И, просыпаясь, подумал: «Пресвятая дева так просто никого не бросает на произвол судьбы». И он стал жевать очень медленно, чтобы продлить удовольствие от этой убогой пищи.

Они ехали по равнине, и на ней было так много пашен, что Бенито диву давался. Между пашнями виднелись маленькие покойные деревушки. Бенито забыл, что он все еще удаляется от своих мест. Ему чудилось, будто он едет обратно домой, теперь, когда он узнал точно, как ему отыскать Рубена. Только одна мысль угнетала его: чтобы наестся досыта и заработать денег на последнюю часть дороги, ему придется сойти в этой проклятой Альтамильпе.

Полусонный, в конце ночи Бенито заметил, что его весьма странный покровитель начал обдергивать на себе одежду, как делают обычно, собираясь сходить. И действительно, когда поезд медленно подошел к станции, человек в белой куртке встал и, сказав «спокойной ночи, господа», сошел с поезда. Бенито взвалил на себя свои мешки и последовал за ним.

В бледном рассвете он разглядел, что место это, может быть, и не город, но и не деревня. Тут шла всякого рода стройка. Шахтер оказал-

ся прав. Бенито шел позади пассажира, которого узнал бы даже ночью по его несравненной белизне. От центра еще пустынной площади, как лучи от звезды, разбегались улицы, длинные, безлюдные, с низкими домиками. Они, наверно, кончались у самых полей. Последние дома, может, были просто деревенскими хижинами.

Однако вскоре после того, как они прошли площадь, приятель в белом вдруг обернулся и спросил:

— Что тебе нужно? Почему ты идешь за мной?

Бенито скромно ответил:

— Немного водицы... попить бы, если вас не затруднит.

В эту минуту дверь дома, перед которым они остановились, кто-то приоткрыл изнутри. Поздоровались. Бенито отступил на шаг. Он увидел, что дверь ведет в магазин. А из него доносился странный запах. В сущности, целая смесь запахов. Женщина у двери, вероятно мать, приказала служанке или невестке:

— Отопри же!

Бенито перешел на другую сторону улицы. Теперь он понял, что магазин был чем-то вроде аптеки. Он перешел улицу обратно. Незнакомец, который был здесь родным сыном, сказал:

— Ах, ты все еще тут? — И добавил:— Дай ты ему воды, бога ради.

Пока Бенито дожидался, он узнавал в этой аптеке всякие лекарства для людей и животных, а также порошки от насекомых и бутылки с настоящими травами.

Он вежливо поклонился старику отцу и последовал за женщиной, его женой, во внутренний двор. Он уже заметил, что там бьет ключ. А под навесом лежали всякие товары, ящики и мешки.

Бенито сказал хитро и скромно:

— Дон Марсель,— (так называла старуха своего старика),— мне нужно сейчас же пойти в город, вы разрешите оставить у вас на некоторое время мои мешки?

— А что в них?

— Да ничего,— ответил Бенито.— Взгляните сами, только пустые банки.

— Зачем же ты таскаешь с собой пустые банки?

Бенито ответил не спеша, почти торжественно:

— Оттого, что я еду к родственнику, недалеко от Кристобалья. Он мне их наполнит.

— А чем же? — с интересом осведомился старик. Он был так же чист и одет в белое, как и сын. Лицо у него было не смуглое, а желтое, взгляд хитрый.

Бенито уклончиво ответил:

— Смотри по тому, что найдется, что у него будет сделано.

— У него есть своя машина?

— Да, вроде бы машина.

Так как из этого чужака ничего не удавалось вытянуть, старик грубо спросил:

— Ну, а ты?

И Бенито ответил, ведь в ответе на этот вопрос не было никакой лжи:

— Я гончар.

— Скажи пожалуйста,— удивился дон Марсель, уже ощупавший мешки.— Тогда ты, наверно, таскаешь все эти банки, чтобы набрать в них красок. Краски ты и у меня можешь получить.

Сын что-то шепнул ему.

— Ах! Ах! Ты еще хочешь в нашем городе заработать на дорогу? Я могу купить у тебя пустые банки и поезжай себе домой.

— Нет, нет! — испуганно воскликнул Бенито. — Мне же нужно, страшно нужно то, что он изготавливает, мой двоюродный брат в Сан Кристобале!

Старик выставил нижнюю губу.

— Ищи работу здесь. Поставь тут свои мешки. Только зачем тебе ехать в такую даль, если ты малость заработаешь? Ты все у нас можешь купить. Все краски, какие существуют. Погляди-ка на мои краски. Выбери себе, что нужно.

Бенито сказал:

— Я ищу одну-единственную краску.

Он сам не знал, почему у него внутри все вдруг как-то сжалось. В этом доне Марселе не было ничего страшного. Просто торговец, хитрый, что тут особенного? Глаза обоих, отца и сына, все еще были устремлены на него. «А что, если, — подумал Бенито, — эту голубую краску, которую я так ищу, я найду здесь, у них?» Он взял себя в руки. Спокойно сказал:

— Покажите мне, дон Марсель, образцы ваших красок.

— Ты ищешь какую-то определенную?

— Ну да, больше всего голубую.

Молодой крикнул:

— Эй, Жозефина, ты что, пока меня не было, успела оглохнуть? Пойди с ним.

Бенито последовал за молодой женщиной на склад, находившийся отчасти под открытым небом, отчасти под навесом. Старик шел позади.

— О, у нас есть всевозможные оттенки голубого. Ты найдешь здесь светлый, темный и черно-голубой, так называемый темно-синий...

Молодая женщина словно застыла, она не вымолвила ни слова и казалась очень запуганным существом. Она положила доску между двумя ящиками. Бенито уставился на образцы красок. Светлая была слишком светла. Темная слишком темна. Темно-синя отдавала в лиловый, без всякой голубизны. Почему-то Бенито — он и сам не знал почему — почувствовал облегчение. Предстояли еще большие трудности: оставшаяся часть пути. И бог знает, что его ждало у Рубена, а потом надо еще ехать обратно. Но лучше, гораздо лучше все это, чем если бы проклятый дон Марсель осквернил его голубой цвет, обладая им.

— Благодарю вас, — сказал Бенито негромко. — Это не совсем то, что нужно. Пожалуйста, разрешите все-таки пока оставить здесь мои мешки.

— Только не бог знает на сколько времени, — ответил сын.

— Да, конечно, — отозвался Бенито. Огорченный и голодный, он направился к двери.

Дон Марсель крикнул ему вслед:

— Два сентаво за день, три сентаво за ночь.

Однако, когда Бенито дошел до строящейся железнодорожной линии, ему повезло: одновременно с ним пришел и подрядчик. А когда Бенито осведомился насчет работы и передал привет от Абрамо — своего попутчика, тот кивнул, и Бенито получил лопату. Ему показали, куда надо насыпать землю. В полдень он почувствовал, что совсем обессилел. Но и виду не подал. Только осторожно осведомился у одного из товарищей, не одолжит ли ему тот под зарплату два песо. А товарищ беззаботно ответил:

— Вздор, пошли вместе!

Они накормили его. Они сказали подрядчику, словно Бенито — один из их товарищей:

— Дай-ка ему в счет зарплаты немного вперед.

— Сколько же тебе нужно, приятель? Имей в виду, мы никого не берем меньше чем на месяц.

Бенито рассказал о плате за хранение мешков, которую он должен отдать этому дону Марселю. Потом он понял, к своему ужасу, что ведь всем теперь станет ясно, как быстро он намерен уехать отсюда.

— Видно, ты не собираешься тут закрепиться,— заметил подрядчик. Он скрыл под усами усмешку.

Бенито сказал удрученно:

— Мать божья простит меня.

Подрядчик сухо ответил:

— Несомненно.

Хотя Бенито сам хорошенько не знал, верит он в бога или нет, но божьей матери он не позволит касаться.

Вечером с ним пошли к дону Марселю два товарища-силача. Увидев их, тот сейчас же сократил свои требования. В конце концов он выжал из Бенито один сентаво за ночь и полсентаво за день.

Рабочие спали все вместе в сарае, который при постройке новой ветки был перенесен сюда из города. Жили весело. Подрядчик вел себя благоразумно. До сих пор Бенито не умел ценить жизнь рабочего. Он знал только жизнь ремесленника. Вскоре он привык к новому укладу. Только раз, среди ночи, его вдруг охватил ужас при мысли о том, сколько времени он проводит тут, на возведении насыпи. Наверное, дома его уже считают погибшим. Не только как мужа и отца, но и гончары думают, что лишились своего сотоварища. Или он за это последнее беззаботное время изменил своему голубому цвету? Он аккуратно платил дону Марселю обещанную сумму и, хотя уже скопил денег на дорогу, не все откладывал, его соблазняли в этом городе и пулькери, и веселые встречи с товарищами по работе. В этой части страны люди были гораздо оживленнее, чем у него на родине, а тем более среди пустой породы, в горах. И он не знал, кого бы здесь можно попросить написать открытку его сыну, чтобы не вызвать подозрений. У него вдруг возникло чувство, что и рабочие и особенно подрядчик считают его своим в доску. По телу пробежал озноб. Совестно стало.

Бенито поднялся ночью, рано утром заплатил дону Марселю, что полагалось, взвалил мешки на плечо. Ему казалось, что он должен подрядчику еще за три дня, хотя на самом деле тот был должен ему за три лишних дня, которые он проработал. Боялся он также, чтобы его не спросили: «А что ты, собственно, намерен делать?» И он не пошел на станцию. Он зашагал по шоссе и долго тщетно махал рукой, пока ему не удалось изловчиться и вскочить на грузовик. Водитель невозмутимо взглянул на него и, только когда они остановились в следующем местечке на центральной площади, спросил:

— А куда же ты направляешься?

И Бенито ответил:

— В город Сан Кристобаль.

— Тогда иди вон туда, на автобусную остановку,— сказал водитель.— Мне придется колесить тут по окрестностям. А ты доедешь до Сан Себастьяно. Там спросишь, как дальше.

Он был не злой, этот водитель. Просто неразговорчивый.

В Сан Себастьяно грузовик высадил своих пассажиров. Одни разбегались, другие направились прямо в ближайшую закусочную. Бенито хотелось есть и пить. К тому же он был избалован регулярным питанием на стройке. Однако он не решился пойти в закусочную — ведь он не знал, во что обойдется дальнейший путь. Он спросил какого-то мальчика, гнавшего перед собой индеек и индюков на рынок, ходят ли грузовики в Сан Кристобаль и сколько туда езды. Мальчик прервал свои окрики, похожие на птичьи, которыми понукал стадо.

— Да ты же в Сан Кристобале. Это предместье.

Бенито очень заволновался. И так же, как перед его глазами возник чертеж, сделанный Лоренсо для Концепсьон, так же ему стало ясно, куда надо идти. На берег, потом вверх по течению реки, до истоков, до ручья. Вдруг он сообразил, что хотя и путешествует довольно долго, но период дождей начался еще сравнительно недавно. При этом он также решил, что никто за такой короткий срок не подумает, будто он уже умер. Даже такой плохой человек, как Леопольдо, этого не подумает. Конечно, мучительное это ожидание и для его жены и для сыновей, но сейчас только часы отделяли его от любимого голубого цвета, и возвращение домой было обеспечено.

Ручей, который поведет его, был надежен, потому что дожди начались недавно, — шумный ручей, его легко узнать: Бенито прямо слышал, как он клокочет, даже пенится в том месте, где бросается в реку Ла Пура.

Энергичным шагом, так что банки зазвякали в мешках, прошел он через предместье. Потом, радостно удивленный, пересек площадь с деревьями и клумбами. Быть может, город этот был не так велик, как Мехико, но это был великолепный город. Улицы так и кишели людьми. Многие и одеждой и обликом были похожи на него — ремесленники, крестьяне с ближних полей, много рабочих, были и люди, одетые, как дон Марсель и его сын. Он увидел необыкновенное множество магазинов. Обычных пулькерий не оказалось. Только рестораны. Там и тут на углах улиц стояли лавки с зелеными и желтыми сифонами с лимонадом и печурками, чтобы поджаривать мясо и начинку для лепешек. Он ощущал себя богачом, так как у него еще остались дорожные деньги, поэтому он наелся досыта и купил лепешек без начинки.

Потом задумчиво двинулся дальше. Ему вдруг захотелось пить. Но он не собирался заходить в ресторан, ибо его решение было твердо: ничего больше не тратить; а может быть, он не надеялся на себя — болялся там застрять.

Он спросил у одного горожанина, одетого в белое, как дон Марсель, где тут колодец. Тот указал на огромный дом — может, это была ратуша с открытыми воротами. За воротами виден был внутренний двор, вокруг которого шла галерея. Бенито охотно пробежал бы по ней, но он заметил прямо посреди двора бассейн, на дне которого изразцовыми плитками был изображен козел. Бенито присел на корточки. И вдруг отпрянул. На изразцах поблескивал голубой цвет, тот самый, который он искал. Вместо того, чтобы зачерпнуть воды, он погладил плитки. Они были обожжены и покрыты глазурью другим способом, чем его тарелки и горшки, но он понимал, как это сделано, он мог обстоятельно все обдумать. Он забыл напиться, он думал: «Это вот, наверное, идет от Рубена». Он встал, тяжело дыша. Еще раз обернулся. Затем поспешил прочь. Пришел конец мечтаниям и выдумкам. Теперь он не имеет права терять ни минуты.

Он ожидал увидеть чудесную реку — ведь воздух между домами сиял так светло и прозрачно. На самом деле река Ла Пура была мелководной. В ней белело много отмелей, и перейти вброд на другой берег не составляло труда. Мост имелся только один, а именно железнодорожный, соединявший город с противоположным берегом. Гористая местность напоминала ему родину. По таким склонам его жена, дети, его нагруженный посудой мул спускаются к рынку. Но склоны были здесь какие-то рваные, словно искрошенные, он увидел груды пустой породы, рельсы, флажки дыма и оживленное движение людей.

Бенито подумал: «Вот тут и есть рудник. Надо держаться этой стороны, и Лоренсо так начертил. Он, наверное, переходил по мосту со своим грузом».

По набережной шло много людей с мешками, как и Бенито, проезжали грузовики, были среди толпы и погонщики мулов. Когда Бенито в раздумье прошагал довольно далеко, он заметил, что толпы прохожих поредели, да и берег казался почти безлюдным; он вдруг услышал нагонявший его резкий топот копыт. Кучка черных всадников пронеслась мимо него, как сквозняк. Может быть, вверх по течению в нескольких часах езды находится большой поселок и они скачут туда, хорошо одетые, с роскошными поясами, сбруя также отличная. Вскоре появились еще два всадника, догонявших группу. Бенито теперь увидел, что при них и пистолеты. Он подумал: «Это все солдаты». Он вдруг почувствовал усталость. День обещал быть особенно жарким. Бенито присел в тени и снял сандалии, чтобы легче было идти. Он устал, потому что все время боялся пропустить ручей. Он решил, что этот ручей непременно должен бурлить и пениться. Но пока он еще ничего похожего не заметил, видел только какую-то струйку, извивавшуюся среди песка, и выползавшие на поверхность корни отдельных деревьев. Местность становилась лесистой.

«Во всяком случае,— говорил себе Бенито,— до города рукой подать. Тут никак нельзя заблудиться».

Он был рад деревьям и воде, то тут начинал бурлить настоящий ручей. Он съел лепешку и пил, пил, сколько душе было угодно. И думал: «Не мог я заблудиться. А то, что я видел в водоеме на дворе того дома, это была наверняка голубая краска Рубена. Мне надо спешить».

Идя по дну ручья, он поднялся довольно высоко, иногда вода доходила ему до щиколоток. Вдруг с полянки до него донесся сердитый окрик. И он услышал хорошо знакомое топанье и тяжелое дыхание.

Какой-то человек стал довольно быстро спускаться по склону, он сидел на одном муле, а другого, тяжело нагруженного, человек тащил за собой. У этого человека было жестокое и дерзкое лицо. Увидев Бенито, он чуть смутился, но тут же поехал дальше.

— Здравствуйте! — крикнул Бенито.

Незнакомец ответил «здравствуйте», но даже не повернул головы. А из-за этого Бенито пришлось повернуть обратно — он решил проверить.

— Скажите, здесь дорога к Рубеновой мельнице?

— А зачем тебе понадобился Рубен?

— Мне? Да ни за чем. Поклон велела передать наша тетя. Я его двоюродный брат.

— Ну и передавай свои поклоны,— сказал человек.

Все еще спускаясь следом за ним, так как незнакомец не останавливался, Бенито спросил:

— А ты Лоренсо?

Тот подтвердил:

— С твоего разрешения — Лоренсо.— Потом все-таки поинтересовался: — Откуда тебе это известно?

«От твоей невесты»,— хотелось ответить Бенито. Но поведение этого молодого человека, хоть и красивого лицом, но очень холодного и самонадеянного, удержало его. Бенито сказал только:

— Я был у родителей Рубена.

Лоренсо машинально поправил ремень, натиривший мулу спину.

— А ну отойди,— сказал он,— до свидания, приятель, я очень спешу.

Хотя Лоренсо ему и не понравился, но так ли он плох на самом деле? С точки зрения невесты, должно быть, плох, едва ли он ей верен. Но сам Бенито почувствовал себя счастливым, он уже почти забыл, что испытывает человек, уверенный в своем счастье. Теперь надежда его уже

не была туманной. Уже это были не одни только грезы. У воздуха был привкус действительности. И вкус дыма, который он почуял. Склон стал крутым. Весь потный, Бенито поднялся на какой-то выступ. Отсюда он увидел на более высоком, широком и плоском выступе костер.

День клонился к вечеру. Он шел по двойным следам мула. Гора, которую он считал цельным массивом, была разорвана крутыми ущельями, пришлось трижды подниматься и спускаться, чтобы их одолеть. «Рубен,— подумал Бенито,— в самом деле забрался в недоступную для обыкновенного человека глушь».

Над ним висел последний, самый высокий горный выступ. На фоне ясного неба он увидел очень отчетливо сгусток дыма. И только когда он поднялся еще выше, открылся и костерок. Пока он лез, костерок снова исчез из глаз.

Ручей бежал через лес. Бенито сел наземь, напился, вымыл руки и ноги. Когда он при этом посмотрел вверх, где горел костер, ему показалось, что, пока он был у ручья, огонь погас, только дым еще висел в воздухе. Он решил подняться сразу до верха и достичь своей цели. Он уже различал что-то вроде хижины. Вероятно, в ней и жил Рубен со своим помощником Лоренсо. До того, как он явственно услышал мельницу или что-то в этом роде, он различил постукивание настолько легкое, что оно не нарушало тишины. Его никак нельзя было сравнить с протяжным, мощным, захватывающим дух и словно угрожающим грохотом при дроблении руды, который он слышал на руднике Гонсалесов. Но так как он долго слушал, он установил точно, откуда доносится постукивание.

Подойдя ближе, он увидел нечто вроде шлюза, который, вероятно, соорудили двоюродные братья Рубен и Лоренсо, чтобы задерживать драгоценную воду для промывания породы. Увидел он также и мельницу, перемалывающую ее. Он вздохнул с облегчением, словно сам наладил это трудное дело. А потом увидел молотки и дробилку.

Он уже почти добрался до места, когда заметил человека, мелькавшего между деревьями так быстро, что его трудно было разглядеть, хотя Бенито все же узнал его — человек был хром. Рубен, невзирая на хромоту, поспешно нес к ручью что-то обожженное на очаге.

Эти разнообразные работы — на мельнице, на дробилке, на очаге, — требовавшие нескольких человек, Рубен выполнял один, притом так быстро, одну за другой, что могло показаться, будто делает он все одновременно. Бенито так и не понял, что Рубен делал в начале, что в середине и что в конце. У него голова закружилась, пока он смотрел, и он рассердился. Лес был только за спиной у Рубена, ближе к реке. Со стороны долины голая гора спускалась крутыми обрывами. И горы, вздымавшиеся позади города, были голы и обрывисты. Здесь, на склоне, пылали два перечных дерева. Они должны были скоро угаснуть вместе с заходящим солнцем.

А как безлюдно тут наверху. Уж лучше было находиться среди груд отвала вместе с родителями Рубена, стариками Альварес. «Еще сто шагов до моего голубого цвета», — подумал Бенито. И вдруг сейчас, когда его скоро можно будет взять, это показалось Бенито невероятным.

Рубен остановился. Он еще не заметил появления Бенито. Он раскачивал туда и сюда большое решето. Самые мелкие частицы падали в чан.

— Здравствуй, Рубен,— сказал Бенито.

Рубен испугался, но так как он с детства привык скрывать свои чувства, он даже не оглянулся. Даже не поставил наземь решето. Потом медленно повернул голову.

— Я приехал из Сан Матео. Я привез тебе приветы от твоих родителей.

— А как ты нашел сюда дорогу?

— Ах, Рубен, да твои родители мне отчасти объяснили. Город. Речка. Нужно подняться по течению ручья. Это мне посоветовала одна девушка. Невеста Лоренсо. А Лоренсо я встретил с вашими мулами. Нелегко было тебя разыскать. Но я твоим родителям твердо обещал передать тебе их приветы.

Рубен отставил решето. Теперь руки у него были свободны. Он уже окончательно поборол свой испуг.

Бенито попросил:

— Дай мне чего-нибудь горяченького.

Рубен подогрел кофе на стоявшей под навесом железной печурке. Они уселись друг против друга. Бенито вытащил свою последнюю лепешку. Вдруг он воскликнул:

— Боже мой! У меня же в мешке еще есть бутылка пульке!

Вот он и показал себя щедрым. Рубен же, это он подметил, никогда бы не пригласил его выпить. Где же спрятана его голубая краска? Бенито видел только коричневато-серые обломки породы. Галька да песок. В чане — тонко смолотый порошок. И больше ничего. Вероятно, позади хижины есть хорошая установка для обжига. Только после нее порошок голубеет. Это ему рассказала старая Альварес. Он сам не знал, почему не обмолвился на этот счет ни словом. Они молча сидели друг против друга и пили горячий кофе. Всю пульке до последнего глотка он предоставил Рубену.

— А что тебя привело в Сан Кристобаль? — наконец спросил Рубен.

Они пристально взглянули друг на друга, прищурившись. Глаза Рубена казались зелеными от подозрительности. Бенито сначала ответил неопределенно:

— Я тут по делам.

— По каким же делам? — осведомился Рубен.

Пульке его немного расшевелила.

— Вот видишь, — решился наконец Бенито, — я ведь из деревни гончаров Сантьяго Иксуинтла. Она недалеко от города Мехико.

— Ну и?.. — подхватил Рубен. Он ни на секунду не спускал глаз с Бенито. И теперь, когда настала ночь, светились только эти зеленоватозолотые глаза Рубена.

Бенито же безмятежно продолжал:

— Я ведь даже не догадывался, когда обещал твоим родителям передать тебе привет, что придется не знаю как высоко карабкаться.

Рубен коротко ответил:

— Я люблю жить один.

Бенито медленно дожевывал лепешку, он чувствовал — что-то тут не так. Почему Рубен так насторожен? Прямо точно дьявол, когда охотится за чьей-нибудь бедной душой.

Бенито продолжал без нажима:

— Там внизу, в Сан Кристобале, я зашел в один двор. Во дворе был водоем. Его дно выложено изразцами. И там я увидел твой чудесный голубой цвет.

В одно мгновение лицо Рубена исказилось ненавистью. Он зашептал, словно кругом на горе было полно шпионов:

— Об этом ты мог бы сразу сказать. Я тебя живо спроважу, если ты из-за этого пришел.

Бенито подумал: «А ведь такой и прикончить может. Но я никак не пойму, в чем тут дело. Мы должны столковаться до прихода Лоренсо».

И Бенито заговорил снова:

— Когда я увидел этот голубой цвет, я решил, что его могли полу-

чить только от тебя. Ведь я так давно в дороге, испытал столько трудностей и нужды, и все — только для того, чтобы его найти.

— Я тебе скажу сразу, — ответил Рубен, сясь быть спокойным, — здесь ты его не найдешь. На этой мельнице мы делаем совсем другое. Того, что мы продали плиточному мастеру, здесь больше не добывают. Не стоит труда.

— Нет стоит, — гневно возразил Бенито. — И вы делаете. Стоит. И ты один знаешь, как делать.

— Кто напел тебе такой вздор?

— Твоя мать! — возмутился Бенито.

— Она просто болтливая старуха.

— Она еще даже отыскала чуточку этого порошка, который вы добывали ручной мельницей.

Рубен сначала ничего не ответил. Он оцепенел от ярости. А Бенито подумал: «И почему он такой подлый, так изолгался, этот Рубен?» Вслух он спросил:

— Почему ты нисколько не хочешь мне дать? Почему отказываешься, будто не можешь этого сделать? Ты должен радоваться! Ведь только ты можешь! Ты один, Рубен.

Рубен ответил, слегка польщенный:

— Я не делаю его, этот материал для голубой краски, я не хочу, чтобы там, внизу, в городе, и в других городах украли мое изобретение.

И вдруг Бенито понял, чем можно смягчить Рубена.

— И вовсе не твоя мать виновата. Ты не имеешь права бранить ее, бедную, она только объяснила мне дорогу к тебе. Самой первой мне рассказала о твоём мастерстве тетя Эусебия. Она иногда заходит к нам в деревню. Я ей рассказал о своей беде. О том, что в городе Мехико больше нет такой голубой краски, какая мне нужна. Тогда Эусебия мне и рассказала, что ты какую-то делаешь, а в точности такую мне и нужно. Дело в том, что ведь она и тебе тетка. Она приходится сестрой нашим отцам, а мы с тобой двоюродные, ну почти братья.

В конце концов Рубен опустил глаза, он не переносил, когда другой видел его чувства. Вместе с подозрительностью из его глаз исчез и зеленый блеск. Когда он снова устремил их на Бенито, они опять стали золотисто-желтыми.

— Отчего ты мне сразу не сказал, что тебя послала Эусебия?

— Ну, теперь ты знаешь, милый Рубен. Мне ведь нужно совсем немного краски для моей посуды. Все мои покупатели хотят непременно, чтобы был голубой узор, а я вдруг не могу его дать. Твоего рецепта я даже знать не хочу. Да я и вовсе не так умен, как ты, и ничего не сумею по нему сделать. А выдать кому-нибудь, где я добываю голубую краску, — так я только себе наврежу...

— Истинная правда, — ответил Рубен и вздохнул.

Он тоже подумал об Эусебии, единственном человеке, которого глубоко уважал. Пока в их семье жила Эусебия, он был не совсем пропащий. С самого детства, если Эусебия за него не заступалась, ему казалось, что он пропадет, несмотря на весь свой ум. Да, Лоренсо поддакивал ему. Но по-братски не относился. Он устраивает собственные дела, когда едет по делам Рубена.

С недавних пор Лоренсо ему все уши прожужжал: не могут, дескать, они вечно вести свое дело только вдвоем. Он, Лоренсо, знает одного, который с сыном переселился бы сюда наверх, если Рубен согласится. Дело в том, что его дочь — почти что невеста Лоренсо, они все из Сан Кристобая, надежное семейство.

Разве у него нет другой, настоящей невесты — Консепсьон в Сан Матео? А Лоренсо рассмеялся: ему-де нужна невеста из хорошей, дело-

витой семьи, умеющей молчать. «А теперь вот моя новая приведет с собой отца и брата. Пока я с нашими мулами доберусь до заказчиков и вернусь обратно, тебе придется работать одному. Разве так не лучше было бы и тебе? Отец и брат ведь помогали бы».

— А я себя спрашиваю: может, и вправду лучше? — проговорил Рубен, когда все рассказал Бенито. — Я иной раз совсем без сил... — И добавил: — Да еще с больной ногой. А ведь надо переходить с места на место. Он небось ухаживает за невестой, а я здесь вожусь один-одинешенек, — тихо и с горечью пожаловался Рубен.

Бенито понял, как тяжела жизнь без любимой для молодого парня, который был таким мастером своего дела.

— Ты, наверно, видел с берега реки серебряный рудник, который здесь открылся? Он не такой большой, как в наших местах, но Лоренсо быстро убедился, что и здесь в пустой породе есть те отходы, которые нам нужны. Так вот! Иногда он сразу приносит обломки, их нужно только дробить и размалывать, а потом просеивать и смешивать с песком, по берегам ручья песок здесь превосходный, и при обжиге порошок становится голубым-голубым, как платье пресвятой девы. Я все тебе покажу, ведь ты мне почти что брат. Да, вот если бы ты тут остался... но ты говоришь, что должен вернуться в свою гончарную деревню. Посмотри, в последний раз этот Лоренсо принес мне очень большие обломки породы. В такой обломке, наверно, есть тот материал, который нам нужен, но сначала этими камнями мулам растирают спину до крови — ведь что слишком тяжело для человека, тяжело и для животного, — а потом я должен один дробить обломки на очаге. Пока не найду того, что ищу. Я тебе все покажу. Но ты сначала хорошенько поешь. Я принесу тебе кое-что вкусное... Когда солнце взойдет, — продолжал Рубен своим сухим и взволнованным голосом, — начинай испытывать и обжигать. Лоренсо не любит, если у него нет впереди запаса времени, чтобы перемешивать свою голубую краску.

Бенито кивнул. Хотя сам он, Рубен, умеет получать теперь почти без проб тот оттенок, который ему нужен, все же при этой работе он всякий раз очень устает. Поэтому они с Бенито рано лягут спать.

Он принес циновку Лоренсо, которая днем стояла в углу свернутой, хотя сюда наверх к ним едва ли могли заявиться гости. Но не только циновки были очень чистыми, почти как новые, так что Бенито с удивлением вспомнил старые, потрепанные циновки стариков Альварес. Все помещение было здесь удивительно чистым. Рубен строго следил за тем, чтобы при своей работе избегать всякой грязи. Это понравилось Бенито, это было ему близко.

На следующее утро Рубен показал ему, какую породу он дробит и мелко смалывает и какой песок надо прибавлять. Он показывал все это вполне миролюбиво, как будто совершенно забыв свою ярость при появлении Бенито. Бенито же молча, глубоко взволнованный смотрел, как из правильной смеси получается нужный ему цвет.

«Как много тут, как много... — думал Бенито, — да мне хватило бы на всю жизнь». Он помог Рубену наполнить несколько банок, которые были втрое больше его собственных. Многие из банок Рубена остались пока пустыми, так как, по его словам, он должен был еще добавить к красительному материалу всякие вещества для разных ремесел, он уже давно получил заказы. Лоренсо повез первую партию в город.

Так как вокруг костра еще лежали обломки породы, развели огонь, Рубен занялся своей работой, а Бенито поручил эти обломки, и тот научился дробить их, если они были рыхлые. Это он должен был сделать, как брат и друг-гость, хотя он охотнее сейчас же наполнил бы собственные банки, чтобы отправиться домой. Денег на дорогу у него уже не оста-

лось. Ему скоро придется что-нибудь подработать. Может быть, в городе Сантьяго. Туда, наверное, уже провели железную дорогу. Если он не найдет старых товарищей, то поищет веселого надзирателя. Но пока он ничего не говорил. Он уже понял, что не годится так прямо просить Рубена о голубой краске. За едой Рубен спросил Бенито, что это он таскает в своем мешке. И Бенито наконец признался ему, что это банки, которыми он пользуется в собственной мастерской. Иначе ему придется покупать новые на рынке у дона Виктора. И он живо описал, как с этого все и началось. Этот дон Виктор каждый раз обещал ему краску и своего обещания не выполнял, так что покупатели начали сердиться.

— Тут тетя Эусебия и навела меня на твой след,— сказал Бенито.

Рубен слушал его внимательно. Но Бенито казалось, что лицо Рубена снова помрачнело. Бенито неутомимо помогал ему. Однако Рубен хранил молчание. И только раз на этот второй день сказал:

— Лоренсо вернется завтра. Он привезет то, что нам нужно, с того берега реки. Потом он отдохнет и мулы тоже, а затем начнется вторая доставка того, что я przygotowю.

Бенито вдруг понял, что и речи не может быть о том, чтобы просто наполнить свои банки и уйти.

Он слышал ночью, как Лоренсо подгоняет мулов. И прошел еще целый час до появления этого человека наверху. Бенито было жалко мулов. Он поскорее разгрузил их. Он подумал: «Вот так же обращаются и с моим, если Луиза сдает его». Он напоил обоих животных, смазал натертые места, а в это время Рубен и Лоренсо ели. Лоренсо сначала отдохнул некоторое время, потом заговорил. Он сказал только:

— Приветы ты все, наверное, уже передал.

Он рассказал Рубену, что свадьба решена. Хорошо, если бы до периода дождей его будущие тещь и зять сделали тут пристройку. Бенито подумал: «А что теперь будет с Консепсьон?» И он решил: «Может, тогда в хижину к Рубену переберутся старики Альварес?»

Рубен предоставил ему свою циновку, а сам лег с Лоренсо. Они долго что-то шептались друг другу прямо в ухо, но что — Бенито не слышал.

Бенито иногда улавливал только отдельные фразы: «Они сильные. Они тебе помогут. Роза будет вести у нас хозяйство, иначе мы одни не справимся с новыми заказами».

Рубен жестко заявил:

— Я никому не хочу открывать моего изобретения.

Лоренсо возразил:

— Семейные — это все равно что никто.

Потом они снова зашептались, а Бенито уснул.

На следующее утро Лоренсо начал:

— Рубен мне рассказывал, что тебе нужна голубая краска для твоей псуды. Ладно, но ты видишь, как мы трудимся, не разгибая спины. Кажется, сдохнуть можно. Если тебе тоже нужен материал для голубой краски, держись за него, работай. У тебя мешок набит банками. Ты так должен работать, чтобы мы от каждого заказа тебе в них немножко отсыпали. Понятно? На это нужно время.

Рубен, который молча слушал его, сделал какое-то движение. Лоренсо словно рассек это движение пополам небрежной рукой. Потом продолжал грубым тоном:

— Он тебе двоюродный брат? Ладно. А кто здесь устраивает все дела? Кто нашел здесь пустую породу? А ты один с твоим изобретением так и сидел бы несолоно хлебавши.

Рубен что-то пробормотал. Вид у него был измученный. Наконец Бенито сказал:

— Хорошо, ну а как же мой-то там дома? Я же должен послать им весточку о себе. А как я могу сделать это здесь, на горе?

Лоренсо рассмеялся:

— Я напишу за тебя письмо и опущу в следующий раз, когда поеду в долину. Напишу, что ты просидишь здесь, пока не накопишь достаточно голубой краски. Спроси Рубена, умею я писать и считать?

Рубен сказал:

— Ну да, это он умеет.

Тут Бенито уже нечего было возразить. Он сказал только:

— Напиши моему старшему сыну.

Когда Лоренсо опять поехал вниз по делам и чтобы подготовить свадьбу, Рубен казался особенно мрачным. Словно его непрерывно что-то угнетало. А теперь он чуть не задыхался. Он не произносил ни слова.

И когда Лоренсо вернулся, довольный, так как ему все удалось, Рубен был по-прежнему мрачен. Он работал с каким-то немим гневом.

Лоренсо снова уехал, чтобы доставить готовую голубую краску заказчикам. Бенито приходил почти в отчаяние, что эту краску разбазаривают среди чужих людей, в чужом городе. Он частенько думал: «А может быть, ему больно, что Лоренсо умеет быть обходительным и нравиться женщинам. А Рубен хромой, с женщинами не имеет дела. Ему бы только добывать голубую краску, как и мне. Нет, по-другому. И он всегда один».

Однако и Рубен и Лоренсо, как бы они друг к другу ни относились, оба настороженно следили, чтобы Бенито опускал в банки свои крошечные порции не раньше, чем краска была готова. Однажды, когда они снова остались вдвоем, Бенито и Рубен, Рубена вдруг прорвало:

— Какое счастье, Бенито, что ты приехал.

— Да? — спросил Бенито, пораженный.

— Да, конечно, счастье. Мой голубой цвет прямо создан для такого, как ты. Еще дома, когда я был старшим на руднике, я день и ночь искал его, пока наконец не нашел. Конечно, Лоренсо помог мне и в конце концов открыл это место. Перетащил меня сюда. Раздобыл клиентов столько, что мы теперь одни с работой уже не справляемся. Поэтому тут и будет жить еще чужая семья. Когда мой опыт удался, Бенито, еще дома, в грудях пустой породы, и я увидел, каким голубым был мой голубой цвет, у меня сердце от радости запрыгало. И я был счастлив. А потом нет. И следа от счастья не осталось. Только когда я говорю себе, что Эусебия прислала ко мне Бенито, ему нужно то, что я, один я, могу сделать, и он нигде этого не нашел, я на минутку опять чувствую счастье.

Бенито молчал. Так много открылось ему вдруг в этом Рубене, пожалуй, слишком много. Как будто Рубен перед тем все время сжимал свои мысли в комок.

Затем Бенито сказал:

— Больше половины моих банок полны. Когда будут полны все, отпусти меня домой, ради бога.

— Ну конечно,— спокойно ответил Рубен,— что обещано, то обещано.

— Тогда на рынке о тебе все узнают,— сказал Бенито.

— Да,— согласился Рубен.

— Можно сказать, часть тебя войдет в их жизнь.

— Да,— сказал Рубен,— в их жизни будет что-то и от меня.

Госпожа Энсима была уже замужем, но Альфредо Мюллер по привычке все еще называл ее «барышня». Сейчас она положила полученную почту на его письменный стол и помедлила, ожидая, не захочет ли он продиктовать что-нибудь срочное.

У госпожи Энсимы, в девушках Эшеварии, детей еще не было. С первого дня ее работы в конторе Мюллера и донны на ее платье вы бы не увидели ни пятнышка, в блестящих черных волосах — ни одной выбившейся пряди. Ее кожа казалась лакированной. Держалась она скромно, безупречно. Если бы она не сообщила господину Мюллеру о перемене фамилии и свой новый адрес, в результате чего он послал ей свадебный подарок, может быть, ему так и осталось бы неизвестным обстоятельство, вероятно, глубоко повлиявшее на ее жизнь, хотя, пожалуй, и не так глубоко, чтобы изменить какие-то черты в ее наружности.

Сейчас господин Мюллер вскрыл прежде всего письмо из Кампече, может быть, из любопытства, может быть, от чувства тревоги. В начале войны, когда фирму, которую он представлял, запретили, он задешево снял там склад. У Лопеса, «Меха и кожи».

В этом письме Лопес писал, что, к сожалению, он вынужден нарушить договор: его собственная фирма, которая слилась с фирмой зятя, нуждается в помещении. Поэтому господину Мюллеру придется свои ящики со склада убрать. Лопес полагает, что, может быть, это расстройство будет и кстати, ведь сейчас вся деятельность господина Мюллера ограничивается почтовой перепиской о складских товарах, а при таком решении вопроса господин Мюллер избегнет лишних расходов.

Альфредо Мюллер рассмеялся. Потом сказал:

— Извините, фрейлейн Эшевария, выясните сейчас же, какие запасы еще лежат у Лопеса, а также сколько будет стоить транспорт в...— он подумал,— в Монтеррей.

Когда Мюллер сидел уже один в своей крошечной конторе, он думал: «Ведь штука эта весьма драгоценная, только Лопес этого не знает. Мне с этими несколькими ящиками и сундуками до черта трудно. Может быть, просто поставить точку? Послать в Хехст через Швейцарию заявление об уходе? Стадлер в Нью-Йорке не советовал. А уж он-то знает, что происходит и что будет происходить. Кроме того, прежний шеф наверняка уже не сидит в Хехсте. А такой, конечно, не забудет, кто ушел и кто выдержал до конца».

Госпожа Энсима, женщина без пылинки и без вольной прядки, пришла с письмом к Лопесу.

— Еще одно дело,— сказал господин Мюллер,— и лучше письменно, чем устно. Напишите Фернандесу. Он должен получить свою протраву в течение этого месяца. Она уже отправлена. А там, где была она, мы теперь поставим ящики от Лопеса.

Раздраженная, так как она чувствовала себя неважно, госпожа Энсима написала и это письмо. Она никак не могла отделаться от мысли, что одна из всех своих подруг не имеет детей и муж ее очень сердится. Причем виноват вернее всего он.

Всякий раз, когда ее надежды бывали обмануты, у нее на глазах выступали слезы. Она быстро прижимала к глазам платок, потом применяла немножко крема и пудры. После этого она выглядела как обычно.

Когда Рубен, обессилев, заснул на своей циновке, а Бенито и Лоренсо крутили мельницу, у Лоренсо вырвались наружу все его затаенные помыслы.

— Я иногда мечтаю о Конче¹. Ты обо мне плохого мнения, Бенито, я знаю, но я должен жениться здесь и войти в эту честную работающую семью. Тогда мы тут наверху пробьемся, мы пойдем дальше, гораздо дальше. Если мы выполним заказы, к нам потекут деньги, и мы будем

¹ Сокращенное от Конселсьон

на дружеской ноге и с одним и с другим надзирателем, они разрешат нам таскать из пустой породы самый лучший материал, который нам нужен. Ах, Бенито, тогда мы в один прекрасный день прославимся нашей голубой краской. Рубену и мне — нам одним этого не добиться. Но если у нас будет хоть небольшая поддержка — помощь моего будущего зятя и помощь моего тестя, — тогда мы скоро твердо станем на ноги.

Они помолчали. Потом Бенито спросил:

— Зачем тебе хочется невесть чего достичь с этой Рубеновой голубой краской?

— Невесть чего?! И это спрашиваешь ты, Бенито, а сам мозоли на заднице натер, столько ты ездил, оттого что кто-то сболтнул, будто у нас есть голубой цвет, который ты ищешь! Да когда Рубен в первый раз его добыл из заброшенного отвала и обжег, это была великая минута, но когда всякий завистливый и мстительный сброд донес на нас и нам пришлось нашу ничтожную прибыль отдавать как отступные надзирателю, тут уж не было ничего великого. Вот смотри, Бенито, отсюда тебе эти груды пустой породы не видны, если ты не знаешь, где они. Их заслоняет лес. Но настанет день, когда и лес будет другим, когда мне уже не надо будет спускаться с мулами и опять тащиться наверх, тут выручат просеку, проложат желоба, и весь мир узнает, что они ведут к нам, и мы прославимся!

— А зачем? — спросил Бенито. — Вы же хотели быть одни, пусть никто ничего не знает.

— Нет, все-таки, — ответил Лоренсо, — когда дело дойдет до этого, Рубену придется наконец выкинуть из головы эту свою идею одиночества. Ведь как ты нас в конце концов нашел, Бенито? В Сан Кристобале в водоеме ты увидел голубые изразцы, и они тебя надоумили. Они имеют отношение к Рубену, вот что ты подумал.

— А откуда ты это знаешь?

— Мне Рубен рассказал!

«Смотри-ка, — подумал Бенито, — оказывается, Рубен это замечил да еще говорил с Лоренсо... вот уж не подумал бы...»

А Лоренсо продолжал:

— Уж если он добьется, так ты наш голубой цвет увидишь не только в одном бассейне, все изразцовые и все гончарные мастерские будут из-за него драться. Он будет сиять в четырехугольниках, в треугольниках, в листьях, в кругах и еще не знаю в чем. Перенасыщена будет им страна, где воспользуются Рубеновым голубым. Ведь это же совсем другое, чем вот так выбиваться из сил в одиночку!

А Бенито подумал: «Лоренсо совсем неплохой человек. Просто он другой, чем Рубен. Совсем другой. Он также привержен к голубому цвету, только иначе».

— А что тут вы оба делаете? — спросила тетя Эусебия старшего сына Бенито и мула, упорно смотревшего в том же направлении, что и Андрес.

Андрес ответил с хитрой улыбкой:

— Ждем поезда. Мы надеемся, что приедет отец.

С улицы, ведущей в город на рынок Сан Матео, Эусебия узнала юношу своими дальнорукими глазами, обладавшими, кроме того, способностью всегда запоминать каждую неповторимость каждого человека, стар он или молод. Только Андрес, старший сын Бенито, именно так носил накидку, только он в своем отчаянном ожидании стоял так неподвижно и прямо, только он, как и отец, клал руку на спину мула, одновременно и приказывая и направляя его.

Она сказала:

— Значит, Бенито все-таки последовал моему совету. Я считала, что он уже давным-давно дома.

Андрес стал разговорчивее:

— Я уже три раза выходил к поезду. Ведь он писал, то есть не он сам, а кого-то попросил написать — а я уже все, что хочешь, могу прочитать, писать и читать я могу почти все, — что он определенно приедет в сентябре. Определенно к празднику «Клич из Долорес». Он уже, наверное, будет праздновать с нами. Я должен привести мула совсем пустым и все наши сетки. Оттого, что он везет ужасно много банок. Сначала он писал, что нам придется подождать. Ему, к сожалению, надо ехать еще далеко. Потом пришло второе письмо. Там сказано было, что он наконец добрался до Рубена. Но он должен остаться до тех пор, пока все банки не будут полны. Потом мы опять долго ждали. И вот пришло третье письмо — на этой неделе он будет в Сан Матео. По-моему, он должен приехать с поездом, который сейчас подойдет.

— Только я, увы, не могу остаться с тобой, — сказала Эусебия. — Меня ждет аптекарь, а на рынке поджидают две тетки. Ночью на обратном пути я загляну к вам узнать, приехал ли отец.

— Наверняка приедет, — сказал Андрес.

Он не обернулся к тете Эусебии. Он смотрел вдоль рельсов. Самые разнообразные люди, как и он, ожидавшие поезда, поднялись на откос. Среди них некоторые были и с мулами, как Андрес, тоже для багажа. Андрес разглядел облачко пара раньше всех. Его сердце сжалось, но он не шевельнулся. Однако мул почуял, что приближается что-то важное. Он слегка забеспокоился.

Поезд остановился на насыпи. Мужчины и женщины без груза весело выпрыгивали из вагонов. Андрес всматривался в людей, и сердце его не рождалось.

Сначала Бенито выставил из двери вагона свой зад, потом сошел, пятясь. С огромной осторожностью вытащил он свои мешки. И огляделся, как человек, уверенный, что его встречают.

— Все полны, — сказал Бенито сыну.

С огромным, вознагражденным ожиданием созерцал Андрес отца, слишком взволнованный, чтобы улыбнуться. Мул терпеливо глядел на Бенито, готовый оказать любую помощь.

И они тут же принялись за погрузку, заботливо, чтобы никакая мелочь без нужды не мучила животное. Они повесили банки по обе стороны его спины. Андрес повесил себе на плечо две связанные сетки. Отец взял мешки, кроме того, поставил себе на голову сетку, набитую битком. И вот они двинулись по дороге домой.

— Мы сделаем в пути передышку, — сказал Бенито, — тогда можно будет попить и поесть.

Андрес так и сиял от радости.

— А вы там дома все здоровы?

— Да, теперь все, — ответил Андрес. — У нас теперь есть и сестра.

«Господи, — подумал Бенито, — а ведь это возможно! Луиза уже тогда предполагала, еще перед моим отъездом. А я, я так долго отсутствовал». И он радовался, что родилась девочка.

Они добрались до дому поздно вечером. Некоторые соседи даже поднялись с постели, чтобы узнать — привез Бенито с собой свою голубую краску? Так много банок уже стояло рядами, что их теперь должно было хватить надолго.

После праздника Бенито опять занял на рынке свою лавку. Рыночный сторож, разумный человек, сдал ее только на время.

Андрес помчался в город к донье Исабель:

— Отец вернулся. У него есть то, что вам нужно.

— Я хорошо знаю, на кого можно положиться,— сказала донья Исабель.— Потому и решила пока обойтись.

И вскоре гости за ее обеденным столом говорили:

— Прямо сердце радуется. И все кажется вкуснее.

Из окна своей конторы Фернандес увидел, что подошел «кадиллак». Вот, значит, до чего дошло. Сам депутат Рамирес приезжает к нему, чтобы обсудить завершение их деловых связей. Хотя все было в порядке — точная, даже преждевременная доставка пропитки для железнодорожных шпал решила успех задуманного дела,— все же приезд Рамиреса чем-то встревожил Фернандеса. Он пробудил в нем какое-то воспоминание. О чем — он и сам не сразу мог бы сказать. Он принял Рамиреса оживленно, велел подать коньяк, токвилу и виски.

Он разложил свои бумаги, и Рамирес не нашел в них оснований для критики.

— Вы еще помните, друг мой,— сказал Рамирес, и тут Фернандес вспомнил, почему у него возникло неприятное чувство,— как я вас тогда предостерегал и советовал прекратить некоторые дела с этим господином Мюллером? До меня дошло известие, что он продавал реквизированные товары.

— Я вам, право же, очень благодарен,— ответил Фернандес.— Наше средство для предохранения дерева, к счастью, получено от совсем другой здешней фирмы. Впрочем, скажите, это верно, то, что вечером передаю по радио?

— А что тут может быть неверно?

— Да будто теперь таких господ сажают, а они в Германии возглавляли раньше самые крупные фирмы?

— Почему же этого не может быть? Это же не радиопостановка, а передача Нюрнбергского процесса.

Фернандес задумался. Но он не мог решиться на откровенный разговор. В конце концов он только сказал:

— К счастью, я тогда поступил так, как вы мне советовали. Ну да, мелкие агентуры я сейчас же ликвидировал. Альфредо Мюллер до сих пор еще торгуется со мной из-за какого-то платежа, который будто бы ему причитается. Однако нельзя не признать: он теперь нас опять хорошо обслуживает. Это слуга двух господ — аргентинца и англичанина.

Он подумал: «За те несколько красителей, которые, допустим, я ему заказывал, мне все-таки придется уплатить, если он пристанет как с ножом к горлу».

Бенито возвращался с рынка домой. Второй мальчик, Габриэль, и третий, Кавнер, разговаривали с мулом. Сзади всех шла Луиза. Она вела младшенькую девочку за ручку.

Мулу еще не нес никакого груза. Пусть хорошенько отдохнет. Потом, на товарной станции, его нагрузят двумя канистрами голубой краски. Их прислал Лоренсо.

Габриэль толкнул мула. Тот посмотрел на него с грустным удивлением.

— Если бы я тебя сейчас не отпихнул, ты бы головой угодил прямо в вагон с бананами.

Сегодня Андрес не ходил на рынок со всеми остальными. Он был в школе. Как он еще три года назад отчаянно выпрашивал, чтобы его пустили учиться! В рыночные дни или если вообще бывала спешная работа. Бенито запрещал ему идти в школу. Когда однажды к ним пришел учитель и стал объяснять, что Андресу необходимо научиться читать и писать, Бенито стал после этого особенно строго и особенно часто за-

прещать сыну хождение в школу. Его семья должна знать, что он, опытный гончар, не позволит командовать собой какому-то косолапому учителюшке.

Но после своих странствий за голубым цветом Бенито, почувствовав в себе справедливость, сам отправился к учителю сказать ему спасибо за то, что он научил Андреса читать и писать. Благодаря этому Андрес мог прочесть открытки, которые отец посылал издалека, он перечитывал их матери раз и другой, когда она уже была близка к отчаянию. А молодой учитель ответил Бенито:

— Ясно, друг, ученики тут кое-чему учатся.

Все они — Бенито, его два сына, мул и Луиза с девчуркой — уже поравнялись с лавкой дона Виктора, когда тот вдруг выскочил из двери, схватил Бенито за локоть и всех задержал, воскликнув:

— Бенито!.. Стой! Ты не знаешь последней новости. Она есть опять у меня, твоя голубая краска, из-за которой ты так с ума сходил. Мне ее опять доставили. И ты можешь у меня купить ее сколько хочешь. Представь, сеньор Фернандес получает ее опять от той же, прежней фирмы, и я, конечно, этим воспользовался.

Бенито не остановился, а только придержал шаг. Он ответил:

— Спасибо вам, дон Виктор, мне ее теперь не нужно.

— Как так?

— После долгих поисков я нашел мой голубой цвет. Далеко я за ним ездил. И тот, кто мне его дал, кто его изобрел, будет давать его и дальше. И раз и всегда.

Перевела с немецкого В. Станевич.



О ЧИ Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

Е. ПОЛЯКОВА

★

БОЛЬШАЯ МОСКВА, МЕДВЕДКОВО...

Полвека назад Москва была одним из классических городов капитализма. Город «снижался», население его уплотнялось к окраинам; от делового центра, от жилищ состоятельных людей шли улицы продымленных многооконных домов, трехоконных домиков, бараков, окружающих фабрики.

В 1967 году въезжающего на московскую окраину с любой стороны света встречают девяти-двенадцатиэтажные здания и деловые, не пышные станции метро между ними. Долог путь от этих новых проспектов до старого городского кольца, где улицы обычно много уже и дома много ниже; к тому же удобств в этих домах меньше, чем в окраинных, а плотность населения ощутимо больше.

Ежемесячно тысячи москвичей покидают перенаселенные дома Замоскворечья и Садового кольца и празднуют новоселье в Химках, на Юго-Западе, в Кузьминках, Мневниках, Мазилове. Ежеквартально рапортуют строители о сдаче десятков тысяч квадратных метров жилой площади. Это только в столице. А строительство жилья идет повсеместно — в Заполярье, где прежде всего нужна защита от холода, в субтропиках, где прежде всего нужна защита от жары, в тайге, в степях, в колхозах, в рабочих поселках.

Всем архитекторам, всем строителям напоминает Программа партии: «Большое значение приобретают градостроительство, архитектура и планировка для создания благоустроенных, удобных, экономичных в строительстве и эксплуатации городов и других населенных мест, производственных, жилых и общественных зданий. Города и поселки должны представлять собою рациональную комплексную организацию производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие условия для труда, быта и отдыха людей».

И в решении этой общей задачи в каждом городе, в каждом районе возникают свои вопросы, на главные наслаиваются вроде бы неглавные, непредвиденные, противоречивые, мельчайшие, сливающиеся в важнейшие. Жилищная проблема продолжает оставаться «самой острой проблемой подъема благосостояния советского народа» (Программа КПСС).

Самой острой по всему нашему Союзу. Самой острой в Москве, где каждому из шести с половиной миллионов ее населения нужна крыша над головой. А понятие это сегодня отнюдь не буквально: под «крышей» подразумевается отдельная квартира, удобный транспорт, ближний детский сад и школа, булочная и спортплощадка, химчистка и кинотеатр, прачечная и гараж, да еще свежий воздух, да еще тишина...

Это нужно не избранным, но всем. С этим тесно связаны вопросы взаимоотношений московского центра с окраинами, реконструкции старых улиц, соотношения общественных и жилых зданий, строительства предприятий.

Особенно отчетливы масштабы нашего строительства и проблемы, неизбежно сопутствующие этим масштабам, в самых новых районах Москвы, где живут уже сотни тысяч людей, где ежедневно решаются и ежедневно встают все новые вопросы настоящего и будущего. Один из таких районов расположен в самом конце «северного луча» столицы. Называется этот район Медведково.

1

Жители старинного подмосковного села Медведкова испокон веков занимались тем же, чем и все крестьяне, — отбывали барщину, запахивали свои небольшие надель, огородничали на глинистых землях над Яузой. В 1623 году здесь, кроме крестьянских поселений, были: господский двор, конюшни, две мельницы и храм Покрова «древян... шатром вверх». В середине XVII века деревянный храм сменился каменным, тоже «шатром вверх». Закончен он был в 1652 году, а в патриарших «храмозданных» грамотах 1655 года всеильный тогда Никон уже рекомендует (это равнялось приказанию) «шатровые церкви отнюдь не ставить»; строителям и заказчикам предписывается древний, канонический, пятикупольный образец.

Так что медведковский Покров Богородицы оказался одним из последних шатровых храмов на Руси, храмом славы, перекликающимся с московским Покровом Богородицы, «что на рву», которому позднее народ присвоил имя Василия Блаженного. Тот, знаменитый, — памятник победы России над казанскими ханами. Этот — память победы России 1612 года, победы над лихолетьем и смутами. Память о хозяине Медведкова князе Дмитрие Михайловиче Пожарском: его родовой вотчиной было село.

Издали церковь кажется простой, как детская пирамидка. Белый куб, на нем куб поменьше, на нем восьмигранник (классическая для русской церкви форма — «восьмерик на четверике»), на восьмиграннике идущий ввысь зеленый шатер. Он переходит в тонкую шейку, увенчанную соразмерным куполом. Приближаясь к церкви, видишь, сколь сложны ее очертания. Первый куб приземист и тяжел, он врос в землю полукруглыми арками, напоминающими арки торговых рядов. Это нижняя церковь, редко открываемая. В верхнюю церковь — второй куб — поднимаешься по высокому крыльцу с истертыми каменными ступенями. Переходы этого куба в восьмигранник, восьмигранника в шатер, шатра в купольную шейку-барабан замаскированы, смягчены и в то же время выделены ярусами кокошников. Так называются лепные полукружия, действительно больше всего похожие на девичьи головные уборы. Белые кокошнички стоят один над другим вроде бы одинаковые, но каждый чуть огличается от соседнего: в XVII веке их не штамповали, но лепили, оглаживали человеческие руки, а изделия рук человеческих всегда неповторимы. Оттого и пропорции и тени этих кокошников чуть асимметричны. А в основании шатра на крепких белых шейках выросли еще четыре куполка — младшие братья того, верхнего, — а к ним тянутся снизу еще три, и все это похоже на перезвон-переклик колоколов, все сливается в прихотливо-стройной гармонии.

Триста с лишним лет смотрит медведковский Покров на извилистую Яузу и впадающую в нее Чермянку, на старинные окрестные села. Старожилы этих сел, особенно самого Медведкова, уверены, что именно здесь начиналось действие «Князя Серебряного» («...В жаркий летний

день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы», а поблизости, в излучине Яузы, стояла мельница, хозяин которой был ведунгом и чародеем. «Медведевка — это и есть наше Медведково. И мельница до недавних лет здесь стояла, после революции сломали»... Сотрудники Музея истории и реконструкции Москвы, гораздо знающие, даже кричать начинают от негодования, когда приводишь им эту версию: конечно же, и Медведевка не Медведково, и нет ни одной мельницы XVI века, которая уцелела бы к XX веку. Правда их бесспорна. Но легенды живучи, и у нас «Князь Серебряный» продолжает пользоваться славой книги, построенной на местном материале.

Между тем для того, чтобы утвердить Медведково в кругу не только Большой Москвы, но Большой истории, романтическая мельница вовсе не нужна. Человеческие поселения на берегах полноводной, «яркой» Яузы насчитывают тысячелетия (по Яузе вел торговый путь к истокам ее в районе Мытищ, где суда волоком перетаскивались в Клязьму и шли во Владимир), история сел ее исчисляется столетиями. Владельцами их значились Нарышкины, Голицыны, Демидовы; Леоново было имением великого просветителя Николая Ивановича Новикова, где он жил еще до царской опалы, до разорения вольной новиковской типографии. В Свиблове жил на даче в 1801 году Н. М. Карамзин; здесь начал он, по преданиям, писать свою «Историю государства Российского».

Села эти вообще славились удобным, близким к Москве местоположением, садами, дачами. Правда, автор полезнейшего путеводителя 1880 года «Окрестности Москвы в историческом отношении и в современном их виде для выбора дач и гулянья» говорит уже, что «Медведково представляет мало удобств для дачной жизни». Но юный корреспондент детского журнала «Задушевное слово» держался другого мнения. В разделе читательских писем 1884 года он сообщает: «Позвольте вам описать, как мы провели лето в селе Медведкове, в котором мы в 1883 году жили на даче. Расположено оно на гористой местности, покрытой молодым лесом. Направо от нашей дачи был большой запущенный парк. Налево склон к речонке Чермянке; по другую сторону этой реки густой лес. Позади нас луг; тут стояла совершенно высохшая сосна, под которой, по преданию, зарыт клад. Прямо перед нами стояла церковь, позади ее склон к реке Яузе, в которую впадает Чермянка. На другой стороне Яузы лес. Время проводили мы очень весело: гуляли, купались, играли, учились только один час в день. Часто во время прогулки мы видели зайца или лисицу, но они убегали при нашем приближении. В Москву ездили мы редко, да мы и не любили этого, в Москве нам было скучно».

Корреспонденция эта написана десятилетним Валерием Брюсовым. В конце XIX и в начале XX века медведковцы продолжали сдавать дачи и заниматься сельскими делами. В начале тридцатых годов крестьяне становятся колхозниками, их десятинные наделы сливаются в обширные поля. Но чем дальше, тем больше идет процесс, необратимый для ближнего Подмосковья: село все сильнее тяготеет к городу. Землепашцы уходят на соседнюю железную дорогу. Молодые ездят в московские институты и училища; они становятся городской молодежью, связанной с селом лишь пропиской да сноровкой в огородных работах. Подмосковные села превращаются фактически в часть столицы задолго до того, как решением от 18 августа 1960 года Медведково введено было в границу Большой Москвы.

Прежде столица кончалась последними домами проспекта Мира, у того моста-путепровода, что переносит машины через железнодорожные пути на Ярославское шоссе. Мост — граница, за ним начинался город

Бабушкин (он также вошел в Большую Москву, сохранив свое название и утратив лишь слово «город»), начиналась область. Сейчас у последней станции метро «ВДНХ-Северная» можно сесть в трамвай или в один из автобусов. Они идут от триумфальных входов и адмиралтейских шпилей выставки, мимо мухинских «Рабочего и колхозницы», мимо строя панельных пятиэтажных и крупноблочных девятиэтажных домов, мимо старого водопровода-акведука, что вызывает в памяти итальянскую Кампанию. На границе бывшего города Бабушкина дорога резко свернет влево. К прореженным сосновым перелескам (от леса, описанного Брюсовым, не осталось и следа), к огромному заводу строительных конструкций. К редким, ожидающимся сноса деревянным дачам с потемневшими башенками. К новым и новым улицам пяти-девятиэтажных домов. Захватывает ощущение дальнего, укачивающего пути. И уже вспоминаешь блоковское: «Леса, поляны, и проселки, и шоссе». А когда автобус вступает в зону Яузы, когда возникает слева церковь, сельские домики с несоразмерно большими телеантеннами на них, готовишься к следующим строкам: «Наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты в овсе».

Тогда-то за этим привольем снова встанет на фоне синего неба белый строй крупноблочных девятиэтажных башен. «Медведково», — объявит водитель, и некоторая торжественность в его голосе будет усилена микрофоном. Встрепенутся в автобусе пассажиры, закрывая дорожные книжки и конспекты, затормозат вздремнувших детей, потянутся к выходу — исконные москвичи Ростокина, Таганки, Марьиной Рощи, Самотеки, получившие квартиры в новостройках самого северного жилищного массива Большой Москвы.

2

Некоторые автобусные и трамвайные остановки Медведкова именуются стандартно: «Школа», «Кирпичный завод», «Седьмой квартал». Другие названия прочно держат нас в арктическом круге, напоминая о торосах, буранах и землепроходцах. В начале застройки, в 1962 году, они были проездами № 5000 или № 5007, а в 1964 году были одновременно переименованы в улицу Амундсена, в проезды Дежнева и Беринга. Центральная улица — Полярная, новый кинотеатр — «Полярный», вечерами над ним горит северное сияние неоновых трубок.

Полярная улица и улица имени Героя Советского Союза Молодцова — главные магистрали района, с очертаниями ясными, но незаконченными: обжитые дома перемежаются котлованами, пространствами взрытой глинистой земли.

Улица Молодцова выходит к долине Яузы двумя двенадцатиэтажными башнями. Эти дома-башни будут смотреться в зеркало очищенной, полноводной Яузы, равной по ширине Москве-реке. У пристаней сгрудятся лодки и яхты. На пляжах будут загорать обитатели ближних домов и приезжие из других районов. А на юге, где еще нерушимы сельские строения, встанет комплекс общественных зданий: театр, выставочный зал, Дворец пионеров, ресторан, концертный зал. Поодаль — большой стадион. Медведково сольется с такими же новыми районами Свиблова и Бабушкина, — сольется и в то же время будет отделено от них рекою, зелеными зонами; зелень зальет внутриквартальные пространства, затенит окна. Станции метро встанут возле стадиона, возле пляжей, и будут старожилы вспоминать минувшие дни, когда деревья под окнами были похожи на метелки, воткнутые в землю, а Яуза казалась черным ручьем, на дне которого кладами блестели консервные банки.

Так будет. Новое Медведково растет буквально на глазах. Всюду фундаменты, бетонные плиты, подъемные краны. В отвалах рыжей глины встают белые дома, стайками трудятся возле них девушки-разнорабочие, словно сошедшие с полотен Юрия Пименова. Панелевозы буксуют в выбоинах с тяжелым грузом. Восемьсот пятьдесят гектаров застраивается здесь, на миллион триста пятьдесят тысяч квадратных метров жилой площади рассчитаны наши дома, больше ста тысяч человек будут жить в них. Сотни квартир сдаются ежемесячно, тысячи — ежегодно.

Сами условия медведковского строительства на редкость благоприятны. Новый район растет в чистом поле, где шесть лет назад колыкались овсы. Здесь можно строить просторно, по-новому, без оглядки на сложившуюся застройку, историческую топографию улиц — даже деревьев не было на заготовленной веками громадной строительной площадке. Поэтому так свободно вписываются дома в пространство, а не в сомкнутый коридор старой улицы, поэтому они открыты свету и солнцу. Здесь реально (прежде сказали бы — в камне, сейчас придется говорить — в бетоне) воплощается великая идея нового, социалистического города, противоположная идее старого города — города-крепости, отъединившегося от леса, от равнины, с которой могли прийти враги. Мы не можем угадать все закономерности и особенности развития города будущего. Но «сверхзадача» этого города ясна и сегодня. Главный архитектор Москвы М. Посохин так сформулировал ее: «В отличие от буржуазных концепций застройки городов, построенных на классовом неравенстве, в основу планировочной организации советского города положен единый социальный и творческий принцип — обеспечить наиболее благоприятные условия для труда, быта и отдыха каждого жителя... При проектировании жилого района необходимо максимально учитывать все факторы, создающие удобства для населения, от мелких до крупных — они одинаково важны для жизни».

Задача эта осуществляется в нашей столице, которая для того и стала Большой Москвой, чтобы вырастить на бывших полях и пустырях сотни новых кварталов. Чтобы формула « $n+1$ », где « n » означает количество членов семьи, а « $n+1$ » — еще одну комнату, стала для всех реальностью. Именно для всех.

Ропща на тесноту нашу и вспоминая замки и московские особняки, где можно было разгуляться, мы иногда забываем, что жизнь в замках вовсе не была комфортабельной (духота раскаленного камня летом, сырость и холод зимой, каминные не роскошь, но средство обогрева), что в особняках с гербами на фронтонах господа-то жили в бельэтаже, а обслуживающий персонал, гораздо более многочисленный, ютился во флигельках и подвалах. Вспомним «Плоды просвещения», людскую, где на печи доживает век старик повар, где привилегированный кучер имеет кучерскую, а слуги-мальчики и слуги-старички спят на лавках, под мерцающим огоньком лампы.

В старомосковских домах — барских на Арбате, купеческих в Замоскворечье, в доходных домах начала нашего века, украшенных изразцами и каменными лилиями, — подвалы почти неприменны. В 1912 году они занимали от пяти до пятнадцати процентов московской жилплощади. Наверху — квартиры, разные в зависимости от возможностей снимающих; внизу — каморки и «углы», сдаваемые в розницу. И когда после Октября началось великое переселение снизу вверх, когда рабочие и мастера поволокли из углов, из казарм в настоящие квартиры свои лоскутные одеяла, домашние верстаки, лубяные зыбки, в этом было осуществление правды и равенства народной революции. Она делила хлеб и землю, отбирала жилье у богатых, оделяла им неимущих.

Через пять дней после взятия Зимнего — 30 октября 1917 года по старому стилю и 12 ноября по новому — принимается постановление о передаче жилищ в ведение города. Еще получают люди по карточкам свои осьмишки, еще идет гражданская война, а уже организуется «профессиональный союз зодчих», уже — в мае 1918-го! — создаются архитектурно-планировочные мастерские, где разрабатываются проекты новых домов, школ, целых районов старой русской столицы, ставшей теперь народной столицей.

В нее текли людские потоки. Рабоче-крестьянские дети валили на рабфаки, в университет — всем находилось место в огромной голодной Москве. Снова и снова уплотняли квартиры. Снова заселяли подвалы, потому что рост жилья не мог поспеть за ростом населения.

В конце далекого XVIII века, в 1794 году, в Москве обитало всего-то сто семьдесят пять тысяч человек. Через сто лет, в конце XIX века, она шагнула за миллион, население ее — миллион тридцать восемь тысяч. В 1912 году город населяло миллион шестьсот семнадцать тысяч, в 1917 году — больше двух миллионов. Сейчас в столице шесть с половиной миллионов постоянных жителей.

Не мудрено, что московские окраины обрастали поспешными бараками. Что еще в тридцатых годах мечтою было получение комнаты в перенаселенной квартире, с длинным списком жильцов у входной двери, с коммунальной кухней, заставленной индивидуальными столами, с расписанием очереди на уборку, из-за которой могли сделаться врагами.

И все же страна строит новые города и заводские поселки. Москва строит дома для москвичей. В тридцатых годах создается первый генеральный план реконструкции столицы. Появляются на ее улицах дома с тяжелыми бетонными балконами, с непривычно широкими окнами. Но массивная застройка еще редка. Дома Симонова вала, Дангауз-ровки, Дубровок потому и называются почтительно «новыми», что они — островки в море старых.

Семья и тогда могла получить отдельное жилье, но это было скорее исключением, чем правилом. Обычно в новую добротную квартиру въезжало несколько семейств, и на стене снова появлялось расписание уборки.

В войну было не до строительства. И все же в разгар войны, в 1943 году, написано замечательное письмо М. И. Калинина об архитектуре восстановительной, послевоенной, где определены задачи ее и предугаданы ее опасности: «Новое строительство дает большие возможности для создания подлинно социалистических городов с большими художественными ансамблями и глубоко продуманными жилыми стройками, полностью отвечающими современным требованиям... И при этом следует избегать всяческих выкрутасов. Социалистическое строительство должно быть целеустремленным, красивым, радующим взгляд, но не вычурным и не претенциозным... Сейчас советским архитекторам представляется редкий в истории случай, когда архитектурные замыслы в небывало огромных масштабах будут претворяться в реальном строительстве. И мы вправе ожидать, что наши архитекторы удовлетворительно справятся с выпавшими на их долю задачами.

В противном случае тяжелая моральная ответственность перед потомством ляжет на наше архитектурное руководство и на нашу архитектурную общественность».

После войны началась грандиозная восстановительная стройка страны. После войны развернулись огромные работы в Москве. Но далеко не всегда народные деньги, отпущенные на новостройки, расходовались разумно. Подчас гораздо больше их уходило на площадь бесполезную, чем полезную. На громадные холлы, где за конторками,

приличествующими Домби-отцу, сидели лифтерши с вязаньем. На башни, вышки, купола, на мраморные изваяния, сидящие на крышах, на коринфские колонны, поддерживающие готические своды.

О бедах такого строительства говорилось тревожно и откровенно на Всесоюзном совещании строителей 1954 года. В постановлении Правительства 1955 года прямо сообщалось о том, что «ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не один миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся».

Но уже во второй половине пятидесятых годов «жилая площадь для трудящихся» стала наверстывать недоданные прежде миллионы квадратных метров. Жилищное строительство приобрело непредставимый прежде размах, темпы, массовость. Никаких украшательств, а заодно — никаких украшений. Гранитно-мраморные здания, претендовавшие на последнее слово в архитектуре, сменились скромной застройкой, не всегда отвечающей обязывающему слову «архитектура». Четырех-пятиэтажные дома с одинаковыми балконами. Кирпичные — блочные — панельные. Тут-то в московские разговоры и вплелась и начала разрастаться волнующая тема новоселья: «Кунцево... Химки-Ховрино... Метро будет... Комнаты смежные, санузел раздельный... Два шкафа встроенных... Прихожая ничего, квадратная... Комнаты изолированные, санузел совмещенный... Высота — два семьдесят»...

В самый разгар этого массового, типового, блочно-панельного строительства началась и застройка нового Медведкова, воплотившая и отразившая достижения, противоречия, решенные и нерешенные проблемы жилищного строительства шестидесятых годов.

Оно идет быстро, конвейерно. Архитекторы и строители стремятся оправдать директивы XXIII съезда КПСС: «Архитекторы должны уделять больше внимания созданию удобств для населения, улучшать планировку квартир и внешнее оформление жилых и общественных зданий, не допуская, конечно, при этом излишеств»... Типовые проекты улучшаются, дома образца 1966 года лучше домов 1962 года, квартиры их удобнее, планировка часто удачнее. А вот до «внешнего оформления» зачастую не доходят руки — метры, метры жилой площади гонят строители, метрам подчинена архитектура. Какие уж тут излишества! Во всем Медведкове нет ни одной колонны, ни одного пилястра. Дома наши просты и честны в этой простоте, их ритм — ритм одинаковых окон и черных швов, соединяющих панели.

Проект нового жилищного массива создавался Первой мастерской Моспроекта под руководством известного архитектора В. С. Андреева пять лет назад, когда наиболее целесообразными считались пятиэтажные дома, не требующие лифтов, не требующие решения проблем, связанных с высотной застройкой. В 1963 году «Бюллетень исполкома Моссовета» констатировал, что Медведково будет в основном застраиваться кварталами в пять этажей.

Действительно, пятиэтажье началось в первом и втором кварталах, перехлестнуло Полярную улицу, залило кварталы четвертый, пятый, шестой. Везде встали панельные близнецы с цветочными ящиками под окнами. Панель над панелью в пять рядов выстроилась по вертикали. Панель к панели прилепилась по горизонтали. Есть дома-коротышки на два подъезда. Есть длинные, на семь подъездов. Кажется, что продолжать их можно бесконечно, как в детском «конструкторе», — пока не кон-

чится набор деталей. Детали одинаковы. Их «внешнее оформление» — это их цвет: белый, серый, желтоватый. Только цвет выделяет, отличает наши дома. Поэтому требования к этому цвету, к самому качеству отделки у нас особенно высоки, поэтому потеки краски и пожелтевшие или вывалившиеся керамические плитки особенно бросаются в глаза.

Кроме того, одно разноцветье не может быть средством выразительности. Торцы наших домов тоже белые, серые, красные или белые с красными обводами. Глухое, хоть и яркое однообразие этих плоскостей так и взывает к монументальным росписям и мозаике, к панно и барельефам. Правда, теоретики говорят о том, что «стал навязчивым — в силу того, что он является почти единственным для жилых районов, — прием росписи торцов жилых домов». Но для наших кварталов прием этот не успел стать навязчивым. В Медведкове украшены торцы двух с половиной домов. На одном полярники запускают метеорологический зонд, всеми принимаемый за детский воздушный шар. На другом полярное сияние, похожее на органные трубы, играет над оленьей упряжкой. И еще в один дом вделана панель с летящими птицами. Это на весь массив. Два с половиной дома.

Не мудрено, что они сразу же сделались как бы ориентирами, точками отсчета. Ежедневно кто-то с адресом будущей квартиры блуждает среди одинаковых зданий, ежедневно гуляющие с детьми женщины объясняют: «Вот два дома пройдете, будет дом с оленями, а там спрысите бывший десятый корпус. Еще у него подъезды красные»...

Так неожиданно скромные подъезды вынужденно приняли на себя ответственнейшую обязанность. Благодаря полной одинаковости новостроек они оказались не только конструктивной, но важнейшей эстетической деталью. И даже не подъезды, не их большие бетонные козырьки, а только плиты, нанаскось отделяющие от парадного (собственно, слово это давно утратило свой смысл — нет у нас «парадных», как нет и «черных» лестниц) дверцу мусоропровода. Плиты одинаковы, а цвет их разнообразен. Они окрашены в алый, в зеленый, в голубой цвета. Иногда красят через один: серый—желтый, серый—желтый. Тогда говорят: «Магазин вон там, в доме с разными подъездами».

Чаще же название твердо. Дом с красными подъездами. Или с коричневыми. Это все же подобие индивидуальности, позволяющей выделить Свой Дом в сумме окружающих таких же. Тем более что рядом стоят типовые школы, детсады, магазины.

В эти школы новоселы записывают своих ребят, в магазины ходят за покупками. Согласно проекту у человека, живущего в наших микрорайонах, все будет поблизости: библиотека, школа, поликлиника, сапожная мастерская. Комплексное, всестороннее обслуживание людей — непременное условие жизни нового района. «Все жилые районы... будут иметь свои центры обслуживания, которые образуют сеть, обеспечивающую потребности населения — от молочно-раздаточных пунктов и булочных в каждом жилом блоке до крупного торгового предприятия» — это цитата из давней уже статьи В. Андреева о будущем медведковских кварталов.

Особенно подчеркивает наш архитектор важнейшее условие новой застройки: «Организация водоемов, парков, прокладка дорог и подземных коммуникаций должна проводиться одновременно со строительством жилья или даже опережать его». Написано это в 1961 году. Но необходимой одновременности жилищной застройки и полной организации новых кварталов до сих пор не хватает Медведкову. И не только Медведкову. Одинаковые вести идут из Химок, Филей, Бескудни-

кова. Отдел писем «Вечерней Москвы» завален вопросами новоселов всех московских новостроек: когда будет построен новый магазин, когда включат телефоны, когда прибавится автобусный маршрут?

Проектировщики-архитекторы тут уже ни при чем. Их проект осуществляют строители. Они выполняют план прежде всего по жилой площади, по ее квадратным метрам. Растут дома, а дорожники не поспевают за строителями (старожилы Медведкова предупреждают новичков: запасайтесь резиновыми сапогами). Строительство магазинов и торговых центров задерживается еще больше. Поэтому жизнь продиктовала решение, не предусмотренное проектировщиками. Вон торец дома вместо мозаики украшен синей надписью «Бакалея», или «Овощи», или «Хлеб». Значит, в одной из квартир нижнего этажа ванна заперта на замок, в стенных шкафах хранятся продукты, покупатели толкаются в малогабаритном коридорчике, а продавщица, минуя кассы, чеки и прочие новейшие изобретения, щелкает на счетах, выбрасывает сдачу из жестяной коробки, отвешивая макароны и соленые огурцы. А на дверях комбината бытового обслуживания иногда вывешиваются объявления: «Приемный пункт белья закрыт ввиду перегрузки прачечной». А где же молочные пункты и просто молочные, где быстро и всегда можно запастись важнейшим продуктом питания? А телефоны, остающиеся проблемой и после вступления в строй новой АТС? А транспорт? А...

Повторяем, это не только медведковские проблемы. Новоселы везут бутылки с молоком с улицы Горького в Мазилово, батоны со Сретенки на улицу Лобачевского, собирают двухкопеечные монеты на автоматы, нрав которых коварен и разнообразен (одни заглатывают монету сразу, другие вдруг щелкают, прерывая телефонный разговор, третьи молчат вообще). И происходит это вовсе не потому, что Москве не хватает молока или хлеба. Просто многим легче прихватить продукты с места работы, чем идти за ними, вернувшись домой. А главное, на домашнее обслуживание нельзя надеяться. Сегодня продавщица зазывает в свою молочную палатку, а завтра к той же палатке потянется очередь, извивающаяся, как анаконда. Сегодня булочная переполнена мягкими батонами, завтра в ней распродадут лежалые, черствые буханки.

Многие недостатки и неполадки происходят из-за ведомственной розни и разобщенности. Разные организации ведают разными видами строительства и благоустройства. Разные организации ведают жильем, транспортом, связью, магазинами. Каждая осваивает отпущенные ей средства. Каждая отвечает за себя, имеет свой план. И каждая организация старательно определяет свои границы, отбрасывая сложные вопросы, могущие быть решенными только на стыке этих границ.

Скажем, дорожники прокладывают прямую трассу от Медведкова к станции Лосиноостровской. Транспортники пускают по ней два автобусных маршрута, чтобы люди пользовались и железной дорогой для проезда в центральную Москву. Пассажиры в часы «пик» штурмуют дальние электрички. Местные электрички пусты, потому что отправляются они от другой платформы, куда нужно долго идти по высокому мосту или перебежать пути, иногда нарываясь на штрафы и всегда пренебрегая разумными правилами безопасности. А когда набегавшиеся и напрыгавшиеся медведковцы едут мимо платформы Маленковской, они с завистью смотрят на ее удобные подземные переходы, хотя пассажиров там ничтожно мало сравнительно с бурлящей Лосинкой.

У Ярославского вокзала большинство приезжих сразу спускается в метро.

Продолжение рижской линии метрополитена вдоль «северного луча» столицы — насущный вопрос и для строителей и для новоселов. Но спроектировать и построить здесь метро совсем не просто. Годы еще

пройдут для «северян» без этого удобнейшего вида транспорта. А ведь известен опыт других стран, где линии метрополитена, выходя из-под земли, тянутся параллельно железнодорожным путям, поезда останавливаются возле железнодорожных платформ. Может быть, этот проект оказался технически неосуществимым или слишком дорогим? А может, главная его трудность — междуведомственные отношения железнодорожников и метрополитеновцев?

На линии метро «Ждановская» это сделано. А с нами как же?

Разные управления руководят строительством жилых домов и оформлением тех зеленых пространств, которые щедро расстилаются под нашими окнами. Там посажены молодые деревья. Там проложены асфальтовые тропинки, среди деревьев стоит на каждом участке деревянная горка с яркими перилами, песочница, жестяной гриб-мухомор на деревянном столбе, несколько скамеек. В последнее время стали появляться и большие беседки — дощатые зеленые восьмиугольники, украшенные переплетом разноцветных драпок. Беседки эти явно утверждаются ведомством, вкусы (а может быть, и возможности) которого совпадают со вкусами очень глухой провинции прошлого века. Беседки заполнили не только Медведково — на Ленинском проспекте, возле Фрунзенской набережной пристроились такие же — зеленые, с драпками.

Правда, все чаще и чаще сами жильцы строят возле дома разукрашенную песочницу или качели. К углу проездов Шокальского и Дежнева тянется паломничество: там, на высоких кольях, поддерживающих маленькие деревья, обитатель соседнего дома укрепил несколько скворечников с балкончиками и мезонинами. На одном, двухэтажном, крутится флюгер. И задерживаются люди на скрещении двух современных улиц, умиленно разглядывая птичьи дома. Человеческий глаз, утомленный панельным однообразием, жадно ищет неповторимого. А неповторимого у нас пока очень мало. И в данном случае слово «пока», которому можно придать значение спокойно-оптимистическое, становится словом опасным.

Хорошо, конечно, что рядом с беседками и горками не стоят у нас гипсовые пионеры, окрашенные тускло-серебряной краской. Но, отметив подобную скульптуру, ее не заменили ничем другим. Разумеется, в будущих парках и на стадионах Медведкова будут работать художники. Но почему же нашим раздольным участкам-скверам, нашим фруктовым садам, заложенным возле школ, не положено ни фонтанов, ни настоящей скульптуры?

В Копенгагене в отдаленном от центра рабочем районе есть небольшая площадь, огороженная балюстрадой. На балюстраде сидят болельщики всех возрастов, наблюдая за сражением футбольных команд на площади. Среди зрителей, на равных правах с ними, расположились каменные люди — мускулистые, усталые рабочие с детьми, которые сидят у них на коленях, взбираются на плечи. Площадь эта — создание знаменитого скульптора Кая Нильсена — срослась с рабочим районом, определена им и определяет его. Подростки фамильярничают со статуями — надевают на головы кепки, набрасывают на плечи пиджаки. Но не отбивают у них носов и не оставляют надписей о том, что здесь бывали Петя и Маня. Наверное, прежде всего потому, что в этих статуях нет помпезности и величия.

Почему же мы лишь читаем о художниках, определяющих район или целый город, о скульпторах, создающих целые ансамбли для селений и парков? Почему не используем великолепный опыт республик Прибалтики, где в камне, в бронзе воплощены народные легенды?

Почему не вспомним Тбилиси — клочок земли возле дома, плачущая ива, маленький водоем, возле которого сошлись грубые, дикие камни? Или слишком дорого обойдутся водоемы и статуи? Но разве так уж дорого озеленение районов — плющ, разросшийся по стенам, простые цветочные вазы? Разве нельзя использовать опыт Франции, где возле домов-новостроек строители часто сооружают целые лабиринты, прихотливые стенки, удобные для игр и прятков ребят, оплетенные зеленью? Стоит это гроши, вернее ничего не стоит, так как стенки сооружаются из отходов строительства, поставить их — все равно что убрать мусор. А так называемая «игровая скульптура» для детей — затейливые качалки, деревянные звери, на которых можно лазить? А малая архитектура, значение которой в городе не меньше, чем значение большой архитектуры, — ларьки, павильоны, тележки для торговли, садовые скамейки, — где она, эта малая архитектура, и зачем нужно сначала построить дощатый лагерь типа «Голубой Дунай», чтобы потом его с усилием разрушить ради более модного павильончика?

Большая архитектура, малая архитектура, работа скульптора для парка, работа художника-монументалиста — единое, неразъединимое целое. Синтез их должен состояться еще в проекте, формы его нужно искать до начала строительства. И всего этого хотят — архитекторы, художники, теоретики, не говоря уже о самих новоселах. «Необходимо узаконить совместную работу художника и архитектора с самого начала проектирования до завершения строительства. Пусть фантазия художника и фантазия архитектора рождаются вместе! Только тогда возникнет синтез. А не тогда, когда художник приходит на готовое место и в короткий срок пытается что-то сделать... Страна располагает квалифицированными кадрами художников-монументалистов. Между тем эти кадры из-за отсутствия государственного планирования художественно-монументальных работ не используются» — нельзя не разделить эту тревогу скульптора Е. Ф. Белашовой.

Нам бы сюда, в молодой район столицы, этих молодых монументалистов, скульпторов, резчиков! Основная тема для них готова, подсказана самим районом, названиями его улиц. Это Север. Его народы, его открыватели — подвижники, ученые, летчики. Может быть, формы изумительной нашей северной деревянной архитектуры будут использованы в росписях и мозаиках? Может быть, ватагинские белые медведи расположатся около водоема, где детвора будет пускать кораблики? Торговые точки в виде северных теремов не надо строить. А на детских площадках можно поставить деревянные ледоколы — пусть называются «Красиным» или «Малыгиным». Эстетика не возникает внезапно, ее нельзя насаждать кампанейски, откладывая на после: вот построим дома, магазины, а там возьмемся за украшения, ударим статуями по зеленым насаждениям! Эстетика не возникает отдельно от жизни и не может ждать очереди. А то, пожалуй, когда дойдет до нее очередь и будут спущены средства, то же ведомство, которое сегодня одаривает нас беседками, закупит по безналичному расчету партию гипсовых пионеров и «девушек с веслами», разместит их возле песочниц и будет довольно, что средства освоены, — поди доказывай тогда, что лучше бы эти деньги просто сжечь!

Ведь жилье наше так требует элементов нестандартных, индивидуальных именно потому, что само оно стандартно и не может, не должно быть иным, ибо только стандарт, поток, конвейер может дать миллионы метров жилой площади, необходимые москвичам, киевлянам, воронежцам...

Метры эти растут и растут. За медведковскими новостройками не видна уже щетинка леса на северо-западе. Громадным амфитеатром

тянутся дома вдоль поймы Яузы, вечерами светят там голубые фонари, напоминающие о набережной в Сочи.

Здесь, в совсем новых кварталах, пятиэтажье уже не так монолитно. Оно перестало быть последним словом строительства; более целесообразными признаны так называемые «дома повышенной этажности». «Бюллетень исполкома Моссовета» за 1965 год сообщает уже, что «восьмой квартал Медведкова будет застраиваться пяти-девяти-двенадцатиэтажными домами». Так он сегодня и застраивается. И как выгодно отличается тем от первых кварталов! Всего четыре типа домов уже варьируются, оттеняют друг друга, контрастируют один с другим. К новым девятиэтажным — длинным, стройным, с цветными балконами-лоджиями — относится обызвующее древнее слово «архитектура».

Можно и о них пренебрежительно сказать: видели-перевидели. И в Москве, и в Бресте, и во Владивостоке строят уже такие же. А вон рядом — Покров Богородицы. Единственное. На единственно возможном месте поставленное сооружение. На века. Для потомства.

Конечно, так. Конечно, на века. Строили тогда истово, годами. Отбирали, просушивали камни, замешивали известь на яичных белках. И выстроили дом бога, куда ненадолго мог прийти человек, чтобы забыться, попросить милости. «Поддай, господи!» — молит хор и сегодня, и вторят ему покорные голоса богомолок.

Поодаль растут не по дням, а по часам дома человеческие. Словно улы с сотами-квартирами — одинаковые, поспешные. Но сама многочисленность становится новым качеством, рождает новый ритм. Типовое однообразие корректируется природой, светом, пространством, солнцем. Издали ослепительно белые стены дальних домов похожи на какие-то древние города, увиденные усталым путником. Густые тени, то серые, то синие, падают на эту белизну. Над белыми кубами и параллелепипедами небо чисто и высоко, не опутано сетью проводов; в небо у нас смотрят, как в деревне, прикрыв глаза ладонью. Гадают: быть завтра ведру или ветру, морозу или оттепели. Это здесь очень важно: гораздо важнее, чем в пределах Садового кольца. Северные ветры летят к нам. Ливни намывают на асфальт свежую глину, жаворонки голосят в молодой траве — кажется, что поет сама трава. Клубятся туманы над Яузой, месяц в морозном кольце встает над снежным полем. И люди бегут, бегут с автобуса, притоптывая резиновыми или меховыми сапогами — смотря по сезону. Гулко хлопают двери. После дальнего рабочего дня расходятся медведковцы по своим отдельным квартирам.

3

Квартиры эти, конечно, тоже типовые, одинаковые в одинаковых домах. Если ты живешь в однокомнатной или трехкомнатной, можешь быть уверен, что над тобой и под тобой — точно такие, с крытыми ярким пластиком полами, с ванной, с душем-шлангом, со встроенными шкафами. А если у тебя нет шкафов, то утешением может служить то, что у других обитателей таких же квартир их тоже нет. Сэкономлен каждый рубль и каждый метр. Никакой роскоши. Но расселение — две семьи в квартире — такое обычное, даже благодетельное лет двадцать тому назад (вы подумайте — только одни соседи!) — уже исключение. Как правило, семья въезжает в квартиру. Ах, далеко еще не по формуле «n+1»! Но в отдельную. Сжимая ордера, позванивая ключами, катят новоселы к своим красным подъездам в мебельных фургонах.

Долгие дни заселяемый дом наполнен визгом дрели и стуком: переставляют мебель, пытаются вбить гвозди, перекрашивают, выправляют — словом, доводят. Через недельку справляют новоселье. У кого —

осетрина, у кого — студень, винегрет, селедочка. Поют много, как всегда на новосельях. Аспирантскую «Бригантину», студенческие вздохи о стране Дельфинии у нас услышишь редко. Поют все больше старое — «Коробушку», «До свиданья, мама, не горюй...», к полуночи стройно заводят: «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя».

Новоселье обычно справляется с субботы на воскресенье. Праздничным утром детей гуртом отправляют на первый сеанс в «Полярный», снабжая их деньгами на мороженое. Взрослые же в добротных габардиновых пальто и велюровых шляпах, в «болоньях» и чешских туфлях чинно прохаживаются среди домов. Старая гармонь, с которой отчаянно гуляла прежняя московская окраина, заменена транзисторами. Иногда выскочит вперед молодка в «болонье», заведет высоким голосом страдание и умолкнет — не идет страдание под транзистор...

После разъезда гостей хозяева моют горы посуды в удобной раковине, поглядывая в окно на новые фургоны, из которых выгружают кресла-кровати и диваны-кровати.

Новоселы обычно стараются избавиться от старья. От облика Медведкова неотъемлемы ежевечерние костры, вокруг которых язычески пляшут мальчишки, подкидывая облезлые стулья в огонь. И все же редко переезжают сюда люди, у которых все обновлено, как редки те, у кого совсем нет новых вещей. Покупают чаще разнокалиберное — то, что удобно, что занимает мало места: кухонный буфетик, стулья, дежурное кресло-кровать.

Конечно, на строительной выставке или в журналах можно получить квалифицированную консультацию и наглядно убедиться, как лучше обставить квартиру выпавшего тебе типа. Но не часто квартиры обставляются по этим рекомендациям: однотонный ковер на полу, невысокие книжные шкафы, журнальный столик с яркими обложками, с керамическим жирафом на нем. В жизни комнаты выглядят иначе. Только абажуры у всех новые — голубые, молочные, розовые зонтики и полусферы; люстры с хрустальными подвесками и оранжевые шелковые сооружения доживают век лишь у особо стойких консерваторов. И дело даже не в том, что абажуры легко купить, а в том, что они подвешиваются к потолку, не занимая той полезной площади, которая является основной мечтой и основной проблемой новоселов. Получается эта площадь неторопливо, волнуяще, получается чаще всего надолго. Растут и делятся семьи, умирают старики, рождаются двойни, но квартиры остаются неизменными. Поэтому реальные люди, поступившись журнальным столиком и негабаритными книжными шкафами, живут бесстыдно, примиряя новые польские столы и старые бабушкины комоды. Кроме того, рекомендации «дизайнеров» — знатоков и мастеров современного интерьера, грешат часто тем же, чем архитектура панельных домов. Их рекомендации разумны, рациональны, но слишком общи, внеиндивидуальны. Они советуют вам оживить плоскость стены ярким пятном, советуют повесить «Подсолнухи» Ван-Гога. А вы хотите повесить дедушкин портрет — так себе портрет, но ведь дедушкин. Вам советуют не накрывать стол — полированное дерево в моде! — но почему-то вечерами уютнее собраться за столом, покрытым старомодной вязаной скатертью. Человеку и в своей ячейке-квартире нужна не только мода, не только даже удобство — ему необходимы вещи, на взгляд постороннего, вовсе не нужные. Наши пенаты и домовые, притворившиеся старыми игрушками, живут в самодельных книжных полках, в шкатулках, оклеенных крымскими раковинами. Потому-то и квартиры внутри настолько разнообразны, что совершенно одинаковые, с одинаковыми зелененькими обоями, кажутся по-разному распланированными.

У одних в прихожей просторно-светло, у других те же прихожие темны и заставлены. А сами комнаты! Светло-просторные, пустоватые. Загроможденные круглыми и овальными столами, фарфоровыми статуэтками, хрустальными вазами. Набитые книгами. Столярные и слесарные мастерские с верстаками, с наборами инструментов. Мастерские портновские, пропитанные запахом тканей и горячего утюга. Оранжереи, уставленные горшками и вазонами. Горницы с половичками, с горкой розовых подушек на кровати, с деревянной рамой на стене, из которой смотрят фотографии сыновей, сватов, невесток, золовок. Комнаты, наполненные детским криком, пахнущие теплым молоком. Квартыры, в которых остались одиночки, проводившие своих на ближайшее кладбище.

Однотипные интервью: жили в старом доме, получили новую квартиру, счастливы — совершенно справедливы в своих общих чертах. В частности отношении индивидуальностей к новым квартирам не однообразно, как квартиры, но разнообразно, как индивидуальности.

Медведковские квартиры особенно дороги тем, кто переехал из живописных, но неустроенных деревянных домов Востокина, Сокольников, Бабушкина. Тем, кто обитал в коммунальных жилищах. Они радуются отделенности от соседей, кафелю в ванной, повороту крана, включающему горячую воду. Очень быстро приживаются здесь и те, кто работает по месту жительства. Вон бежит к соседнему подъезду наш участковый детский врач (женщина, конечно), помахивая белой сумкой, разрисованной осьминогами. Через час за нею приходит медсестра, делать уколы больному. Сестра и врач живут рядом со своей светлой поликлиникой, принимают в ее кабинетах, кончив прием, идут на ближний участок. Через два дома от работы живет мастер телеателье, рядом с комбинатом бытового обслуживания — приемщица белья, которая без ворчания помогает своим клиентам-соседям освоить сложную систему заполнения бланков. Удобно здесь жить работающим на близкой ВДНХ, на предприятиях Бабушкина, на местном кирпичном заводе.

Всем другим приходится гораздо труднее. Трудности эти различны. Есть чисто психологические.

Вот встречаются две старушки на улице и сразу начинают плакать, вытирая глаза детскими носовыми платками с изображением кошечек и белочек. Долго стоят они, вспоминая свою Собачью площадку, где жили без ванн, без парового отопления, с десятком сварливых соседей. Здесь много таких пенсионерок из переулков, раздавленных Новым Арбатом. Соседям по квартире (отдельные квартиры старушки получают редко, чаще их расселяют по одной в комнате) они надоедают педантичной чистоплотностью и требованием абсолютной тишины, которой при здешней акустике достигнуть трудно. Над ними посмеиваются: чего им еще надо? Вода горячая есть, свежий воздух есть — гуляй, живи! А они все вспоминают свой Кривоколенный или Кривоарбатский, откуда ушел на фронт и не вернулся сын, где на углу удобная молочная, где у ворот можно было встретить народного артиста в пестром шарфе и поздороваться с ним.

А вот утром спешит по асфальтовой дорожке молодая пара. Вместе едут в университет, вместе стараются вернуться. Он — аспирант биофака, она кончает тот же факультет. Поженились в прошлом году, приданое подоспело царское — однокомнатная квартира в Медведкове. Вскоре стали ждать ребенка. Хорошо, у нее мама в Касимове — бросила Касимов, приехала. Живет мама, конечно, непрописанная, спит на раскладушке в кухне. Молодые с утра — в университет, а мама с коляской тянется по магазину, в консультацию. Она уже попрекнула Юру: у меня, говорит, нет своего угла. А Юра что-то про тещ вообще сказал,

вроде анекдота. Потом, конечно, помирились. Мама говорит: «Вот к лету маленький подрастет, я его в Касимов возьму, вы тогда отдышитесь...»

Придет время, когда биологи будут с улыбкой вспоминать неустроенную свою молодость. Но сейчас им не просто трудно, а очень трудно. Они столкнулись сразу со всеми тяготами жилищной проблемы. На двоих они получили положенное количество квадратных метров. А для того, чтобы переселить увеличившуюся семью в большую квартиру, чтобы дать Юре возможность спокойно мудрить над своей диссертацией, нет пока возможности, нет резервов площади и долго еще не будет. Вот если бы ребенок родился до переезда, ему положены были бы свои метры. А уж после — ваше личное дело, завести потомство или воздержаться. В обязанности жилотдела и райисполкома вовсе не входит наблюдение за прибавлением семейства, учет профессиональных интересов новосела, состав семьи. Метраж и количество людей к моменту получения ордера — вот и все данные, согласно которым утверждается этот долгожданный ордер. Получив его, новосел может встать на учет в бюро обмена и пытаться переехать туда, где ему удобнее жить. Может путем чтения объявлений и опроса соседей найти работу поближе. Может, правда, и не найти, но может подвернуться и неправдоподобно счастливый случай. Молодой физик, тремя видами транспорта добирающийся до своей работы, вдруг увидел объявление: «НИИ приглашает на работу физиков-теоретиков и физиков-экспериментаторов (исследование обдуваемой электрической дуги высокого давления, газотермодинамические процессы, спектроскопия и диагностика плазмы, тепловизионная съемка явлений), инженеров по высоковольтной технике, техников и лаборантов...» Дальше шел адрес. У нас за речкой Чермянкой видны мощные и легкие стальные фермы, поддерживающие тревожно гудящие провода. Медведковцы гуляют вокруг ограды, собирают цветы, с чьих-то слов называют фермы и провода «электрической подстанцией» и ведут не ведают, что это, может быть, то самое, о чем грезят их дети, увлеченные электротехникой и мечтающие уехать из Медведкова, где вроде бы нужны только жэковские монтеры.

А если бы комиссия райисполкома, утверждая ордера на квартиры, не только прикидывала: «Четверо — двухкомнатная, тридцать один и четыре десятых, пятеро — трехкомнатная, сорок пять», но учитывала бы и возраст, и профессию, и возможность использования человека внутри района, и возможность дальнейшего учения школьников здесь же, в Медведкове! Если бы каждый новосел одновременно с ордером получал план своего района с обозначениями готовых, строящихся, проектируемых объектов, с разъяснением: здесь есть такие-то заводы, предприятия, здесь встанут такие-то и при них будут вечерние институты и техникумы такого-то профиля. Конечно, врач может перейти в ближайшую поликлинику; легко определит свое место учитель, слесарь, тем более строитель. Но если врачу для специализации, для его дела, которое в конце концов наше общее дело, нужна клиника на Пироговской, нельзя ли поселить его ближе к Пироговской? И зачем предлагать квартиру в Медведкове актеру центрального театра, человеку «двух вызовов» в день на работу, который заведомо не может жить здесь и работать в своем театре? Правда, по слухам, в Медведково вышла замуж одна отчаянная балерина, но, вероятно, она уже осаждает бюро обмена и местком своего театра с просьбой о помощи в обмене квартиры.

Почему подчас работнику Химкинского речного вокзала дают квартиру у нас, а лосиноостровскому железнодорожнику — в Химках?

Учитывать профиль района и профессии его новоселов, возможность и невозможность их занятости внутри самого района не только нужно —

необходимо. Прежде всего для самого района и его людей. Это непереносимое, важнейшее дело будущего. Но будущее рождается из настоящего, и для медведковского массива началось оно с первым домом, здесь выстроенным.

Здесь, вне зоны жилья, за лентою деревьев, запланировано строительство предприятий, фабрик, заводов. Через несколько лет они составят производственный ансамбль, привлекут рабочую силу. Тогда обитатели Печорской и Полярной улиц смогут прогуливаться до работы. Пока же они большею частью на работу ездят. Едут до нее час, а то и с большим лишком.

Район на колесах — явление, одинаково неудобное для района и для колес. А десятки тысяч медведковцев, вышедших из отроческого возраста и не достигших возраста пенсионного, живут на колесах.

Вечерами у нас рано гасят свет — к полуночи окна темны. А около шести утра окна сияют, начинается толкотня на остановках автобусно-трамвайных. Потом местная горячка кончается, и на медведковские улицы, вернее — в проходы между домами, выходят работники местной зоны. Учителя спешат в школы, продавцы — в булочные, почтальоны опустошают свои сумки возле общих почтовых ящиков — благословенного изобретения последних лет. Шуршат метлами дворники, хотя это понятие диалектически изменилось. Бородатого ражего мужчину заменяет чаще всего молодая женщина, в модном платочке, проворно орудующая метлой или лопатой. Около нее нередко ребенок. Мал, в детсад не берут, а время бежит — чего ему пропадать? Я сейчас за ним пригляжу, и стаж все-таки, и зарплата. Вот отдам в сад, в вечернюю пойду, в девятый...

Это не исключение, это правило жизни и времени. Как продавщица, достающая тетради с конспектами, когда отхлынут покупатели. Как няни-санитарки из детсада, что во время тихого часа сидят над учебниками анатомии — они учатся в медицинских училищах и техникумах.

Женщины идут санитарками в ближайшие детские сады, гардеробщицами в школы, кассиршами в магазины. Никак не хотят они, а часто и не могут оставаться только домашними хозяйками, только стирать, только вытирать пыль да гордиться пышными пирогами.

Наши социологи, усиленно занимающиеся сейчас анализом статистических данных, предлагают уточнить, сколько женщин работает по необходимости, для зарплаты, а сколько по потребности, потому что работа интересует их не только как источник денег. Только крайности эти не так уж часты и чисты. Предложите-ка молоденькой учительнице или дворничихе, продавщице или крановщице уйти с работы на жизнь обеспеченную, несравненно более спокойную. Редкая уйдет. Женщины любят свою работу и — будьте спокойны! — отлично понимают важность экономической независимости, лежащей в основе реального равенства с мужчиной. Кто глава семьи, если муж и жена работают, кому и почему женщина должна давать отчет об истраченных на хозяйство деньгах? Равноправие в такой семье возникает естественно. Вон его приметывы — молодые отцы, что покачивают коляски, ведут своих отпрысков в детский сад или маются в очередях. Помощь в домашнем хозяйстве перестает считаться зазорной для представителей мужского пола (может быть, она даже станет модной — Польша, например, к тому идет). И все-таки помощь эта мала сравнительно с тяжестью, лежащей на женских плечах.

Осуществляя свое право на труд, наши учительницы, бухгалтерши, бетонщицы, студентки, кандидаты разных наук, отработав свое, мчатся в новую квартиру — стирать горячей-холодной водой, готовить обеды из

купленных по дороге полуфабрикатов, штопать, гладить, а главное — кормить, укачивать, пеленать, подмывать, прогуливать своих ребят.

Правда, в Медведкове решена громадная проблема детских садов. Они кольцом опоясывают район, открываются один за другим, и если заполнен один — ребенок пойдет вскоре во вновь открывшийся. Отдав туда двухлетнего, мать может продолжать учиться или работать. Но есть работы, связанные с командировками, с ночными дежурствами; бывает, что заболевший ребенок сидит дома — в его группе объявляют карантин и не берут его туда неделю-две, а то и три. Выручить тут может только многострадальная бабушка («У меня нет своего угла...»). Поэтому официальные доски справок и неофициальные столбы возле автобусных остановок пестрят объявлениями: «Требуется домработница» или «Срочно нужна няня». Эта общемосковская и, кажется, общемировая проблема приобретает у нас особенно тревожные очертания благодаря транспортным трудностям, затратам времени, которого так не хватает. Мечтая о доброй няне с милыми морщинками на лице, приходится выбирать между девушками, не прошедшими по конкурсу в техникумы, которые стыдятся самого слова «домработница» и просят выдавать их за приехавших родственниц, и тем типом, который можно назвать «райкинским» и не описывать, потому что все знают, как Аркадий Райкин изображает энергичную старуху, пришедшую наниматься к замученным родителям.

Но все же, хотя древнейшая профессия домашней работницы отмирает, положение в этой области может быть не таким анархичным и хаотичным, не зависеть от случайной рекомендации. Беда в том, что они именно случайны. Районный группком домработниц исправно собирает взносы, но ни в коей мере не озабочен тем, чтобы из собирательного учреждения стать распределительным. Сотрудники группкома наклеивают марки в книжки и ведут карточки. Ушла домработница — карточку изымают. Куда она ушла, никого не волнует. А ведь группкомы эти могли бы стать центром интереснейшей статистики. Сколько женщин вообще работает в области домашнего хозяйства? Каков их возраст? Каков тут спрос и каково предложение? И могли бы, переняв опыт Киева, стать организационным и даже идеологическим центром. Есть, говорят, в Киеве такое бюро. Можно обратиться туда, перечислить виды нужных услуг, внести деньги — почасовую оплату, — и будет ежедневно приходиться в твою квартиру девушка или бодрая пенсионерка, которая чувствует себя не «домработницей», но равноправным работником, получающим зарплату от государства.

Может быть, в Медведкове могли бы первыми в Москве наладить такой опыт? В своем районе, так резко отграниченном сейчас от других районов. Выделить помещение — в том же комбинате бытового обслуживания. Организовать картотеку. Подобрать дельных сотрудников, дать им право поощрять лучших и увольнять нерадивых. Киев близко, можно там проконсультироваться. А сколько времени это освободило бы и женщинам, работающим на производстве, и женщинам, ведущим домашнее хозяйство в чужом доме? Они ведь тоже ищут работу, получают неравномерную плату, иногда далеко ездят и, главное, чувствуют себя не работниками, а так — прислужгой, зависящей от милости хозяев. Прислужги у нас давно нет, и не надо ее. А полноправие домашней хозяйки, домашнего, тяжелейшего ее труда, нужно осуществлять на практике, не на словах. Нужно, чтобы труд этот был равноправен с другими видами труда и одновременно чтобы покупки, готовка, уборка занимали минимум времени, максимум его возвращая человеку. Время, затрачиваемое на все это сегодня, слишком еще велико.

Работающие далеко от дома обычно обедают в столовой. Но все

же столовые, кафе, кулинарные магазины не заняли в нашей жизни того места, которое должны бы занять. Дело и в том, что столовых и кафе недостаточно.

Вот еще одна проблема повседневности, организации времени. И какая проблема! Статистики подсчитали, что москвич в среднем проводит в транспорте несколько лет жизни. Но сколько времени проводит тот же москвич, а еще больше москвичка в стояниях в кассу, к продавцу, в палатку, за талонами в поликлинику, кажется, еще никто не считал. А надо бы, это касается каждого.

Ведь если, последовав за Вагнером, снабдить постоянные, главные наши дела постоянными музыкальными темами, лейтмотивами, то рядом с радостной темой новоселья, прекрасной темой ребенка, тревожной темой повышенного давления будут возникать то и дело монотонные темы стирки, уборки, мытья посуды. И доминировать среди них будет мощная тема очереди. Она может быть радостной, когда покупается что-то дефицитное, мрачной, когда дефицит кончается перед тобой. Она может исчезнуть совершенно и возникнуть внезапно в булочной, в магазине «Овощи—фрукты», в промтоварном, где дают, отпускают, выбивают — много синонимов рождено для обозначения волнующего процесса — яркие детские ботинки или ажурные чулки. Безвозвратно съедая полезное время, очередь в то же время обманом создает иллюзию плодотворно проведенного времени — какое счастливое выражение лица бывает у женщины, купившей хорошую курицу или необходимые здесь резиновые сапожки, как подробно будет она рассказывать, сколько привезли, да какая была очередь, да как стоящим сзади не досталось ничего...

Страна переходит на систему «пять плюс два» — пять рабочих дней, два выходных в неделю. Но освобождается это время от кухни или для кухни — тоже важный вопрос. Если будет плохо организовано снабжение, половина выходного может пропасть в очереди за картошкой. Если прачечная закроется ввиду перегрузки, на «плюс два» придется большая стирка, а за ней — сушка и глажение белья.

Можно отмахнуться от этого: подумаешь, проблема — обед приготовить! Но в труднейшем, военном 1919 году, когда и готовить-то было толком не из чего, Ленин считал ее одной из важнейших проблем новой жизни, неоднократно обращался к ней, подчеркивая ее первоочередность и всеобщность. В «Великом почине», в речи «О задачах женского рабочего движения» Ленин указывал, что законодательно проблема женского равноправия решена в новой России идеально. Но тут же он разъяснял, акцентировал: «Женщина продолжает оставаться *домашней рабыней*, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, душит, отупляет, принижает *мелкое домашнее* хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд работою до дикости непроизводительною, мелочною, изнервливающею, отупляющею, забивающею. Настоящее *освобождение женщины*, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая влаждующим государственною властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, *массовая перестройка* его в крупное социалистическое хозяйство... Общественные столовые, ясли, детские сады — вот образчики этих ростков, вот те простые, будничные, ничего пышного, велеречивого, торжественного не предполагающие средства, которые *на деле* способны *освободить женщину*, на деле способны уменьшить и уничтожить ее неравенство с мужчиною, по ее роли в общественном производстве и в общественной жизни».

Громадно количество сделанного после 1919 года в движении к нашему, 1967 году. Первые ясли, первые детские сады, первые столовые,

первые горячие завтраки в школах, первые общественные прачечные выросли в сотни тысяч детских садов, комбинатов, лагерей, в дома ребенка, в санатории — приморские, лесные, горные. И это не благотворительность, не островки в море нужды, но дело повседневно-привычное, реально освобождающее женщин, возвращающее им время.

Тем обиднее тратить это с трудом для всех завоеванное время на мелочи, неустройства, на преодоление неорганизованности, инертности. А на что пойдет освобождающееся время, будет оно использовано или истрачено — это тоже важнейший вопрос будущего. В жизни нашей, частной и общественной, много еще недоделок и недодумок. И все же не надо сваливать все на чужие недоделки и ждать их исправления чужими руками, жалуясь, что нам что-то не достроили и чем-то нас не охватили. Ведь при всех житейских трудностях тот, кто очень хочет учиться, — учится, кто не может жить без книг — достает их, не дожидаясь близкой библиотеки, кто хочет заниматься спортом — занимается им. Можно жизнь провести неторопливо, отработывая свое, отдыхая у телевизора, поругивая неполадки жизни. Потом удивиться — годы уж прошли, сосед институт заочно окончил, два языка выучил, а ты так и просидел эти годы у телевизора за футбольными матчами и старыми кинофильмами.

Мы сами по-разному относимся к своему времени, не всегда понимая невозвратимость его. А еще больше отбирают, убивают его у нас вот эти очереди, ожидания, мелкие и крупные неблагоустройства. Уважать время, свое и чужое, — важнейшая заповедь и для людей и для учреждений, где работают те же люди. Использовать наше время, а не тратить его должны мы сами. Использовать для себя, для других. Больше всего, пожалуй, для наших детей.

4

Детей в Медведкове очень любят, о них очень заботятся — впрочем, как и везде. Для них построены детские комбинаты, сверкающие стеклом и кафелем, и типовые пятиэтажные школы. Для них работает армия учителей, врачей, воспитательниц. Для них родители стоят в очередях за бананами и за колготками. Вошедшему с ребенком в полный автобус сразу уступят место; водитель автобуса не захлопнет дверцу, если увидит бегущую женщину с маленьким на руках. Идет по тротуару годовалый — шатается, идет рядом пьяный парень — тоже шатается, но осторожно обходит годовалого. Обойдут взрослые и классы, нарисованные на асфальте, сунут конфетку, утрут нос. Дома включают для сына телевизор — пусть смотрит клуб кинопутешествий или фильм, который до шестнадцати не рекомендуется. Все ребятам, все для них — пусть учатся, пусть живут легче, чем поколения, войну пережившие, в войну родившиеся.

С утра они тянутся в школу: за полчаса идут девочки, за минуту мчатся мальчишки, норовя двинуть друг друга портфелями. Затем улица переходит в распоряжение дошколят. Маленькие спят, агукают в колясках. Девочки постарше пеленают кукол, а мальчишки бегают с пластмассовыми желто-красными автоматами, хоккейными клюшками.

В просторной комнате детсадовской группы они благонаравно играют в лошадок, в поезд, но все время норовят на лошадках изобразить партизан, а поезд превратить в бронепоезд, отбивающий атаки фашистов. В часы рисования мальчишки рисуют, что велят: желтое солнце. людей выше домов. Но разреши им только «свободную тему», и девочка

нарисует маму или гуся, а сверстник ее — объятый пламенем самолет с огромными фашистскими знаками на крыльях. Воспитательница это порицает. В тетрадке снова рисуются домики. Но дома и на улице продолжают военные игры, ребята делятся мечтами о «духовке» — духовом ружье или даже о «мелкашке» — мелкокалиберном. Причем в играх никто не хочет быть фашистом, как прежние поколения не хотели быть белыми. Только красными. Только советскими солдатами, побеждающими и освобождающими. Кажется, как девочки во все века будут пеленать своих растрепанных кукол, так мальчики будут играть в ослепительную, громкую, непременно справедливую войну, где будут всегда бить фашистов и спасать хнычущих девчонок с их куклами.

Искоренить это невозможно, игра в войну превратилась почти в инстинкт, она проверена поколениями и наследуется поколениями. А направлять ее нужно обязательно. К тому, что мужчина, будь он в дальнейшем пожарником или историком, будет охранять женщин и детей, свою семью, другие семьи, страну, мир. Не стоять в одном ряду с женщинами, но стоять впереди них. Уметь их защищать.

Одна молоденькая воспитательница из дальнего детсада не стала на улице запрещать военные игры. Шестилетний генерал ее группы командовал бойцами со всей решимостью полковника. Шагая по-военному, он нечаянно толкнул девочку. Та собралась плакать, а генерал, презрительно на нее взглянув, двинулся дальше. Воспитательница не стала на него кричать. Она просто сняла с груди генерала красную ленточку и вполне в тоне игры сказала: «За грубое отношение к женщине вы разжалованы». Генерал окаменел. Свите это понравилось, как всякой свите. Правда, через полчаса мальчик снова командовал сверстниками: он был сильной личностью, умеющей руководить. А к девочкам вроде бы стал относиться не презрительно, а покровительственно.

Но гораздо чаще младшие слышат наставления, чем видят действия-примеры и вовлекаются в эти действия. В детских садах с ними проводят тематические занятия. В школах они выводят палочки и буквы, забывают о звонке, слушая интересный рассказ учителя, чаще — ждут звонка, поглядывая в окно. Отсидев уроки школьные, приготовив уроки домашние, они устремляются к новому и увлекательному. Отдельные свои квартиры ребята принимают как должное и не испытывают радости взрослых от обладания ими. Устремлены они в будущее, часто в мечтах о нем третируя настоящее: подумаешь, двойка за диктант — я летчиком буду! Подумаешь, мать обругала за несделанные уроки — я вот уйду от нее, в морское училище поступлю! И если семья живет только буднично-ежедневными делами, если сына допекают там поучениями и наставлениями («Какая нынче молодежь пошла — ужас!»), то дома он будет готовить уроки, смотреть телевизор, обедать и спать. А жить, набираться ума и опыта будет вне дома. Потому что ребята воспитываются не отдельно детсад, школа, дом, улица, а все это вместе, все то, что называется жизненной средой. Для формирования этой среды в новых московских районах, в частности в Медведкове, есть возможности большие, реальные и не всегда используемые.

Когда школьники кончают занятия, медведковская тишина нарушается разбойничьими посвистами, мушкетерскими выкриками. Девочки крутят прыгалки возле подъездов. Мальчики начинают перебрасываться футбольным мячом, но их немедленно останавливает окрик: девочка поломае, окна побьете... Они топают по детской горке, расшатывая и без того некрепкие перила. Няньки и бабушки дружно кричат: «Хулиганы, разбойники, вот я милиционера позову!» Но ребята, отлично зная, что никакого милиционера поблизости нет, продолжают рушить

горки и грибки, давить песочные куличи, слепленные малолетками. «А помнишь киносъемочную?» — спрашивает один десятилетний друг. Тот кивает. Это они вспоминают, как зимой приезжала в Медведково киносъемочная машина. И почему-то все воскресенье стояла без надзора, и ребята свободно лазили по ней, заглядывали внутрь, обсуждали устройство. Появившийся шофер разогнал всех могучей бранью, оттрепал за ухо самого неудачливого и увел машину. Кажется, документалисты сняли тогда медведковские новостройки. В «Полярном» их фильма еще не показывали. О машине все забыли, кроме мальчишек. Потому что они по духу своему исследователи. Потому что хотят досконально знать устройство машины. Потому что с завистью читают они в газетах, что где-то поставили на таком же участке старый грузовик — полезай в кабину, крути руль, учись! — а еще где-то, чему и не верится, приземлили на сквере старый самолет. Мечтать об этом можно. В реальности этого у нас нет. Как нет спортивных площадок, как почти нет зимою катков на больших прекрасных пространствах возле школ.

Потому любимое место медведковских ребят — так называемое «поле», пойма Язуы, что отделяет Медведково от Бабушкина. Там по скудной травке прогуливаются разнокалиберные хозяева с породистыми, выхолощенными собаками (великое множество их завели в Медведкове). Мальчишкам там раздолье. Они пытаются удить рыбу и распространяют слухи, что кто-то что-то поймал. Стреляют из «духовок». Делятся «армянскими» и неармянскими анекдотами. Упоенно гоняют в футбол. Развлекаются, как могут, тратят силы, как умеют, и силы эти часто перекипают, не находя выхода. Или находя выход совсем не тот, о котором мечтают родители и педагоги. Кто кокнул электрическую лампочку в подъезде? Колька из восьмой квартиры. Кто сунул спичку в почтовый ящик из золотистых прессованных опилок? Мишка из сорок пятой, кажется. Ребята могут мимоходом сломать молодое деревцо, подбить из рогатки птицу. И могут бинтовать сломанную ногу той же птицей, сажать деревья на воскресниках. Куда направить их силу, их интересы, зависит больше всего от нас, взрослых, которые не словами, но делами сумеют собрать, увлечь ребят. Дела они любят и уважают. Сколачивать ли скамейки возле дома, собирать ли по квартирам бумажную макулатуру — на это они первые, в этом стараются занять первое место по школе и гордятся, когда действительно его занимают. Засядет машина в выбоине — налягут, выкатят. Помогут дворнику (дворничихе) вывесить флаги к празднику: гнезда для них высоко, стремянки в домовом хозяйстве не положено, и ребята лезут на плечи друг другу и водружают первомайские флаги возле красных подъездов.

Вечерами с поля, из кино, от фундамента, о назначении которого третий год спорят стройорганизации, тянутся мальчишки домой: «Ну, Алеха, до завтра!» — «Приветик!» — «Планер завтра принесешь?» — «Спрашиваешь!» «Салуд, камарадо!» — бросает один. «Буэнас ночес!» — бойко отвечает другой.

Значит, эти — из нашей испанской школы.

Медведковцы мечтают о метро, о бассейнах. И, конечно, мечтали о так называемой «спецшколе».

Сотрудники отделов народного образования не любят этого термина. Они терпеливо объясняют, что никаких спецшкол нет, а есть школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке — английском или французском. Но среди москвичей прижилась это короткое определение, и каждый родитель мечтает отдать своего первоклассника в ближайшую «спец», потому что чем дальше, тем больше необходимы чужие языки, которые так трудно постигаются в обычной школе, где с пятого

класса два раза в неделю в великовозрастные головы вдалбливается немецкая грамматика или адаптированные отрывки из Мольера.

Поэтому каждую весну возле каждой спецшколы возникают волнения, подобные волнениям возле МГУ. Принаряженные дети проходят непонятную и оттого еще более страшную комиссию, должностную выявлять склонность поступающего к изучению иностранных языков. Дети читают стихи, рассказывают о том, что изображено на картинках. Буки упорно молчат, бойкие детсадовцы с выражением читают: «В лесу родилась елочка». Правда, через несколько лет застенчивый мальчик может оказаться полиглотом, а бойкая девочка оказаться вовсе не такой уж одаренной. Но сейчас именно она зачисляется в «школу с изучением ряда предметов». В Москве открывается все больше таких школ, а может, скоро везде начнут своевременно и хорошо обучать языкам, упразднив таким образом детские и взрослые волнения?

Пока же новый район без своей спецшколы считается каким-то неполноценным. Естественно, что общественники-медведковцы хлопотали об открытии школы с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1965 году пошел слух, что ее откроют. В конце лета выяснилось, что ряд предметов будет преподаваться на испанском языке, на котором говорит больше ста пятидесяти миллионов человек. На котором говорят Куба и Мексика, Аргентина и Парагвай, Гватемала и Уругвай — восемнадцать государств Латинской Америки, не считая, конечно, самой Испании.

Школа еще не отделана, канцелярские столы стоят на улице, и девушки заносят фамилии учеников в списки, иногда уносимые ветром. Комиссии нет, заседать ей негде. Поэтому в первые классы записывают всех, пока есть места, а в другие классы — всех без троек. Впрочем, если попросить, берут и с тройками. Благожелательный директор дает объяснения на чистом русском. Мечтавшие об английском общественники тоже записывают своих возле уличных столов.

Первого сентября 1965 года школа все-таки открывается. Молодые учителя дают уроки. Самые молодые среди них — учителя испанского, выпускники, а то и старшекурсники Института иностранных языков. Учат всех по учебнику для второго класса, так как пока это единственный учебник. Ребята ведут диалоги по игрушечному телефону. На чистом кастильском звучит: «Добрый день!» — «Добрый день». — «Сегодня хорошая погода?» — «Да, сегодня хорошая погода». «Ай асе буэн тьемпо» («Сегодня хорошая погода»), — повторяют родители, вернувшись с работы, ибо старшее поколение тоже увлечено перспективой изучения испанского. Оно внимательно следит по газетам за событиями в Коста-Рике и покупает книжки о Боливаре и Сьенфуэгосе. Дедушка делает неслыханные успехи, вспоминая гимназический курс латыни. Бабушка увлечена биографией Лорки, в конце она плачет неудержимо, как плачут, прочитав письмо о смерти близкого человека. И может быть, потому, что школа эта так молода, что учителей ее не отличить от студентов-практикантов, в ней создана та атмосфера увлеченности, любви к делу, выдумки, которой не хватает подчас давно открытым школам, живущим несравненно легче. Ребята играют «Кота в сапогах» и «Теремок» в испанском варианте; девочки отплясывают, лихо щелкая погремушками за неимением кастаньет, мальчишки в сомбреро и развевающихся плащах идут процессией, поднимая флаги дальних стран: «Я — Куба», «Я — Никарагуа», «Я — Гватемала». Устраивают выставку марок. Выпускают школьный «Крокодил» (кокодрильо). Читают рассказы про мексиканских индейцев, про испанских республиканцев, про аргентинских мальчишек, что в десять лет работают на производстве и живут в няньках за неимением денег на школу. Переписыв-

ваются с кубинскими ребятами. Внимательно рассматривают журнал «Куба». Постепенно и неизбежно у них исчезнет экзотичность восприятия этой далекой жизни, Испания и Латинская Америка воочию оживут для них. Деревни, где живут крестьяне, именуемые Педро или Антонио, которые еще беднее, еще темнее, чем наш Антон Горемыка. Монастыри-крепости, латифундии, обнесенные колючей проволокой. Небоскребы и бидонвили Буэнос-Айреса. Молчаливые индейцы, приходящие с гор на городские базары, женщины в фетровых шляпах, похожих на котелки лондонских клерков. Белые, бронзовые, черные дети, которых матери кормят, укачивают, подмывают, шлепают, купают,— как везде, как всегда. Процессии с разукрашенными мадоннами и рабочие демонстрации. Расстрелы бастующих горняков. Единение бастующих горняков...

Ребятам нужно не только знание романского языка. Им нужно благородство и человечность живописи Веласкеса. Видения Гойи, замкнутые в стенах «дома глухого». Фрески Сикейроса и Диего Риверы, вынесенные на наружные стены домов, слитые с потоком жизни мексиканской улицы (и снова видишь одноцветные торцы медведковских улиц). Великий патриотизм кубинца Хосе Марти, филиппинца Хосе Рисаля. Пусть «Дон-Кихота» узнают ребята не в переводах, а в подлиннике. Пусть Лорка будет для них полновзвучным, родным, как Блок. Пусть читают они по-кастильски: «Я — Рафаэль Альберти, я — в Берлине, слышу топот нацистских банд по притихшим от страха улицам; и вижу в траурной, угарной ночи сверкание пламени рейхстага; и пою последний «Интернационал» с рабочими окровавленного Веддинга; и слышу, как под хлопьями московского снега поют красноармейцы, шагая к Мавзолею... Мир, мир, мир! Я — Рафаэль Альберти, вечный испанец, изгнанник, начинаю, как многие, терять счет своим годам. Я прошу мира, кричу: мира! Светлого мира для всех... Мир на море. Мир под водой. Мир в высоте небес, исчерченных космонавтами»...

Ученики нашей школы с «изучением ряда предметов» на испанском языке совсем не обязательно будут искусствоведами, пишущими диссертации о «Менинях», переводчиками или географами южных морей. Они пойдут в строительные и железнодорожные техникумы, в летные школы, в сельскохозяйственные институты. Может быть, в повседневности и не понадобится им раскатистый, быстрый язык школы. Но забыть его ребята не смогут. И не только его фразеологию и грамматику. Они забудут учебника для второго класса с изображением пионеров, плывущих к Кубе. Учительницу-«испанку» двадцати двух лет от роду. Гостей из Эквадора, из Мексики, прозябших на медведковских ветрах. Это войдет в жизнь, как входят лучшие воспоминания детства. Это должно определить жизнь. Расширить ее горизонты, соединить лесок возле кольцевой дороги с мангровыми зарослями. Светловскую «Гренадскую волость» с реальной Гренадой. Русскую революцию с революцией кубинской. Новые кварталы Медведкова с новыми кварталами Гаваны. С той Испанией астурийских горняков и барселонских рабочих, на языке которых переговариваются сейчас медведковские мальчишки, восклицая перед поединком: «Буэнос диас, сеньор!» Сжимая в левой руке картонный щит, в правой фанерный меч — вечный меч защитника правды, ламанчского идалго по имени Дон-Кихот.

Испанская эта школа, возникшая в самом северном районе Москвы, где морозы трещат особенно сильно и ветры дуют особенно пронзительно, где нет еще ни стоянки такси, ни библиотеки. удивительно слылась

с жизнью молодого района, выразила в чем-то очень существенном его будущее, его человеческий, нравственный облик. И в облике этом вырисовываются черты, важнейшие для общества, где человек человеку должен быть другом, товарищем и братом.

Многие ученые, социологи и статистики всей земли озабочены проблемой «некоммуникабельности» современного человека, который в своем доме отрешается от общения с миром, от связи с людьми. Комфорт может привести к одиночеству, эгоцентризму или к иллюзии познания мира, даваемой кино, радио, телевидением, быстролетным туризмом XX века. Не приведет ли к этому и микромир, который создают наши панельные соты? Сколько людей замкнулось там в своих однокомнатных и двухкомнатных? Ведь нужен, необходим человеку домашний уют, о котором у каждого свое представление, нужно уединение, нужна тишина. Вон сколько людей возятся под окнами, на своих зеленых участках, плотно отгороженных от соседских.

И в то же время большинство этих земледельцев охотно делится своими семенами, рассадой, советами. А сколько шлангов выставляется в окна весной, чтобы полить общие деревья! Сколько людей высыпает на воскресники: они вскапывают землю, таскают мусор в старом корыте за неимением носилок, жгут палые листья — стараются для своих детей, для чужих детей, для себя, для других.

Формы «великого почина» очень активны и естественны в новых районах. Комсомольцы местных предприятий, школьники, жильцы устраивают не только личный участок, но свой квартал, свою улицу, да еще соревнуются, кто лучше поработал да чьи посадки лучше принялись. В этом видится один из залогов изменения самого понятия улицы, того опасливо-отчужденного оттенка («связался с уличными мальчишками», «влияние улицы»), которое привыкли мы придавать этому понятию. Такими улицами — продолжениями домов, улицами, объединяющими людей, будут наши проспекты и проезды. Пока же люди среднего поколения тяготеют больше к своей ячейке-квартире с ее круговоротом повседневных дел. Но в ячейке этой они вовсе не хотят замыкаться. Жильцы отдельных квартир многое знают друг о друге. Правда, этому способствует отличная акустика панельных домов. От уличного шума нас заботливо оградил, но перед шумом соседних квартир мы бессильны: приходится до конца слушать любимые пластинки соседей слева, телепередачи сверху, ссоры справа. Надо сказать, что к шуму улицы привыкнуть куда легче. Звон трамваев и гул машин нейтральны; ссора за стеной или плач ребенка вызывают к вмешательству. Правда, реакцию это вызывает разную. Старушки снова славят свой арбатский особняк, где стены были метровой толщины. Есть и такие, что на лавочке у подъезда пересуживают без конца чужие дела, чужие беды. Но большинство идет к соседям. Не из злорадства — из желания помочь. Звонят, откройте дверь!

Женщину внезапно положили в больницу — соседка опекает детей и растерявшегося мужа. Слушали-слушали жильцы ссоры молодой четы, где муж стал выпивать, и уговорили его лечиться.

Предлогов для стычек и ссор в медведковских домах гораздо меньше, чем в старых, коммунальных квартирах. А возможности человеческих, сочувственных, действенных сцеплений увеличиваются. Оказывается, обитателям отдельных квартир, энтузиастам садовых микроучастков не меньше, чем уединение, нужно общество, нужно ощущение связи своей с людьми, которые подчас так раздражали прежде, когда соседство было вынужденным. И здесь снова может входить в силу та тяга к обществу, та естественная коммуникабельность, которая нужна человеку

так же естественно, как отъединенность. Проявляется она и в важнейшем и в том, что принято называть мелочами, забывая иногда, что мелочи эти — живые клетки сложнейшего общественного организма.

У нас соседи опускают друг другу в почтовые ящики новогодние и октябрьские поздравления. На Полярной, в Ясном проезде вы услышите, как часто, как вежливо здороваются друг с другом при встречах, — здороваются все с этой лестничной площадки, из этого подъезда, из этого дома. И ежедневно возникают стихийные житейские кооперации. Одна гуляет со своим и соседкиным мальчиком, завтра соседка погуляет с ее мальчиком. Бутылочки с кефиром и молочными смесями для грудных забирают по очереди, на несколько квартир. Отводят группами ребят в детский сад, отвозят автобусом в испанскую школу. Хозяйки берут на троих не пол-литра, а большую банку маринованной селедки или огурцов. Заглядывают к соседям, идя в магазин.

Так люди буднично объединяются в стремлении сберечь свое и чужое время, свой и чужой труд. И в то же время более высокой степени объединения — профессиональной, общественной — мешают факторы, неожиданно сопутствующие самому новому району. Ведь люди, давно работающие вместе, крепко объединенные общим трудом, видят своих коллег по профессии только в рабочие часы, часы непосредственного производства. Кончилась работа — тут бы и сойтись снова, поспорить, вечер вместе провести над чертежами, над нужной статьей.

Но люди спешат, спешат — одни в Фили, другие в Черкизово, третьи на улицу Молодцова. Десятки километров разделяют их до нового рабочего дня. Сама атмосфера дела, делового спора, обсуждения, необходимая человеку, не сопутствует ему, и он иногда помянет недобром новую свою квартиру, а добром — студенческое общежитие. Не позвонишь вечером напарнику, сменщику, коллеге, потому что телефоны ставятся пока подавляющему меньшинству из ста тысяч. Тем более не зайдешь «на огонек», не потолкуешь о забарахлившем моторе или о больной, которой сегодня сделана операция. Да и вообще после напряженного рабочего дня чаще всего никуда не пойдешь.

Вот эта профессиональная разъединенность людей, отдаленность от центральной Москвы слишком ощутима в Медведкове. Ее усиливают отдельные мелочи: отсутствие таких элементарных вещей, как афиши выставок, театров, спортивных состязаний, — щиты для них как-то не предусмотрены, афишные тумбы тоже не вошли в малую архитектуру. Ее усиливают транспортные трудности. Из театра так долго добираться домой, так редко ходят после одиннадцати автобусы и трамваи. А если отложить два рубля на такси — попробуй еще договориться с водителем. Не успеешь ты ему назвать место назначения: «Медве...» — как он, переспросив: «Медве...?» — захлопывает дверцу перед вашим носом и отбывает искать пассажиров в более удобные районы.

Конечно, молодежь наша ездит на Центральный стадион и выстаивает очереди в кассы «Современника» и Театра на Таганке. Людям же семейным это почти недоступно. Их театр — кино «Полярный», их выставочный зал — фойе того же «Полярного», вернее, четвертая его стена, потому что три другие состоят из стекла, их экскурсии — близкий лесок, их клуб — лавочка возле дома, где пенсионеры обсуждают новые лекарства, а девочки взволнованно рассказывают друг другу, что он сказал и что она ответила, где можно услышать и новости всех квартир, и осуждения по адресу хунвэйбинов («Что делают, ироды, что делают», — качает головой хозяйка, забывшая, что у нее занята очередь за молоком), и пересказ романа «Ключи счастья», и комментарии к речи Шолохова на писательском съезде.

Архитектор В. Светличный в интересном очерке о судьбах городов, предостерегая от городских опасностей — от «перенасыщенности впечатлениями» и от «одиначества в толпе», — совершенно справедливо говорит, что от этого «у нас имеется по меньшей мере два надежных средства: дружный коллектив по месту работы — он, как правило, уже повсюду существует, и такой же коллектив по месту жительства, который еще нужно создавать. Основа для него — микрорайон, где люди узнают друг друга на отдыхе, на спортплощадках, при общем пользовании культурно-бытовыми учреждениями и на общественной работе в домовом комитете. В этом, с моей точки зрения, больше, чем во всех других достоинствах, заключается социальная значимость и ценность нашего советского микрорайона».

Применяя это положение к нынешнему Медведкову, мы видим, что дружный коллектив по месту работы находится чаще всего весьма далеко от дома. А коллектив по месту жительства только-только создается; люди постепенно узнают друг друга, группируются по интересам, тянутся друг к другу по профессиям. Это происходит пока не на спортплощадках, не в культурно-бытовых учреждениях — это происходит на воскресниках и в автобусе, на рыбалке у Язуы и в очереди, в кино и на лавочке возле дома. Поэтому важные во всех городах, во всех районах точки объединения, центры притяжения людей в новых районах и городах необходимы насущно, первостепенно.

Они создаются. Ими становятся народные дружины. Ими становятся те библиотеки на общественных началах, что организуются при жэках. Ими могут стать шахматные и даже вязальные кружки. Но как нужны более прочные, повседневные связи между собой нашим домовым комитетам и депутатским комиссиям райисполкома, как важно искать новые формы работы.

В Медведкове запроектирован общественный центр, несколько отстоящий от жилых кварталов, расположенный на месте нынешнего села. Но нам нужны не только такие — общие, центральные — комплексы района. Нам нужны в каждом микрорайоне, в десяти—двенадцати минутах ходьбы от жилища, «малые центры», к которым вполне применимо старое название — клубы. Не здания с коринфскими колоннами, где ежевечерне проводятся вечера танцев и изредка лекции о международном положении. Но гостеприимные, удобные и простые здания с подъездами любого цвета. Где объединятся библиотеки взрослая и детская (постоянный фонд книг может быть небольшим, но хорошо организованная передвижка здесь обязательна), в которых школьнику помогут подобрать литературу для сочинения, а ученому выписать книгу из Ленинской библиотеки. Где можно организовать интересную встречу и собраться в дальний поход. Где люди степенные могут посмотреть вместе телевизор и обсудить газетные новости, а молодежь придет танцевать, читать и слушать стихи (а может, и прозу). Дом, где может выступить театр или школьный драмкружок. Где можно выставить рисунки медведковских ребят или расширить то небольшое, что уместилось на четвертой стене кинотеатра «Полярный», — работы художников, посвященные новой Москве. Персонально Юрия Пименова, потому что его сюита молодых окраин — наша сюита.

Пусть дом этот будет началом походов и в центральную, дальнюю Москву (театр, музей, выставка на Кузнецком), и за пределы Москвы. Сначала за самые близкие. Рядом с нами, за кольцевой дорогой, стоит Тайнинское — одно из древнейших подмосковных сел. Оно принадлежало двоюродному брату московского владетеля Дмитрия Донского Владимиру Андреевичу Серпуховскому, тому, который стоял в засаде

возле Куликова поля, и видел, как татары теснят русских, и рвался в битву, и мудрому воеводе приходилось удерживать его. А от XVII века осталась там пятиглавая церковь, венчающая высокий речной берег. Побитая, выщербленная, она сохранила все же изукрашенное, гостеприимное свое крыльцо и богатый орнамент-узор, что превратил простой кирпич в каменные кружева. Недалеки от нас огромные мытищинские заводы, на расстоянии часа езды тянутся тютчевское Мураново, аксаковское Абрамцево, древнее городище Радонежа, Любимовка, где мальчик Костя Алексеев, впоследствии выбравший псевдоним Станиславский, разыгрывал первые свои водевильные роли.

Упорно планируются в новых районах столовые. И упорно закрываются в новых районах столовые. В них не ходят, потому что рабочий люд обедает по месту работы. А домашние хозяйки все-таки готовят дома. Такие столовые с не очень горячим и не очень аппетитным борщом, с компотом из сухофруктов и в Медведкове не нужны. И привычный ресторан с его хрустальными люстрами, дороговизной, надменными и многочисленными официантами, которые часами заставляют ждать немногих посетителей, тоже не нужен. А вот новые столовые, новые рестораны, новые кафе нужны очень. Столовые, где был бы хороший отдел полуфабрикатов. Ресторан («Полярный»), куда действительно можно пойти семьей. Кафе — с кофе, с музыкой или с тишиной (какая уютная тишина стоит в некоторых кафе Праги, где люди шелестят газетами, перебрасываются словами, не мешая писать тому, кто примостился в углу за привычным своим столиком). Нужны те учреждения, в которых подается пиво и которые так и должны честно именоваться пивными. И такие «рюмочные» с необильными рюмками и обильной закуской, которые, оказывается, очень выгодны и рентабельны, которые открыты в Ленинграде и опыт которых перенимается с таким трудом, словно находятся они в Патагонии или на Марсе. А вот «автопилку» на Полярной улице у нас открыли; называется она «Молдавские вина». К краям ее, отмеряющим спиртное, липнут, как мухи, нестойкие элементы Медведкова и, как мухи, расползаются потом по домам.

А может, не надо было открывать эти «Молдавские вина»? Может, в новом нашем районе, где бюрократизм еще не нажит, клубам и кафе не придется испытывать тех мытарств, которые часто испытывают они сейчас, сталкиваясь с разверстками, планами, которые можно выполнить только за счет винно-водочных изделий, или с железными, словно навеки однажды и навсегда составленными рамками штатных расписаний? В штатах наших жэков предусмотрены инженеры и слесари, лифтеры и дворники. Но не предусмотрены другие должности и профессии, рожденные жизнью, необходимые жизни.

Наши будущие клубы развалятся сразу или постепенно, если двигать их работу будут только энтузиасты-общественники. Им нужны настоящие руководители. Получающие зарплату, а хорошо бы и жилплощадь в Медведкове. Молодые, энергичные, знающие, как организовать экскурсию, где заказать автобус, какие вещи брать в поход. Умеющие пригласить артистов, найти не просто лектора для очередного мероприятия, а такого лектора, которого вспоминали бы долго. И спортивной работы никакой не будет (пусть даже построятся все намеченные спортплощадки), если не будет официально утверждена должность и ставка спортивного инструктора при жэке. Сейчас происходят вещи парадоксальные. Средства на приобретение так называемого «культурного инвентаря» жэкам выделяются, и средства немалые. Инвентарь приобретается. И лежит в шкафах и кладовках, потому что хранить его и отвечать за него некому. Если начальник жэка — энтузиаст спорта (а такие есть у нас), он может

оформить инструктора дворником или лифтером. И рисковать самому, и брать на себя ненужную ответственность, и молодому спортсмену внушать мрачные мысли о своем «незаконном промысле». Законно заниматься своим делом, о важности которого столько говорят, столько пишут, он не может: нет в штатах спортиструктора.

И часто так. И во многом так. Новый район, живущий своими, иногда совершенно непредвиденными проблемами, получает старые, иногда скомпрометированные формы работы, старые штатные расписания. В Москве есть районы экспериментального строительства (Медведково к таким не относится), но нет районов, где ставятся эксперименты по организации быта, общественной деятельности, взаимоотношений людей и самых разнообразных учреждений, существующих для людей. Конечно, эти отношения и эти формы, естественно, вырабатываются сами. Но им можно энергичнее расчищать и прокладывать путь.

Есть бодрые, оптимистически настроенные люди, которые думают, что, если спортплощадки будут построены да к ним еще будут приложены спортиструкторы, вся проблема молодежи разрешится, потому что молодежь будет заниматься спортом. И что пьющего можно излечить, прочитав ему цикл лекций о вреде алкоголя. И что стоит открыть библиотеку — все сидящие на лавочках погрузятся в чтение книг со штампом медведковской библиотеки.

Это было бы лучезарно. Но этого не будет. Для искоренения разобщенности и эгоизма, бескультурья, представления об отдыхе как о полной ленивой праздности нужны многие годы и многие усилия, идущие «сверху» и «снизу», от партийных, общественных, просветительских организаций и от тех, кому предназначены эти общественные и просветительские организации. От нас самих, новоселов медведковских блочно-панельных домов, от нашей сплоченности, нашей ответственности за себя.

Первенство в этом принадлежит сейчас нашим домкомам, нашим «общественникам», как повсеместно называют немолодых людей, молодому делающих большие и малые реальные дела на пользу общества.

Партийные организации наших жэков в большинстве своем состоят из людей, принятых на партучет по месту жительства, то есть из пенсионеров. Они, естественно, немолоды, они часто навешиваются в поликлинику, чтобы измерить давление. Им бы сидеть на лавочках, по мере сил копаться в земле. А они не хотят сидеть на лавочках и наживают еще большее давление, споря с начальником жэка, с работниками исполкома, ведя многочасовые заседания товарищеских судов... Они едут то в госконтроль, то в транспортное управление и везде упирают на недостатки организации, на недоделки строителей; они доказывают, часто пишут жалобы, получают ответы: «Ваше заявление отправлено на рассмотрение» — и снова пишут, и бегут в поликлинику: «верхнее — 180, нижнее — 100, неважно...»

Соседи обращаются к ним с десятками просьб, жалоб, предложений, просят советов и помощи. Советы они дают охотно, помощь оказывают по возможности и разумению. Иногда ошибаются. Ошибаются еще и потому, что живут замкнуто; то, что называется «обменом опыта», не налажено, каждый домком работает, не очень зная, что делают соседи, вдали от координирующего центра. Между тем повседневная связь, взаимная помощь домовых комитетов и райисполкома, общая работа общественников и депутатов районного Совета, членов депутатских комиссий первостепенно важна для будущего. И младшее поколение, комсомольцы не должны остаться в стороне. Хотя положение с ними не просто.

Мы привыкли умиляться: ах, новый район — район детей, молодежи! Между тем среди наших школ почти нет десятилеток, и старшекласники ездят доучиваться в Бабушкин. Это понятно — новые школы принимают ребят со всей Москвы в течение всего года, сами школьные коллективы еще не сложились, учителя друг друга не знают — в каждой школе проблем в два раза больше, чем в старой школе, имеющей уже традиции. Потому-то наши комсомольские школьные организации это — буквально — организации первичные, где шестнадцать лет — почтенный возраст. А чуть подрастут — снова разлетятся в институты, на дальние работы. А рабочих-комсомольцев мало, потому что предприятий нет...

И все-таки, если видеть в комсомольцах-школьниках не столько вчерашних малышей, сколько завтрашних взрослых? Ведь они могут не только собирать бумажную макулатуру и участвовать в спартакиадах. Именно они могут быть важнейшим звеном, связывающим прошлое и настоящее Медведкова, создающим — вполне серьезно — его историю. Им следить за братскими могилами, где похоронены участники Отечественной войны. Им собирать живых участников мировых войн. Они сами, не дожидаясь ученых лекторов из общества по распространению знаний, могут подготовить для жильцов своего квартала рассказы о Шокальском и Молодцове, о Дежневе и Амундсене, о дрейфе «Фрама», о челюскинской эпопее.

Это важно для них самих — они не будут уже безразличны к месту, где живут, к человеку, именем которого назван их проезд. Они могут собирать книги об этом человеке, его фотографии. Могут притащить в свою школу, в будущий клуб полярного летчика или капитана, водящего ледоколы Северным морским путем, художников, влюбленных в Север, или автора книги о Нансене, или археолога, работавшего на Чукотке.

Сотни городов-побратимов протягивают друг другу руки сегодня: Волгоград переключается с Ковентри, Мурманск с Тромсё, Одесса с Александрией. Неожиданно приблизились к Медведкову Антилы и Аргентина благодаря испанской школе. Может быть, и Норвегия не окажется чужой улицам Руала Амундсена и Фригьофа Нансена, и датский город Хорсенс, куда недавно отправили из Советского Союза пушки беринговой экспедиции, откликнется улице Беринга?

Нам бы опыт других молодых районов, других городов-спутников. Нам бы связь с нашим Севером — с древним Архангельском, новым Норильском. А в чем она выразится? Может быть, и в том, что школьники Мурманска и Чукотки, приехав на каникулы в Москву, разместятся в наших школах? А наши ребята с фотоаппаратами, с рюкзаками отправятся в поход к полярному дню, к карликовым березам, к поморам?

Нам нужна связь с прошлым нашего Медведкова, ощущение древности самой земли, на которой стоят новые дома. Нужно знание его будущего. Нужны реальные дела в настоящем, потому что дело каждого из нас и есть его вклад в строительство будущего. Примеры нашей жизни закончим последним. Наш райком партии, наша детская комната при милиции взялись за тех «трудных ребят», которые большей частью живут в трудных семьях. Ребят этих — семьдесят с лишним — «прикрепили» к соседям. К взрослым, уважаемым, членам партии. К могущим дать ребенку то, чего не хватает ему в семье. Это сделано недавно. Но добрые результаты уже есть. Да иными они и не могут быть, если трудные эти дети, хлебнувшие зла и озлобленные, попадут к людям по-настоящему

добрым, то есть делающим добро. Так все крепче смыкаются большие и малые звенья единого процесса строительства столицы Советского Союза, Большой Москвы. С населением в шесть с половиной миллионов, из которых сто тысяч живут в Медведкове.

Новостройки его подходят к кольцевому шоссе. В одних уже поют «Хас-Булата», другие ждут хозяев. Вечером дома сливаются с темнотой, бесчисленно освещенные окна кажутся впечатанными прямо в черное небо. Но вот прожектор высвечивает белую стену новостройки. Там неумолимо работает кран, там вспыхивает голубой звездой автоген. Строители и ночью дают план — квадратные метры, квадратные километры жилой площади. Медведково растет, растет, растет.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ОКТАБРЬ, 1917

Воспоминаниям участников исторических событий Октября 1917 года посвящены многие публикации, мемуарные книги и сборники. И все же каждое новое свидетельство тех, кто принимал непосредственное участие в революционных октябрьских боях, дорого нашему современнику. Память каждого из них сохранила какие-то неизвестные еще детали этих событий, в них воскресает атмосфера тех дней.

Мы печатаем ниже стрывки из полученных редакцией воспоминаний ветеранов революции — А. Игнатъева, А. Соловьева, Е. Шарова, Б. Этингофа и А. Спундэ.

А. А. ИГНАТЬЕВ

Алексей Александрович Игнатъев (1895) — рабочий, солдат, участник революционных событий 1917 года в Петрограде, член партии с 1918 года, участник гражданской и Великой Отечественной войн, начальник кафедры военной академии, ныне генерал-майор танковых войск в отставке.

Солнечным июньским утром 1916 года я — еще совсем молодой рабочий парень — впервые подошел к массивным железным воротам. Эти ворота и высокий кирпичный забор отделяли оживленную Кировую улицу от унылого казарменного двора, где маршировали солдаты 6-го запасного саперного батальона. Переступив за них, я, как и прочие, превращался в безответного солдата царской армии, которого, вымуштровав, отправляли с очередной маршевой ротой на фронт...

Потянулись месяцы строевой муштры и занятий по подрывному делу, фортификации, дорожно-мостовому и другим специальностям инженерных войск. Занимался с нами подпоручик Станкевич. Он стремился воспитывать саперов своего полувзвода, насколько это было возможно в условиях царской армии, в ином духе, чем остальные командиры. Станкевич дружелюбно относился к солдатам, поддерживал в них дух товарищества, позволял вольно вести себя и даже разговаривать на полевых занятиях и т. д. При Временном правительстве Станкевич был назначен комиссаром в действующую армию. Окончил я учебную команду с отличными оценками. Знания, полученные здесь, мне очень пригодились в годы гражданской войны, когда я сам уже командовал саперными частями.

Казармы 6-го запасного саперного батальона вытянулись на целый квартал, от угла Кировой по Преображенской улице. Фактически это был не батальон, а что-то значительно большее — бригада или дивизия, так как численность его доходила до двенадцати тысяч человек. Каждая рота имела в своем составе до шести литерных рот, а общая численность солдат приближалась к полутора тысячам человек.

Командовал батальоном полковник фон Геринг. Впрочем, по случаю войны с Германией «фон» временно был отброшен. Полковник был последователем прусской системы воспитания солдат и считал поэтому, что солдат должен бояться своего командира больше, чем пуль противника...

Вскоре по прибытии в казарму произошел такой случай. Меня поставили в строй, хоть я и прибыл позднее других и не знал еще всех тонкостей службы. Не успел командир роты подпоручик Свинухов закончить расчет, как появился полковник Геринг. Последовала истощающая команда:

— Смирно! Равненис направо! Господа офицеры!..

Не обращая внимания на офицеров, полковник направился прямо ко мне. По незнанию я с любопытством и безо всякого страха рассматривал приближающегося ко мне полковника. Геринг подошел вплотную, бережно взял мою фуражку обеими руками и надел ее снова мне на голову с наклоном на правый бок. Оказывается, она у меня была надета с наклоном на левый бок. Не говоря ни слова, Геринг удалился. Все присутствующее начальство уставилось на меня. Для них было невидалью, что Геринг не наказал меня.

(Любопытно, что после гражданской войны я снова служил в этих же казармах и перед поступлением в академию в 1924 году дослужился до командира саперного батальона. Жил в бывшей квартире Геринга.)

Первая рота 6-го запасного саперного батальона занимала особое место. Уже предшествовавшие события показали, что 1-я рота, что называется, «возглавляет» батальон не только по нумерации, но и по своей политической устремленности и сознательности. За спайку, революционную деятельность и политическую твердость еще со времени февральской революции ее называли большевистской. Это наименование произносили с чувством признания и гордости, а некоторые со злобой. Рота несла охрану ЦК и типографии большевиков.

В Петроградском Совете рота имела двух своих депутатов — Алексея Березовского и Николая Белякова. До первых революционных дней немногие обращали внимание на скромного солдата 1-й роты Алексея Березовского. Солдат — как все другие, выше среднего роста, темноволосяный, с несколько монгольским типом лица. А какой это оказался умный, прекрасно подготовленный большевик, как быстро схватывал и правильно оценивал он политическую обстановку, какой замечательный природный оратор он был. Когда выступал Березовский, а это было почти ежедневно после утренней поверки, солдаты сбегались со всех сторон, и не только из нашей роты, но и из соседних. Он регулярно информировал с большевистских позиций о работе Петроградского Совета. После июльских дней, в которых батальоны и особенно 1-я рота принимали участие, А. Березовский был арестован и находился в заключении до корниловского мятежа. Позднее он был избран командиром 6-го запасного саперного батальона.

Большевик унтер-офицер Николай Беляков был человеком другого склада. Его сила была главным образом в индивидуальной беседе. Его часто можно было видеть в небольшой группе солдат, читающих газету. Он старательно разъяснял прочитанное и отвечал на возникавшие политические вопросы.

Вскоре после февральской революции рота была переформирована в восемь взводов, численность каждого из них мало уступала роте обычного состава. Ротой командовал молодой, храбрый подпоручик Павел Александрович Ермолаев — после контузии на фронте он был направлен в наш запасный батальон. Командирами взводов саперы избрали: Ма-

кошева, участника Туркестанского восстания саперов, Вейсмана, Игнатьева и других товарищей, которым доверяли.

После корниловского мятежа перед саперами встал вопрос о необходимости переизбрать ротный комитет, где еще сидели меньшевики и эсеры. Перебрали и отвергли всех предложенных кандидатов. Собрание проходило бурно. Тогда несколько человек назвали мою фамилию. Их поддержал освобожденный из тюрьмы Алексей Березовский.

— Товарищи! Я ведь беспартийный. Лучше избрать большевика...— говорил я.

— Знаем, знаем, какой ты беспартийный. Нам не бумажка, а душа нужна. Голосуй, ребята!..

Так я стал председателем комитета, который вначале назывался: Комитет первых рот 6-го запасного саперного батальона.

Не могу не напомнить в этой связи, что писал о саперах В. И. Ленин: «Характерно, что вождей движения давали *те элементы* военного флота и армии, которые рекрутировались главным образом из среды промышленных рабочих и для которых требовалась наибольшая техническая подготовка, напр., саперы».

Ротный комитет руководил фактически всей жизнью роты, организовывал различные политические и культурные мероприятия.

Тяга к политическому и культурному просвещению у саперов была большая. Перед ними выступали представители почти всех политических партий вплоть до кадетов. Люди сами хотели разобраться что к чему. Но самым большим успехом, как я уже говорил, пользовался большевик Алексей Березовский. Его горячие выступления производили неотразимое впечатление. Именно благодаря ему рота все больше пропитывалась большевистскими идеями.

Почти в каждой роте были устроены подмостки, на которых выступали артисты и любители сценического искусства (теперь это называется художественной самодеятельностью): певцы, музыканты, рассказчики. Кстати, в нашей роте среди рядовых было человек десять актеров. Они чаще всего и выступали перед нами. Устраивали мы и вечера с танцами. По просьбе товарищей я организовал для них «танцкласс». Мне пришлось выступать и в роли учителя танцев, и в роли музыканта — гармонь и баян я любил с детства и умел недурно играть на них. «Танцкласс»? Казалось бы, совершенно несолидное учреждение, недостойное серьезных людей, да еще в ту пору, когда развертываются столь важные революционные события. Но в действительности это было не так. Революция окрыляла людей, вливала в людей жизнерадостность, бодрость. Несмотря на голод и холод, которые в Петрограде уже изрядно давали себя знать, народ хотел веселиться. «Танцкласс» наших саперов сыграл, хоть и косвенно, я бы сказал, даже политическую роль, потому что сдружил, сплотил активную часть солдат с теми, кто еще не понимал всей серьезности происходящего. На занятия приходили самые передовые, энергичные, жизнелюбивые люди. Те самые, которые дружно выступали в защиту власти Советов в Петрограде, которые по первому зову отправились в октябрьские дни во вторую русскую столицу на помощь московскому пролетариату.

К двадцатым числам октября (старого стиля) военно-политическая обстановка в Петрограде, да и во всей России была накалена до крайности. Во всем чувствовалось приближение каких-то крупных событий.

В ночь на 25 октября в нашей 1-й роте никто не спал. Еще с утра стало известно, что Революционный комитет Петроградского Совета поставил роте задачу — захватить и удержать Николаевский вокзал, один из важнейших пунктов Петрограда, основной узел сообщения со

всей Россией. Все понимали важность происходящего. Уговаривать никого не приходилось. Тускло освещенные казематы казарм напомнили растревоженный улей. В ротной канцелярии и у столиков командиров взводов, на нарах и просто на полу обсуждали саперы подробности предстоящего выступления.

В два часа ночи команда «становись!» прокатилась по помещениям. Рота выстраивалась. Командиры взводов производили поверку, расчет, выдавали боевые патроны и недостающее боевое снаряжение. Командир роты П. А. Ермолаев уверенно отдавал распоряжения и наблюдал за порядком. Мы верили в свои силы. Шли в решительный бой и были готовы ко всему.

Четкий, размеренный шаг нарушил тишину Знаменской улицы. Большая колонна саперов привлекала внимание редких прохожих. На нас оглядывались люди, ночевавшие в очередях у продовольственных магазинов, чтобы получить четверть фунта, а то и восьмушку хлеба.

Около трех часов ночи Николаевский вокзал был занят. Охрана разбежалась. Знаменская площадь и все подступы к вокзалу были окружены цепью полевых караулов и наблюдательных постов...

Прежде всего был занят вокзальный телеграф. Сразу же запрещено было передавать сообщения о том, что происходит в Петрограде. Прибывший в наше распоряжение броневедомитель поставили у памятника предпоследнему самодержцу. Остальная часть роты была расположена в главном вестибюле вокзала. Все были начеку, все было готово к бою. Автомобили, не имеющие пропусков из Смольного, задерживались.

Осенний ветер взметал пыль, рвал полы шинелей и пронизывал людей до костей. Свет луны падал на «Северную» и «Балабинскую» гостиницы, оставляя вокзал в тени. Мрачная статуя Александра III отбрасывала уродливую тень. В ночной тиши прокатывались звуки отдельных выстрелов, слышался конский топот, пыхтение автомобиля да внезапное резкое:

— Стой!.. Кто идет?

Проверка документов.

Около пяти часов окрик «стой!» раздался громче и повелительнее обычного. Внезапно из темноты вынырнуло несколько больших грузовых автомашин с вооруженными юнкерами. Часовой дал выстрел — сигнал. Грузовики один за другим въезжали на площадь. Юнкеров на машинах было много, они ехали стоя. Саперы вырвались из вестибюля навстречу юнкерам, окружая их на ходу и не давая выгрузиться. Пришел в движение броневедомитель, направил в сторону юнкеров свои пулеметы.

Напряженные, решающие секунды. Хлопали затворы, раздавались отдельные выстрелы. В мгновение ока вся площадь ошетилилась штыками. Еще минута — и с машин раздалась вопли юнкеров и полные ужаса крики:

— Сдаемся! Пощадите!..

Юнкера поспешно бросали оружие, поднимали вверх руки. Юнкеров пощадили.

— Это вам не в безоружных стрелять или громить рабочие организации! Это вам не июльские дни! — выкрикивали саперы.

— Поздно маменька разбудила! Опоздали, голубчики!.. — добродушно посмеивались другие, окружая юнкеров плотной стеной и отбирая у них оружие.

Юнкера отвечали, что они выполняли приказ. Их часть как головной отряд должна была занять Николаевский вокзал, а главные силы следуют позади пешим строем.

Примерно рота юнкеров под конвоем была отправлена в Смольный. Это были первые пленные Советских Вооруженных Сил. Неко-

рые юнкера, воспользовавшись суматохой, скрылись. Саперы в полной боевой готовности ожидали прибытия следующих отрядов юнкеров. Охранние было усилено. Но юнкера так и не появились.

На рассвете широкими, мягкими хлопьями впервые в том году пошел снег, одевая в светлый, праздничный наряд город. Утих северный ветер. Уставшие и промерзшие саперы нетерпеливо ожидали смены. Но смены не было.

Разные части гарнизона присылали свои делегации, чтоб самолично выяснить положение. Делегаты знакомились, покачивали головами.

— Так вы советские? — недоуменно спрашивали они.

Перед делегациями выступали командир роты и я как председатель комитета. Мы подробно знакомили с военно-политической обстановкой.

— Да, мы советские! — заявляли мы. — Вот заняли вокзал. Обезоружили юнкеров. Присылайте смену, если вы за власть Советов!

Делегаты уходили, но смены не присылали. Лозунги и активные действия — это не одно и то же. Наконец во второй половине дня, после присылки двух делегаций, которые мы старательно уговаривали, для смены прибыла к нам учебная команда Волынского полка. Первая из воинских частей выступавшая во время февральского переворота, она и в Октябрьской революции не оказалась в стороне.

Саперы двинулись в казармы, мечтая об отдыхе и сне. Сказалось напряжение последних суток — нервы сдали, клонило ко сну. Казарменные нары рисовались в воображении людей земным раем. Но отдохнуть так и не удалось.

Отдыхать в те дни было некогда. Едва успели мы поесть, как роту вызвали на охрану Смольного. Здесь открывался Второй Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Предстояли вторые бессонные сутки. Но никто ничем не выразил недовольства.

Чем ближе подходили мы к Смольному, тем больше становились толпы людей. К Смольному и от Смольного двигались воинские части, рабочие отряды, спешили посыльные.

Площадь перед Смольным походила на огромный муравейник: солдаты разных частей, вооруженные рабочие, артиллерийские упряжки, автомашины, повозки, верховые лошади — все это двигалось, куда-то спешило. Именно в этот день родился ставший затем традиционным образ бойца пролетарской революции — человека в кепке, фуражке, папахе, бескозырке, с перекрещивающимися на груди пулеметными лентами. То тут, то там слышались горячие речи доморощенных ораторов, деловито проходили делегаты на съезд Советов.

Неподалеку стоял бронированный автомобиль. Только сейчас почувствовали мы, саперы, что сражались не одни — сражался весь рабочий и солдатский Петроград.

Командир роты П. А. Ермолаев был назначен начальником охраны Смольного. Наши караулы были выставлены со стороны Охтенского моста и прилегающих улиц. Остальная часть роты расположилась в проходной зале левой части первого этажа Смольного. Откуда-то взялась гармоника.

— Товарищ председатель! Как хотите, а сон надо прогнать.

И мне тут же вручили трехрядную петроградскую «минорку».

— Что вы, товарищи, неудобно, в такой ответственный момент...

— Моментов будет еще много. Надо поддерживать боевой дух, да и в сон страшно клонит.

Пришлось согласиться.

Образовался круг, а в круге уже наш танцор-заводила Григорий Устинов. Веселое оживление, смех прогоняют усталость.

— Смена караула, выходи! — слышалась команда.

Танцоров как ветром сдуло.

От Невы несет пронизывающим холодом. Саперы ежатся в заносенных шинельках. Сон забыт, а некоторые прогнали его смехом и пляской. Сознание снова наполняется ответственностью за охрану штаба пролетарской революции.

На улицах мрак. Слышатся звуки стрельбы.

В Смольном заседает Второй Всероссийский съезд Советов. Командир роты Ермолаев и я получили гостевые билеты на съезд. Входим в зал. Освещение скудное. Впереди на возвышении за длинным столом, покрытым красной материей, — президиум. В центре Владимир Ильич Ленин. Просторный зал с колоннами до отказа заполнен депутатами. Люди выступают, говорят горячо, взволнованно, голосуют мандатами. Все просто и в то же время торжественно.

Вот выходит на трибуну Ленин и спокойным, внятным голосом предлагает съезду проекты декретов о мире и о земле. Не сон ли это? На улицах Петрограда было еще беспокойно. Еще у власти по всей России стоят «одемократившиеся» царские чиновники. А здесь этот человек, с виду такой обыкновенный, в коротеньком пиджаке, говорит о том, что складывавшиеся столетиями жизненные устои опрокинуты, что начинается новая жизнь, открывается новая эра. Можно ли этому верить?

Но пристально взглядевшись в лицо этого удивительного человека, в его глаза, в его уверенные жесты, я, как, наверное, и остальные, невольно проникаюсь доверием.

Вскоре мы все убедились, что он был прав! Но тогда, в ту ночь, тогда никто, наверное, кроме него самого и самых близких его единомышленников и соратников, не сознавал до конца значения событий, свершившихся в эту ночь, для истории не только России, но и всего человечества.

Ленин звал к борьбе за новую жизнь, укреплял уверенность в успехе. Его слова находили отклик в сердцах трудовых масс. Вот почему пронизываемые до костей холодным ветром, без сна и отдыха, под обстрелом врага так твердо стояли на своих боевых постах отряды рабочих, солдат и матросов, положившие начало Советским Вооруженным Силам.

Наши саперы несли охрану Смольного несколько суток.

Революция в Петрограде победила с небывалой организованностью и быстротой. Большевики показали подлинное искусство руководства вооруженным восстанием. Обыватель, легший спать при Временном правительстве, проснулся при советской власти. В последующие дни победа закреплялась, везде вводился новый порядок, велась борьба с саботажниками в учреждениях.

А из Москвы приходили нерадостные вести. Москвичам необходима была срочная помощь. В один из вечеров кто-то из наших активистов-большевиков завел об этом речь. Саперы нашей роты на диво дружно откликнулись.

— Едем в Москву! Там юнкера и «ударники» бьют солдат и рабочих. Если они победят, то и Петроград советский не устоит. А с нами расправятся как с бунтовщиками. Едем! Не танцульками же нам заниматься!..

— Наши танцульки политические. Мы так оттанцевали юнкеров,

что они долго будут помнить. Теперь так бы и московских юнкеров оттанцевать. Вот тогда дело будет в шляпе!

— Эй, Бодунов, Андреев, Малютин, Коновалов, собирайтесь, что ли!

— А что надевать-то?

— Одевайтесь так, чтобы удобно было юнкеров бить. Да боевых патронов в вещевой мешок кладите побольше. Белья не берите, помирать можно и в этом. А живы будем — белишко найдем. Так, что ли?

В тот же вечер часов около девяти пятьдесят четыре добровольца-сапера были уже в пассажирском вагоне одного из скорых поездов, отправлявшихся на Москву.

В соседних вагонах оказалось человек шестьдесят красногвардейцев-рабочих и с полсотни матросов. Прощальными огоньками промелькнули стрелки завоеванного нами вокзала. Поезд все быстрее уходил в темную даль. Бойкие разговоры смолкли. Но и сна тоже не было. В дремоте снова и снова вертелись мысли вокруг происходящего.

Ранним утром поезд остановился у московского перрона. Вместе с остальными, вполне обычными пассажирами начали выходить из вагонов и мы — саперы, рабочие с винтовками, матросы. Построились. Пошли.

Москва только еще пробуждалась, но в разных частях города уже слышалась стрельба. Весть о прибытии частей петроградского гарнизона быстро распространилась по городу. Сочувствующая публика предупреждала:

— Не попадите под пулеметный огонь из засады. Один такой отряд уже был рассеян пулеметным огнем. Много убитых.

Решимость драться и уверенность в своих силах невольно приводили к беспечности. Мы все же выслали охранительные дозоры. Под перекрестным огнем сочувствующих и враждебных глаз мы продолжали двигаться к центру города.

Вот и Московский Совет. Здания вокруг него изрешечены пулеметным огнем. Стекла во многих домах выбиты. Стрельба слышится то здесь, то там, то совсем близко, то далеко, одиночные выстрелы и пулеметные очереди. Публика то бежит стремительно и прячется в подворотнях и подвалах, то беспечно движется по улице. В гостинице «Метрополь» пожар. На площади перед Московским Советом высится фигура лихого генерала Скобелева. Наши саперы и питерские рабочие-красногвардейцы построились у него за спиной. Рассчитывали, что к нам выйдет кто-нибудь из членов Московского Совета. Но им было явно не до торжественных встреч. Мы получили боевую задачу: помочь овладеть Александровским военным училищем, что на Арбатской площади.

Двинулись ускоренным шагом. Стрельба усиливается. Сам черт не поймет, кто, откуда и куда стреляет. У входа на Арбатскую площадь окопы. На развороченной мостовой несколько колея с беспорядочно натянутой колючей проволокой.

Отовсюду слышались крики удивления и угрозы:

— Эге, да тут, как на фронте! Даже и окопы. В Петрограде до этого не доходило. Ну ничего, мы вам покажем, где раки зимуют!

Завязалась ожесточенная перестрелка. Вот один за другим удачно упали два артиллерийских снаряда, один взорвался у стены училища, второй где-то во дворе. Это подбодрило атакующих. Почти одновременно с разных направлений раздались крики «у-р-ра!». Юнкера бросились бежать. Некоторых догоняли пули. Через несколько минут атакующие уже ломались в двери, а в окне училища покорно повис наскоро сооруженный из простыни белый флаг.

Небольшие красногвардейские части врывались в училище, обезоруживали юнкеров и, казалось, таяли в обширных помещениях. Захва-

ченное в Александровском училище оружие немедленно вывозили в рабочие районы на грузовиках. Этим занимались матросы и рабочие. Какой-то старик с большой бородой стоял на грузовике и деловито укладывал винтовки и пулеметы. Худошавый человек в черном пальто, с заросшим подбородком спокойно отдавал какие-то распоряжения. Я заинтересовался — кто это? Это был член Военно-революционного комитета Ломов.

Отряду петроградских саперов и рабочих приказали оставаться в училище и оборонять его.

Мы расположились в огромном зале с колоннами. В нем в четыре ряда стояли койки — бывшая спальня юнкеров. Нас вдруг охватила страшная усталость. Не снимая обмундирования и не расставаясь с оружием, часть бойцов повалилась на койки. Другие, более предусмотрительные, начали обходить огромные помещения, длиннейшие коридоры. Натыкались на спрятанное юнкерами оружие...

Одиночные выстрелы в помещении не прекращались. То и дело над ухом жужжала пуля и рикошетом от колонны шла в стену. Это были результаты быстрого освоения захваченного у юнкеров автоматического оружия, беспечности и недисциплинированности. Один из наших саперов даже был ранен. Пришлось принять меры построже и навести порядок. Выставили дневальных у всех входов и выходов, принялись очищать помещение от всякой шпаны и юнкеров.

В этот же день был взят революционными войсками Кремль. На второй день товарищ Ломов приказал выдать питерским саперам по паре новых офицерских сапог, зачитал нам поименную благодарность от Московского Совета. Юнкерские сапоги не всем были впору — не лезли на ноги, — однако все были довольны.

Через несколько дней пролетарская Москва торжественно хоронила борцов, погибших за дело революции. Мы по-прежнему стояли в Александровском военном училище, и лишь когда в Москве установился относительный порядок, саперы и другие питерские добровольцы, приехавшие на помощь, стали разъезжаться по своим гарнизонам.

А. Г. СОЛОВЬЕВ

Александр Григорьевич Соловьев (1893) — питерский рабочий-путиловец, рабкор «Правды», участник революционных стачек и Октябрьского вооруженного восстания, член партии с 1918 года, участник гражданской войны, партийный, советский, а затем научный работник, ныне персональный пенсионер.

Вечер 25 октября был в Петрограде холодным и мрачным. В городе стояла непроглядная темень — ни фонарей, ни освещенных окон. Только Смольный и Зимний сверкали огнями, да на перекрестках горели костры, обогревая патрулей. На подступах к Зимнему все улицы и площади были забиты восставшими революционными войсками. Когда напряжение достигло уже крайних пределов, прозвучал условный выстрел с «Авроры». Вслед за ним последовали выстрелы пушек Петропавловки. Ворвавшись во дворец, революционные солдаты и красногвардейцы устремились по лестницам, по коридорам и залам.

Вместе с другими я вбежал через распахнувшиеся садовые ворота в Салтыковский подъезд. Здесь ничего не изменилось за прошедшие десять лет — со времени моей кратковременной работы во дворце юным подручным водопроводчика, откуда я ушел потом на Путиловский завод.

Штурмующие бойцы ворвались в Зимний во главе с одним из руководителей ВРК — В. А. Антоновым-Овсеенко. Он вел нас в глубь дворцовых помещений. Мы видели всюду у дверей дворцовых комнат чинно стоявших, хотя и перепуганных старых служителей в синих ливреях с красными кантами и золотыми шевронами. Оставшись от царских времен, они продолжали служить временным правителям. Испуганно глядя на ворвавшихся бойцов, они по привычке твердили:

— Сюда нельзя, господа, запрещено.

Но на них никто не обращал внимания.

— Товарищи, прошу помнить: здесь все народное! — кричал разгоряченный Антонов-Овсеенко — худощавый, длинноволосый, в очках, в распахнутом пальто, в шляпе на затылке, с болтающимся галстуком. — Строго следите, чтобы все оставалось в целости!

К Антонову-Овсеенко подбежал член ВРК Г. И. Чудновский, пытался что-то доложить. Но Антонов не дослушал его.

— Товарищ Чудновский, — сказал он, — ты назначаешься комиссаром дворца. Ставь посты, наводи порядок, все товарищи будут помогать. Приступайте к делу.

Антонов-Овсеенко, сопровождаемый красногвардейцами, дошел до малахитового зала и громко спросил у служителей:

— Где министры?

— Здесь, сударь, рядом, но к ним нельзя, не велено.

Не обращая внимания на стражей, красногвардейцы распахнули дверь в зал, пропустили вперед Антонова-Овсеенко и сами двинулись вслед за ним. Первое, что бросилось нам в глаза, — это огромные окна, выходившие на Неву, роскошная позолота, красные парчовые портьеры.

— Господа министры, именем Военно-революционного комитета вы арестованы, — объявил Антонов-Овсеенко. — Извольте положить оружие на стол и отвечать на мои вопросы.

Чудновский с двумя красногвардейцами собрал со стола оружие и выставил тут же караульный пост. Антонов-Овсеенко переписал всех министров на листке бумаги и спросил:

— А где же Керенский?

— Его здесь нет, — ответил кто-то из министров. — Он уехал в Псков, к войскам.

— Это что же получается, он сбежал?! — вскричал стоявший у стола один из бойцов. — Зато этих мы не отпустим. Кончайте, братцы, с ними на месте, нечего любоваться.

— Спокойно. Не смей самовольничать! — приказал Антонов-Овсеенко. — Мы не бандиты, а революционеры. Никакого самосуда. Отведем их в Петропавловку и будем всенародно судить... Кто пойдет со мной в конвой — отходи влево.

Добровольцами оказались все находившиеся в зале. Каждому хотелось отвести министров в крепость. Антонов-Овсеенко сам отсчитал полсотни конвоиров, и меня в том числе, велел окружить министров сплошной цепью и выводить на улицу вслед за ним.

При выходе нас задержали постовые. Комиссар дворца Чудновский успел уже навести порядок, всюду установил караулы, приказал проверять документы у всех без исключения выходивших на улицу.

— Ты что, спятил? — возмутился какой-то красногвардеец из нашего конвоя. — Как смеешь не доверять мне, революционному бойцу? Да я тебе за такое оскорбление могу пулю в лоб пустить.

— Напрасно горячишься, товарищ, — стал урезонивать его подоспевший откуда-то член ВРК Константин Степанович Еремеев. — Проверка необходима именно для того, чтобы оградить честь революционных бой-

цов. Не препятствуйте, товарищи. Для честных людей здесь ничего позорного нет.

На улице была непроглядная темень. Антонов-Овсеенко повел нашу колонну вдоль дворца на Миллионную улицу. Со всех сторон слышались угрожающие крики. Чтобы не допустить самочинной расправы над министрами, которых мы сопровождали, и предотвратить их возможный побег, мы, конвоиры, взялись за руки и образовали сплошное кольцо. Но пробиваться в кромешной тьме сквозь возбужденную толпу было нелегко. Особенно трудно было переходить в темноте через баррикады. Мы спотыкались, застревали, и кольцо разрывалось. С большим трудом выбрались мы на Миллионную. Но там, напротив Эрмитажа, нам преградила путь плотная толпа людей, жаждавшая самосуда над министрами. Никакие уговоры не действовали, создалось критическое положение. Тут появился член ВРК Склянский. Я стоял в голове колонны возле Антонова-Овсеенко и слышал их разговор.

— Я успел уже расставить караульные посты на всей Дворцовой площади,— сказал он Антонову-Овсеенко,— хочешь, я приведу на помощь?

— Хорошо, видишь — нам одним не справиться, — согласился Антонов-Овсеенко.— Ты помоги осадить толпу, а мы тем временем выберемся через проезд на Дворцовую набережную, там легче пройти.

Так и сделали. Выбравшись на набережную, мы торопливо зашагали к крепости. Но, не доходя до Троицкого моста, услышали выстрелы, впереди затарахтел броневик. В темноте нельзя было разобрать, свои или чужие.

— Ложись! — скомандовал кто-то из конвоиров.— Наверное, юнкера. Будем отстреливаться.

Но тревога оказалась напрасной. Это был наш патрульный броневик. Мы вышли на Троицкий мост и пересчитали арестованных. Пятеро куда-то исчезли.

— Сбежали, прохвосты,— возмущались конвоиры,— мы с ними по-человечески, а они вон что делают. Теперь ищи ветра в поле.

— Ничего, разыщем,— успокоил Антонов-Овсеенко,— не иголки, не потеряются.

Свернув с Троицкого моста, мы направились к Петропавловке. На площади перед входом в крепость стояли усиленные караулы. Пока мы объясняли часовым что и как, пока вызывали коменданта, прошло немало времени. А когда нам разрешили пройти в ворота, откуда-то подкатил автомобиль, из него вывели пять человек.

— Принимайте задержанных министров,— сказал сопровождавший.— Сами просили доставить их в крепость, говорят: отстали от своих и потерялись, опасаются народного суда.

— Ненадолго хватило вам храбрости, беглецы,— рассмеялся Антонов-Овсеенко.— Почему так скоро вернулись?

— Мы не беглецы,— обиделся министр Терещенко,— а потерянные вами по дороге и отставшие. Убегать нам сейчас нет никакого резона, могут убить. В крепости безопаснее.

Мы ввели министров в гарнизонный клуб крепости. Антонов-Овсеенко приказал им всем сесть на первые две скамьи, сам прошел вперед к столу. Еще раз переписал их имена, чины и звания, составил протокол и предложил дать подписку о добровольном сложении ими своих министерских полномочий и об отказе противодействовать.

— Но если кто не согласен — может не подписывать, не неволим.

— Нам теперь уже все равно,— пробурчал Вердеревский, резко

распахнув адмиральскую шинель.— Если сам премьер и главковерх Керенский бежал, бросив всех нас на произвол судьбы, то какой же смысл нам сопротивляться, находясь в крепостном заключении? Ведь войска в ваших руках.

Он подошел к столу и размашисто подписался. Вслед за ним подписались и все остальные министры.

— Отвести арестованных в казематы Трубецкого бастиона,— приказал Антонов-Овсеенко,— зачислить в качестве подследственных. Конвоиры могут быть свободны и вернуться в Смольный в распоряжение ВРК.

У ворот крепости мы увидели подходящую группу арестованных, конвоируемых матросами и солдатами.

— Это что за публика? — поинтересовался кто-то из наших.

— Из Гатчинского юнкерского училища,— ответил конвоир.— Они вели несколько рот в Зимний на спасение Керенского, но опоздали. Мы разоружили их и отпустили под честное слово не выступать против большевиков. А эти сопротивлялись, и мы ведем их в крепость, пусть там прочухаются.

Мы вернулись в Смольный. Здесь царило радостное возбуждение. В недавно вышедшем номере газеты «Рабочий и солдат» на первой полосе сообщалось о низложении Временного правительства и переходе власти к Военно-революционному комитету.

Из белоколонного зала доносился звонок, призывавший делегатов II съезда Советов на второе заседание. Первое прошло до захвата Зимнего. Зал заполнился до отказа, но заседание не начиналось: ждали Ленина. На первом заседании он не присутствовал, находился в ВРК. Едва появился Владимир Ильич, его стоя встретили восторженной овацией. Яков Михайлович Свердлов запел своим сильным голосом «Интернационал». Все подхватили. Потом пели «Вихри враждебные», «Вы жертвою пали». Все переживали огромное, радостное волнение.

Съезд дружно принял предложенные Лениным декреты о земле, о мире, об образовании нового, советского правительства — Совета Народных Комиссаров.

Председатель Военно-революционного комитета Николай Ильич Подвойский собрал военных работников, информировал о сложной обстановке.

— Старые министерства,— сказал он,— прекратили работу. Чиновники и служащие разбежались по домам, объявили бойкот советской власти. Все управление огромной разоренной страной сосредоточилось здесь, в Смольном. Центром оперативной жизни становится Военно-революционный комитет. Владимир Ильич требует напряжения всех сил и четкой работы. Она должна быть лучше старой, чиновничьей.

В просторной комнате, занимаемой ВРК, былолюдно. Все вопросы решались прямо на ходу и в большой спешке. Писать было нелегко, да и некогда. Ни канцеляристами, ни стенографистками, ни машинистками ВРК не располагал. Даже важнейшие заседания Совнаркома и ВЦИК некому было стенографировать или записывать. А в Смольный со всех концов России густым потоком хлынули телеграммы, письма, запросы, предложения. Требовали быстрого решения важнейших жизненных вопросов: фронт, борьба с контрреволюцией, продовольственное снабжение, охрана общественного порядка, организация местных органов советской власти. Подвойский отобрал несколько активистов; кивнув на грудупоступившей почты, приказал:

— Ищите столы, стулья, чернильницы, ручки, карандаши, садитесь и разбирайте все до одной бумажки. Сами соображайте, самостоя-

тельно принимайте решения, отвечайте, предписывайте, распоряжайтесь. Сами видите — другого выхода нет, решать пока больше некому.

К Подвойскому подошел какой-то солдат и, настойчиво перебивая других, сказал, что он приехал из Царского Села по очень важному делу.

— Говори, я слушаю, — обернулся к нему Подвойский.

— Я радист с царкосельской радиостанции, — сказал он, — привез перехваченную радиограмму немецкого командования.

— Это очень важный вопрос. Пойдем к Ленину, доложишь ему непосредственно. А ты, — обернулся ко мне Подвойский, — составь побыстрее список продовольственных запасов, надо немедленно взять их под контроль.

Когда Подвойский и радист ушли, я взял пачку разных бумаг, пристроился к столу и занялся подсчетом продовольственных запасов... За другими столами тоже трудились над бумагами привлеченные красногвардейские и солдатские активисты, громко советуясь друг с другом по разным вопросам. Все мы — не искушенные в канцелярских делах — с большим трудом разбирались тогда в них. От этого усиливались шум и толчея.

— Тише, товарищи, ничего не слышно! — обратился к ним Подвойский, вернувшись от Ленина вместе с радистом, и, обращаясь к нему, спросил: — Ты хорошо понял, что поручил тебе Владимир Ильич? Сегодня же передай в эфир принятые съездом декреты и систематически информируй нас о радиопередачах.

Едва успел Подвойский освободиться, пришел управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

— Обнаглевшие уголовники, вырвавшиеся из тюрем и поощряемые контрреволюционерами, — рассказал он, — устраивают массовые грабежи, — надо принимать решительные меры.

— Что ты предлагаешь? Неужели ВРК должен заниматься еще и борьбой с бандитизмом?

— Я только что от Владимира Ильича. Он предложил нам вместе заняться этим — больше некому. Ты передай в мое распоряжение подчиненные ВРК рабочие тройки на предприятиях, мы их мобилизуем на борьбу с бандитизмом.

Подвойский и Бонч-Бруевич быстро договорились о совместных действиях. Освободившись, Подвойский подошел ко мне, заинтересовался подсчетом продовольственных запасов.

— Не густо, Николай Ильич, — сказал я, разложив перед ним свои записи. — На казенных складах тридцать тысяч пудов, у купцов припрятано полмиллиона пудов.

— Значит, всех запасов на десять дней из расчета по фунту на едока.

— Выходит, так. На разных ближайших станциях застряло еще с миллион пудов, но где именно — точно неизвестно, надо разыскивать.

— Трудное положение. — Подвойский нахмурился. — Чем же кормить столицу, армию? Каждый день требуется, даже по голодной норме, не менее полмиллиона пудов, а поступает не более двадцати тысяч. Капля в море. Пойду доложу Владимиру Ильичу.

Вернувшись, Подвойский позвал А. С. Бубнова и К. А. Механошину, рассказал о трудном продовольственном положении.

— Владимир Ильич советует, — заключил он, — немедленно послать две-три тысячи стойких матросов, красногвардейцев, солдат добывать хлеб на складах, на железных дорогах, в хлебных районах, всюду, где только можно.

— Но очень опасно в нашей острой обстановке снимать две-три тысячи лучших бойцов с боевых операций, — возразил Механошин. — Каждый боец нужен для борьбы с контрреволюцией.

— Это же сказал я и Владимиру Ильичу. А он ответил, что голод страшнее любой контрреволюции. С ним — никаких маневров, он сразу душит насмерть, всех поголовно. Не победим голод — не победим и контрреволюцию. Надо немедленно посылать продовольственные отряды, чего бы это ни стоило.

В тот же вечер Подвойский собрал членов Военно-революционного комитета, информировал о концентрации контрреволюционных группировок в районах Гатчины и Царского Села.

После недолгого обсуждения решили рекомендовать Совнаркому переименовать военную коллегию в военно-морской комитет и расширить его до девяти членов. Крыленко оставлялся председателем. Ему в заместители рекомендовали Склянского — бывшего комиссара 5-й армии. Дыбенко предложили именовать народным комиссаром по морским делам. Обязанности народного комиссара сухопутных войск возложили на Подвойского (не освобождая от обязанностей председателя ВРК). Заместителем к нему рекомендовали Еремеева. Антонову-Овсенко поручили командование Петроградским военным округом. На остальных трех членов комитета — Механошина, Васильева, Лазимира — тоже были возложены определенные обязанности.

— Время крайне тревожное, — заключил Подвойский, — дорог каждый час. Сейчас же доложу Владимиру Ильичу о нашем решении. Будьте готовы без замедления приступить к своим обязанностям.

На следующий день у Смольного собралась огромная толпа богатых петроградцев. Они требовали разрешения на выезд из столицы с имуществом — на поездах, на автомашинах, на извозчиках.

— Что это вы словно побесились все вдруг? — возмущались часовые. — Почему вдруг приспичило вам выезжать из столицы?

— Погибайте здесь сами, а мы не хотим, — кричали напуганные обыватели. — Не сегодня, так завтра Керенский приведет войска, начнется такой бой, что все погибнут. Давайте скорей пропуска!

Ларчик открывался просто. Оказывается, над Петроградом были сброшены с самолета контрреволюционные листовки. В них Керенский извещал, что его войска заняли Гатчину (тридцать верст от столицы) и идут уничтожать советскую власть. Керенский призывал столичным войскам покориться и сложить оружие на Марсовом поле. За это он обещал полное прощение. Иначе грозился открыть по городу ураганный артиллерийский огонь и уничтожить непокорных. В Смольном никому пропусков, конечно, не выдали, а паникерам пригрозили трибуналом.

В помещение ВРК вошли встревоженные Подвойский, Крыленко, Дыбенко, Овсенко. По их разговору было видно, что они от Ленина.

— Положение весьма критическое, — говорил Подвойский, продолжая начатый ранее разговор. — На Дону взбунтовался против нас Каледин. Из Москвы идут тревожные вести о готовящемся мятеже. У нас под носом Керенский и Краснов сконцентрировали свои силы в Гатчине. Надо быстрее кончать с ними.

— Покончить с ними было бы нетрудно, если бы не вражеская пропаганда в столичном гарнизоне, — заметил Крыленко. — По моим сведениям, ведется усиленная вражеская пропаганда в полках за нейтралитет — уговаривают не помогать ни Керенскому, ни большевикам. Хитро задумано. Хотят парализовать наши силы.

— Это значит, товарищи, — заметил Дыбенко, — что медлить нельзя ни минуты. Надо тотчас выполнить указание Ленина. Я и Овсенко

сейчас же отправляемся под Гатчину, будем организовывать решительный отпор белым. А вы,— обратился он к Подвойскому и Крыленко,— любыми средствами поднимайте столичных солдат и двигайте нам на помощь. Воззвание Владимира Ильича «Революция в опасности, все на защиту революции» поможет вам убедить солдат.

— Так и сделаем,— согласился Подвойский.— Я сейчас же еду к волынцам, не вернусь, пока не двину их на фронт.

— А я поеду уговаривать бронедивизионцев,— сказал Крыленко.— У них сейчас митинг в Михайловском манеже. Да вот заболел не вовремя, шатает меня.

— Действительно, Николай Васильевич, выглядишь ты очень плохо. Возьми с собой оруженосца,— кивнул Подвойский на меня.— В крайнем случае поможет вернуться домой, если свалишься.

Вместе с Крыленко я вышел на улицу, мы сели в автомашину и помчались в Михайловский манеж. Он был переполнен. Командир броневых частей поручик Ханжонов ратовал за нейтралитет, призывал воздержаться в такое смутное время от выступления против Керенского.

— Пока неизвестно, кто прав — большевики или Керенский,— говорил он.— Подождем, посмотрим, чья возьмет, а тогда решим.

— С каких пор неустрашимые бронедивизионцы стали трусами? — крикнул возмущенный Крыленко.— И не стыдно вам смотреть, как белая банда душит революцию и хочет вернуть старый, ненавистный строй?

— Не слушайте, братцы, узурпатора,— завопил какой-то прапорщик.— Это большевистский комиссар, он хочет взбаламутить вас.

— Да, я народный комиссар Крыленко,— еще громче продолжал Николай Васильевич.— И никакой продажный прихлебатель не заставит меня замолчать. Вы, товарищи, обязаны меня выслушать.

Раздались крики солдат:

— Мы слушаем, товарищ Крыленко!

— Говори!

— Не мешайте ему говорить!

Крыленко с трудом поднялся на броневик, машинально расстегнул шинель, снял шапку. Все увидели, как смертельно устал этот человек. Откашлявшись, он с натугой, хрипло проговорил:

— Извините, товарищи, за нескладную речь. Четыре ночи не сплю, еле держусь на ногах. Но не до сна сейчас. Белые банды хотят задушить революцию. Преступно взирать на это спокойно. Мы объявили закон о мире. Но этот мир надо отстоять своей кровью, разбив белые банды. Если не хотите возврата старого режима, если жаждете мира, то надо сейчас же идти на подавление белых банд.

— Не уговаривай, Крыленко! — крикнул тот же прапорщик.— Мы уже решили держаться нейтралитета. Никуда не пойдём.

— Держаться нейтралитета? Но по отношению к кому? — повернувшись к нему, гневно спросил Крыленко.— Разве не ясно, что идет смертельная борьба двух непримиримых сил? На той стороне — эксплуататоры и их прихвостни, на этой стороне — трудовой народ, сбросивший ярмо эксплуатации. Середины нет. Либо одни, либо другие. С кем же вы, бронедивизионцы? Сейчас в ваших руках дело революции. Либо защитите ее, либо предадите...

Совершенно обессиленный, Крыленко замолк, весь побелев, и, теряя сознание, он едва не упал. Его подхватили и опустили на пол. Но его речь уже произвела огромное впечатление. Несколько мгновений стояла тишина. И вдруг разразилась буря — ругали смутьянов, звали помогать большевикам.

— Сми-и-рно! — скомандовал вскочивший на броневик какой-то бронедивизионец. — Криком мы ничего не решим. Проголосуем строем. Кто за немедленное выступление на фронт вместе с большевиками против белой банды — становись влево. Кто за шкурный нейтралитет — становись вправо.

Солдаты двинулись влево. На правой стороне осталось десятка два, не больше. Им предложили немедленно убираться с глаз долой.

— А теперь, братцы, час на подготовку машин — и на фронт, — скомандовал все тот же бронедивизионец. Обращаясь к оправившемуся Крыленко, отрапортовал: — Броневойска в твоём распоряжении, товарищ народный комиссар. Приказывай, куда направляться.

— Сейчас одно направление, — ответил Крыленко, — Гатчина. Пошлите вперед разведку, по дороге найдите Дыбенко, он более точно укажет участок и определит задачу. Во что бы то ни стало надо разгромить керенско-красновские банды.

Из Михайловского манежа мы вышли под проливным дождем. Я помог Крыленко дойти до машины. Он приказал шоферу заехать в штаб округа. Там, у большого стола, заваленного топографическими картами, сгрудились усталые, промокшие Подвойский, Склянский, Еремеев, Механошин. Они подсчитывали силы, направляющиеся в Гатчину. Изнуренный до крайней степени Антонов-Овсенко безучастно сидел в кресле, положив голову на стол. Крыленко, опираясь на меня, подошел и сел на подоконник, силясь понять, о чем говорят у стола. Вошел Свердлов и передал просьбу Владимира Ильича уточнить фронтную обстановку.

После короткого обмена мнений Военный совет принял решение назначить Н. И. Подвойского командующим войсками Петроградского округа и, срочно изучив обстановку, доложить Ленину.

Крыленко и Овсенко едва держались на ногах и по приказу Подвойского отправились на машине ко мне домой поспать. С трудом сбросив шинели, они повалились на кровати и сразу же заснули. Пришлось с сонных стаскивать башмаки.

На рассвете нас разбудил колокольный перезвон — был какой-то праздник. Наскоро проглотив по стакану чаю, мы заторопились в Смольный. Подвойский уже успел перевести штаб округа в помещение ВРК и назначить Еремеева начальником штаба. Членов ВРК он разослал в воинские части для отправки их на фронт. Механошин, Гусев и Чудновский уже выехали на наиболее опасные участки фронта и возглавили наступающие части против красноско-керенских войск. Сам Подвойский занялся организацией подавления только что начавшегося контрреволюционного мятежа юнкерских училищ.

— Отдохнули? — спросил он Крыленко и Овсенко. — Тогда беритесь за дело, тут прибавилась новая работа — надо быстро ликвидировать взбунтовавшихся юнкеров.

Подвойский рассказал, что ночью сторож Михайловского военного училища сообщил о сговоре юнкеров поднять мятеж и очистить путь Керенскому. Наш патруль захватил юнкерского вестового с приказом о начале мятежа. Условный сигнал — утренний колокольный звон. Как только затрезвонят в церквях — все юнкерские училища должны выступить.

— Кое в чем мы успели их предупредить, но не во всем, — пояснил Подвойский. — Им удалось захватить Центральную телефонную станцию. Мы приняли меры для подавления.

Вскоре начальник штаба Еремеев доложил Подвойскому, что получены донесения от Благодрава о захвате им у юнкеров инженерного училища, особняка Кшесинской и Михайловского манежа.

— Пока еще держатся Павловское и Владимирское училища на Петроградской стороне,— докладывал Еремеев.— Юнкера там сильно укрепились: у них пулеметы, они стреляют изо всех окон и чердаков. Благонравов требует подкрепления. Сформирован дополнительный красногвардейский отряд и ему придана артиллерия.

К полудню с юнкерами было покончено. Они были обезоружены и заключены под стражу. Но пришел красногвардеец и сообщил, что в Спасском районе скопились группы убежавших из училищ юнкеров и офицеров, они захватили Антонова-Овсеенко и, владея броневиком, продолжают удерживать телефонную станцию. Овсеенко, правда, ухитрился расколоть мятежников, организовал из части отряд добровольцев и требует небольшого подкрепления, чтобы сокрушить сопротивляющихся. Подвойский послал Благонравова с его отрядом закончить операцию и в Спасском районе. К вечеру мятеж был ликвидирован полностью.

Е. Е. ШАРОВ

Ефим Ефимович Шаров (Ефимов) (1891) — студент Межевого института, преподаватель военно-автомобильной школы, член Петроградского Совета, делегат II и III Всероссийского съезда Советов, комиссар ВРК, член партии с 1912 года; сотрудник «Правды», редактор разных газет, ныне персональный пенсионер.

Всразнительно небольшую комнату Военно-революционного комитета вела дверь из огромного зала, где обосновалась солдатская секция Петроградского Совета. Через этот зал беспрерывно сновали люди, направлявшиеся в ВРК.

Вразвалку прошел член ВРК Лашевич — высокий, полный, в шерстяной солдатской гимнастерке с унтер-офицерскими нашивками, похожий на штабного писаря. Лашевич в эти дни был назначен петроградским комиссаром по охране складов со спиртным в целях борьбы с пьяным дебоширством. Энергично прошел Склянский — член коллегии Комиссариата по военным делам, в серебряном пенсне и в шинели с погонами военного врача. Прошел в своей серой длинной шинели Николай Подвойский — председатель ВРК и член тройки, руководившей восстанием.

Меня тоже вызвали в комитет. За столом справа — неугомонный, пышущий энергией юноша — заместитель председателя Военно-революционного комитета Лазимир, левый эсер. Он что-то с пафосом доказывает группе матросов. В глубине комнаты, поодаль от стола, взлохмаченный, очкастый Антонов-Овсеенко в черной измятой шляпе, весь в клубах табачного дыма о чем-то спокойно рассуждает с незнакомым молодым человеком, видимо иностранцем. На шее иностранца поверх темно-серого пальто — большой светло-желтый пуховый шарф. На ногах ботинки с накрученными до колен черными обмотками, какие носили тогда и наши солдаты в некоторых родах войск. На голове иностранца — серая огромная кепка. Он силится что-то сообщить Антонову, мешая исковерканные русские слова с английской речью. Позднее я узнал, что это был американский журналист Джон Рид, автор «Десяти дней, которые потрясли мир». В тот момент, как мне объяснили, Рид только что вернулся из Гатчины, куда вели наступление войска Керенского.

Потеряв надежду дожидаться конца спора Лазимира с матросами, подхожу к нему и называю себя. Оказывается, для меня уже заготовлено назначение.

— Не могу же я оставить свою часть. Ведь я уже назначен комиссаром в автомобильные войска,— пытаюсь возражать.

— Но Семеновский же полк с вами рядом... Тоже на Семеновском плацу... Это очень серьезное дело. Ведь семеновцы ненадежны. Постарайтесь всех их двинуть против Керенского!.. Да и послать больше некого... Все люди уже распределены...

— А как же автомобильные части, как броневики?! — начиная уступать, говорю я.

— У вас там все идет хорошо... Поставьте там заместителя, а сами — к семеновцам. Это только на несколько дней, пока прогоним Керенского.

И Лазимир вручил мне путевку — удостоверение революционного комитета, подтверждающее мое назначение комиссаром в Семеновский полк, подписанное им как заместителем председателя ВРК. Это было 27 октября.

Ночь на 28 октября я провел в Семеновском полку. Семеновский лейб-гвардии полк оставил пролетариату черную по себе память: он подавлял первую русскую революцию. Хотя на полковом митинге семеновцев 25 октября и было вынесено решение присоединиться к восставшему пролетариату, но недоверие к Семеновскому полку все же сохранилось.

Прибыв в полк, я предъявил назначение ВРК. Встретили меня недружелюбно.

— Нам не требуется комиссаров. Мы за революцию,— сказал кто-то.

Я сделал вид, что не слышу этих слов и не замечаю недоуменных взглядов членов полкового комитета. Я уже знал, что решительность действий в такой обстановке — главное.

Отдельные роты Семеновского полка накануне вместе с другими частями были двинуты для отражения наступающих на Петроград контрреволюционных войск, возглавляемых генералом Красновым.

Выполняя указание ВРК, я открыл «непрерывное заседание» полкового комитета на случай необходимости принятия важных решений. Вышла заминка с председательствованием. Дело в том, что вместе с отдельными ротами семеновцев на фронт выехала и половина членов комитета, включая председателя. Воспользовавшись этим обстоятельством, я принял на себя руководство заседанием. Помню, кто-то недостаточно решительно предложил избрать председателя «на данное собрание» (эта фраза в то время была очень популярна). Но так как я уже приступил к информации о «текущем моменте» (этот термин тоже родился в дни революции), то вопрос о председателе разрешился сам собой..

Помню огромный продолговатый зал. В одном конце этого несуразного помещения стоял длинный стол, часть которого была покрыта красным сукном. Было ли это помещение офицерским собранием или солдатской столовой, сказать трудно. Стол упирался в сцену. Красный, с аляповатой росписью занавес был опущен. Вероятнее всего, это был зал офицерского собрания.

На столе стояло два телефона. Но связаться с кем-либо не представлялось возможным: начался саботаж служащих телефонной станции.

В противоположном конце зала зияла пустотой огромная золоченая рама с имперским гербом. В этой раме был прежде портрет Николая Романова. Но целая галерея портретов размером поменьше, тоже в золоченых рамах, висящих на обеих стенах зала, осталась нетронутой.

У меня было достаточно времени, чтобы все это подробно рассмотреть. «Беспрерывность» заседания свелась в конце концов к мирной беседе на всякие житейские темы.

Время тянулось очень медленно.

Телефоны не работали. С ВРК, да и с фронтом связь была окончательно потеряна. Я предложил для связи с фронтом выделить трех надежных солдат, которые на автомашине могли бы добраться до Гатчины: и там увидеться с членами комитета семеновцев. Не помню, нашлась ли машина у самих семеновцев или же я выделил ее из своей автомобильной части, но так или иначе связь с фронтом была налажена. А вот от Смольного мы так и оставались отрезанными. Выехать сам туда я не решался, боясь оставить без руководства полковой комитет, в твердость которого не очень верил.

С фронта пришли тревожные вести. Гатчина была в руках Керенского. Он стал засыпать Петроград телеграммами и телефонограммами, приказывавшими то сложить оружие, обещая прощение, то угрожавшими карами непокорному Петроградскому гарнизону. Сначала было непонятно, как могли контрреволюционеры пользоваться захваченными ВРК телеграфом и телефоном. Но все оказалось просто: саботирующие чиновники с радостью наладили для Керенского связь.

Всякий «приказ» Керенского я читал сначала сам, про себя, соображая — показывать или нет его другим членам полкового комитета. Но скрывать было невозможно. Это вызвало бы подозрение, и я оглашал их всем участникам заседания, наблюдая, какое впечатление производят эти приказы на них.

Среди участников заседания было несколько бородачей, может быть, помнивших московские события 1905 года, а может, и принимавших участие в подавлении московского вооруженного восстания. Я видел, как некоторые не решались высказывать осуждения саботажникам-связистам.

К середине ночи с фронта поступили еще более мрачные вести: взяв Гатчину, Керенский двинулся к Царскому Селу и Пулкову.

Приехали на машине посланные нами три солдата.

— Плохи дела, товарищи! — в один голос заявили они. — Керенский движется на Петроград. Теснит наши части. Полк наш волнуется, колеблется. Давайте принимать решение, иначе солдаты сами сложат оружие.

— Решение уже было принято двадцать пятого октября. Отступление от этого решения будет изменой революции, товарищи, — резко возразил я.

— Тогда я больше не поеду на фронт! — заявил один из связных.

— Ну, хорошо. Мы будем считать вас дезертиром со всеми вытекающими отсюда последствиями, — опять спокойно и твердо сказал я.

Из двух десятков заседавших меня поддержали только человек пять. Пришлось маневрировать. Я предложил подождать до утра — может быть, поступят какие-либо распоряжения от ВРК. Мне хотелось выиграть время, но оставлять семеновцев и ехать в Смольный я по-прежнему не решался.

Телефоны продолжали молчать.

В это время за Московской заставой питерские рабочие возводили укрепления. На заводах мобилизовались все красногвардейские части и вместе с матросами и надежными частями гарнизона направлялись навстречу обманутым Красновым и Керенским контрреволюционным отрядам.

Около Пулкова они отразили наступление мятежников, и те отступили обратно к Гатчине. Через два дня с отрядами генерала Краснова было заключено перемирие, а Керенский бежал.

Б. Е. ЭТИНГОФ

Борис Евгеньевич Этингоф (1887—1958)— профессиональный революционер, член партии с 1903 года, участник первой русской революции, делегат II съезда Советов, участник штурма Зимнего, в дни Октября — член редколлегии «Известий», затем участник гражданской войны, деятель народного просвещения, дипломат, редактор.

В дни октябрьского переворота, когда я прибыл с фронта в Петроград делегатом на II Всероссийский Съезд Советов, мне предложили работать в газете «Известия». Редакция к тому времени полностью перешла в руки большевиков.

Помещались «Известия» в Смольном, и мы часто видели у себя В. И. Ленина.

В памяти отчетливо всплывают некоторые эпизоды из редакционной жизни, связанные с Ильичем.

В первые дни после 25 октября телефонная связь с Москвой была нарушена. Тщетны были многочисленные наши попытки связаться с Москвой и получить информацию о происходящих там событиях. Как вдруг ночью зазвонил телефон, висевший на стене у моего столика. Я снял трубку и услышал приглушенный расстоянием голос:

— Говорит Москва, просим к телефону Владимира Ильича...

Первый звонок из Москвы!

— Подождите, товарищи, сейчас позову! — крикнул я в трубку и стремглав бросился искать Ленина.

Ю. М. Стеклов закричал мне вслед:

— Владимир Ильич сейчас у себя наверху!

Я помчался туда. Ленин сидел в кабинете за работой. Там же было еще несколько человек.

— Владимир Ильич, вас просят к телефону из Москвы!

Владимир Ильич сразу же встал и пошел своей обычной быстрой походкой. Я с трудом поспевал за ним.

— Ну да, товарищи,— взволнованно и радостно заговорил Ленин,— я у телефона... Поздравляю с победой.

Владимир Ильич сказал затем, что установление советской власти в Москве предreshает окончательную победу во всей стране. Он попросил сейчас же дать подробное донесение о ходе событий, чтобы опубликовать его для сведения всех.

Обращаясь к нам, Владимир Ильич попросил застенографировать сообщение москвичей и сегодня же сдать в набор.

А был и курьезный случай. Однажды рабочий отряд при занятии какого-то учреждения захватил и доставил в Смольный большой слиток золота. Не зная, кому именно в Смольном надлежит сдать эту находку, красногвардейцы занесли его в редакцию. Небрежно заявив: «Примите золото»,— они бросили слиток у самой двери и ушли. Секретарь редакции с трудом поднял слиток, рассмотрел и, спокойно заявив: «Да, действительно золото»,— положил его обратно на пол. Так он пролежал несколько дней. Многие, торопливо входя и выходя, спотыкались об этот слиток и, выругавшись, бежали дальше. Ни у кого не было времени заняться

золотом и сдать его по принадлежности. В один из таких дней Владимир Ильич поспешно вошел в редакцию и тоже споткнулся.

— Что это за камень и к чему он здесь? — последовал вопрос.

Секретарь редакции смущенно ответил:

— Это, Владимир Ильич, патрульные принесли и положили сюда слиток золота.

— Золото? Неужели лучшего применения, как ломать об него ноги, вы не придумали, товарищи писатели? Я думаю, что следует немедленно сообщить в Наркомфин, забрать его отсюда, чтобы спасти ваши ноги, пока они еще целы.

Слиток был немедленно перенесен в помещение Наркомфина в том же коридоре — в соседнюю комнату. Там он снова нашел себе приют на полу у стены и пролежал довольно долго, пока про него опять не вспомнили и не сдали, наконец, в кладовую банка.

Типография бывшего издательства «Копейка», в которой печатались «Известия», находилась на самом конце Лиговки, где по ночам бывало очень беспокойно. Редакция не имела тогда своей машины, и всякий раз начинались поиски автомобиля для отправки выпускающего с материалом. Помню, как часто обращались мы с просьбой дать машину, хотя бы на один час, к находившимся в это время в редакции наркомам, членам Президиума ВЦИК.

Нередко нам приходилось получать отказ под предлогом, что машина занята или срочно нужна. Но не помню случая, чтобы Владимир Ильич (а мы и к нему обращались с такой просьбой) отказал в этом. Он всякий раз с готовностью разрешал взять машину, непременно добавляя: «Не забудьте захватить с собой такого-то, он просил доставить его туда-то».

...Вспоминая события Великого Октября, непременно вспоминаешь и встречи с Лениным — до того его образ, его кипучая энергия, его вездесущая, направляющая воля были слиты с великим порывом революционных рабочих, потрясших в эти дни весь мир.

А. П. СПУНДЭ

Александр Петрович Спундэ (1892—1962) — сын рабочего, большевик-подпольщик с 1909 года, подвергался репрессиям царского правительства. В 1917 году — член бюро Пермского и Уральского областных комитетов РСДРП. После Октября — на ответственной партийной и советской работе (член правления Госбанка, член коллегии Наркомфина и НКПС). С 1931 года персональный пенсионер.

В конце октября семнадцатого года в составе уральской делегации я выехал в Петроград на II съезд Советов. Уже чувствовалось приближение новой революционной грозы, и многое из того, что произошло в те дни, врезалось в память на всю жизнь.

Через день или два после приезда в Питер я попал на совещание делегатов предстоящего съезда с руководителями старого ЦИК. Вожди меньшевиков и социалистов-революционеров, поднятые февральской революцией, выступали на нем со своими по сути дела последними речами, всеми силами стараясь остановить грозные события, приближение которых они отчетливо понимали. Но они были лишь на чувства, пугая катастрофой, с которой встретится страна, если власть перейдет к Советам. Никакой положительной, а главное, действенной программы они не выдвигали, и это больше всего отталкивало от них слушателей. Мар-

тов, выступавший от имени меньшевиков-интернационалистов, на словах был за власть Советов, но резко возражал против методов, которыми действуют большевики, то есть против реальной борьбы за эту власть. На этом совещании уже безраздельно властвовали большевистские ораторы.

Лод революции 1917 года, в полном соответствии с прогнозом большевиков, показал, что реально способны бороться за власть лишь рабочий класс и его авангард — партия большевиков. Поэтому программа меньшевиков и эсеров оказалась нежизнеспособной и апелляция к чувствам осталась единственной возможностью для тех, кто не сумел подняться до сурового и ясного анализа событий.

На совещании, о котором я рассказываю, царил дух глубокого раскола. В этом расколе был теперь единственный путь спасения революции. Но это был путь через раскол к созданию потом, после прочной победы, последовательного революционного единства тех, кто готов отстаивать революцию до конца, с теми, кто готов принять совершившуюся революцию, сочувствовать и помогать ей. Так воспринимали сложившуюся обстановку многие из нас, большевиков, участников совещания, и это усиливало нашу веру в победу.

В Смольном большевистских делегатов немедленно после регистрации включали в работу по организации восстания. Меня в ночь с 24 на 25 октября направили в гарнизон Красного Села, настроения в котором вызывали опасения. Приехал я туда уже вечером и сразу направился в полковой комитет, где мне наотрез отказали в организации митинга. Я решил против мнения комитета не идти и солдат не будоражить. Я не имел никакой зацепки в солдатской массе и не знал ее настроения, поэтому выступление могло привести к отрицательному результату. Я просидел в полковом комитете до последнего поезда, и только убедившись, что настроение у членов комитета нейтральное и что в решающую ночь гарнизон ни в коем случае не выступит против нас, вернулся в Петроград, чтобы к открытию съезда быть на месте.

Утром 25 октября я встретил в коридоре Смольного старого партийца Филиппа Голощекина и узнал от него, что на заседании в актовом зале будет выступать Ленин. Я поспешил туда и здесь впервые увидел его.

Помню, как будто это было вот только что, первую фразу его речи: «Сегодня начинается социалистическая революция». Само содержание речи я настолько забыл, что даже помещенный в сочинениях Ленина ее газетный пересказ ничего не будит в моей памяти. Приведенных мною слов в этом пересказе нет, но именно их я и помню, как будто это было сказано сегодня.

Когда я услышал слова: «Сегодня начинается социалистическая революция», — это было неописуемо радостно и в то же время неожиданно.

События глубокого значения воспринимаются как неожиданность даже в тех случаях, когда человек их ждет и чувствует их приближение. Так было с известием о февральской революции. Приближение грозы чувствовалось тогда весьма отчетливо целые месяцы, но известие о самой революции все же показалось сказочно неожиданным. Еще более сильным оказалось это чувство в момент начала Октябрьской революции.

С первой же минуты после свержения романовской монархии социалистическая революция стала моей непосредственной, всепоглощающей жизненной задачей. Мы, работавшие на нее, осознавали и чувствовали нарастание шансов ее победы в ближайшем будущем, и все же я не помню никого, кто мог бы после февраля на основании анализа предвидеть,

что сроки ее прихода измеряются месяцами и что после ее победы большевики окажутся ее единственными руководителями. И когда Ленин констатировал начало социалистической революции, как всегда придав самому значительному смыслу простую, без малейшей фразы, форму, чувство радостной неожиданности захватило меня целиком.

Говорил он просто, ни в чем, даже самом малейшем, не ставя себя над массой, над слушателями. Его речь была сильна тем, что она отражала глубокую убежденность в правоте и в то же время обосновывала эту убежденность громадной силой аргументов. Ни одного слова, ни одного жеста, бьющего только на чувства. Речь была страстная и в то же время глубоко обоснованная анализом, аргументами.

На душе было необычайно радостно. Начинается эра такой организации человеческого общества, где не будет причин для взаимного отчуждения людей, где лучшие качества человека получают все условия для своего полного развития, где правда в историческом смысле этого понятия будет полностью совпадать с правдой в ее конкретном человеческом содержании. Что может дать большую радость, чем участие в борьбе за победу, укрепление и развитие такого общества!

В этот момент мы особенно ярко чувствовали себя наследниками всех поколений борцов за подлинное освобождение людей. Перед нами вставали поколения русских революционеров — вожди крестьянских революций, декабристы, герои «Народной воли». Великие революции прошлого — английская, французская, гражданская война в Америке — были окружены в нашем сознании ореолом глубокого уважения. Велика была наша любовь и признательность к таким людям, как левеллеры в Англии, якобинцы во Франции, заплатившим жизнью за опыт уничтожения эксплуатации человека человеком во всех ее формах. Мы действовали, опираясь уже на их плечи, знали, что самая великая буржуазная революция есть лишь переходная ступень к новому опыту построения бесклассового общества и были полны уверенности, что наш опыт осуществим, что его успешное завершение вполне возможно.

Поэтому четкая ленинская констатация того факта, что проведение такого гигантского по своим масштабам и последствиям опыта началось, захватила меня целиком, создала редкую приподнятость. И это несмотря на то, что ехал я в Петроград и пришел в Смольный именно для того самого, о чем говорил Ленин. Когда в сознании была оборвана последняя ниточка между подготовкой к революции и ее началом, это было переживанием такой глубины, какое едва ли повторимо в жизни одного человека.

Вечером в напряженной обстановке открылся II съезд Советов. Я был весь в состоянии огромного душевного подъема. Так началась эта исключительная по своему значению ночь.

Делегаты левого крыла съезда (левого по своей политической позиции, ибо места территориально не распределялись и каждый делегат или каждая группа делегатов садилась на свободные места по своему выбору) были авангардом народных масс. Это были рабочие, солдаты, матросы, интеллигенты, близкие к этим массам, полные решимости стойко и беззаветно бороться за власть Советов. Весь Петроград был уже в руках Военно-революционного комитета, и только Зимний дворец с Временным правительством был окружен, но еще не взят.

На собрании большевистской фракции, которое состоялось за несколько часов до открытия съезда, легко и быстро прошли все предложения ЦК о конституировании съезда — порядок дня, президиум и т. д. В бюро большевистской фракции съезда были выбраны трое: Ларин, я, третьего не помню. Оно так ни в чем себя и не проявило. И это только к пользе дела. В такой острый момент было лучше, чтобы действовало

непосредственно то ядро ЦК, в руках которого были все нити восстания. Решение о восстании принято, оно поддержано всем, что есть живого и влиятельного в партии. Все дело теперь в возможно более быстрых и всеохватывающих действиях. Бесплезно, а то и прямо вредно устраивать лишние заседания, лучше застраховаться даже от малейшего шанса двоецентрия. Насколько я помню, ни большевистская фракция съезда, ни бюро этой фракции формально ни разу не собирались. Происходили лишь совещания отдельных групп делегатов-большевиков по отдельным вопросам, возникавшим в ходе съезда. Мои личные качества ЦК тогда не могли быть известны, кто был третий член бюро — петроградец или приезжий, я не помню, а к Ларину Владимир Ильич не мог не относиться с настороженно, учитывая его совсем недавний меньшевизм.

Обстановка на съезде была нервной: отражалась происходившая за его стенами историческая драма. Открывавший съезд Дан держался внешне спокойно. Страшно волновался глубоко убежденный в своем антибольшевизме Мартов. Когда раздался первый холостой выстрел «Авроры», возвестивший о начале захвата Зимнего дворца, он, сильно волнуясь, выступил с заявлением о том, что, если солдатские штыки направляются в грудь министров-социалистов, подлинные социалисты (он имел в виду эсеров и меньшевиков) не могут молчать в этих условиях. На подавляющее большинство участников съезда апелляция Мартова не оказала почти никакого влияния. Даже среди самих меньшевиков и эсеров по этому вопросу не оказалось единства, а для нас это был решенный вопрос, ибо пропасть между нами и министрами-социалистами была уже непреодолимо велика. Но было внутренне тяжело видеть, что люди, бывшие еще недавно нашими товарищами в борьбе с царизмом, искренне считающие себя защитниками народа, уходят из блещущего огнями Смольного в темный, скупо освещенный город.

Почти всеобщей была у нас в этот момент психология суровости, решимости не останавливаться перед крайними мерами, если это необходимо для победы, но всем нам хотелось избежать пусть хоть одной не абсолютно необходимой жертвы. Это объяснялось не только атмосферой общего душевного подъема, проявления лучших человеческих качеств, но и глубоким пониманием того, что наше теперешнее отношение не только к врагам, но и к колеблющимся, к заблуждающимся скажется на всем дальнейшем ходе первого в мире социалистического переворота.

Доклад Ленина о мире я слушал с напряженным вниманием. Все мы чувствовали и осознали, что съезд от имени рабочих и солдат не только кончает с участием в империалистической войне, но и закладывает основы международных отношений нового типа, построенных на интернациональной солидарности трудящихся. Мы отдавали себе ясный отчет, сколь трудной будет борьба, которую мы теперь поведем дальше уже как социалистическое государство против еще гигантски сильного империализма. Поэтому я с глубоким удовлетворением отметил у Ленина сочетание последовательности в разрыве с империализмом и решение использовать малейший шанс для облегчения этого дела. Ленин в своем докладе сформулировал последовательно антиимпериалистическую программу мира, но сразу прибавил, что Советское правительство не считает свои условия ультимативными и готово вести переговоры и на иной основе.

Еще сильнее было впечатление от доклада о земле, в котором отразилось отношение большевиков к нуждам крестьян. Большевики в течение всех революционных месяцев делали попытки нащупать почву для создания отдельной организации сельскохозяйственных рабочих. Тогда могла бы появиться база для сохранения и немедленного развития

после революции крупного сельского хозяйства. Что успех или неуспех в этом деле в огромной степени определит, насколько велики будут трудности, через которые пролетарской революции придется пройти после победы, было ясно всем. Но опыт показал, что в условиях тогдашней России пролетарская революция может победить, лишь взвалив на свои плечи тяжелую ношу мелкого земледелия, поскольку реальный союз с крестьянством оказался возможным лишь на основе практически полного раздела помещичьей земли на мелкие и мельчайшие крестьянские наделы. И то, что Ленин построил Декрет о земле полностью на основе крестьянских наказов, вновь продемонстрировало всю силу его таланта.

Крестьяне сами сформулировали наиболее последовательную программу антифеодальной аграрной революции: национализацию земли и решительный «черный передел».

И вот на съезде у меня не исчезало чувство гордости за нашу партию, которая из правильного принципиального курса на крупное земледелие не сделала ни на минуту книжной, сектантской доктрины. Для меня было совершенно неоспоримо, что надо безо всяких колебаний идти на эту форму союза с крестьянством, хотя она, облегчая в громадной степени победу революции, в то же время создает ей исключительные трудности в деле закрепления победы социализма и решения его основных задач. Даже тогда, в октябре 1917 года, когда мы все были полны уверенности в непосредственной близости пролетарской революции в Европе, особенно в Германии, мы отдавали себе ясный отчет в этих трудностях. Мы понимали, что наше решение земельного вопроса, будучи гигантским прыжком вперед на данном этапе, в то же время создает противоречия исключительной силы, которые придется преодолевать в дальнейшем ходе революции. Сблизив и спаяв с социалистической революцией большинство крестьянства, окончательно отделив его от буржуазно-помещичьей контрреволюции, это решение в то же время ставило во весь рост проблему сроков и формы перехода крестьянской частновладельческой экономики к социализму, прямым переходом к которому в городе был рабочий контроль над производством.

В Петрограде восстание продолжалось одни сутки и было почти бескровным. Временное правительство фактически оказалось в условиях полной общественной изоляции. Большевистские агитаторы действовали среди солдат почти открыто. В Зимнем дворце остались лишь группы офицеров и юнкеров. Даже отражение контрвыступления юнкеров и казаков против победившего Питера стоило сравнительно малых жертв, и почти во всех рабочих центрах России большевики с первых же часов после получения сообщений из Петрограда стали полновластными хозяевами положения. Лишь в Москве кровопролитные бои шли целую неделю, и именно потому, что вдоль всей Кремлевской стены, выходящей на Красную площадь, расположены огромные братские могилы московских рабочих и солдат, погибших в октябрьских боях,— это место стало почетным революционным кладбищем.

Но мы чувствовали себя в эти дни не только на гребне огромной русской революционной волны, мы были убеждены, что ее движение и на запад, и далеко на восток стало неотвратимым и быстрым. Хотелось отдать все силы этому движению, вовлечь в него миллионы людей, преобразить их жизнь самым участием в борьбе. И вместе с небывалым подъемом энергии, неутолимой жадной деятельностью и всеохватывающей радостью от сказочного роста нашего влияния на массы людей, сказочного роста их самостоятельности нарастало чувство огромной ответственности за то дело, которое мы, большевики, должны были теперь вести уже в качестве реальной правящей силы.

Двадцать шестого октября я долго ходил по улицам нашего Петрограда. Хотелось остаться наедине со своими мыслями. На душе было радостно и в то же время тревожно. Хватит ли у нас сил, ума, способностей, умения для того, чтобы выполнить наши обещания? Оправдаем ли мы надежды тех, кто дал нам власть, и тех, кто погиб, не дождавшись победы? Как долго русская революция будет одинокой? Насколько длительным и прочным будет наш союз с крестьянством? Хотелось пристальнее вглядываться в жизнь, глубже проверять ею каждый свой шаг.

Весь ход Октябрьской революции и по сей день сохранил актуальный всемирно-исторический интерес.

Сразу же после окончания съезда Советов я уехал на Урал, в Екатеринбург. На Урале власть везде перешла в руки Советов без применения оружия, тотчас же, как было получено сообщение о победе восстания в Петрограде. Екатеринбургский Совет давно был большевистским, переход всей полноты власти к нему произошел без каких-либо существенных инцидентов, и сразу же началась практическая работа по организации нового строя.

Товарищи послали меня комиссаром в местную контору государственного банка, который оказывал весьма большое влияние на частные банки Урала. В Екатеринбурге серьезного, организационно оформленного саботажа среди служащих не было. Не было его, в частности, и в банке. Управляющий без сопротивления подчинился советской власти, охотно выполнял все мои указания, сам предложил мне сесть рядом с ним в его кабинете и по каждому более или менее крупному вопросу спрашивал моих указаний. Дальнейшие события показали, что это делалось не из-за хитрости и необходимости подчиниться силе. Во второй половине 1918 года, когда Красная Армия оставила Екатеринбург, он ушел вместе с нами и позже много лет работал в нашей финансовой системе. Под влиянием управляющего продолжал свою работу и весь персонал. Так что с этой стороны все обстояло благополучно. Но внутренние сложности обнаружились очень скоро, и очень скоро стало ясно, что решить их совсем не просто.

Далеко не самыми важными были затруднения, связанные с организацией повседневной работы банка. К тому, чтобы проконтролировать счетоводную технику, я был подготовлен. Но в условиях Екатеринбурга это практически означало сосредоточить почти все свое внимание на чисто контрольных функциях, а еще точнее — на выявлении таких операций, когда сотрудники банка помогают фабрикантам и вообще богатым людям, с которыми они связаны и психологически, а часто и лично, спасти находящиеся в банке средства от конфискации. Это я делал в совершенно недостаточной степени и, вероятно, не замечал многого из того, что следовало бы заметить. Но, конечно, не это привело меня к серьезным раздумьям.

Главный вопрос, который встал передо мною еще до того, как я открыл тяжелые двери банка, заключался в том, каким образом, опираясь на банковскую сеть, начать регулировать экономику, подготавливая переход к управлению ею. А как это делать конкретно, ни я, ни другие большевики тогда просто не знали.

С «Капиталом» и вообще с марксистской экономической литературой я был знаком достаточно хорошо. Помню, как в то время я сидел по ночам за «Финансовым капиталом» Гильфердинга и с каким интересом знакомился с обширной литературой (главным образом немецкой) по финансовым вопросам, которая оказалась в Екатеринбурге. Без всего этого я всерьез не был бы в состоянии поставить перед собой такой вопрос. Но книги давали указание лишь общего характера, общей линии

поведения. Это было чрезвычайно много и в то же время чрезвычайно мало. Действовать надо было конкретно, причем сегодня, а не завтра. Старые способы финансирования, кредитования, определения прибыльностигодились теперь лишь со столь значительными изменениями, которые меняли саму суть дела. Основная задача заключалась уже не в том, чтобы обеспечить сохранность и доходность банковских капиталов, а в том, как, опираясь на эти капиталы, направить промышленность по новому пути. И здесь нас могла научить только жизнь, ибо готового опыта не было вообще. Рассчитывать на помощь старых сотрудников банка в этом деле мы тоже не могли. Даже самые лояльные из них были настолько далеки от наших идей, что весь ход их мыслей невольно шел по пути сохранения старой системы, а не ее радикальной перемены.

Отмечу здесь, кстати, одну любопытную деталь. Пока речь шла о чисто политических мерах в области финансов — конфискации крупных состояний, полного прекращения земельных денежных операций, — я встречал, в общем, если не сочувствие, то понимание многих старых банковских служащих. Очень многие в тогдашней России понимали, что страна доведена до катастрофы, что без радикальных и очень болезненных средств ее спасение невозможно.

Но когда в реальную действительность стала превращаться идея перехода промышленности в руки самих производителей, появились ясно видимые черточки прямой враждебности, которую нельзя отнестичеликом за счет простой классовой солидарности банковских служащих и промышленников. Прослойка привилегированных банковских работников в Екатеринбурге была весьма небольшой, и не она формировала тогда взгляды основной массы служащих. Дело заключалось в другом. Буржуазное воспитание, а затем, конечно, и сам образ жизни сформировали у подавляющего большинства банковских служащих абсолютную уверенность в неизбежности глубокого экономического разделения людей. Теперь даже предоставить себе трудно, что официальная наука и официальное общественное мнение могли в течение многих поколений с огромным успехом отрицать самую возможность крушения капитализма. Для большинства служащих банка идеи социализма были не только совершенно чуждыми — они казались им явно утопическими, беспочвенными, нереальными. И когда большевики стали, по их мнению, губить государственные деньги на разрушение и без того слабой русской промышленности, тут многие из них попытались встать нам поперек дороги, как и в чем они только могли. Все это носило в Екатеринбурге несколько провинциальный характер, было выражено гораздо мягче, чем в Петрограде и в Москве, но отражало то общее, что было характерным для страны в целом. А характерными были и возрастающий саботаж чиновничества и мучительный, но бесповоротный переход на наши позиции людей такого типа, как управляющий екатеринбургским банком.

Перевод экономики на новые рельсы нам нужно было осуществлять в исключительно тяжелых условиях. Россия по своему экономическому уровню была нищей страной, у которой и «старое доброе время» не было никаких ресурсов для широкого маневрирования. Трехлетняя война довела ее до полного истощения. Буквально на следующий день после победы пролетарской революции страна, сделав гигантский прыжок в своей общественной организации и тем самым заложив основы своего будущего экономического подъема, в конкретно-практическом смысле этого слова по-прежнему оставалась бедной, и до экономических успехов, конечно же, было еще далеко.

Почти везде рабочие явочным порядком перешли на восьмичасовой рабочий день. Это было их завоеванием, это им обещала революция, именно ради этого, то есть ради улучшения жизни трудящегося челове-

ка, она и делалась. Но следует учитывать при этом, что переход на восьмичасовой рабочий день во всей остроте ставил перед нами вопрос о повышении производительности труда.

Русское крестьянство, жившее в своей массе на грани голода, в результате Декрета о земле должно было получить для своего личного потребления больше продуктов. И это тоже было великим завоеванием революции. Но культурные помещичьи земли давали значительно более высокий урожай, чем мелкие крестьянские наделы, обрабатываемые сохой, а это вместе с увеличением доли личного потребления крестьян означало, что страна могла получить гораздо меньше товарного хлеба для городов и для вывоза за границу. Следовало ожидать, что очень скоро мы окажемся и перед фактом острой нехватки технических сельскохозяйственных культур, так как крестьяне будут в первую очередь сажать хлеб, ставший в военные годы реальным «всеобщим эквивалентом».

На том, что именно с этими трудностями мы и не сумеем справиться, строились почти все надежды наших сколько-нибудь дальновидных противников. Трудности эти и действительно оказались гораздо большими, чем мы их сами ожидали.

Принципиально большевики были вполне подготовлены к тому, чтобы перестройку промышленности проводить в максимальной степени как экономическое мероприятие. Но жизнь далеко обгоняла теорию, а мы были слишком неумелы в новом подходе к делу. Тем более что чисто политические формы борьбы могли казаться более созвучными духу революции, чем любые сколь угодно глубокие, но относительно медленные преобразования.

Практически все это приводило к тому, что каждый день к нам в банк приходило все больше представителей от фабрик и заводов с требованием денег и все реже появлялись мешки с быстро обесценивающимися денежными знаками. Денег не хватало и на самые неотложные нужды (зарплату, сырье и т. д.), и на самые первые и самые радостные для нас мероприятия советской власти (беременные женщины по решению профсоюза получили оплаченный отпуск, в пригородных поездах ввели бесплатный проезд детей-школьников и т. д.). Компенсировать разрыв между имеющимися и требуемыми средствами за счет конфискованных личных богатств было невозможно — для этого русская буржуазия была слишком малочисленной и слишком бедной. Чтобы остановить неизбежный рост дороговизны и спекуляции, особенно болезненной для рабочих, у нас оставался только один резерв в форме довольно большого золотого запаса, хранившегося в подвалах банка. По этому вопросу мнения уральских товарищей разошлись весьма далеко. Одни, считая близкую международную революцию неизбежной, настаивали на том, чтобы, исходя из принципа «продержаться» те несколько месяцев, пока мы одиноки, не церемониться с золотом и, используя его, идти во всех наших экономических начинаниях возможно дальше. Другая, значительно меньшая часть считала, что при всех условиях мы не должны оставаться без резервов и не должны без самой крайней необходимости тратить хотя бы одну золотую копейку, даже если бы это потребовало поддержки в выполнении очень важных мероприятий.

Я, в общем, склонялся ко второй точке зрения, но совсем не по тем же мотивам. Я считал, что прежде всего нам надо разобраться в том, что именно и почему в первую очередь нужно и можно финансировать, как это нужно делать, и лишь затем смело делать те или иные шаги. Многие товарищи считали, что я осторожничаю зря и что моя осторожность приносит лишь вред общему делу. Уже в эти месяцы среди екатеринбургских большевиков стала крепнуть уверенность, что теперь, когда мы стали хозяевами положения, мы не только можем, но и должны дей-

ствовать так, как считаем нужным, не очень оглядываясь на то, насколько наши желания имеют опору в жизни. Эта точка зрения в сильной степени питалась острым желанием изменить жизнь людей в буквальном смысле завтра, острой ненавистью к окружающим нас диким формам человеческих отношений.

Помню, что в начале двадцатых годов, когда мы были вынуждены резко изменить свою политику, Владимир Ильич обращал наше внимание на то, что большевики были партией, в самой сути теории, которой лежал глубокий научный анализ объективных законов общественного развития. Но как только мы пришли к власти, говорил он, так и мы не удержались от соблазна забыть теорию и действовать согласно своим собственным желаниям.

В те месяцы, о которых я пишу, это уже приходилось наблюдать. Сам я тоже оказался в ряде случаев не в состоянии правильно проконтролировать направление своей деятельности жизнью.

В общем, переход экономики на совершенно новые основы шел очень туго, и у меня было ощущение внутренней неудовлетворенности от выполняемой работы. Делаю не то, что надо прежде всего, нацупать правильное направление работы не удастся. Единственный выход был, конечно, в том, чтобы влезть в самую гущу банковской работы, каждый день искать, где и какие изменения — большие или малые — нужно производить, пытаться искать в каждой банковской операции основу для более широких выводов. Я на эту работу тогда не настроился, и это было большой ошибкой с моей стороны, легко объяснимой психологически.

Всем ходом борьбы большевики были настроены на принципиальную критику старого строя, на борьбу против рутин и делячества, которые закрывают горизонты и часто делают самую нужную работу бесполезной, а то и вредной. Мы широкими и яркими мазками рисовали контуры нового строя, который должен был, по нашим представлениям, во всех без исключения отношениях быть лучше разрушаемого. И поскольку контуры этого строя были еще не ясны, пути, по которым можно было идти, слишком многочисленны, почти все мы были захвачены духом широких обобщений, далеко идущих поисков.

Но жизнь всегда требует сочетания перспективы и широкого кругозора с ежедневной черновой работой. Уже на следующий же день после победы нельзя было ни на минуту забывать о главном, терять перспективу, отмахиваться от проблем далекого будущего. Но прежде всего надо было начинать черновую работу, без которой это будущее оставалось бы только мечтой. Психологически это был очень крупный перелом, который давался с трудом и дался не всем. Помню, как я буквально заставлял себя сидеть в тихом кабинете банка и обсуждать какие-то отчеты, в то время как всей душой я рвался к общению с товарищами, на рабочие митинги и собрания, к горячим спорам о самых основах нашей борьбы. И скажу по совести, что слишком часто я отдавал этому больше времени, чем уже можно было в те дни. Это было нашей общей бедой. Наш размах был до этого только силой, теперь же, без органического сочетания с будничной работой, он становился и нашей слабостью.

В общем, не успел я как следует войти в банковскую работу, как подошел срок Учредительного собрания, куда я был избран от Вятской губернии, и нужно было ехать в Петроград. Что Учредительное собрание не лежит на главном пути развития революции — было уже совершенно ясно, ибо власть Советов стала реальностью, и вопросом вопросов было ее укрепление. Поэтому участие в Учредительном собрании острого интереса не вызывало и абсолютной необходимости ехать не было. И все же я поспешил в Петроград. Мне казалось, что в Петрограде я смогу быстрее найти ответы на вопросы, которые каждый день вставали передо

мной в Екатеринбурге. В Петроград тогда, так же как и в дни после февральского переворота, тянулись многие большевики.

Товарищи уговаривали меня не уезжать, справедливо указывая, насколько каждый человек нужен здесь, на Урале. Мне было неловко, ибо я сознавал их правоту, но ощущение того, что работа у меня идет не так, как нужно, все же взяло верх.

В Петрограде большевиков — членов Учредительного собрания поместили в гостинице «Астория». Это была одна из наиболее дорогих петроградских гостиниц. Второй раз после революции я непосредственно оказался в прямом соприкосновении с роскошью свергнутого нами общества. В первый раз это было, когда я увидел в марте особняк ба-лерины Кшесинской, где помещался большевистский Центральный Комитет.

На кроватях с тонким белоснежным бельем, под шелковым одеялом я спал впервые в жизни. Даже само представление, что такие дорогие вещи бывают на свете, было у меня очень смутное. Удобные роскошные номера, мягкие ковры в коридорах, непривычная подобо-бострастная вежливость горничных — все это резко расходилось не только с нашими привычками и потребностями, но и с нашей решимостью во что бы то ни стало строить государство нового типа, где не будет верхов и низов. Роскошь буржуазии в ее конкретно житейском проявлении мы наблюдали лишь издали и остро ненавидели ее как социальную привилегию. Поэтому, несмотря на все удобства, я чувствовал себя в «Астории» неловко.

Оказалось, что мне еще до моего приезда уже предназначена работа товарища (заместителя) главного комиссара Народного банка (так назывался тогда Государственный банк). Решение об этом назначении было принято во время разговора Владимира Ильича с Крестинским об уральских делах. Между прочим Владимир Ильич спросил Крестинского, не знает ли он людей, которых можно было бы поставить на работу в Государственный банк; Крестинский назвал меня, и было решено, что я сразу же по приезде стану работать там. Крестинский рассказывал мне, что Владимир Ильич несколько раз нетерпеливо спрашивал, когда же «этот Спундэ» приедет. Голод на людей и в Петрограде был очень велик.

Комиссаром Государственного банка был тогда Пятаков. У меня сложились с ним чисто деловые отношения, но с большим налетом официальности и натянутости. В тогдашних условиях это было большой редкостью. В отношениях между большевиками главным было чувство товарищества. Всех нас объединяло прежде всего единство цели. А эта цель — коммунизм — в качестве одного из основных элементов предполагала торжество добровольной товарищеской дисциплины. Умело или неумело, успешно или неуспешно мы все, за очень редким исключением, отдавали себя работе целиком, жили только ею. Поэтому имело смысл освободить нас от работы, если мы с нею не справлялись, но в принуждении не было никакой необходимости. У Пятакова частенько слышался тон приказа и начальственности, который в нашей среде тогда резко коробил. Я внешне на это никогда не реагировал, делал все, что было в моих силах, соблюдая величайшую дисциплину, но товарищеских отношений у меня с ним не получилось. Пятаков скоро уехал в Киев, а я остался в банке один.

Из «Астории» я переехал жить в банк. Свободной там была только большая неуютная приемная бывшего царского управляющего банком Шипова. Где-то мне раздобыли железную койку, достали солдатское одеяло и подушку. Но эти неудобства были мне психологически приятнее, чем роскошь «Астории». Жилось тогда очень голодно. Никаких

особых пайков не было. Получал я наравне со всеми работниками когда $\frac{1}{4}$, когда $\frac{1}{8}$ фунта хлеба, выпеченного с сильной примесью жмыхов. Хлеб был часто жестким, как камень. Единственной, хотя и весьма чувствительной добавкой была совнаркомовская каша. Каждый вечер я ездил в Смольный на заседания Совета Народных Комиссаров, которые происходили тогда ежедневно, так как вопросы возникали непрерывно и неожиданно. Решались они быстро. Практичности в некоторых решениях было донельзя мало, но не было и тени бюрократизма.

В Смольном была в то время столовая, все меню которой составляла гречневая каша. Без этой гречневой каши выдержать ежедневную рабочую нагрузку по двенадцать—четырнадцать часов было бы, вероятно, невозможно. В Смольном я, таким образом, питался и духовно и физически. Были мы полны безграничного энтузиазма оттого, что даже в архитрудных российских условиях завоеван и держится строй, где основа дисциплины для трудящихся товарищеская, построенная прежде всего на силе примера. А это создавало такое настроение, при котором все личные трудности казались совершенно естественными и проходили как-то незаметно: ведь они были полностью общими.

На работе в Государственном банке я пробыл около четырех месяцев. В это время мне приходилось наблюдать Владимира Ильича по нескольку раз в неделю — главным образом на заседаниях Совнаркома. Вот что из воспоминаний о нем оставило неизгладимый след в моей душе.

Мы знали Ленина по его деятельности в течение четверти века как наиболее дальновидного, стойкого и преданного руководителя борьбы пролетариата. Теперь мы наблюдали его на посту председателя революционного правительства крупнейшей страны мира. Вдобавок к прежним средствам политического воздействия он располагал теперь силой государственной власти.

В новых условиях он был, как и прежде, товарищем в самом глубоком смысле этого слова. Во всей своей деятельности он стремился поддержать в большевиках дух коллектива добровольных единомышленников-революционеров. Во взглядах и предложениях любого товарища он искал элементы наиболее правильного решения вопросов революции, корректируя и улучшая их своими замечаниями, если в этом была необходимость. Он следил за тем, чтобы все члены коллектива, отстаивая свои взгляды и предложения, на деле находились бы в одинаковом положении, чтобы ничья инициатива не подавлялась, не заглушалась. Его значительное превосходство по уму и знаниям даже над наиболее талантливыми из большевиков было очевидным и общепризнанным. Но он не допускал и намека на то, чтобы вносимые им предложения считались правильными лишь в силу того факта, что они исходили от него, Ленина. Решали только доказательства.

В подавляющем большинстве случаев, несмотря на горячие споры, принимались предложения Ленина. Но так как это происходило без малейшего привкуса какой бы то ни было монополии, то принятые решения воспринимались как наилучшие решения, достигнутые коллективом.

Обстановка в банке была нелегкой. Старые банковские служащие отказались сотрудничать с советской властью почти целиком. Остались на работе только технические работники, близкие по своей психологии и материальному положению к рабочим. Весь аппарат пришлось заметить людьми, не имевшими никакого представления о банковской работе — в основном это были матросы, — они были в своей массе значи-

тельно грамотнее солдат, а также рабочие петроградских заводов. Огромное желание работать, конечно, только в очень небольшой степени компенсировало их неумелость. Работали они без всякого принуждения до полного изнеможения. При этом абсолютно честно, самоотверженно. Можно было ожидать крупных ошибок, иногда просто анекдотической путаницы «прихода» и «расхода», но можно было быть уверенным, что ни одна копейка не будет вовлечена в какие-либо не совсем честные операции. А практически в это время разбогатеть на банковской работе можно было очень просто: зачастую большие суммы выдавались по тем или иным запискам, по простым справкам артельщиков, получавших деньги на заработную плату.

Одна из моих тогдашних обязанностей была для меня очень тяжелой. У моего кабинета ежедневно стояли десятки людей с просьбой разрешить им получить некоторую добавочную сумму со своих личных счетов сверх строго ограниченной нормы. В Петрограде царил жестокий голод, и эта норма с рыночной точки зрения почти ничего не значила. Просителями были главным образом чиновники-пенсионеры, мелкие помещики, потерявшие вместе с именьями все источники существования, и представители высших слоев интеллигенции, на крутом повороте в судьбе страны лишившиеся основы своего материального благополучия. Как всегда, особенно сильно нуждались субъективно наиболее честные люди, неспособные пойти по пути спекуляции, не припрятавшие «кое-чего» на «черный день».

Никакой возможности проверить то, о чем мне говорили просители, у меня в то время не было. Поэтому единственной меркой для отказа или разрешения было собственное впечатление о человеке, убежденность в том, говорит ли он правду или нет. Я упорно и тщательно вглядывался в черты лица человека, пытался вести с ним разговор не только о его просьбе, но все это, конечно, было слишком ненадежным основанием для решения, которое, возможно, было действительно жизненно важным для самого этого человека или его близких. Очень не любил я посетителей, у которых на все уже заранее были запасены всякие справки, свидетельства и другие «бумаги». Опыт подсказывал мне, что слишком часто это свидетельствует не о правоте, а лишь об изворотливости человека, о его умении глядеть на всю окружающую жизнь с позиций своих собственных интересов. Сколько-нибудь обоснованной критики моего выбора тех, кому я давал льготы, мне слышать не приходилось. Но я, вероятно, допустил не одну ошибку и в ту и в другую сторону.

В это время меня — насколько помню, единственный раз в жизни — попробовали подкупить. Я всячески старался тогда наладить отношения с наиболее крупными бывшими банковскими работниками, привлечь их к работе. Как-то раз двое из них (сейчас уже не помню их фамилий) пригласили меня в Мариинский театр. Они с сочувствием говорили о том, как я перегружен и устал, что надо дать себе хоть немного отдохнуть. Я очень любил музыку, и действительно хотелось передохнуть от работы, и хотя компания была мне не по нутру, но особой настороженности не вызывала. Оказалось, что они заказали билеты в небольшую ложу, где, кроме нас, никого не было. Очень скоро выяснилась причина их внимания ко мне: они предложили дать разрешение на получение довольно большой суммы золота из сейфов, блокированных декретом Совнаркома. Формально все было прекрасно обставлено и носило характер какой-то совершенно необходимой помощи одному из частных банков (они тогда еще продолжали действовать), связанных с заграницей.

Я возмутился, пулей вылетел из ложи и ушел из театра. Когда я

потом рассказал об этом кому-то из товарищей и, кажется, Владимиру Ильичу, меня заслуженно обругали теленком. Конечно, надо было согласиться и при «дележе» золота арестовать обоих. Но я об этом в тот момент и не подумал — настолько велика была обида оттого, что кто-то считает возможным предложить мне такую комбинацию.

В Государственном банке я столкнулся с теми же вопросами, которые волновали меня еще в Екатеринбурге, но уже в совершенно другом масштабе. Первая текущая работа, которой я занимался, когда во главе банка еще стоял Пятаков, была связана с учетом и национализацией крупных личных состояний, хранившихся в различных частных банках. Эта работа началась еще до моего приезда в Петербург. Шла она медленно по двум причинам: из-за отсутствия опытных работников и из-за нашего щепетильного желания ни в коем случае не превращать это мероприятие в отбирание у людей всех средств для жизни. Мы хотели ясно показать, что ведем суровую классовую политику, но направлена она вовсе не на личное уничтожение отдельных людей. Поэтому конфисковывались только весьма крупные суммы, золото, драгоценности, иностранная валюта. Относительно большие деньги, вполне достаточные для жизни, оставались на личных вкладах даже у очень богатых, а следовательно, у очень враждебно настроенных к нам людей. Сама конфискация во всех случаях проводилась совершенно открыто, в присутствии вкладчика, с немедленным перечислением всего оставленного ему на его личный счет в Госбанке. Иначе говоря, принимались все меры только к тому, чтобы богатство того или иного человека потеряло свое общественное значение, перестало служить оружием в руках наших противников.

Скоро выяснилось, что многие личные средства хранились в банках не только в форме вкладов, но и в сейфах — стальных ящиках, вделанных в бетонные стены банковских подвалов. Вкладчики арендовали такие ящики за большие суммы и хранили там драгоценности и документы без какого-либо контроля со стороны банка. В Петрограде оказалось свыше тридцати тысяч таких сейфов. Таким образом, от налогов и контроля по сути дела открыто прятались огромные средства. Совнарком принял решение ревизовать эти сейфы. Решение это было опубликовано в газетах с указанием дней и часов ревизии. Одну любопытную деталь нам подсказали немногие низовые работники банков, оставшиеся с нами. Личные сейфы во всех банках имели номера, причем, как правило, первые номера имели очень старые вкладчики, а последние — люди, нажившие состояния на только что закончившейся войне. Мы начали ревизию с последних номеров, и сразу обнаружилось, что многие их владельцы покидают Петроград, как только узнают о предстоящей ревизии. В сейфах мы находили огромные суммы в иностранной валюте, в виде золотого песка и т. д. В тех случаях, когда владельцы не являлись, а банковские служащие отказывались выдать нам ключи, сейфы вскрывали рабочие петроградских заводов. Таким образом, Государственный банк получил несколько десятков миллионов рублей в виде золота и иностранной валюты.

В некоторых случаях мы оставляли владельцам сейфов почти все их содержимое — особенно часто это делалось в отношении артистов, художников, писателей, у которых в сейфах лежали относительно небольшие денежные суммы и личные дорогие вещи. Оставленные деньги мы полностью переводили на открытые счета и выдавали их затем по той очень жесткой норме, о которой я уже говорил выше. — справедливость такой временной меры в голодной и разоренной стране не вызвала никаких сомнений.

Главная задача Госбанка заключалась, конечно, в том, чтобы возможно скорее органически слить в единый аппарат сложную систему связанных между собой частных банков и таким образом получить возможность планомерного воздействия на всю экономику страны. Я тщательно обдумывал тогда вопрос о том, как сделать банки не только аппаратом общественного счетоводства, но и аппаратом, который быстро показывал бы нам экономическую целесообразность или нецелесообразность тех или иных проводимых нами мероприятий.

Я был убежден, что широкая гласность всех банковских операций, полная и возможно более частая отчетность банков перед страной через печать и специальные бюллетени будет служить весьма важным средством для серьезного контроля не только за частным, но и за общим направлением наших экономических мероприятий. Помню, что я несколько раз говорил об этом с Владимиром Ильичем и он очень поддерживал эту систему взглядов.

Между прочим, при объединении банковских счетов обнаружилось, что у Керенского в нескольких банках имеются личные вклады на сумму около двух миллионов рублей. Справку об этом мы сейчас же опубликовали и просили всех, кто связан с этими деньгами, сообщить нам их происхождение. Насколько я помню, объяснений ни от Керенского, ни от кого другого мы так и не получили.

Мою точку зрения на будущее банков разделяли далеко не все. Одним она казалась практически нереальной, другим — просто неверной. Многие уже тогда считали, что банки должны быть не более, чем инструментом в руках советской власти. Споры эти шли довольно долго и принципиально были решены только в апреле 1918 года, когда под председательством Владимира Ильича состоялось несколько заседаний наших тогдашних банковских работников. В результате довольно долгих прений были приняты тезисы банковской политики, в которых было отчетливо записано, что банковская политика «...должна постепенно, но неуклонно направляться в сторону превращения банков в единый аппарат счетоводства и регулирования социалистически организованной хозяйственной жизни страны в целом». Я хочу особенно отметить здесь слова «социалистически организованной жизни», то есть жизни, целиком построенной на подлинных интересах большинства населения и целиком контролируемой этим большинством.

Но для того, чтобы хоть в малейшей степени сделать практические шаги к созданию такого банковского аппарата, в первую очередь нужны были люди, знающие банковское дело. Среди коммунистов их было ничтожно мало, среди сочувствующих нам — тоже совсем немного. Надо было — и это было очень важной задачей — привлечь к работе старых банковских служащих. Это я попытался сделать, создав при Госбанке комиссию банковских специалистов, перед которой сразу был поставлен широкий круг вопросов — от разработки практического плана национализации русских банков до основ новой кредитной политики. Участвовать в этой комиссии дали согласие многие крупные русские экономисты и почти все директора крупных частных банков. Одни шли в комиссию, надеясь повлиять на самую суть нашей банковской политики, другие — из желания получить нужную информацию, третьи — из простого любопытства, посмотреть, что умеют делать большевики не в «простом» и «грубом» деле захвата власти, а в таком «деликатном» деле, как финансы.

Я организовал первое совещание этой комиссии следующим образом: по всем основным вопросам подготовил тезисы, указывающие безусловное направление будущей банковской политики. Так, напри-

мер, в них было записано, что «немедленной национализации подлежат все кредитные учреждения России», что «в своей работе банки должны твердо и неуклонно проводить политику покровительства национальной промышленности в ее борьбе с частной» и т. д. Эти тезисы не подлежали обсуждению. Специалистам предлагалось лишь разработать наилучший план их выполнения, внести любые предложения, не задевающие сущности дела, предложить новую структуру организации банковского дела и т. д. Я попытался увлечь наиболее способных из собравшихся мыслью о том, что именно нам предстоит разработать основы теории денежного обращения в новых общественных условиях. Было создано несколько секций: организационная, финансирование промышленности, денежного обращения и т. п.

Из этой попытки вышло мало толка. Первое же заседание превратилось по сути дела в митинг против самих основ нашего банковского курса. Я, видимо, сделал ошибку, собрав столько наших противников вместе — они почувствовали себя уверенно и стали наседать на меня. Помню, как один из выступавших со злобой почти кричал:

— Вы разрушили банковское дело, а теперь надеетесь на нашу помощь!

Некоторые ехидно спрашивали меня: позвали ли их заниматься болтовней о социализме или делать дело, то есть восстанавливать разрушенное. Крупный русский финансист М. И. Боголепов в своем выступлении очень искренне сказал, что как налаживать банковскую деятельность при капитализме — это он знает и умеет, но как это делать при социализме — вот это ему совершенно неизвестно.

Комиссия существовала до лета 1918 года, когда меня уже в банке не было. Никакой серьезной помощи она не принесла, но внесла серьезный раскол в среду банковских специалистов: они почувствовали, с одной стороны, что советская власть не отталкивает их, а с другой — что у этой власти есть твердая точка зрения на все основные вопросы банковской политики. Ко многим вопросам, поднятым в конце 1917 и начале 1918 года, нам пришлось подойти вплотную лишь в начале двадцатых годов, после окончания гражданской войны.



И. РАНЕВСКИЙ



В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПЕТРОГРАДЕ

Автор этих воспоминаний — один из старейших советских журналистов, четверть века проработавший в «Правде», — в 1917 году был парламентским корреспондентом «Русских ведомостей», сотрудничал в горьковской «Новой жизни». Сохранившиеся в его памяти и записях картины и эпизоды политической жизни столицы в исторические предоктябрьские и октябрьские дни 1917 года хоть и ограничены рамками его профессиональной принадлежности, представляют тем не менее интерес как свидетельство современника и очевидца исторических событий.

В ПРЕДДВЕРИИ ОКТЯБРЯ

Август. Седьмой месяц революции. Жаркое (в прямом и переносном смысле) петербургское лето еще в разгаре, но над городом нависло что-то мрачное, оно давит, гнетет. Откуда такая подавленность?

Это — горький осадок от кровавых июльских дней, когда Временное правительство, напуганное подъемом революционной волны, разгромило большевистские организации, повело клеветническую кампанию против партии большевиков и ее вождя В. И. Ленина, загнало партию в подполье, засадило в тюрьму многих ее деятелей.

Иные наблюдатели склонны были принять послеполугодную реакцию за спад революционной волны. Действительность скоро опровергла эти поверхностные выводы. Правела только тогдашняя верхушка российского общества, рабочие же массы поворачивали влево, начинался новый подъем революции.

В те дни в Петрограде работал заседавший с 26 июля по 3 августа VI съезд РСДРП(б). Съезд происходил полулегально, то есть все знали, что в городе заседает большевистский съезд, хотя газеты отчетов об этом не печатали.

Но на заводах и фабриках о нем знали: рабочие приезжали на съезд, посылали туда свои делегации с приветствиями, делегаты съезда выступали на заводах. Мало того, сам съезд мог работать в столице только потому, что он находился под надежной охраной рабочих.

Самым лучшим способом узнать что-нибудь интересное о съезде было пойти на какой-нибудь крупный заводской митинг. Это я и сделал при помощи В. Володарского, который устроил мне пропуск на Трубочный завод, где он выступал с докладом о съезде.

Володарский построил свою речь и произнес ее так, чтобы получше передать аудитории ту бодрость и уверенность, которые он наблюдал на съезде. И это ему удалось. Его провожали горячими аплодисментами.

В те же дни в Петрограде произошло еще одно событие. Возникшие в февральские дни Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, затем Всероссийский ЦИК Советов, их отделы, секретариаты, социалистические фракции Советов получили свою резиденцию — Смольный институт. Таким образом был положен конец явно ненормальному «сожительству» под одной крышей Тавриче-

ского дворца двух флангов революции — буржуазно-помещичьего и социалистического.

Четвертого августа Советы и все связанные с ними организации переселились в Смольный. Мы, небольшая группа журналистов, отправилисьзнакомиться с новым политическим центром революции. До сих пор мы знали о Смольном только то, что этот «институт благородных девиц» находится в тихом уголке столицы, по соседству со смольнинским монастырским ансамблем — творением знаменитого Растрелли.

Мы подошли к большой площади, показавшейся издали пустырем. Вид у нее был очень будничный, даже неряшливый.

Мы вошли в здание, прошлись по его длинным коридорам, заглянули в пустые комнаты. Они были и очень большими, и средними, и маленькими, на дверях некоторых из них были прибиты белые эмалированные овальной формы таблички с черными надписями: «Учительская», «Музыкальный класс», просто различные порядковые номера классов.

Сюда-то, в этот недавний «приют невинности», должен был ворваться свежий ветер революции! И все же мы пришли к заключению, что это здание куда больше подходит для размещения Советов рабочих и солдатских депутатов, чем старинный дворец князя Потемкина на Таврической улице. Но никому из нас тогда и в голову не приходило, что эта каменная громада на тихой, безлюдной Лафонской площади скоро станет цитаделью первой в мире социалистической революции, что пройдет немного времени, и саму Лафонскую площадь народ назовет площадью Пролетарской диктатуры.

Спускаясь по лестнице на нижний этаж, мы неожиданно увидели в коридоре первого этажа Я. М. Свердлова и М. С. Урицкого. Они лично знали всех нас, молодых журналистов, мы не раз встречались и беседовали с ними в Таврическом дворце, на собраниях и митингах, но уже дней десять их не было видно — они были заняты партийным съездом.

Поздоровались. Добродушно улыбаясь, Я. М. Свердлов спросил:

— Соскучились по нас небось?

— Соскучились, — ответил в тон ему М. Ю. Левидов, один из талантливых журналистов, работавший тогда в «Новой жизни». — По пути из Таврического в Смольный мы обсуждали нынешнее положение вещей и пришли к пессимистическому выводу — революция зашла в тупик.

Левидов явно хотел вызвать Я. М. Свердлова на разговор о большевистском съезде.

Яков Михайлович нахмурился, нервным движением руки поправил пенсне и сказал:

— Если вы, товарищи журналисты, будете читать только «Новую жизнь», то вы, конечно, никакого выхода из положения не найдете. Не там ищете, господа! Надо Ленина читать, читать внимательно. И то, что он написал за три месяца пребывания в «свободной» России, и то, что он написал, находясь вне пределов досягаемости контрреволюционных ищеек временных наших правителей. И вы убедитесь, что никаких оснований для пессимизма нет. Ленин указывает выход, и притом единственный. Вам, журналистам, следовало бы это знать.

Сказав это очень серьезно и веско, Свердлов поспешил переменить тему разговора.

— А вам отвели тут рабочее место?

— Если не отвели, так отведут, — ответил тот же Левидов. — Без нас не обойдутся.

— Если вы так уверены, то давайте посмотрим, что отвели здесь нам, большевикам. — И Свердлов открыл дверь и пригласил нас в очень большую, но показавшуюся мрачноватой комнату. — Вот наша, так сказать, резиденция. Пока, разумеется, а дальше посмотрим.

— На верхних этажах есть такие же комнаты, но посветлее, — заметил я.

— А зачем нам верхние этажи?— возразил Свердлов.— Мы, как вам известно, партия массовая. К нам народ ходит. И рабочие, и крестьяне, и солдаты, и матросы. Однажды к нам во дворец Кшесинской даже монахи забрели — посмотреть на страшных безбожников. Наши связи с массами растут и будут расти. Зачем же народу на верхотуру подниматься, да еще в осеннюю пору. Нет, нам здесь будет лучше, не правда ли?— повернулся он к М. С. Урицкому, все время молчавшему.

— Абсолютно правильно,— подтвердил Урицкий.— Однако, Яков Михайлович, вы забыли, что наше время истекло. Нам пора уезжать.

— Пора так пора. Поехали.

И мы расстались, так и не поговорив о съезде.

С этого дня я стал ежедневным посетителем Смольного, как раньше почти ежедневно бывал в Таврическом. Я наблюдал, как постепенно обживается это огромное здание, как растет его население, его популярность, как все ближе становится оно рабочим заводам и фабрикам всех районов. Оказалось, что Смольный хотя и стоит как бы в стороне от центра, но связан с ним транспортом (тогда исключительно трамвайным) очень хорошо. С рабочих окраин попасть в Смольный было даже легче и удобнее, чем в Таврический.

Большевики, лишившиеся в июльские дни своей изолированной территории во дворце Кшесинской, впервые за время революции очутились под одной крышей с другими социалистическими партиями. Теперь большевики расширяли свою территорию в Смольном быстрее, чем их соседи справа.

Но первого боевого крещения Смольного как штаба революции, первого его торжества как победителя (в разгроме корниловского мятежа) мне увидеть своими глазами не пришлось.

В середине августа, как раз в те дни, когда в Москве собралось контрреволюционное (как его назвал Ленин) Государственное совещание, я вынужден был покинуть на время Петроград. Мой путь лежал через Рыбинск на Волгу: Нижний Новгород — Самара — Саратов, отсюда по железной дороге до Харькова, а оттуда прямым сообщением через Москву обратно в Петроград.

Главной целью моей поездки была Самара, а как проехать из Петрограда в Самару летом? Поездом? Когда есть Волга! И я рискнул на это путешествие, несмотря на запугивания полным развалом в стране транспорта. Компенсацией за все невзгоды, перенесенные в пути (кстати, на пароходе они были и вовсе не такие страшные, как я предполагал), было то, что я увидел «Россию дыбом».

«Россия дыбом» — это тема особая. Я же здесь ограничусь лишь общей, так сказать, констатацией.

На всех железнодорожных станциях и полустанках, на волжских пристанях, больших и малых, все шумело, хлопотало и бурлило, как в огромном котле. Здесь, в глубине России, недовольство масс деятельностью Временного правительства, его шатаниями, его неумением или нежеланием разрешить хоть одну из проблем, стоявших в порядке дня, — продовольственную, транспортную, не говоря уже о земельном вопросе, где стихия начинала брать верх, — это крайнее и все растущее недовольство масс вырывалось наружу, борьба шла открыто, гласно, всенародно.

Самой тяжелой и неприятной частью путешествия был переезд по железной дороге от Саратова до Харькова через три губернии — Саратовскую, Воронежскую и часть Харьковской. Разруха на транспорте была действительно чудовищная, особенно на немагистральных линиях. Дребезжавшие, давно не отремонтированные, грязные вагоны. Места почти все бесплацикартные. А передвижение людских масс огромное: призывники, отпускники, переселенцы, мешочники. Беспорядочная толпа брала вагоны с бою. Тут было не до разговоров, не до наблюдений. Надо было быть начеку, чтобы тебя не очистили, как липку, чтобы не захватили твое место.

Так я доехал до Харькова. Этот большой промышленный и культурный центр был весь в движении. Большевицкое влияние на ход событий было здесь очень

велико. И росло день ото дня, преодолевая яростное сопротивление буржуазных и соглашательских партий.

Возвращение в Петроград через Москву по центральной железнодорожной магистрали показалось почти нормальным. Полупустые буфеты на вокзалах и бешеные спекулятивные цены на пристанционных базарах никого уже не удивляли.

* * *

Утром 8 сентября скорый поезд прямого сообщения Симферополь—Петроград, в котором я ехал, подошел к мокрому перрону Николаевского (ныне Московского) вокзала. Вот и Знаменская площадь (ныне площадь Восстания) — такая же многолюдная и шумная, как всегда.

Утро было туманное, прохладное, моросил мелкий дождь, временами с Невы налетали порывы ветра — влажного, колючего.

Итак, скончилось северное лето, незабываемое лето, казавшееся в том году очень продолжительным.

Стал я в длинную очередь в ожидании извозчика.

Внешне перемен нет никаких. Но чем живет сейчас наша столица, что в ней назревает нового после того, как мятеж Кюрнилова подавлен? — вот вопросы, которые меня занимали и на которые я с нетерпением ждал ответа.

Гнедая извозчицья лошадка ленивой рысцей трусила в район Песков. У дверей продовольственных магазинов, булочных, колбасных стоят очереди, люди словно и не уходили отсюда никуда. Выезжаем на Суворовский проспект, к Заячьему переулку, где я теперь живу (у трамвайного парка). Сюда я переехал из «дома Перцова» на Лиговке еще в июне, в те памятные дни, когда по Невскому проспекту проходили колонны манифестантов с плакатами: «Долой десять министров-капиталистов!». «Мир без аннексий и контрибуций!»

Я жил теперь на полдороге между Смольным и Таврическим дворцом. Таврический уже утратил значение политического центра революции. Поговаривали, правда, что он будет приспособлен для нужд Учредительного собрания.

Во второй половине того же дня я уже был в Смольном. Я шел с тайной надеждой встретить Володарского. Вот у кого я получил бы краткий, но исчерпывающий комментарий к текущему политическому моменту. Но Володарского здесь не было.

Я поднялся на второй этаж. Людей много, но все незнакомые. На одной из комнат (№ 14) плакатик, отпечатанный в типографии: «Известия Центрального исполнительного комитета и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Кабинет редактора». На другой (левой) половине двери другой плакат, написанный чернилами крупными буквами: «Комната для представителей печати».

Открываю двери: большая комната, разделенная деревянной перегородкой на две неравные части. меньшая — кабинет редактора «Известий», слева — пресс-бюро. В комнате большой стол, несколько стульев и шкаф. Никого нет.

Снова выхожу в коридор и вижу, как по лестнице спускается с верхнего этажа Д. Б. Рязанов. С ним я познакомился в Таврическом дворце вскоре после его возвращения из эмиграции. Это был очень активный, очень темпераментный человек. Казался старше своих лет. В разговорах, спорах его бурный темперамент проявлялся особенно резко: он набрасывался на своего собеседника, ворчал по-стариковски, не давал ему закончить свою мысль — словом, любил устраивать разнос, хотя бы для этого не было никакого повода. Но он не был злым, каким мог показаться с первого взгляда. Поговорить с ним было всегда интересно.

— Здравствуйте, Давид Борисович, очень рад вас видеть. В Смольном встречаю вас впервые.

— Это не моя вина, я бываю здесь ежедневно.

Я объяснил ему, что везжал из Питера почти на три недели. Узнав, что я проехал по Волге от Рыбинска до Саратова, Рязанов заметил:

— Об этом вам надо рассказать Якову Михайловичу Свердлову, он больше волжанин, чем уралец, и каждого приезжающего с Волги встречает, как своего земляка.

— С удовольствием расскажу Якову Михайловичу все, что знаю, если он этого захочет.

Рязанов учинил мне маленький допрос о моей поездке.

— Так вы говорите, что буржуазия ненавидит большевиков лютой ненавистью, а их влияние растёт, как говорится, не по дням, а по часам? Что буржуазия нас ненавидит, это вещь нормальная. А ваше впечатление об огромном росте влияния большевиков на народные массы — так это не расходится с тем, что мы узнаем от делегатов, приезжающих с мест. Что касается вашего замечания о том, что поворот влево в провинции идет быстрее, чем в столице, то это неверно. Может быть, был момент, когда это могло показаться, — непосредственно после июльских дней, а теперь, не забудьте, — послекорниловские дни, и революционный подъем в Петрограде очень велик. Приходите завтра вечером в Смольный, и вы увидите это своими глазами. Завтра, девятого сентября, у нас перевыборы исполкома Петроградского Совета. Совет будет целиком наш, большевистский. Это, если хотите знать, самое важное событие за последние недели.

— О чем вы еще спрашивали, — продолжал Рязанов, — о Демократическом совещании? Хотите знать, с чем это едят, чья это затея? Извольте. Не от хорошей жизни затеваются такие авантюры. Керенский сейчас диктатор. Он возглавляет сейчас Совет министров, из которого ушли последние кадеты. А как же может существовать Совет министров без кадетов — без политических и идеологических вождей буржуазии? Диктатура Керенского повисла в воздухе. У нее нет опоры. Нужно эту опору создать. Вот для чего созывается Демократическое совещание. Оно необходимо для того, чтобы выработать еще одну резолюцию от имени демократии «всёя Руси» об организации власти, о вручении ее новой коалиции во главе с Керенским, но с обязательным участием кадетов.

— А если Демократическое совещание не примет такой резолюции?

— В этом-то и гвоздь всей затеи. Они хотят так подобрать состав совещания, чтобы желанная резолюция была принята во что бы то ни стало. Над этим и поработали «министерские головы». В число советчиков Керенского входят, по-моему, Церетели, Дан, Чернов, Гоц. Что же они сделали? Библейскую легенду о Ноевом ковчеге помните? Так вот, создают нечто подобное. В него войдет всякой твари по паре, семь пар чистых и семь пар нечистых. На Советы меньшевистско-эсеровский блок совсем махнул рукой. Советы, после того как они становятся большевистскими, им больше не нужны. А демократия, разжиженная, нужна. Вот почему придуманы курии: Советы рабочих и крестьянских депутатов, городские думы, земство, продовольственные и земельные органы (комитеты), профсоюзы, кооперативы, воинские организации, национальные группы и прочая — всего не перечтешь. Авторы этой затеи воображают, что они обеспечили такой тип демократического форума, дальше которого идти некуда. Но это явно иллюзия. Идеальный разброд оставляет мало надежды на то, что на этом совещании удастся добиться какого-нибудь единодушия. Впрочем, не будем пророчествовать. Поживем — увидим.

Я поблагодарил Рязанова за интересный комментарий.

Заседание Петроградского Совета 9 сентября было бурным.

Главный вопрос повестки дня — предложение группы депутатов Совета о вводе в состав исполкома Петроградского Совета представителей большевистской фракции. Что могли против этого возразить меньшевики и эсеры, после того как большевики в Совете уже составляли большинство? Казалось бы, спорить тут не о чем, тем не менее возражения были. Дело дошло до голосования. За это предложение было подано 519 голосов, против 414, воздержалось 69. Победа большевиков была встречена бурными аплодисментами. Члены исполкома от

меньшевиков и эсеров — Церетели, Чернов, Гоц, Либер, Дан, Скобелев, — раздосадованные происшедшим, поднялись со своих мест, и Церетели заявил от имени всей группы, что они выходят из состава исполкома.

— Обиделись, ай-ай-ай! — раздался иронический голос с задних скамей.

Большевики сделали свое дело — Петроградский Совет стал большевистским.

В тот вечер я встретился в Смольном с Володарским. Он был по-прежнему увлечен своей агитационно-пропагандистской работой, революционным подъемом в столице. Рассказал об огромной роли Смольного, организовавшего отпор корниловским мятежникам.

— Но я полагаю, — прибавил он, немного задумавшись, — что это далеко не последний контрреволюционный мятеж, что он будет иметь свое продолжение.

— В лице других генералов?

— Не только, ведь и Корнилова еще держат в запасе...

О Демократическом совещании он сказал:

— Если бы они — (он имел в виду организаторов этого мероприятия) — поставили вопрос о социалистической коалиции, они могли бы еще на что-нибудь рассчитывать, а теперь это безнадежная затея.

* * *

В один из сентябрьских дней, подойдя к стенду с объявлениями, установленному у входа в трамвайный парк, я прочел невеселые новости: Комитет по продовольствию извещал, что «хлебный рацион с 7 сентября снижается с $\frac{3}{4}$ фунта в день до $\frac{1}{2}$ фунта (впредь до изменения)». Особое совещание по топливу сообщало, что подача электроэнергии частным потребителям сокращается на пятьдесят процентов. К числу частных потребителей были отнесены и такие учреждения, как театры и типографии; кроме того, сильно убавлялось освещение магазинных витрин.

— Ну и заготовил же нам на зиму добра Керенский, — услышал я голос за своей спиной, — околеешь от такой жизни...

Обернувшись, я увидел слесаря-ремонтника трамвайного парка Афанасия Фомича, которого я часто встречал у своего подъезда, когда он осматривал вагоны трамвая, возвращавшиеся с линии, и успел с ним познакомиться. Он смотрел на меня поверх очков, всегда съезжавших у него на кончик носа.

— Здравствуйте, Афанасий Фомич!

— Здравствуйте. Что ж это вы, товарищ корреспондент, недоглядели? Только сентябрь на дворе, урожай, должно, кончили убирать, а паек уже сокращается на четвертушку в день. Мыслимое ли это дело? Довело нас Временное правительство до ручки!..

Утешить его мне было нечем.

— Вот завтра откроется Демократическое совещание, съедутся делегаты со всей России, там будет большой разговор по этому вопросу.

— Опять разговор? Нет, наслушались мы этих разговоров. Вчера у нас тут митинг был. Докладчик — большевик. Надо, говорит, передать всю власть Советам, тогда будет и хлеб, и мир, и топливо на зиму. Так за это дело надо еще бороться, а сил для этого у меня нет. Вот я и задумал с работы уйти и податься в деревню.

— А кто же будет бороться за советскую власть?

— А тут сын остается, он тоже слесарь. Молод, здоров, он пусть и поборется. А я в деревню, тут недалеко — за Лугой. Ведь разгрузка Петрограда идет, вот я и разгружу столицу от своей персоны.

И он, засмеявшись и позвякивая ключами, пошел к вагонам.

Отношение этого старого рабочего к Демократическому совещанию было очень характерно для трудящихся Петрограда, а отношение рабочих крупных заводов было и вовсе резко отрицательным. А в общем к этой затее меньшевист-

ско-эсеровского ЦИК Советов спасти коалицию с буржуазией было отношение пессимистическое, недоверчивое, ироническое.

В четверг, 14 сентября, около четырех часов дня я подходил к Александринскому театру, где на пять часов было назначено официальное открытие Демократического совещания. В кармане у меня лежал пропуск в ложу журналистов. Открытие было обставлено торжественно. Небольшая площадь перед театром была оцеплена отрядами конной и пешей милиции, обеспечивавшими свободный проход в театр многочисленным делегатам, гостям, журналистам.

Сбор участников начался задолго до официального открытия. Когда я в начале четвертого вошел в ложу журналистов, зрительный зал уже заполнялся. Занимали места по куриям: передние ряды — представители Советов рабочих и солдатских депутатов, Советов крестьянских депутатов, губернских Советов, земельных комитетов, профсоюзов, армейских организаций, рабочих и крестьянских кооперативов, национальных организаций. Далее шли курии, насчитывавшие от пятидесяти до десяти делегатов, общей сложностью их было до двухсот человек.

Стоял обычный в таких случаях беспорядочный гул голосов. Встречались старые знакомые, которых война разбросала по разным фронтам и губерниям.

Но вот совещание началось. Слово предоставляется Керенскому для доклада о деятельности правительства.

В первой части полуторачасового доклада Керенский охарактеризовал трудности, испытанные правительством при проведении реформ в стране. Но даже красивые фразы не помогли ему скрыть бессилие правительства преодолеть эти трудности и добиться положительных результатов хоть в какой-нибудь области внутренней или внешней политики.

Обзревая из ложи журналистов красный с золотом зрительный зал Александринского театра, нельзя было не заметить, что подавляющее большинство делегатов и в партере и в ярусах сидит с весьма понурым видом, и даже в президиуме, где расположились столпы меньшевистско-эсеровского блока с Церетели и Черновым во главе, не было заметно никакого воодушевления.

Но вот оратор перешел ко второму разделу своего доклада — к освещению корниловской контрреволюционной эпопеи. И в зале сразу наступило оживление. В воздухе как бы повис вопрос: а ну-ка, посмотрим, как он тут будет выворачиваться?

Керенский приложил немало усилий, чтобы обелить себя, чтобы отвратить от себя всякие подозрения в соучастии в контрреволюционном заговоре. Но как ни старался он уйти от обвинений, его все же в конце речи настигли возгласы из зала: «Корниловец! Сам участвовал в заговоре!..»

На следующих заседаниях Демократического совещания (затягивавшихся иногда до полуночи и даже за полночь) выступили министры кабинета Керенского. Их выступления носили характер личных отчетов о своей деятельности в правительстве. При этом некоторые из министров, но особенно искусные в политике, выбалтывали кое-что неприятное для их руководителя. Бывший министр юстиции А. С. Зарудный, например, рассказал, что за полтора месяца его пребывания на посту министра он ни разу не слышал, чтобы правительство предприняло какие-нибудь шаги в пользу мира. А когда он спрашивал своих коллег, почему это происходит, никто ему на этот вопрос не ответил. Это признание министра вызвало одновременно смех и аплодисменты в зале.

После докладов совещание перешло к прениям. В них приняли участие лидеры почти всех политических партий, групп и группировок, участвовавших в совещании. Это было похоже на «парад ораторов». Но так как все говорили на одну и ту же тему — об организации новой власти, — этот «парад» стал вскоре очень утомительным.

Самое неожиданное произошло на четвертый день совещания — 18 сентября, когда дело дошло до голосования резолюции.

Процедура голосования была очень громоздкой и отняла массу времени. Основная резолюция, предлагавшая организовать новое правительство на коалиционных началах, была принята большинством в 766 голосов против 688. К резолюции были предложены две поправки. Первая поправка оставляла «за пределами коалиции те элементы как кадетской, так и других партий, которые причастны к корниловскому заговору». Эта поправка также была принята большинством в 798 голосов против 139 при 196 воздержавшихся. Такой результат показывал, что совещание дает крен влево.

Затем, как полагается по парламентским правилам, резолюция была поставлена на голосование целиком, то есть вместе с поправкой. Результат оказался совершенно неожиданным: резолюция была отвергнута. Она собрала только 183 голоса, против — 813, воздержалось 80.

В зале переполох. Что случилось? Откуда это внезапное полевение? Как быстро растаяло то незначительное, но все же большинство в 78 голосов в пользу коалиции. Ясно было, что хитроумная затея создать искусственное большинство в пользу скомпрометировавшей себя в глазах народных масс идеи коалиции с буржуазией окончательно провалилась.

Растерянность охватила и президиум. Едва только были объявлены итоги голосования, как члены президиума шумно сорвались с мест и бросились за кулисы, забыв даже объявить перерыв или огласить дальнейший порядок работы совещания. А может быть, за общим шумом мы не расслышали этого объявления?

Около часу ночи звонок возвестил, что заседание возобновляется. Делегаты (часть их уже успела разойтись) устремились в зрительный зал. Ночное заседание продолжалось всего двадцать минут. От имени президиума было сообщено, что делегаты не имеют права уезжать, пока не будет достигнуто соглашение о создании новой власти. Выработку такого соглашения берет на себя президиум, пополненный представителями некоторых партий. Работа расширенного президиума переносится в Смольный.

Новое решение рождалось в муках. Два дня потратил президиум совещания на то, чтобы придумать трюк, который мог бы запутать делегатов, решительно восставших против коалиции с буржуазией. Трюк состоял в том, что было решено создать представительный орган — Временный совет республики (его тотчас же окрестили: «предпарламент»), часть которого состояла бы из представителей, предложенных партийными организациями, входящими в ЦИК Советов, и утвержденных правительством, другая часть — из представителей различных организаций и буржуазных партий, назначаемых правительством.

Перед этим суррогатом парламента правительство будет отчитываться в своей работе, оно будет вносить на его рассмотрение всякие мероприятия и законопроекты, когда сочтет это необходимым. Для утешения и пушного обмана делегатов было оговорено, что демократические элементы во Временном совете республики будут преобладающими.

На основе этого компромиссного решения Церетели было поручено отредактировать резолюцию, принятую на расширенном президиуме после длительных прений большинством в 56 голосов против 48 при 10 воздержавшихся.

Меньшевикам и эсерам удалось убедить делегатов, что раз в предпарламент допущены представители буржуазии, и кадеты в том числе, то и в состав правительства должны войти представители этой партии. При помощи этого трюка меньшевистско-эсеровский блок протащил на пленуме Демократического совещания резолюцию об организации нового Временного правительства на основе коалиции с буржуазными партиями, в том числе и с кадетами.

Так меньшевики и эсеры в последний раз спасли «честь» буржуазно-демократической коалиции.

В. И. Ленин посвятил Демократическому совещанию статью «О героях подлога и об ошибках большевиков», в которой дал суровую оценку этому совеща-

нию как «гнусному подлогу», как комедии. Большевики, писал Ленин, «не должны были *давать занять себя* явными пустяками, явным обманом народа с явной целью *приглушить* нарастающую революцию посредством игры в бирюльки». И далее: «Надо было уделить этой говорильне одну сотую сил, а ⁹⁹/₁₀₀ отдать *массам*».

Впоследствии большевики исправили эту ошибку, уйдя из предпарламента.

НА ДВУХ ФЛАНГАХ

Смольный — Марининский дворец

Еще не успело Демократическое совещание уладить вопрос о коалиции с кадетами, как Керенский уже сформировал новый кабинет в таком составе, чтобы новая власть была «твердой» властью, то есть была бы в состоянии противостоять все возрастающему в стране влиянию большевиков.

Между тем положение на фронтах становилось все тревожнее, особенно на Северном фронте, где германская армия усиливала давление в Прибалтике. На море были заняты эстонские острова Эзель и Даго. Говорили о готовящемся наступлении на Петроград.

Злобой дня в самом Петрограде была принимавшая с каждым днем все больший размах так называемая «разгрузка» столицы. Возглавлял это дело в качестве особоуполномоченного Временного правительства министр призрения Кишкин. «Призрение» было для него только ширмой, прикрывавшей его настоящую деятельность — осуществление широко задуманного плана эвакуации из Петрограда ценного имущества, или, как открыто говорили в Смольном, подготовки бегства правительства из Петрограда в Москву, что было равносильно подготовке сдачи революционного Петрограда вильгельмовской армии.

Разместившиеся в Смольном большевистские организации зорко следили за тем, что происходило в городе, прекрасно были осведомлены о том, что делается в правительственных кругах.

В течение этого периода я бывал в Смольном ежедневно, встречался со многими большевистскими агитаторами, без устали занимавшимися своим живым и волнующим общественно-партийным делом, присутствовал на всех открытых заседаниях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Заседания эти происходили в большой классной комнате на втором этаже. Заседавшие устраивались на школьных партах и стульях. Перед партами за небольшим столом, иногда покрытым красным кумачом, а иногда без кумача, сидел председательствующий.

Петроградский Совет уже с середины сентября стал большевистским; меньшевики и эсеры потеряли к нему интерес.

Помню одно заседание Петроградского Совета в первых числах октября. Аудитория в подавляющей части своей состояла из большевиков и левых эсеров. Меньшевики и правых эсеров было значительно меньше, но и они со вниманием слушали докладчика, выступавшего с кратким обзором внутренней политики Временного правительства нового состава. Он отметил, что правительство вялет, скрывая свои истинные намерения, и привел несколько ярких примеров трусливой деятельности министра труда Гвоздева в области введения рабочего контроля над производством, примеры такой же нерешительности в области земельной политики министра земледелия Маслова в тех случаях, когда речь шла об интересах крестьян, и о более смелых шагах, когда дело касалось интересов помещиков; о министре внутренних дел меньшевике-оборонце Никитине, готовом поддержать любое контрреволюционное мероприятие на местах, вплоть до разрешения местным правительственным комиссарам вызывать казаков для водворения порядка и т. п.

Оратор говорил зло и метко. В это время раскрылась входная дверь, просунулась голова Дана — одного из меньшевистских лидеров. Увидев, что здесь происходит, он с испуганным видом поспешил захлопнуть дверь. В зале раздался смех.

* * *

Открытие предпарламента — Временного совета республики, как он официально назывался, — было назначено на субботу, 7 октября, в Марининском дворце.

Газеты в этот день вышли невеселые.

Кадетская «Речь» предлагала не возобновлять в предпарламенте программных споров, а заняться всерьез наведением порядка в стране, памятуя о грозящей опасности со стороны внешнего врага. Какой порядок газета имела в виду? Конечно, старый, буржуазный порядок. Поэтому она и призывала к забвению программных споров.

«Новое время» поместило анкету, проведенную среди читателей этой газеты для выяснения «общественного мнения»: что нужно немедленно сделать для спасения страны? Оказалось, что стране нужна военная диктатура. Чего иного можно было ждать от «Нового времени»?!

Центральный орган РСДРП(б) газета «Рабочий путь» (заменившая закрытую после июльских дней «Правду») опубликовала в этот день статью Ленина «Кризис назрел». Эта статья, как и все, что публиковалось тогда за подписью «Н. Ленин», привлекла всеобщее внимание и горячо обсуждалась повсюду, где только сходились люди.

«В России переломный момент революции несомненен, — писал Ленин. — В крестьянской стране, при революционном, республиканском правительстве, которое пользуется поддержкой партий эсеров и меньшевиков, имевших вчера еще господство среди мелкобуржуазной демократии, растет *крестьянское восстание*.

Это невероятно, но это факт».

«...Крестьянское восстание в крестьянской стране...»

Можно ли перед лицом таких фактов отрицать, доказывает Ленин, «что кризис назрел, что революция переживает величайший перелом, что победа правительства над крестьянским восстанием была бы теперь окончательными похоронами революции, окончательным торжеством корниловщины?».

Опираясь на факты и цифры, Ленин доказывал, что не только в аграрном вопросе, но и в других вопросах общегосударственного значения (национальном, например) правительственные партии, или, другими словами, коалиция, на которую опирается правительство, понесла колоссальный урон, что к началу октября большинство в стране перешло на сторону большевиков. Это факт неопровержимый.

Но статья «Кризис назрел» имела и продолжение, не опубликованное в газете и предназначенное лишь для членов партии. В этой части статьи Ленин на вопрос «что делать?» решительно высказывается против тех, кто отрицал возможность немедленного взятия власти большевиками и настаивал на ожидании съезда Советов. Ленин считал такую точку зрения абсурдной, нелепой. «Ждать» съезда Советов... — писал Ленин, — это значит пропустить *недели*, а недели и даже дни решают теперь *все*».

Несколько дней я не был в Смольном. Попад туда только 10 октября, я сразу ощутил в его атмосфере что-то новое. Прав был Яков Михайлович Свердлов, когда он сказал: «К нам народ ходит» — дверь в комнату большевистской фракции в нижнем этаже не закрывалась. Народ приходил. То же происходило и в соседних комнатах, занятых фабрично-заводскими комитетами и одним из отделов штаба Красной гвардии, — обе эти организации находились под влиянием Петроградского комитета РСДРП(б). Присутствия других партий в Смольном не чувствовалось. Правда, на третьем этаже я встретил левого эсера Карелина.

Узнав, что в этот вечер в Смольном каких-либо интересных заседаний не ожидается, я собрался было уже уходить, но, встретив на втором этаже В. А. Антонова-Овсеенко, задержался. Владимир Александрович был для меня желанным и интересным собеседником, но поймать его было нелегко: он принадлежал к лучшим, наиболее активным агитаторам столичной большевистской организации. Он согласился уделить мне минут пятнадцать—двадцать времени. Я хотел увести его для беседы в наше пресс-бюро, но он отклонил это предложение...

— Я поведу вас в более уютную комнату, на третий этаж, — сказал он.

— Я вижу, ваши аннексии в Смольном еще продолжаются.

Он рассмеялся и добавил:

— На днях придется занять еще несколько помещений.

Мы зашли в одну из небольших комнат, на которой еще сохранилась табличка: «Классная дама».

Здесь Антонов-Овсеенко рассказал мне о последних событиях в военной области:

— В Маринском дворце сейчас заседает комиссия предпарламента по обзору...

— Да, при закрытых дверях. Информацию обещали дать нам завтра.

— Вряд ли вам дадут верную информацию.

А дело было так. Петроградский военный округ отдал приказ о подготовке к отправке на фронт некоторых частей из тех, что участвовали в февральском перевороте. Приказ вызвал большое недовольство и протесты в Петроградском гарнизоне, как противоречащий давнишнему соглашению между Временным правительством и Советами. Полки, к которым непосредственно относился этот приказ, отказались его выполнить, а некоторые из них, например Финляндский, собравшись на митинг, приняли резолюцию с выражением недоверия Временному правительству и требованием передачи власти Советам.

— Как видите, — продолжал Антонов-Овсеенко, — возник весьма неприятный для Временного правительства конфликт. Первыми в него решили вмешаться меньшевистско-эсеровские члены ЦИК. Ведь им еще принадлежало большинство. Воспользовавшись этим большинством, правда на сей раз оно составляло всего лишь один голос, они и приняли резолюцию, в которой была искажена вся суть этого инцидента. В ответ на это мы немедленно созвали пленум Совета. Присутствовало около тысячи человек. Подавляющим большинством голосов резолюция меньшевистско-эсеровского блока была отвергнута, принята большевистская резолюция, в которой прямо указывается, что спасение Петрограда и страны — в переходе власти в руки Советов. Одновременно решено создать при Петроградском Совете особый орган — Военно-революционный комитет, свой собственный революционный штаб. Без этого Петроградский Совет не может отвечать за безопасность Петрограда. Положение о Военно-революционном комитете будет составлено в ближайшие дни. В принятой пленумом Совета резолюции прямо указывается на неспособность Временного правительства обеспечить безопасность Петрограда, и через голову правительства Совет обращается к столичному гарнизону с предложением принять все меры к усилению своей боевой готовности... Вот вам правда о последних событиях, — закончил Антонов-Овсеенко.

Я видел, что он торопится, но все же просил его, если можно, сказать, куда правительство намеревалось направить петроградские полки.

— Да, об этом забыл сказать. Предполагалось их направить на Северный фронт. Командующий фронтом генерал Черемисов заявил, что воинские части, не желающие воевать, небоеспособны и поэтому он от них отказывается. Но... если правительству необходимо от них освободиться, он готов их принять. Любопытно, не правда ли?

Поблагодарив Владимира Александровича за интересное сообщение, я покидал Смольный, удовлетворенный тем, что узнал некоторые подробности конфликта, показывающие, в какую сторону направлено внимание Временного правительства.

С другой стороны — появился Военно-революционный комитет. Я тогда еще не представлял себе всего значения этого нового органа Петроградского Совета.

Я уходил из Смольного, не зная (да я и не мог этого знать) самой главной сенсации тех дней, о которой было известно только узкому кругу членов ЦК и Петроградского комитета РСДРП(б): уже несколько дней, как в Петроград по решению ЦК возвратился В. И. Ленин; он уже имел несколько встреч с руководящими работниками партии, и как раз сегодня, 10 октября, вечером созывается заседание ЦК, на котором Владимир Ильич выступит с докладом о немедленном переходе всех организаций партии к подготовке вооруженного восстания с целью свержения Временного правительства и передачи власти Советам.

* * *

Временный совет Российской республики, своеобразное учреждение, созданное специально для того, чтобы спасти обанкротившуюся и доведшую страну до предела катастрофы буржуазно-демократическую власть, переживал бурные дни. Но речи, разговоры, дискуссии не могли заменить революционного дела — предпарламент шел к своему последнему дню вместе с той властью, ради спасения которой он был создан.

Революционное же дело творилось в другом месте. За одну неделю — с 11 по 18 октября — в Смольном была проделана гигантская работа, преимущественно организационная, охватившая почти весь рабочий класс Петрограда, его крупнейшие заводы и фабрики, весь революционный Петроградский гарнизон, за исключением, может быть, только юнкерских училищ и других школ, подготовлявших офицерский состав для армии. Параллельно с организационной работой шла и огромная идеологическая работа, которой были заняты лучшие агитационные и пропагандистские силы партии большевиков. Когда я в течение этого периода заходил в Смольный, мне просто неловко было обращаться к тому или иному из большевистских работников с обычными репортерскими вопросами и расспросами — настолько они были поглощены выполнением ответственных партийных заданий.

Вспоминаю один из ненастных октябрьских дней — 12 октября. Отправляюсь в Смольный. Уже в вестибюле ощущаю атмосферу молодости, азарта. Двери хлопают непрерывно. Входят и выходят матросы, солдаты, рабочие. Короткие, лаконичные вопросы и такие же ответы. Часовые у дверей не успевают пров�ерять пропуска.

— Как пройти в комнату номер семь?

— Где тут заседает съезд?

— Можно ли пройти к товарищу Свердлову или к товарищу Дзержинскому?

— Где я здесь могу найти товарищей из Центробалта?

— Товарищи, проходите в комендатуру — там все объяснят.

Подхожу к лестнице. Вижу спускающегося вниз Володарского. «Спускающегося» — это не то слово: он бежал по лестнице, перескакивая через одну ступеньку. Я остановился, поджидая его.

— Что с вами, Моисей Маркович? Куда вы так торопитесь?

— Боюсь, что меня машина ждет, а просили ее не задерживать.

— Ни одной машины у подъезда нет, я только что вошел.

— Ну и отлично. Значит, все в порядке.

Он спешит на митинг. Сегодня их у него два.

— А жаль отсюда уходить — я сидел на съезде Советов Северной области. Интереснейшие встречи, самые разные люди. Советую вам зайти, пока съезд еще не закрылся. Вот где можно увидеть, каких людей растит революция!

Послышался гудок автомобиля, он поспешил к выходу.

— До свидания! А вечером вы здесь будете?

— Обязательно.

Поднялся наверх. Зашел в пресс-бюро, повесил свое мокрое пальто в шкаф и иду на съезд.

Громадная комната, входные двери открыты, народу много. На председательском месте Н. В. Крыленко. В президиуме вижу Подвойского, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, дальше идут незнакомые лица, а во втором ряду скромно сидят несколько членов ЦК РСДРП(б), в том числе и Ф. Э. Дзержинский.

Пристраиваюсь на одной из задних парт. Мой сосед — рабочий с Сестрорецкого оружейного завода — молодой коммунист, сын старого сестрорецкого оружейника, живой, разговорчивый парень. Шепотом он рассказывает мне, что происходило на съезде за два дня.

— А сейчас кто выступает?

— Сейчас говорят представители с мест.

Я уточнил, что присутствуют здесь представители почти тридцати городов, расположенных вокруг Питера, а также Москвы и Центральной России. Почти во всех этих городах новые Советы — большевистские. Все они за немедленное взятие власти Советами.

— Самым интересным, — продолжал мой сосед, — было оглашение письма Владимира Ильича Ленина, адресованного делегатам съезда. В этом письме товарищ Ленин доказывает, что мирным путем власть рабочим взять не удастся — без восстания не обойтись. А восстание надо организовать умело, как учил Маркс, а Маркс изучил опыт всех революций начиная с восемнадцатого века и убедился, что восстание — это искусство. Интересно, не правда ли?

— А вы читали последнюю статью Ленина?

— Читал, а у нас еще и доклад был по поводу этой и других статей Ленина.

— А кто был докладчиком?

— Вот он сидит в президиуме. — И он указал на Антонова-Овсеенко.

— Давайте послушаем этого оратора, он рассказывает что-то интересное, — прервал я моего словоохотливого соседа.

Выступал представитель Выборга. Он живо рассказывал, как происходили перевыборы Выборгского Совета, какое моральное поражение потерпел меньшевистско-эсеровский блок на этих выборах, о конфликте, происшедшем между этим блоком и большевиками в военных организациях города, как солдатский комитет арестовал коменданта Выборгской крепости — скрытого корниловца, и выбрал нового коменданта. В итоге Выборг теперь большевистский.

После этого оратора я, поблагодарив моего соседа за информацию, вышел в коридор. Вскоре там появился и Антонов-Овсеенко — он направлялся в комендатуру. Я присоединился к нему, и мы, разговаривая, стали медленно спускаться вниз по лестнице. Он сказал мне, что готовится к вечернему заседанию исполкома Петроградского Совета, на котором будет обсуждаться проект положения о Военно-революционном комитете.

— Проект уже готов. Это будет боевой орган при Петроградском Совете, в который, кроме представителей военных организаций Петроградского комитета партии, войдут и представители рабочих организаций. Таким образом, Военно-революционный комитет будет олицетворять единство пролетарского Питера и его вооруженных сил. Военно-революционный комитет стоит на страже безопасности столицы, революционной дисциплины ее гарнизона, действующего заодно с рабочим классом. Скажу вам вдобавок, что положения о комитете еще нет, но сам комитет уже функционирует.

— Да, об этом уже говорят в Мариинском дворце, и в кулуарах высказывалось мнение, что Керенский тут что-то прозевал.

— Не знаю, это уже их дело, а наше дело действовать и держать ухо востро.

Каждое следующее мое посещение Смольного в эту вторую декаду октября давало все новые и новые доказательства молниеносного развития событий.

Военно-революционный комитет сразу же приобрел огромное влияние, поскольку он был признан единственным авторитетным органом, приказам которого подчиняются все полки, весь гарнизон. В Смольном происходили в эти дни многолюдные собрания, совещания, конференции — всероссийская, областные, городские, фабрично-заводских комитетов, Красной гвардии, профсоюзов, комиссаров Военно-революционного комитета в полках, представителей самих полков, представителей гарнизона и ряд других. Все эти многолюдные собрания проходили очень оживленно, докладчиками выступали члены Петроградского комитета большевиков, члены Военно-революционного комитета, представители организаций — участников совещания. Речь шла открыто о подготовке восстания. Принимались резолюции, в которых собравшиеся единодушно высказывались за необходимость перехода власти к Советам. Сильно и убежденно говорилось о готовности отдать все за создание новой власти.

Крайнее напряжение, поистине драматический характер борьба между призрачной властью Временного правительства и победоносно надвигающейся лавиной вооруженного восстания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов приняла в дни 20—24 октября. Но эта напряженность не находила почти никакого отражения во внешней жизни огромного города. Город, казалось, жил той обычной жизнью, к которой он привык за три года войны. Нормально работал городской транспорт. Были открыты магазины. Стояли очереди у хлебных и продовольственных лавок, но это не ново. Открыты театры, кафе, рестораны, кабаре, ночные притоны, и повсюду — полно. Переполнены все кинотеатры. Беда только, что участились ночные грабежи, нападения на мирных прохожих. Но прочтите, что пишут в газетах: в провинции бушует стихия крестьянских волнений, громят помещичьи усадьбы, растет безработица, разрушается транспорт.

Нет, в провинции хуже, говорят обыватели. Петроград все-таки столица. Здесь находятся иностранные посольства — какая бы здесь ни была власть, она вынуждена поддерживать порядок. Так говорят обыватели и заполняют кинотеатры, где идут мелодрамы с Верой Холодной и Максимовым.

Так именно выглядел Петроград в самые напряженные дни Октября.

В Мариинском дворце очень опасались дня 20 октября. На этот день первоначально назначалось открытие II съезда Советов. Саботаж эсеро-меньшевистского ВЦИК заставил перенести открытие съезда на 25 октября. Но все же Петроградский военный округ, Городская дума приняли меры предосторожности.

Двадцать первого октября в Смольном состоялся большой солдатский митинг. В своем постановлении он приветствовал образование Военно-революционного комитета при Петроградском Совете. Гарнизон Петрограда и его окрестностей обещал ВРК полную поддержку во всех предпринимаемых им шагах.

На страже революционного порядка в Петрограде, записано в резолюции, «стоит весь гарнизон вместе с организованным пролетариатом, и всякие попытки внести смуту и расстройство в революционные ряды встретят с его стороны беспощадный отпор».

Это было серьезное обязательство, выданное Военно-революционному комитету.

На 22 октября в Смольном был назначен День Петроградского Совета. С тактической точки зрения это мероприятие было блестящим ходом Петроградского Совета. 22 октября — воскресенье. До начала восстания оставались считанные дни. Как лучше всего занять в этот день народные массы? Звать их на улицу? Но это чревато опасностью всяких неожиданных столкновений. И день был заполнен громадными митингами во всех частях города. День прошел организованно. Порядок нигде не был нарушен.

Митинг в Народном доме собрал многотысячную аудиторию. Здесь скрестили оружие представители разных партий, но никто не имел такого успеха, как большевики, представленные своими лучшими агитаторами.

Крестный ход, назначенный на тот же день казачьими частями Петроградского гарнизона, по настоянию Военно-революционного комитета был отменен.

Когда на следующий день, 23 октября, я зашел в Смольный, на первом этаже у комнаты № 7 (это была комната одного из отделов штаба Красной гвардии) стояла большая очередь — здесь выдавали оружие для красногвардейцев заводов разных районов. Каждый из заводов получал по полтораста сестрорецких винтовок.

Пока это происходило в Смольном, в Мариинском дворце еще заканчивались прения по вопросам внешней политики и шли переговоры между фракциями о выработке «формулы перехода к очередным делам». Над этим серьезно трудились Дан и Чернов, левые эсеры вырабатывали свою формулу. Мартов предлагал свою.

Двадцать четвертого октября я отправился на заседание предпарламента. Было еще рано. Войдя в трамвай, вспомнил, что еще не видел сегодняшних газет. Замечаю в руках у кондуктора газетный лист. Спрашиваю:

— У вас «Рабочий путь»?

— «Рабочий путь» сегодня не вышел. Говорят, что нынче на рассвете в типографию явились юнкера. Учинили настоящий погром, набор рассыпали, помещение опечатали и ушли.

— По чьему же это приказу?

— Известно по чьему — коменданта города или начальника гарнизона, кто их там разберет. Потом, говорят, рабочие позвонили в Смольный, рассказали, как все было. Вскоре к типографии подошли солдаты Литовского полка, сняли печати и говорят рабочим: все в порядке, работайте, чтобы газета к двум часам вышла.

Увидев в окне книжного магазина Ясного на углу Фонтанки и Невского только что вышедшую из печати брошюру Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?», я зашел в магазин. Приобрел два экземпляра этой брошюры, изданной на газетной бумаге, без обложки, и продолжал свой путь. День был серенький, туман недавно рассеялся, но дождя не было. В городе все, как обычно.

В Мариинском дворце было пусто. Члены предпарламента большей частью сидели на своих местах, углубившись в чтение газет. А газеты выглядели для них невесело. Передовая статья в «Новой жизни» озаглавлена: «Где же выход?», в другой газете: «Большевики продолжают угрожать восстанием» и т. д.

В кулуарах становится оживленнее. Обсуждаются последние события. Рассказывают, что попытка штаба округа договориться с Военно-революционным комитетом в Смольном об отмене последним своих распоряжений, изолировавших штаб округа от воинских частей, провалилась: и. о. военного министра генерал Маниковский отверг предложение штаба округа о встрече с представителем ВРК, на что последний выразил согласие. С другой стороны, сообщают, что произведенный по запросу Керенского подсчет сил, находящихся в распоряжении штаба округа, показал, что сил у него совершенно достаточно для отражения любого наступательного действия большевистского военного ревкома.

Заседание предпарламента открылось с большим опозданием. Слово для заявления предоставляется А. Ф. Керенскому. Оно было посвящено самооправданию и разоблачению козней коварных большевиков. Гвоздем речи, произнесенной на высокой ноте с пафосом и выкриками, было оглашение цитат из статьи «разыскиваемого государственного преступника Ульянова-Ленина», опубликованной в трех номерах газеты большевиков «Рабочий путь». Керенский огласил ряд цитат из этой статьи «Письмо к товарищам», сопровождая их своими комментариями. Он закончил свою истерическую речь требованием, чтобы Совет республики предоставил ему чрезвычайные полномочия для подавления восстания большевиков. Он обещал завтра, 25 октября, на утреннем заседании доложить все, что им будет для этого предпринято.

После его ухода был объявлен перерыв на один час. Но перерыв длился три с половиной часа. Заседание закончилось, когда уже наступил вечер. Была принята «формула перехода», предложенная Мартовым.

Восстание как искусство. — Победа

Утро 25 октября (7 ноября) 1917 года выдалось в Петрограде на редкость солнечным и теплым. Настоящая золотая осень¹. Встав рано и выйдя на балкон, я, к своему удовольствию, увидел, что трамваи выходят из парка и направляются по своим маршрутам. А были основания думать, что в этот день трамвайного движения не будет. Когда я накануне поздно вечером возвращался из Марининского дворца и сел в почти пустой вагон трамвая, кондукторша мне сказала, что завтра придется ходить пешком, так как к утру будут разведены мосты, об этом она узнала от юнкеров, когда они стояли у Дворцового моста. И вот оказалось, что мосты не разведены и транспорт действует нормально. Значит, юнкера получили отпор.

Выхожу на улицу. По привычке останавливаюсь у стенда с извещениями возле входа в трамвайный парк и читаю:

«От Петроградской Городской думы.»

Городская дума извещает население столицы, что вчера, 24 октября, образован Комитет общественной безопасности, составленный из гласных — представителей революционно-демократических организаций — ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского исполкома Совета крестьянских депутатов, армейских организаций, Центрофлота, Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, профессиональных союзов и др.».

Итак, выполнен последний пункт «формулы перехода» Мартова, который как раз предусматривал создание такой общественной организации. Перепуганный предпарламент создал накануне своей гибели новое убежище для буржуазной демократии. Правда, столичный муниципалитет после августовских выборов уже не тот, каким он был когда-то, в нем теперь большая и авторитетная большевистская фракция, но большинство в нем все же антибольшевистское.

Сажусь в трамвай, идущий на Невский проспект. Погода так хороша и необычна для конца октября в Петрограде, что я, проехав Аничков мост, выхожу из трамвая и решаю продолжать путь пешком. Стоит посмотреть, как выглядит сегодня город, — ведь он явно накануне важных событий.

Но я ничего необычного не вижу. Разве только то, что на Невском очень мало людей. А может быть, это спокойствие — тревожное затишье перед бурей? Но и никакой тревоги не ощущалось.

Правда, вчера Керенский в конце своей речи заявил, что завтра к утру он расправится с «большевистскими заговорщиками». Но, видно, это — очередное бахвальство. Фактически уже вчера, 24 октября, Временное правительство никакой властью не обладало. Уже с 20 октября, когда Военно-революционный комитет разослал своих комиссаров во все полки гарнизона и они были там приняты, власть была в руках Смольного. Зимний дворец уже был связан по рукам и ногам. А власть Петроградского Совета и его боевого штаба — ВРК — все ширилась и углублялась.

Выхожу на Исаакиевскую площадь. Она была очень красива в это солнечное утро. Необычным было только обилие красногвардейских патрулей, стоявших в четырех углах площади и перед центральным входом во дворец. Однако никто не помешал мне обогнуть здание и войти внутрь через боковой вход в ло-

¹ Здесь у меня явное расхождение с Джоном Ридом, автором «10 дней, которые потрясли мир». Рид пишет: «В среду 7 ноября (25 октября) я встал очень поздно... День был сырой и холодный...» Странно, как мог он так ошибиться. Дождь в этот день пошел только после пяти часов вечера, когда город уже погрузился в темноту.

жу журналистов. Здесь было еще совсем пусто, а в зале заседаний мелькало несколько фигур.

В кулуарах тоже было еще пустовато, но в отличие от улицы чувствовалась какая-то тревога. Ко мне подошел Даниэль-бек — бывший пристав Государственной думы, теперь исполнявший те же обязанности во Временном совете республики.

— Здравствуйте. Вы не были сегодня в Смольном? Нет? А знаете, вчера поздно вечером, когда здесь оставалось уже мало народу, пришел Михаил Иванович Терещенко и сообщил сенсационную новость: в Смольном уже сформировано новое большевистское правительство. Председателем Совета министров назначен Ленин.

— Это, конечно, сенсация, но несколько преждевременная: новое правительство может создать только съезд Советов, а он откроется сегодня вечером.

— Но состав Совета министров можно наметить заранее?

— Конечно, можно, но вряд ли большевики станут заниматься этим заранее. Вы лучше скажите, почему заседание не открывается?

— Нет Авксентьева, председателя, да и Керенского нет еще — ведь ему сегодня первое слово.

Это было в то самое время, когда Керенский уже был вне пределов Петрограда, мчась на своей машине, за которой следовала машина под американским флагом, в направлении Гатчины.

Время приближалось к полудню, когда наконец появился Авксентьев, но заседание все же не открывалось.

Тут я заметил, что зал постепенно окружают красногвардейцы и солдаты. Нетрудно было догадаться, зачем они появились. Я забрал с вешалки свое пальто и снова спустился вниз. В это время на трибуну к своему председательскому месту поднялся Авксентьев. Шепотом передавали члены Совета друг другу весть, что дворец окружен. Началась суэта. На лицах тревога. На трибуну поднялся красногвардеец с винтовкой. Раздался его громкий голос:

— Граждане, заседания не будет, просьба очистить помещение.

Все загоропились к выходу. Выйдя через центральный подъезд на площадь, я видел, как расходились в разные стороны члены Совета республики.

Я отправился в Смольный.

* * *

Трамвай идет по Невскому. Проспект залит солнцем. Он так же тих и спокоен, как и в восемь утра. Только много патрулей — солдатских, красногвардейских, особенно на перекрестках. Их раньше не было. Народу по-прежнему мало, и вагон полупустой.

Вспоминая все, что я наблюдал в последние дни на обоих флангах революции, обрывки разговоров, отдельные замечания моих собеседников, я приходил к заключению, что подготовка к восстанию проведена ВРК как в тактическом, так и в стратегическом отношении настолько тщательно и обдуманно, что она незаметно перешла в вооруженное восстание, которое и завершается сейчас, 25 октября, полной победой.

«Что же это за восстание? — думал я. — Это восстание как искусство».

Со времени VI съезда партии, взявшего курс на вооруженное восстание, уже около двух месяцев Ленин неустанно учит своих ближайших друзей, соратников, всю партию тому, как надо организовать восстание, он популяризирует учение Маркса о восстании как об искусстве, развивает и обогащает это учение. И вот результаты: вооруженное восстание побеждает.

Такие мысли занимают меня всю дорогу, а когда выхожу на Лафонской площади из вагона, думаю: хорошо бы поговорить об этом с Я. М. Свердловым.

Но что случилось с Лафонской площадью, она как-то изменилась за ночь. Штабеля бревен прикрывают уже не только правую, но и левую сторону фасада, а за бревнами пулеметы, а в одном месте вижу и дуло орудия. У самого входа в здание с двух сторон — пулеметы. У главного входа — грузовики, из них вы-

гружают ящики с боеприпасами. Двери раскрыты настежь. Народ входит и выходит. Дежурные-красногвардейцы едва успевают проверять пропуска у входа в здание. Внутри еще более оживленно и шумно, чем накануне. За ночь, и особенно с утренними поездами, прибыло много делегатов II съезда Советов. Многие с котомками за плечами, другие — с деревянными чемоданчиками в руках. Дежурный из комендатуры направляет их в свободные комнаты нижнего этажа.

— Устраивайтесь, товарищи! Потом позаботимся о некоторых удобствах. Кипяток в конце коридора, направо.

Первыми, кого из членов Военно-революционного комитета я увидел, были Ф. Э. Дзержинский и Я. М. Свердлов. У обоих красные, воспаленные глаза после бессонных ночей.

Я. М. Свердлов, пропустив вперед двух красногвардейцев с досками и плотницким инструментом, направился к лестнице. Я пошел за ним.

— Здравствуйте, Яков Михайлович, — поздоровался я.

— Здравствуйте, — ответил он усталым голосом. — Вы из города, что там слышно?

— Я был в Мариинском дворце — предпарламент вежливо, но решительно разогнали.

— Ну и скатертью ему дорога.

— А съезд Советов сегодня откроется?

— Обязательно, часов в восемь-девять вечера откроется.

Свердлов, видно, очень утомлен и неразговорчив.

— А старый пропуск будет действителен или нужен новый?

— Какой датой помечен ваш пропуск?

— Тридцать первым октября...

— Надо менять, тот пропуск уже недействителен. Зайдите после четырех часов к Урицкому и получите у него новый пропуск.

Я поблагодарил Якова Михайловича и пошел по коридору второго этажа, а он поднялся на третий, откуда доносился стук пишущих машинок. Увидев на дверях комнаты, расположенной против актового зала, табличку с надписью «Буфет», я заглянул туда. Это был маленький буфет для членов ЦИК. У небольшой стойки я увидел одного из членов Военно-революционного комитета, в руках он держал блюдце, в которое выливал из стакана горячий, крепко настоянный чай. Поздоровавшись, он обратил внимание на мой удивленный взгляд, брошенный на его черное зелье.

— Это лучший тонизирующий напиток для не очень молодых людей, — сказал он, чуть улыбнувшись. — Что делается в городе, о чем говорят?

— Говорят, предпарламент уже закончил свое брэнное существование и Керенского уже нет в городе. А что вообще происходит и что будет дальше — никто не понимает...

— Это не беда, — несколько загадочно сказал мой собеседник, — скоро все тайное станет явным. А что делает Комитет общественного спасения? Что он спасает и от кого спасает?

— Я еще там не был, не знаю.

— Жаль, в такие места журналисту стоит заглянуть, — заметил он.

В Смольном ждали начала экстренного заседания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, которое должно было состояться перед открытием съезда Советов.

Пока оно начнется, я решил заглянуть в пресс-бюро. Войдя в комнату, я услышал за перегородкой крупный разговор. Сразу узнал голос Юрия Михайловича Стеклова. Стеклов явился к редактору «Известий» Розанову как представитель фракции большевиков II съезда Советов с требованием сдать ему редакцию органа Центрального исполнительного комитета.

— Поймите, — убеждал он Розанова, — уже прибыло более четырехсот пятидесяти делегатов съезда, из них примерно двести пятьдесят — большевики.

У нас абсолютное большинство на съезде обеспечено, и нам нужно выпустить к завтрашнему утру газету под новой редакцией.

— Глупости, — раздраженно отвечал Розанов. — Вы не имеете никакого права предъявлять мне такие требования. ЦИК пока еще существует в том составе, какой был избран на Первом съезде Советов. Перевыборы состоятся только завтра вечером, а может быть, поздно ночью. Только после переизбрания ЦИК и назначения нового редактора я передам ему свои полномочия. Вот и весь разговор. И оставьте меня в покое.

— Нет, не оставляю... Смешно социалисту становиться на такую формальную точку зрения. Политическая ситуация ясна...

— Повторяю, бросьте говорить чепуху. Я вас больше не слушаю.

Спор разгорался и перешел в резкую перебранку. Я не стал дожидаться конца, тем более что в этот момент из коридора донеслись крики и бурные аплодисменты. Я бросился в коридор.

— Ле-нин! Да здравствует товарищ Ленин! — неслись восторженные голоса со всех сторон.

«Вот это сюрприз», — подумал я и вспомнил вчерашнюю речь Керенского в предпарламенте, когда он, цитируя отрывки из «Письма к товарищам» Ленина в «Рабочем пути», назвал его «разыскиваемым государственным преступником Ульяновым-Лениным».

И вот я снова — впервые после июльских дней — увидел Ленина. В сопровождении членов Военно-революционного комитета он спускался с третьего этажа вниз в актовыв зал, где уже началось экстренное заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Многие видели Ленина впервые и старались протиснуться поближе. Столпотворение в коридоре образовалось невероятное. Люди хлынули вслед за Лениным в актовыв зал. Депутаты Совета вскочили со своих мест, и здесь разразилась такая овация, каких потом было много, но в тот момент это выражение чувства восторга и радости по поводу встречи с вождем, который привел страну к победе первой в мире социалистической революции (уже само появление Ленина в актовом зале Смольного было символом этой победы), было незабываемо глубоким и искренним.

Владимир Ильич был уже на трибуне, в президиуме. Теперь я видел его совсем хорошо. Он выглядел моложе, чем раньше. Ну ясно, ведь у него еще не отросла борода, не было усов.

Зал долго не затихал. Никто не хотел садиться, сколько из президиума ни упрашивали. А президиум сам не усаживался, продолжая восторженно аплодировать.

И только тогда стало тише, когда председательствующий, перекрывая гул, объявил:

— Слово имеет товарищ Ленин.

И овация вспыхнула с новой силой. Несколько минут Владимиру Ильичу пришлось выдержать эту своеобразную атаку аплодисментами и возгласами приветствий. Колокольчик председательствующего звонил непрерывно, но его звон тонул в общем гуле.

Наконец Ленин получил возможность говорить, он произнес ту речь, которая теперь напечатана во всех учебниках нашей истории и начинается словами:

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась...»

Голос Владимира Ильича звучал очень сильно и торжественно.

Закончив свою короткую речь, Ленин передал в президиум проект составленной им резолюции, содержащей основные положения его речи. Ленин уходил из зала, провожаемый бурными аплодисментами и приветствиями.

После его ухода заседание Петроградского Совета продолжалось. В. А. Антонов-Овсеенко сделал сообщение о положении в городе.

В четыре часа дня Военно-революционный комитет был полновластным хозяином в столице. На его стороне весь гарнизон, за исключением юнкерских

училищ. Военно-революционный комитет занимал все стратегически важные позиции, все важнейшие учреждения. Единственным очагом сопротивления оставался Зимний дворец, где укрылось Временное правительство, полностью изолированное от народа. С каждым часом оно лишалось и своих слабых защитников.

Что же будет дальше?

Этот вопрос волновал всех.

Я вышел из зала. Длинный коридор второго этажа гудел, как пчелиный рой. Встреча с Лениным произвела глубокое впечатление. Его бодрость, его оптимизм заражали всех.

— Этой победы у нас никто не отнимет, — слышу я голос волжского делегата Я. З. Ермана, окруженного группой самарцев, саратовцев и царицынцев. — Переворот, совершенный питерским пролетариатом, — это навсегда. Он прокатится по всей стране. Он вызовет огромный резонанс во всем мире.

Очень интересно слышать эти живые, волнующие отклики делегатов. Но я не могу здесь больше оставаться. Мне нужно заглянуть в Городскую думу, узнать, «кого они там спасают и от кого спасают». Кстати, увижу, что делается в городе.

Пропуск я получил очень быстро у М. С. Урицкого, которого нашел в одной из комнат первого этажа. Спросил у него, как он находит Владимира Ильича.

— Великолепно, но я вижу его уже не в первый раз с того дня, как он возвратился в Петроград. И сколько же он успел сделать за это время! Вы читали только то, что было напечатано в «Рабочем пути». Но еще столько же, а может быть, и больше он написал для членов партии в виде писем, записок...

Я впервые видел, чтобы Урицкий говорил так увлеченно, так горячо. Мне не хотелось прерывать его вопросами. Но он сам прервал разговор:

— Сейчас заняться этим, к сожалению, некогда, но мы постараемся познакомиться с этими неопубликованными материалами всю страну.

Я попрощался с Урицким и ушел, сказав, что собираюсь вернуться на съезд.

Вышел на улицу. Уже темнело. Погода испортилась. Небо в свинцовых тучах. Моросит мелкий дождик. Узнаю, что трамвайное движение по Невскому проспекту прекращено с четырех часов дня: это было необходимо, потому что шло окружение Зимнего дворца войсками, выполнявшими приказы Военно-революционного комитета. Настали решающие часы восстания.

Как же добратся до Невского? Только счастливая случайность может меня выручить. К подъезду подходит грузовая машина. В кузове несколько красногвардейцев с винтовками. Куда идет машина? В главный штаб, на Дворцовую площадь. Сейчас должны сверху принести пакет для Н. И. Подвойского. Решаю подождать, авось удастся попасть в эту машину. С пакетом спускается П. Е. Лазимир. Удача: он меня знает и разрешает сесть в кузов. И вот мы мчимся по ночному пустынному Петрограду. На стенах домов, на заборах белеют небольшие афиши: это составленное еще утром В. И. Лениным знаменитое и теперь хорошо всем известное обращение «К гражданам России!».

А вот и Невский! Выхожу в самом центре — на углу Невского и Михайловской. Напротив — Городская дума. Оглядываюсь по сторонам. Тишина. Невский совершенно пуст. Проходят солдатские и красногвардейские патрули. Переговариваются между собой шепотом, как бы боясь нарушить эту тишину. Где-то подальше, у входа в бывшее Дворянское собрание, дымит маленький костер, около него несколько красногвардейцев. Греют руки.

Перехожу на другую сторону Невского и поднимаюсь по крутой лестнице в Городскую думу. Вхожу в зал. Душно, накурено. Кто входит в зал, кто выходит. Ищу кого-нибудь из знакомых гласных. Первым оказался сам городской голова Г. И. Шрейдер (эсер — кажется, левый).

— Здравствуйте, товарищ Шрейдер!

Он отмахивается от меня:

— Не спрашивайте у меня ничего — кавардак! Понимаете? Сумасшедший дом!

И он скрывается за одной из дверей, ведущих во внутренние помещения. Я тоже направляюсь туда и неожиданно сталкиваюсь с Дмитрием Захаровичем Мануильским, одним из популярнейших гласных, членом фракции большевиков в Городской думе. В то время как другие гласные-большевики находятся сейчас в Смольном, он и Кобозев остаются на своем посту в муниципалитете, внимательно следят за тем, что здесь происходит, и дают достойный отпор всяким антибольшевистским и контрреволюционным выходкам, которые позволяют себе иные из гласных. На мой вопрос, что здесь происходит, Дмитрий Захарович иронически отвечает:

— Происходит перманентное заседание Комитета общественной безопасности. Как видите, трибуна свободна. Может выступить каждый, у кого язык чешется. Сюда перекочевало много членов предпарламента, оставшихся без дела.

— О чем же говорят?

— Сейчас главным образом о том, как «выручить» министров, сидящих в Зимнем в полной изоляции от народа.

В этот момент в зале вышел на трибуну городской голова Г. И. Шрейдер и сделал экстренное сообщение:

— Комитет общественной безопасности решил направить в Смольный делегацию для переговоров с представителями Петроградского Совета или ВРК о разрешении группе гласных пройти в Зимний дворец, уговорить министров Временного правительства в необходимости сдаться, чтобы избежать кровопролития.— Далее Шрейдер трагическим голосом продолжал: — Только что нам из Зимнего дворца позвонил по телефону министр земледелия, наш товарищ и друг Семен Маслов, и просил передать всем, что министры Временного правительства находятся в отчаянном положении, чувствуют себя покинутыми всеми.

Заявление Шрейдера вызвало панику. Начался новый поток речей, оплакивающих горькую судьбу министров, попавших в «большевистские лапы». Ораторы не стеснялись в выражениях. Слова «солдатня» и «матросня» не сходили с уст. Наконец было принято решение: не дожидаясь возвращения делегации из Смольного, отправиться в Зимний дворец — добиться освобождения блокированных там министров.

— Но ведь это же донкихотство,— возражали более спокойные и рассудительные из гласных,— такую делегацию и на версту не подпустят к Зимнему дворцу.

Эти трезвые голоса не помогли. Десятка три гласных, одевшись, вооружившись зонтиками, свечами, карманными фонариками, собрались в зале, готовые отправиться в поход.

— Видали?— сказал Мануильский.— Вот паникеры! Но это не только паникерство — это махровые контрреволюционеры. Завтра они покажут свой звериный оскал. С ними нам еще придется повозиться немало.

Сolidные бородатые люди в пальто и плащах, с зонтиками, а некоторые с зажженными свечами под дождем отправились к арке Главного штаба. Но они дошли только до Полицейского (ныне Народного) моста — здесь солдатские патрули повернули их обратно.

Я возвратился в Смольный часам к девяти вечера. Окна Смольного сверкали огнями, отбрасывая свет на погруженную в темноту Лафонскую площадь, где время от времени раздавались гудки подъезжающих машин и перекличка патрулей.

В самом здании в ожидании открытия съезда Советов коридорная суэта несколько затихла, двери в зал были распахнуты, часть делегатов сидела на своих местах. Это были депутаты-большевики, фракционное заседание которых уже закончилось. Депутаты были заняты заполнением большой «анкеты делегата съезда», в которой было около тридцати вопросов.

Между девятью и десятью часами вечера громадные окна актового зала несколько раз озарялись вспышками орудийных выстрелов. Вспышки были похожи на дальние зарницы. Первый, как потом я узнал, был выстрел «Авроры», после него артиллерийский обстрел дворца вели из Петропавловской крепости. Делегаты подбегали к окнам, наблюдал за вспышками и я.

Только часов около одиннадцати вечера в актовом зале появились члены ЦИК, избранные на I съезде Советов в июне 1917 года. От имени ЦИК съезд открывал лидер меньшевиков Дан. Нетрудно представить себе состояние этого человека — яркого противника созыва II съезда, человека, и в эти минуты поддерживавшего правительство Керенского, — открывающего съезд, большевистский по своему составу. Вступительная речь Дана по тону была похоронной.

— Предлагаю приступить к выборам президиума, — закончил он свое вступительное слово.

Не стану описывать всего хода первого ночного заседания съезда. Оно продолжалось с некоторыми перерывами до пяти часов утра. До трех часов ночи шли пререкания с меньшевиками и эсерами, которые заявили, что покидают съезд. Они уходили и снова приходили, пока не стало известно, что Зимний дворец взят, министры Временного правительства арестованы и заключены в Петропавловскую крепость.

Ленин в этот вечер в зале заседаний не появлялся.

Зимний дворец был взят в два часа десять минут ночи штурмом соединенными силами солдат, матросов, красногвардейцев под общим руководством Н. И. Подвойского, В. А. Антонова-Овсеенко и Г. И. Чудновского.

Когда я потом слушал в Смольном рассказ В. А. Антонова-Овсеенко о том, как они провели этот штурм, я был поражен выдержкой, спокойствием и твердостью тех, кто им руководил. То же можно сказать и о Г. И. Чудновском, об этом рано погибшем замечательном человеке, о его гуманности и благородстве. Они мужественно и искусно руководили сложной операцией штурма, сложной потому, что стремились избежать кровопролития, что надо было обеспечить бескровную победу над противником. И они этого достигли. Об этом с глубокой признательностью говорили в коридорах Смольного делегаты II съезда Советов.

Хорошо запомнился такой эпизод этой долгой и бурной ночи.

В четвертом часу утра, после того как съезду было объявлено о взятии Зимнего и аресте Временного правительства, настроение в зале после неприятных сцен с меньшевиками и эсерами очень поднялось. Часто вспыхивали овации в связи с приходом многочисленных делегаций разных воинских частей, сообщавших о своем присоединении к восставшему народу.

И вот в зал входит делегация самокатчиков. Ведет ее красивый грузин с вдохновенным лицом, с большой копной черных волос, в длинной солдатской шинели, с папачой в руке. Его встретили громовыми рукоплесканиями. Это был Георгий Константинович Орджоникидзе, которого уже тогда называли коротким и звучным именем Серго.

А дело обстояло так. Третий батальон самокатчиков, посланный с фронта в Петроград для усмирения «бунта», остановился на станции Передольская и заявил, что дальше не сдвинется с места, пока не выяснит, кто «бунтует» и кого надо «усмирять». Военно-революционный комитет отправил навстречу самокатчикам товарища Орджоникидзе. И вот результат — самокатчики присоединились к восстанию петроградского пролетариата и революционного гарнизона.

Представитель самокатчиков дюжий георгиевский кавалер рассказал съезду, как все было. Орджоникидзе и пришедшим с ним самокатчикам была устроена шумная овация.

Выйдя вслед за ним в коридор, я увидел, как Серго попал в объятия поджидавшего его здесь С. М. Кирова. Оба молодые, крепкие, мужественные, смеясь и радостно обмениваясь репликами, пошли по коридору в комнату, занятую Вла-

димиром Ильичем. У дверей этой комнаты уже был сооружен деревянный тамбур. От него шел запах свежей сосны. По обе стороны тамбура два красногвардейца несли вахту.

Надо сказать и о другом эпизоде, произведшем впечатление события большого политического значения.

Почти перед самым закрытием заседания на трибуну поднялся Н. В. Крыленко и огласил телеграмму, полученную на имя съезда от 12-й армии Северного фронта. В телеграмме, помимо приветствия II съезду Советов, сообщалось, что в 12-й армии создан военно-революционный комитет, который взял на себя командование Северным фронтом.

Это было совершенно неожиданное сообщение — новая блестящая победа социалистической революции. Так это и было воспринято всеми присутствовавшими в зале.

Далее в телеграмме сообщалось, что командующий фронтом генерал Черемисов признал военно-революционный комитет и что комиссар Временного правительства на Северном фронте Войтинский подал в отставку. Это сообщение предвещало создание новой армии, революционной армии новой России.

Первый день II съезда закончился под незабываемым впечатлением того, что в жизни страны произошел грандиозный переворот, значение которого пока еще трудно обнять умом.

Съезд принял обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!». Проект его был написан В. И. Лениным. Это обращение торжественно огласил А. В. Луначарский.

Съезд Советов возвещал стране, что, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и крестьян, он взял власть в свои руки. И что вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок. Обращение призывало солдат и железнодорожников к бдительности против происков корниловца Керенского.

Под этим обращением, кроме Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, была поставлена и подпись делегатов от крестьянского Совета по их просьбе.

Заседание закрылось в начале шестого утра 26 октября. Из зала выходили гурьбой. Усталости не чувствовалось. Длинные коридоры Смольного притихли. Только в комнатах Военно-революционного комитета продолжалась работа. Стучали пишущие машинки, полевой телеграф рассылал по всей стране вести о происходящих в столице событиях и указания, как действовать на местах, запросы, призывы к бдительности. Энергично, неутомимо работала служба связи Военно-революционного комитета. К подъезду Смольного то и дело подъезжали и отъезжали машины. А над спящим еще городом всходила заря второго дня Великого переворота.

* * *

Во время первого заседания II съезда Советов Ленин все время находился в своей комнате на втором этаже или в помещении Военно-революционного комитета на третьем этаже, на втором же и последнем заседании съезда Владимир Ильич выступал по крайней мере раз пять. Он сделал два коротких, немногословных, но исключительно глубоких по мысли вступления к проектам декретов о мире и о земле и сам огласил эти декреты, написанные им накануне. Он выступал в прениях с репликами, содержание которых до сих пор изучается и служит для коммунистов всего мира наставлением и руководством к действию.

Я сидел в нарядном белоколонном зале Смольного среди делегатов съезда и вспоминал выступление Ленина на I съезде Советов в длинном зале Кадетского корпуса на Васильевском острове. Как мало времени прошло с тех пор, но какая огромная разница в обстановке! Как вырос народ, как вырос авторитет возглавляемой Лениным партией! Тогда Ленин выступал во враждебном окружении, но именно там он бросил свою знаменитую реплику «Есть такая партия!».

Прошло три месяца, и вот эта партия у власти, издает первые декреты. И голос Ленина звучит торжественно и встречает восторженные отклики.

Вначале, когда на трибуне появился Ленин, все стало похоже скорее на бурный митинг, чем на деловое заседание, — двери зала широко распахнуты, и не только зал, но и коридор заполнен народом — все хотели видеть и слышать Владимира Ильича. Ему восторженно аплодировали, кричали «ура», в воздух взлетали фуражки, шапки, бескозырки. Но стоило Ленину начать говорить, как мгновенно наступила напряженная тишина. Люди слушали затаив дыхание, стараясь не упустить ни слова. Мысли Ленина, его соображения о будущем мире, об отношениях между народами, о линии, которой должны будут держаться представители русской революции в международных переговорах, поражали своей логичностью, своей мудрой осторожностью.

То, что Ленин говорил на этом заседании съезда, было исключительно ново, неожиданно и — как мы убедились затем — прозорливо. Ленин словно глядел на десятилетия вперед. Достаточно, например, вспомнить его ответ одному из ораторов относительно условий мира. Тот возражал против высказанной Лениным мысли, что Россия, предлагая свои условия мира, готова выслушать и обсудить всякие другие условия, которые будут предложены представителями противной стороны. Оратор настаивал на постановке требований об условиях мира в ультимативной форме. Нет, возражал Ленин, обстановка не позволяет нам сейчас предъявлять капиталистам ультиматумы. Наоборот, наше согласие рассматривать всякие условия мира покажет наше миролюбие, именно так поймут нас народные массы в буржуазных странах, а привлечение масс на нашу сторону — это важнейшая наша задача.

Аудитория поняла Ленина и неистово ему аплодировала.

С не меньшим интересом были выслушаны и выступления Ленина в короткой дискуссии при обсуждении Декрета о земле. Ленину, как известно, еще в мае 1917 года, когда он присутствовал на съезде крестьянских депутатов, пришла мысль, что было бы весьма полезно использовать крестьянские наказания, поступавшие с мест. Их накопилось 242, и из них был составлен «Сводный наказ». Этот документ и был блестяще использован Лениным при составлении Декрета о земле. Эсеры поспешили объявить большевиков «плагиаторами» в аграрном вопросе — у них, мол, «украли» основные идеи Декрета о земле.

Ленин, спокойно и мягко улыбаясь, заметил:

— Пусть так, не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление, идущее из народных низов, хотя бы мы были с ним и не согласны. Жизнь, — продолжал Ленин, — лучший учитель, и она укажет, кто прав...

Оба декрета, поставленные на голосование один за другим, были приняты подавляющим большинством голосов. Против Декрета о земле был подан один голос, воздержались восемь человек.

Надо было посмотреть на лица делегатов съезда, как они сияли радостью в момент голосования.

После принятия декретов был объявлен перерыв. Все высыпали в коридор. Радостное оживление. Улыбающиеся лица. Владимир Ильич в тесном окружении членов президиума. В зале к ним присоединяются Н. К. Крупская и А. М. Коллонтай. Они направляются на короткий отдых в комнату № 86 на втором этаже — это комната Ленина.

Я ловлю в коридоре Володарского. Он рассказывает мне то, что я впоследствии прочитал в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича: как Ленин в ночь на 26 октября притворился спящим, а потом, обманув бдительность хозяина квартиры, встал, зажег лампу, уселся за стол и стал писать Декрет о земле. Бонч-Бруевич видел, как Ленин улыбается, а перо движется по бумаге.

Володарский выглядел счастливым и бодрым в эту ночь, с его лица исчезла та озабоченность, которую я, наблюдая за ним издали, замечал в последние дни перед восстанием.

После перерыва председательствующий объявил, что съезд переходит к последнему пункту повестки — формированию нового правительства. Оно будет называться Советом Народных Комиссаров. Достигнуто соглашение о его составе. Левые эсеры, которым большевики предложили войти в состав правительства, решили воздержаться от принятия этого предложения. Таким образом в состав первого Совета Народных Комиссаров вошли одни большевики. Нелегко было уговорить некоторых взять на себя обязанности народных комиссаров. Ссылались на отсутствие опыта.

— А вы думаете, что у кого-нибудь из нас есть такой опыт? — смеясь, возразил Ленин.

Председатель приступил к оглашению списка народных комиссаров:

— Председатель Совета Народных Комиссаров — Владимир Ильич Ульянов-Ленин...

Гром рукоплесканий потряс зал.

Каждое новое имя встречалось аплодисментами. По залу прокатывалось мощное «ура», возгласы: «Да здравствует революция!», «Да здравствует социализм!».

Мощный «Интернационал» гремел в белоколонном зале Смольного. Было шесть часов двадцать минут утра 27 октября.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ТРУДЯЩИХСЯ С В. И. ЛЕНИНЫМ

Одиннадцатого марта 1919 года В. И. Ленин получил телеграмму продовольственного комиссара Сарапульского уезда Вятской губернии Зубова. Он сообщал Владимиру Ильичу важную новость, что крестьяне направили в Москву эшелон ржи.

Получив телеграмму, В. И. Ленин внимательно выясняет обстоятельства дела, узнает заслуживающие внимания подробности. Оказалось, что еще в начале года (29 января) Сарапульский уездный съезд Советов принял решение о сборе по всем деревням уезда сорока тысяч пудов ржи в подарок Москве и Петрограду. При этом делегаты съезда решили хлеб «самим препроводить и поднести нашему дорогому и любимому вождю тов. Ленину».

Видимо, телеграмма упродкомиссара Зубова попала к В. И. Ленину вечером, и он поручает секретарю Совнаркома Л. А. Фотиевой проверить завтра, где эти вагоны с рожью. При этом пишет он в своем поручении уже не о двадцати тысячах пудов хлеба (о чем говорилось в тексте телеграммы), а о сорока тысячах пудов (что показывает его осведомленность о решении Сарапульского съезда Советов¹).

На другой день, 12 марта, узнав, что крестьянские делегаты успешно доставили первую партию хлеба в Москву и сдали его в комиссариат продовольствия, Владимир Ильич приглашает их к себе, беседует с ними, обращает особенное внимание на то, что хлеб был собран исключительно на добровольных началах. В этом Владимир Ильич увидел «замечательный подвиг, который вполне заслуживает совсем особого приветствия»².

Высокая ленинская оценка инициативы сарапульских крестьян позволяет сопоставить их «замечательный подвиг» с трудовым подвигом московских рабочих, о которых летом 1919 года В. И. Ленин напишет исторические слова в статье «Великий почин». Ведь и в действиях крестьян, добровольно отдающих результаты своего труда в пользу государства, несомненно, сказалась забота о всем обществе, всей стране в целом.

Патриотические действия сарапульцев явились для Ленина одним из свидетельств глубоких исторических сдвигов, происходивших в среде крестьянства.

О своей беседе с сарапульскими крестьянами Владимир Ильич рассказал на митинге в Народном доме Петрограда 13 марта 1919 года: «Когда я спросил у этой делегации об отношении крестьян к Советской власти, делегация мне ответила: контрреволюционные действия белогвардейщины «нас научили, и теперь никто не отклонит нас от Советской власти»³.

В. И. Ленин с большим интересом относился к письмам трудящихся. Письма и телеграммы крестьян и деревенских работников были для В. И. Ленина важным источником изучения настроений, забот, тягот, успехов и радостей советского крестьянства. Иногда письма рядовых тружеников рождали у Ленина новые обобщения и вели к новым государственным мероприятиям. Так было, например, при разработке основ новой экономической политики. Чаше Владимир Ильич черпал в письмах из глубоких мест Советской республики силу и уверенность в правильности намеченной пар-

¹ Ленинский сборник XXIV, стр. 118.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 268.

³ Там же, т. 38, стр. 32.

тней линии. В любом случае он живо откликался на письма трудящихся, давал ход их предложениям, одобрял, поддерживал.

Негодование вызывали у В. И. Ленина те местные работники, которые, по неопытности или незрелости, хотели преодолеть экономические трудности, переживаемые страной, низкую культуру и бедность деревни административными, насильственными мерами, голым командованием. Надо ли говорить о том, что подобные действия играли на руку классово враждебным элементам, а также примазавшимся к партии карьеристам и авантюристам.

В докладе «О работе в деревне» на VIII съезде партии весной 1919 года Ленин говорил:

«...Коммуны мы поощряем, но они должны быть поставлены так, *чтобы завоевать доверие крестьянина*. А до тех пор мы — учащиеся у крестьян, а не учителя их. Нет ничего глупее, когда люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей, люди, которые бросились в деревню только потому, что они услышали о пользе общественного хозяйства, устали от городской жизни и желают в деревне работать, — когда такие люди считают себя во всем учителями крестьян. *Нет ничего глупее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего крестьянина*»¹.

Естественно поэтому, что, когда через две недели после VIII съезда РКП (б) нарком земледелия С. П. Середя представил В. И. Ленину телеграмму из Княгининского уезда Нижегородской губернии, сообщавшую о том, что местные работники принуждают крестьян вступать в артели и коммуны, В. И. Ленин подписал резкую телеграмму:

«Недопустимы какие бы то ни было меры принуждения для перехода крестьян к общественной обработке полей. Неисполнение этого будет караться со всей строгостью революционного закона»². А через день, 10 апреля 1919 года, в центральной печати было опубликовано за подписями В. И. Ленина и наркомзема С. П. Середы циркулярное письмо, разъясняющее полную добровольность перехода крестьян к коллективным формам жизни.

С огромным вниманием следил Владимир Ильич за откликами крестьянства на новую экономическую политику, требующую укрепления революционной законности и повышения культуры всей работы советского государственного аппарата.

Вот яркий пример ленинского отклика на письмо деревенского активиста, петроградского рабочего, в 1919 году перешедшего на партийную работу в деревню. 21 января 1921 года Владимир Ильич писал:

«Саратовская губ., Сердобский уезд, Бакурская волость
Бакурской волостной организации РКП
Копия Саратовскому губпарткому и губпсполкому

Дорогие товарищи!

Секретарь Вашей организации тов. *Турунен* передал мне в письменном виде, что Вы по просьбе крестьян постановили через него довести до моего сведения о контрреволюционных действиях в Вашей волости некоторых продработников, которые творят издевательства над неимущими, грабят в личную пользу, поощряют выкуривание самогона, пьянствуют, насилуют женщин, провоцируют Советскую власть и т. п. Вы просите отсюда из Москвы ликвидировать эти контрреволюционные действия. Но бороться всеми своими силами на местах с контрреволюцией, это — одна из самых главнейших задач местных партийных организаций, в том числе и Ваша. Ваш долг и обязанность добиться путем сношений с уездпарткомом, а если это не поможет, с губпарткомом, ареста и предания Ревтрибуналу таких контрреволюционеров и мерзавцев, о которых Вы сообщаете.

Что Вами было сделано в этом направлении?

Во второй части письма тов. *Турунен* приводит Ваши соображения о том, что Советская власть, чтобы выйти из хозяйственной разрухи, должна некоторое время опираться на крестьянство, как на костыль. Это совершенно верно. Об этом сказано в нашей

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 201.

² Там же, т. 50, стр. 381.

партийной программе и в постановлениях партийных съездов. На последнем VIII Всероссийском съезде Советов вопрос о поднятии сельского хозяйства рассматривался очень подробно и тщательно, и съезд принял важные практические постановления, которые Вам на местах нужно будет проводить в жизнь по указаниям губернских органов.

Постановления эти были напечатаны в газетах. Кроме того, тов. *Турунен* привезет Вам некоторые дополнительные материалы, которые он получил в Наркомземе, куда он от меня был направлен.

С коммунистическим приветом.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)»¹.

Публикуемое ниже ответное письмо И. П. Турунена настолько характерно, что не нуждается в комментариях. Позднее (в 1930 году) И. П. Турунен в автобиографии, пересланной в Институт В. И. Ленина, сообщил дополнительные данные о том, как крестьяне встретили письмо Владимира Ильича.

В начале 1922 года В. И. Ленин поручил редактору газеты «Беднота» В. А. Карпинскому заняться обзором и анализом поступающих в редакцию писем от крестьян.

«т. Карпинский! — писал Владимир Ильич. — Не напишете ли мне кратко (2—3 странички максимум),

сколько писем крестьян в «Бедноту»²

что важного (особенно важного) и нового в этих письмах?

Настроения?

Злобы дня?

Нельзя ли *раз в два месяца* получать такие письма (следующее к 15.III. 1922)?

а) среднее число писем

б) настроения

в) важнейшие злобы дня»².

Как вспоминал впоследствии В. А. Карпинский, он стал готовить для В. И. Ленина такие обзоры. И Владимир Ильич направлял их членам Политбюро³. Любопытно, что эти обзоры В. А. Карпинский называл «барометром» «Бедноты».

Крестьяне видели отзывчивость Владимира Ильича к их нуждам. Он пользовался у них исключительным уважением и любовью. Письма крестьян, относящиеся к 1922 году, показывают, как горячо они встретили облетевшее всю страну известие о том, что В. И. Ленин вновь вернулся к работе в октябре 1922 года. И везде, во всех письмах-приветствиях крестьян, сказывается поддержка и одобрение ленинской политики в отношении к трудовому крестьянству.

Публикуемые ниже несколько документов (хранящихся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) из переписки крестьян и деревенских активистов с В. И. Лениным служат прекрасной иллюстрацией ленинского стиля государственной деятельности, его умения крепить связи с массой трудящихся.

И. Смирнов.

1

ТЕЛЕГРАММА УЕЗДНОГО ПРОДКОМИССАРА ЗУБОВА В. И. ЛЕНИНУ

11 марта 1919 г.

Отправлено Вам из Сарапула с проводниками семнадцатого февраля подорок — двадцать вагонов ржи (двадцать тысяч шестнадцать пудов).

Благоволите получение телеграфировать или необходимость принять меры доставки.

Упродкомиссар Зубов.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 52—53.

² Там же, т. 54, стр. 143—144.

³ См. там же, т. 45, стр. 58—59, 511, т. 54, стр. 604.

2

ПИСЬМО И. П. ТУРУНЕНА В. И. ЛЕНИНУ

25 января 1921 года.

Уважаемый вождь, Владимир Ильич!

Ваше письмо получено в момент перевыборов Советов Бакурской волости. Когда я (председатель собрания) заявил, что получено письмо от тов. Ленина, в котором тов. Ленин пишет волостной партийной организации РКП, что партийная организация, которая ведет борьбу с курением самогона, спекуляцией и т. п., должна также вести борьбу с теми, кто подрывает Советскую власть незаконными действиями, как-то: пьянством, лихоимством, насилием и издевательствами над немущими, — отдачей виновных ревтрибуналу. На это аудитория хором ответила:

«Просим тов. Турунен послать от нашего бакурского крестьянства имени приветствие и благодарность за письмо нашему вождю тов. Ленину. Мы ведь и так чуем, что тов. Ленин не приказывает делать такое издевательство, да калякать об этом нельзя».

Далее, когда я объяснил, что принято 8-м съездом Советов по отношению сельского хозяйства и то, что немислимо улучшение крестьянского быта без восстановления фабрично-заводской промышленности, а для достижения этой цели нужно оживить транспорт и иметь большой запас питательных продуктов. Вследствие чего мы должны крайне урезать себя во всех питательных продуктах. На это был вопрос: «В этом, тов. Турунен, мы во всем разбираемся, понимаем и не отказываем. Но вот как же насчет семян, ведь от нас все отобрали?» Да, много семей осталось совсем без хлеба. На это я ответил, что все будет вовремя. И когда видишь, что действительно остаются малоимущие семьи в 8—9 едоков с 2 пудами всего на семью, а некоторые с 20 фунтами, в том числе и красноармейские, а может быть, и семена не дадут вовремя, когда происходит произвол — вандализм и вакханалия «ура-работников», безразличное отношение Укома РКП к этому, — тогда сложившиеся во мне в течение 15 лет революционные убеждения не давали мне покоя, и мучимый своей бессильной борьбой я ходил ночи из угла в угол (напали вши, три-четыре раза скидывал в сутки белье, чтобы уничтожить их), и не было иного исхода, как довести все это до сведения центра. Обсуждая неоднократно вопрос, волостная организация ставила непременным условием довести до сведения тов. Ленина, несмотря на то, что я лично указывал, что мы не должны отрывать тов. Ленина от великих государственных задач, имеющих мировое значение, своими мелкими вопросами-жалобами.

Уважаемый вождь, Владимир Ильич!

Ваше письмо дало живую воду местному крестьянству, уверенность волостной организации РКП в ее правильных революционных действиях и послужит пробуждением революционной деятельности Укома РКП. Прибытием представителей Губкома РКП и Губисполкома, вероятно, удастся несколько размотать мощеннический клубок, и заслуживающие понесут достойную кару. Факты беззакония зафиксированы, и материал на месте имеется, который до этого оставался лишь просто материалом.

С коммунистическим приветом.

Бакурская волостная организация РКП

Ответственный секретарь Бакурского

волостного комитета РКП Ив. Турунен.

Губисполкома и Губкома РКП представители еще не прибыли. Обещанный тов. Теодоровичем прислать по почте материал по с/х политике еще нами не получен.

Ив. Турунен.

(ЦПА ИМЛ. ф. 2, оп. 4, ед. хр. 113, лл. 18—18 об.)

3

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ И. П. ТУРУНЕНА, ПЕРЕСЛАННОЙ В ИНСТИТУТ
В. И. ЛЕНИНА В 1930 ГОДУ

В Бакурской волости в 1920 году возникли творимые некоторыми продработниками бесчинства и беззакония, как-то: конфискация у крестьян предметов личного потребления в личную продработников пользу, вымышленные безграничные угрозы крестьянам, пзасилование женщин, пьянство и т. п. Когда эти беззакония партийному Волкому не удалось ликвидировать через уездные органы власти и партии, волостная парторганизация и ВИК откомандировали меня (ответственного секретаря Волкома) в Москву по просьбе крестьян просить о ликвидации происходящих беззаконий и обо всем происходящем довести до сведения В. И. Ленина и М. И. Калинина. При отъезде у меня на руках было 46 разной формы бумаг, по содержанию обвиняющих виновных в беззакониях по Бакурской волости, в том числе из 46 бумаг — 15 процентов бумаг по обвинению служащих в сов. органах в уездном городе Сердобске.

В Москве, в ЦК партии, обо всем этом я заявил товарищам Е. Преображенскому, Ф. Э. Дзержинскому и Муранову.

В приемной ВЦИК заслушал мое заявление М. И. Калинин. Расспросил меня, как ведется у нас работа парторганизации, ВИКа и сельсоветов по волости, по выполнению директив высших органов Сов. власти и партии. Дал мне указания, как работать в них, и наказ — постараться засеять в будущий весенний сев каждую пядь земли по волости.

В Кремле от имени В. И. Ленина заслушал мое заявление управляющий делами Совнаркома тов. Горбунов. Обещал все сказанное мною подробно передать Владимиру Ильичу. При уходе я подал тов. Горбунову мое письмо В. И. Ленину.

В январе 1921 года я в качестве уполномоченного уездного Избиркома проводил перевыборы Советов по Бакурской волости <...>, делал доклад на общем собрании граждан с. Бакуры «О перевыборах Советов». Присутствовало около 800 человек. В этот момент приехал в с. Бакуры курьер из Москвы с письмом В. И. Ленина Бакурской волостной парторганизации. Это письмо я прочитал присутствующим на собрании. Собравшиеся пришли в восторг. «Дай бог доброго здоровья товарищу Ленину. Он и о крестьянах заботится, послал нам в глухой угол письмо. Если бы на местах делалось все так, как приказывает товарищ Ленин, давно бы беднота сбросила с себя лохмотья» и т. д. и т. п. — выкрикивали из массы. Кричали хором, просили послать от имени крестьян с. Бакуры приветствие Владимиру Ильичу Ленину и благодарность за письмо. Пожелать ему доброго здоровья для восстановления народного хозяйства и обороны Советской республики.

Собирались группами и обсуждали даровитость тов. Ленина и его умелое руководство по ведению революции и политики Советской республики. Более полутора часов нельзя было привести собрание к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня¹.

¹ Подлинное письмо В. И. Ленина было сдано И. П. Турунею в Секретариат Совнаркома 2 января 1925 года.

4

ВОЖДЮ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич.

XII Раненбургский Уездный Съезд Советов выражает общую радость в связи с улучшением состояния Вашего здоровья, приветствуя Вас и сгорая жаждой нетерпения скорее видеть Вас на своем посту у руля власти, шлем Вам свой горячий товарищеский привет и выражаем надежду, что Ваше появление послужит скорейшим разрешениям вопроса осуществления революции в мировом масштабе.

Мы же в свою очередь в преобладающем большинстве из участников Съезда крестьянство как честные сыны революции в пятую годовщину приложим все усилия к доведению до самых наилучших результатов нашего сельского хозяйства, восстановлению вообще экономической мощи страны, выражаем полную готовность в нужный момент выступить на поддержку пролетариату всего мира в его борьбе с капиталом.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ ЛЕНИН!

Председатель съезда.

(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 111, л. 20)

5

Москва.

ТОВАРИЦУ ЛЕНИНУ

Тринадцатый Нижегородский Уездный Съезд Советов приветствует вождя мировой Революции, ставшего после болезни и отдыха снова к рулю управления советской власти. Мы помним Ваши слова по поводу новой экономической политики, отступление кончено. Мы с радостью приветствуем каждый шаг ВЦИК и Совнарком, направленный в развитие завоеваний Октябрьской революции, а также ждем и дальнейших указаний в этом направлении прежде всего от дорогого Владимира Ильича.

Тринадцатый Уездный Съезд Советов.

(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 101, л. 4)

6

ТОВАРИЦУ ЛЕНИНУ

От имени трудового крестьянства мы, делегаты Богородского Волостного Съезда Советов, шлем тебе, дорогой вождь мирового пролетариата и крестьян Ильич, свой крестьянский привет.

С великой радостью мы встречали твое выздоровление, дорогой Ильич, и опять работающим у руля правления Рабоче-крестьянской Республики для достижения великой идеи коммунизма. Тяжелый год голода перенесли мы в истекшем году. Костлявая рука голода много унесла жизней бедняков-крестьян. окончательно разрушила наше крестьянское хозяйство, тяжело отразился голод на нашей промышленности и транспорте. Рабоче-крестьянское правительство не осталось глухим на наш зов голодных крестьян, оно все силы бросило на голодный фронт для спасения миллионов крестьянства, и благодаря энергии и настойчивости оно спасло и победило голод.

Теперь при сборе урожая мы, крестьяне, с твердой надеждой на светлое будущее будем восстанавливать свое разрушенное хозяйство Республики. Что требуется от крестьянства для восстановления, мы поможем, думаем, что и правительство откликнется на наши нужды.

Итак, вперед, на борьбу с разрухой.

Да здравствует власть Советов мирового вождя пролетариата и крестьян.

Да здравствует Всероссийский Съезд Советов.

Президиум Волостного Съезда Советов Бугурусланского уезда, Самарской губернии.

Председатель

Товарищ председателя

Секретарь

8 ноября 1922 г.

№ 897.

(ЦПА ИМЛ ф. 2, оп. 4, ед. хр. 112, л. 6)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ПОЛЯК

★

ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

(Страницы советского эпоса)

История постучала в окно:
Так распахни же его.

Эдуард Багрицкий.

1

«**П**ерепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и... не возвышает истинного достоинства последнего, т. е. романа», — писал в шестидесятых годах П. А. Вяземский в своих воспоминаниях.

Почти в то же время Лев Толстой, работая над «Войной и миром», широко волил в свой роман историю. Однако в сознании писателя исторический замысел существовал еще независимо от «замысла характеров».

В письме к А. Фету Л. Толстой, жалуясь на трудности, возникшие у него в период работы над «Войной и миром», писал: «Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которым я не справлюсь, как кажется. И от этого в 1-й части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется».

Несмотря на эти жалобы, субъективную неудовлетворенность писателя, объективно Толстой, как известно, великолепно «справился» со своим большим эпическим замыслом, и разрыва между движением характеров и исторической стороной в «Войне и мире» не произошло. Но любопытно само противопоставление писателем этих двух планов — характерологического и исторического. Характеры, динамика их — и исторический процесс представляются художнику как некие разъединенные, изолированные начала, как своего рода несообщающиеся сосуды.

Для художника социалистического реализма такого противопоставления в принципе не существует. Соотнесение человека и истории, судьбы личности и народа лежит в основе идейно-философской концепции любого подлинного романа-эпопеи.

Есть и другая особенность советского эпоса. Отражая героику революционной действительности, процесс созидания истории, сознательное творчество народных масс, эпическое произведение становится своеобразным историческим романом о настоящем.

В свое время В. И. Ленин считал, что литераторы-публицисты должны «писать историю современности». Эту задачу в известной мере выполняют и литераторы-художники.

Роман-эпопея с его исторической насыщенностью, с его обычно точной хронологической датировкой, с включением в качестве действующих лиц исторических персонажей без всякой зашифровки, под их подлинными именами (хотя бы и в качестве второстепенных героев) становится произведением в какой-то мере историческим.

«Жизнь Климса Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Последний из удэге» А. Фадеева, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Падение Парижа», «Буря» и «Девятый вал» И. Эренбурга, трилогия К. Федина и более скромные по объему произведения, как, например, «Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» и «Мятеж» Д. Фурманова, — это все исторические книги

о недалеком прошлом, иногда о настоящем, о современной художнику действительности. Но своеобразие их — при всем тематическом, сюжетном и стилевом различии — в воссоздании этой действительности в историческом аспекте.

«Сегодняшний день — в его законченной характеристике — понятен только тогда, — писал А. Н. Толстой в статье «О том, как нужно обращаться с идеями», — когда он становится звеном сложного исторического процесса».

Ту же мысль об историческом подходе к современности развивал С. Эйзенштейн, обращаясь к искусству кинематографа, считая основой его «глубокое ощущение всякого мгновения нашего повседневного активного бытия, как факта величайшего исторического значения...».

«...«Снято» представление о том, — писал далее Эйзенштейн, — что история есть что-то свершавшееся когда-то прежде, а сегодняшний день — это нечто, лишь питающееся достигнутым в прошлом...».

Ощущение всемирно-исторического значения советской созидательной и творческой ежедневности и есть то основное и главное, что чувствуется с особой отчетливостью за жанровым и тематическим многообразием произведений...»

Прошлое, профильтрованное временем, рассматриваемое сквозь призму настоящего, обычно вырастает в наших глазах. Ушедшее, оно уже поднято над уровнем обычного и повседневного. Отодвинутое на далекое расстояние, это прошлое приобретает особую значимость, подобно тому как величие горной громады постигается издалека.

Одной из новаторских черт советского эпоса является то, что отраженное в нем историческое настоящее предстает во всей его значительности. Осознание исторической роли современности, ее героического характера является одной из отличительных черт советской литературы вообще и советского эпоса в частности.

Подход к современной действительности как к факту истории, как к одному из звеньев исторического процесса определил своеобразие не только романа-эпопеи, но и многих значительных произведений советской литературы, в которых грань между историческим романом о далеком прошлом и романом о современности становится гораздо более условной, чем в литературе XIX века.

Трудно предположить, чтобы кто-нибудь

назвал романы Гончарова, Тургенева, Чернышевского или «Анну Каренину» и «Воскресение» Льва Толстого историческими романами, несмотря на то, что «современная история» в той или иной степени присутствует в них. Между тем «Мать» М. Горького, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Поднятая целина» М. Шолохова находятся как бы на грани исторических произведений. Не случайно многие из них самими авторами, а иной раз и критиками, литературоведами возводятся в ранг исторических романов.

Но если современный роман обычно воссоздает историю нынешнего дня в действиях и судьбах отдельных героев, то роман-эпопея отражает судьбы целых классов, больших общественных групп, судьбы народа, нации в критические часы истории, вбирая одновременно и микромир своих героев. «Эпическое творение», писал Томас Манн, наряду с «титаническим миниатюризмом» в то же время «ни на миг не упускает из виду целое».

Дыханием истории овеяно эпическое повествование о настоящем, в котором человек становится творцом нового общества. Из исторического опыта современности, из недавнего, еще «дымящегося прошлого» черпает автор романа-эпопеи свои сюжеты. Тяготение к большим эпическим произведениям, к романам, перерастающим в эпопею, определяется стремлением писателя социалистического реализма познать жизнь в развитии, отдать себе ясный отчет в том, какие силы определяют поступательный ход истории, убыстряют ее движение и какие, наоборот, тормозят, задерживают рост того, что имеет за собой будущее.

Специфика советского романа-эпопеи в его лучших образцах заключается в воссоздании движущейся истории, истории в ее революционном развитии, в ее поступательном ходе. Недаром А. В. Луначарский в одном из своих докладов, определяя сущность и характер советского искусства, сказал: «Наш реализм сугубо динамичен!».

Встреча истории с романом произошла еще в XIX веке и в русской и в мировой классике. Идеями историзма пронизана современная прогрессивная зарубежная литература. Включение истории в роман о современности в более узких или широких масштабах не есть художественное открытие советских романистов.

Однако в советской литературе принцип

этот проводится значительно последовательнее и шире, чем когда-либо прежде.

А. М. Горький называл художественную литературу «спутницей истории», имея в виду, в частности, современную литературу. Алексей Толстой неоднократно призывал советского писателя «стать историком и мыслителем». Искусство в наши дни тесно соприкасается с искусством истории, говорил еще в двадцатых годах Всеволод Иванов.

2

История в советском эпосе дана в движении, в развитии. В этой перспективности исторического процесса, запечатленного лучшими художниками социалистического реализма, и заключается тот внутренний оптимизм советской литературы, который является одним из ее отличительных признаков.

Вот почему даже трагические финалы не создают ощущения безнадежности, безвыходности, роковой обреченности.

Трагически сложилась судьба Григория Мелехова, трагически завершается путь шолоховского героя, выброшенного из жизни, одинокого в этом огромном, сияющем под холодным солнцем мире». И тем не менее эти трагические ноты, усиливающиеся к концу эпопеи, как бы перекрываются утверждением торжества, силы и мудрости народа-победителя, вечной обновляемости жизни.

За «хмурым утром», принесшим неисчислимые страдания народу, уже вырисовывается сменяющий его новый день, в который вступает вместе с героями книги Алексея Толстого и вся страна, освобождающаяся от мучительных тягот войны и интервенции.

С идеей непрерывного движения истории связаны в романе-эпопее «открытые концы», «неразвязанные финалы», «неожруженные сюжеты». Такого рода концы гораздо реже встречаются в русском классическом романе. Для романов Тургенева, Гончарова характерны замыкающие финалы-эпиплоги, в которых подводится итог жизненным судьбам основных героев.

«Открытость» финала присуща эпопее Льва Толстого «Война и мир», с необычайной силой передающей движение самой жизни, ее текучесть, динамичность. Эту особенность «Войны и мира» уловил Р. Роллан, который отметил, что «последняя дверь» в романе «так и остается открытой». И далее: «...Уже при этом первом чтении я смутно чувствовал: произведение не начинается и

не кончается», как сама жизнь. Да оно и есть жизнь, всегда движущаяся».

Горький, как известно, не успел закончить «Жизнь Клима Самгина». Но тем не менее он наметил концовку, которая должна была завершать книгу. Приезд Ленина в Россию и одновременно смерть Самгина — таков должен был быть, по замыслу писателя, финал эпопеи.

«Л е н и н.

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла».

Эта же толпа раздавила Самгина.

«С[амгин]

...Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает» (разрядка моя.— Л. П.).

Растаявший в кровавой луже Самгин — такова судьба не только его, но и всех его «соратников».

Ленин, вросший в толпу, растаявший в ней, но придавший ей силу, могущество и грозность, — таков «открытый финал» книги, запечатлевший поступательный ход истории.

Перспективность романа-эпопеи Алексея Толстого тоже в какой-то мере подчеркивается финалом. Определились судьбы четырех основных героев, после мучительных «хождений по мукам» нашедших друг друга и одновременно свое место в жизни. Но «открытым окном» в будущее остается дальнейшая судьба народа, страны, мира.

Непрерывность движения истории, истории, которая никогда не имеет конца, демонстрирует и «Тихий Дон» Шолохова. Трагически завершается судьба Григория Мелехова, а его сын, по всей логике романа, не повторит судьбы отца и не останется на обочине жизни.

Есть какая-то внутренняя переключка в финалах «Тихого Дона» и многотомного романа Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо».

Последняя строчка этого романа — лаконичная, но одновременно емкая запись в дневнике умирающего Антуана Тибо: «Жан-Поль». Это за ним, за Жан-Полем, сыном бунтаря Жака, который своему обществу, своему классу всегда говорил «ист», — будущее¹. Но в отличие от «Тихого Дона», где

¹ Об «открытом» конце романа «Семья Тибо» Ромен Роллан писал его автору: «В последней строке — последнее слово надежды, возобновления: ребенок, — точно закрываешь «Войну и мир»».

жизнь Мишутки, повсей видимости, сложится иначе, чем трагическая жизнь Григория, в эпопее французского романиста маленький Жан-Поль будет продолжать дело своего отца, будет твердо нести выпавшее из его рук знамя.

Так по-разному завершаются книги, призванные отразить историческую поступь своего времени. Так на крутых поворотах истории эпопея оказывается как бы прологом будущего.

3

Любопытно, что почти все значительные романы-эпопеи задуманы были сначала их авторами в гораздо более узком, скромном плане, в замысле своем не всегда поднимаемая до высоты событий. И только в процессе работы художник, овладевая сложнейшим материалом, вживаясь в него, создавал монументальные произведения.

Из ранних набросков, из неосуществленных замыслов романа «Жизнь г. Платона Ильича Пенкина» (девяностые годы) и более позднего «Записки доктора Ряхина», в центре которых должен был стоять предшественник Клима Самгина — интеллигент-мещанин, убежденный в своем превосходстве над другими, выросла в дальнейшем эпопея Горького.

Но даже тогда, когда писатель обратился уже непосредственно к созданию «Жизни Клим Самгина», он еще мыслил свое произведение в значительно менее широком плане, только как «историю пустой души» (таково было первоначальное заглавие). Не соответствует философскому смыслу и масштабу эпопеи и более поздний подзаголовок: «Хроника за сорок лет». Постепенно эта историческая хроника превратилась под пером художника в летопись четырех десятилетий, спаянную единством философско-исторической концепции.

Значительные изменения в сторону расширения замысла претерпел роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон». Сам писатель рассказывает об этом следующее: «Начал я писать роман в 1925 году. Причем первоначально я не мыслил так широко его развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начал я с участия казачества в походе Корнилова на Петроград... Донские казаки были в этом походе в составе третьего конного корпуса... Начал с этого... Написал 5—6 печатных (листов.— Л. П.). Когда написал, почувствовал: что-

то не то... Для читателя останется непонятным — почему же казачество приняло участие в подавлении революции? Что это за казаки? Что это за Область Войска Донского? Не выглядит ли она для читателя некоей terra incognita?..

Поэтому я бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе».

От ограниченного известными рамками романа «Донщина» к монументальной книге о народе — таково движение замысла «Тихого Дона».

«Первую книгу «Сестры», — вспоминал А. Н. Толстой, — я начал писать в середине июля 1919 года и закончил ее осенью 1921 года. Я не думал, что она развернется в трилогию. Но по мере того, как я писал, развертывались события в России, и мне становилось ясно, что нельзя ставить точку на этой книге, что это начало большой эпопеи».

Эпический замысел чувствовался уже и в первой книге трилогии. Идея родины, национальной независимости, национальной гордости объединяет роман «Сестры», посвященный четырем интеллигентам, у которых на пути их поисков «негленного», вечного счастья вырастают препятствия, связанные с трагедией народа. Но в полный голос историко-эпическая тема зазвучит только в двух последних книгах романа, вылившихся уже в эпическое повествование о путях родины и народа в революции. И тогда камерное заглавие первой части — «Сестры» — сменится более обобщенными, эпическими — «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро».

Точно так же первоначальный замысел «Последнего из удэге» Фадеева был значительно уже его воплощения в последней, правда тоже незавершенной, редакции: он связан был исключительно с историей маленького народа удэге, у которого сохранился еще родовой строй. Но постепенно рамки романа развинулись и его проблематика, сюжет, характеры приобрели эпический размах.

В том же духе, в духе насыщения историей, шло развитие замысла трилогии Константина Федина. Зарождение этого замысла относится к 1936 году. «Я сделал тогда, — пишет Федин, — первые записки к будущему большому роману, который представлялся мне романом об искусстве, скорее всего — о театральном искусстве, вероятно — о женщине-актрисе, о ее развитии с детских лет до славы и признания».

Ее родина, ее страна, ее искусство, а с ними меняется она сама. Ее город сверкает чистой светом и снегов.

Впоследствии я не переставал возвращаться к этому замыслу. Героиня то уступала место новым предполагаемым героям, то двигалась вперед, сотни обстоятельств ее жизни вводили меня в разные стороны, записки мои умножались, папка, в которой они хранились, была названа мною «Шестыми актерами».

Но пришла война. Роман был отодвинут. Неслыханные события пересмотрены сознанием, обогащенным великим историческим опытом.

Когда в начале 1943 года я снова взял в руки и перечитал свои записки, я увидел весь роман иными глазами. Все как бы стало с головы на ноги. Первоначальная тема искусства показала мне лишь одним из мотивов. На первый план выступило нечто более значительное. Это была тема истории.

Великий исторический опыт страны (в данном случае вторая мировая война) требовал от художника выйти за рамки камерной темы, прислушаться к гулким шагам истории.

Таким образом, есть какая-то закономерность в том, что авторы больших эпических произведений начинали нередко с романа, ограниченного сравнительно узкими рамками, и постепенно, под влиянием больших задач эпохи, под влиянием действительности, полной драматических неожиданностей, под влиянием сложности социальной истории, переходили к созданию монументальных полотен. Жанр традиционного романа оказывался тесным для воссоздания больших исторических событий, сложной, многогранной действительности.

4

«Монументальным реализмом» назвал, как известно, Алексей Толстой творчество художников, гяготеющих к большим формам, передающих великий размах революции. С идеей «монументального реализма» перекликается известное высказывание М. Горького: «Действительность — монументальна, она давно уже достойна широких полотен, широких обобщений в образах». Теперь читатель «тоскует по широкому синтезу», — говорил о своих впечатлениях А. Воронский.

Обращение к монументальному искусству,

подсказанное эпохой, было связано с явно выраженным стремлением советских писателей уже в первую половину двадцатых годов осмыслить огромный исторический опыт народа, полученный в годы революции и гражданской войны.

Тенденция к широкой эпичности, тяготение к героическому эпосу начали проявляться во всех жанрах, не только в прозе, но и в поэзии и в драматургии тех лет.

Романтико-героическая поэма «150 000 000» В. Маяковского открывала собой поэтическую историю Октябрьской революции. И разве не поэтический эпос представляет собой в двадцатые годы «Дума про Опанаса» Багрицкого, «Улялаевщина» И. Сельвинского, «Главная улица» Демьяна Белого, «Семен Проскаков» Н. Асеева, «Поэма о 26» и «Анна Снегина» Сергея Есенина и многие, многие другие. И даже Б. Пастернак, лирик по своему складу, по всей своей художественной сути, художественному мышлению, выступает с поэмами «1905 год» и «Лейтенант Шмидт». «Я считаю, — писал Б. Пастернак в 1927 году, — что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно».

Эпическая струя «врывается» и в советскую драматургию. Драматургический эпос рождался в первые годы после Октября в формах народных зрелищ, массового действия, которые должны были совершаться не на сценических площадках, ограниченных театральной рампой, а под открытым небом, на городских площадях.

В неопубликованном дневнике 1920 года К. Тренева есть примечательная запись: «Написать эпопею, большую симфонию».

И хотя драма-эпопея и не была написана, но тенденция к «эпопейности», несомненно, сказалась в двадцатых годах и на пьесах К. Тренева, В. Билль-Белоцерковского, Вс. Иванова и ряда других драматургов.

Многоплановая композиция, параллельные сюжетные линии, не всегда пересекающиеся, ослабленность интриги, обилие народно-массовых сцен, оттеснение ведущих героев массовыми, историческая хроникальность, акцент на социальной атмосфере — эти все признаки, иной раз даже чисто внешние, отражали ту же эпическую направленность драматургии, отвечающую запросам времени и по-разному воплощавшуюся в различных жанрах.

Для К. Тренева, по его словам, в пьесе

«Любовь Яровая» зажнее всего было создать политический и социальный фон, а уже на нем драму героини и героя. «Поэтому же в пьесе большое место отведено ряду персонажей, которых можно выбросить без ущерба для интриги пьесы. Но нельзя сделать этого без ущерба для идеи пьесы».

Эпическое начало особенно усиливается в драматургии тридцатых годов, в частности в пьесах Всеволода Вишневского и Н. Погодина — убежденных сторонников масштабной, многоплановой пьесы, пьесы антипсихологической. В этой связи интересно следующее высказывание Вишневского о замысле «Первой Конной»: «Будет в пьесе масса, и в ее потоке, в отображении жизни глубоко знакомых мне людей-фронтовиков, на минуту-другую пусть покажется «индивидуум». Но при этом не интересна личная драма Ивана, Петра, Сидора. Интересно место Ивана, Петра, Сидора в марше, в бою, в действии».

Одностороннее понимание эпичности у Вишневского мстило за себя: стертость характеров, пренебрежение к внутреннему миру героев — результат тяготения драматурга к монументальному эпосу. Но такова была ярко выраженная в тридцатых годах тенденция сторонников монументальной драмы, противостоящей драме камерной, драме психологической.

Обращение к монументализму не является, естественно, привилегией одной только художественной литературы. В частности, героический пафос действительности нашел свое отчетливое выражение в монументальном изобразительном искусстве, в котором работали такие художники, как Е. Лансере, В. Фаворский, Л. Бруни, А. Дейнека и другие.

Характерно, что во второй половине тридцатых годов это тяготение к монументализму приводило часто к ложной патетике, к внешней декоративности, неоправданной пышности, не имеющих ничего общего с гражданской страстностью революционного искусства.

Монументальная живопись, отражающая всегда социально значительное в жизни народа, тяготеет к максимальной обобщенности. Но не всегда произведение монументальное, масштабное по форме монументально и по содержанию. И с другой стороны, монументализм может быть присутствием и станковой живописи, обогащенной большой эпической темой.

Лансере называл монументальностью «величавость, грандиозность выражения в пластике сильнейших положений или переживаний», независимо от того, в каких формах она воплощается.

Так каждое искусство в зависимости от своей специфики отражает величие времени, подсказывающего художнику обращение к эпическим жанрам, революционно-героическому эпосу.

5

С особой силой, со всеми своими достоинствами и недостатками монументализм проявился в советской прозе.

Расцвет монументальных жанров относится к двадцатым—тридцатым годам, когда грандиозность совершившегося переворота, мощь творческого созидания заставляла художников слова искать новых форм в искусстве.

Своего рода зародышем будущего романа-эпопеи о советском народе-победителе, участнике героической и одновременно многострадальной истории, вершители судеб ее, явилась проза Малышкина, Серафимовича, Артема Веселого. Своими произведениями эти писатели проложили дорогу монументальному эпосу Шолохова, Алексея Толстого, Фадеева и других.

Повесть Александра Малышкина «Падение Даира», посвященная штурму Перекопа, передавала гул движущихся «множеств», хлынувших «ошетинившимся потоком» на своих врагов. Переключка с древним национальным памятником героического эпоса — «Словом о полку Игореве» («Как это? Русь, уже за шеломянем еси?..») — подчеркивала эпический замысел произведения.

Повесть Малышкина — это своеобразная эпопея-легенда. Близость «Падения Даира» к поэтическому легендарному эпосу отмечал в свое время еще А. Воронский: «Повесть написана с какой-то особой натянутостью нервов, и вместе с тем автор сумел придать ей характер эпоса, отчего памятные дни уже уходят в седую быль прошлого, героического, уже окутанного дымкой, саг, сказаний и легенд».

И действительно, легендарна и волшебная, блаженная страна Даир, легендарен и сказочно-былинный командарм, овеяны легендой и все эти бойцы («сто тысяч топчущих ног»), «становые орд, идущих завоевывать прекрасные века», мечтающие о

«Брежущем в пьтемках рае», окутано легендой и само рождение в «огненной слепоте» нового мира «из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох...».

И одновременно в это легендарное повествование вкраплены подлинные исторические документы, военные приказы, сводки, воззвания, телеграммы. Да и вся повесть построена, как известно, на исторически достоверном факте — на штурме Перекопа.

В поэтическом сказании об этой героической странице гражданской войны как бы таится зародыш эпопеи с ее исторической конкретностью и документальностью.

Как новое слово в прозе первой половины двадцатых годов, несмотря на отчетливую преемственность традиций, в первую очередь традиций автора «Тараса Бульбы», прозвучал «Железный поток» А. Серафимовича (1924).

Неудовлетворенный своей деятельностью в первые годы Октября, деятельностью очеркиста, автора небольших рассказов, зарисовок, фельетонов и корреспонденций, писатель ищет новых форм для отражения героической действительности, для создания художественного синтеза.

«Какой-то нужен размах, размах хоть в каком-нибудь соответствии с тем, что гигантски творилось среди развалин, обломков старого, которое выкорчевывалось... Но и в литературе нужно было как-то широко захватить», — пишет А. Серафимович в своей статье-комментарии к «Железному потоку». Ответом на эти творческие искания и явилась сжатая по объему эпопея «Железный поток», лишенная многоплановости, многогеройности, характерных для большого эпического жанра.

Перед нами скорее эпопея-поэма, написанная как бы на одном дыхании, овеванная романтическим пафосом, пронизанная единой идеей. Эта идея — героический взлет, поистине творческое перерождение народа в один из грагических моментов его многогранной истории. Преследуемая по пятам сильным и жестоким врагом, смятенная, растерянная, хаотическая масса, не слушающая своего вожака, митингующая толпа превращается в железную когорту, в несокрушимую силу, активную и требовательную, способную творить сказочные чудеса.

Достоверная история Таманского похода, полсженная в основу сюжета «Железного потока», приобрела эпические масштабы. И характерно, что эта короткая повесть об

одном частном эпизоде гражданской войны, об одном герое — вожаке таманцев Кожухе — благодаря общему эпическому замыслу вылилась в сжатую эпопею народной борьбы.

«Отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо меньшем размере, — но то самое, что творили там в России, в мировом, — творили здесь» (подчеркнуто мною. — Л. П.).

«Железный поток» вмещал в себя основное содержание революции, передавая несслыханное напряжение борьбы народа за свою свободу, независимость, за право в полную меру своих сил жить на земле, и это придавало небольшому по объему, однолинейному по сюжету произведению эпическому монументальный характер.

И хотя мечта писателя включить «Железный поток» в грандиозную эпопею под названием «Борьба» так и не осуществилась, но Серафимович вошел в советскую литературу как создатель героического эпоса, как автор эпопеи о революции и гражданской войне, о народе, преображенном этой революцией.

6

Общую тенденцию развития советской литературы этих лет с присущей ему точностью выразил Д. Фурманов, сказав: «Необходимы эпические произведения вровень эпохе».

Характерно, что свои художественно-документальные повести «Чапаев», «Мятеж» и ряд очерков, посвященных героям гражданской войны, произведения, далекие от большого эпического жанра, построенные на фактах, дневниковых записях, строгих документах, Фурманов хотел включить в задуманную им героическую эпопею.

«...Стану писать эпопею гражданской войны: это уж в форме романа», — делится автор «Чапаева» своими будущими планами с А. М. Горьким.

Вплотную к замыслу большой книги, подлинной эпопеи о многомиллионной массе, захваченной вихрем революции, о раскованности народной стихии, уже в начале двадцатых годов подошел Артем Веселый.

«В одно, как говорится, прекрасное утро, — рассказывает писатель (речь идет о весне 1920 года. — Л. П.), — на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару, я поднялся чуть свет, выглянул из окна купе и — ах-

нул. И — сердце во мне закричало петухом! На фоне разгорающейся зари, в тучах багровеющей пыли двигалось войско казачей — донцы и кубанцы — тысяч десять... Считанные секунды и поезд пролетел, но — образ грандиозной книги о гражданской войне во весь рост встал в моем сознании... Первые годы я употребил на сбор материала. У меня скопились груды чистейшего словесного золота, горы книг. Материал подавлял меня, его хватило бы и на десяток романов. Я не мог справиться с хлынувшим на меня потоком. Только спустя четыре года я начал писать книгу...»

Эту книгу — «Россия, кровью умытая», — над которой писатель работал вплоть до 1936 года, ему не удалось закончить. Артем Веселый назвал ее «фрагментом», включив в свое произведение, кроме ряда глав, связанных некоторыми общими героями, и ряд самостоятельных новелл, и написанную ранее повесть «Страна родная», и рассказ «Дикое сердце».

Сама структура книги Веселого, представляющей собой сцепление не всегда связанных между собой эпизодов, давала возможность автору широко раздвинуть рамки своего повествования. «Россия, кровью умытая» фрагментарна не только потому, что она осталась недописанной, незавершенной, но и по самому своему замыслу, по принципу построения, отказу от единого сюжета, от истории героя.

Это гигантская панорама России первых лет Октября, России мятежной, взъерошенной, вздыбленной, разбуженной революцией, когда «народилась молодая свобода в полной форме», когда «все петли и узлы полопались».

В отличие от «Железного потока» с его точной соразмерностью частей, внутренней концентрированностью Артем Веселый создал другой тип эпопеи, эпопеи, написанной размахистой кистью, широкими мазками, обрывисто, нерасчлененно, фрагментарно.

«Россия, кровью умытая» — свободное повествование, как бы часть огромного полотна, воссоздающего Россию солдатскую, деревенскую, партизанскую, городскую, революционную, Россию 1917—1920 годов. Это страна, охваченная угаром собраний и сходок, это Россия, митингующая на вокзалах, железнодорожных путях, в паровозных будках, на узловых станциях, в вагонах, теплушках, на городских площадях, деревенских улицах, станичных окраинах, в хатах,

у костров, в пыльных степях. Книга Артема Веселого говорит о том времени, когда «митингование», по словам Ленина, представляло «настоящий демократизм трудящихся, их выпрямление, их пробуждение к новой жизни».

Факты и события даны в эпопеи Веселого в постоянном движении, в неустанном беге времени, в вечной динамике:

«Стучали
колеса
сыпались
станции
лица
дни
ночи...»

«Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах и на линейках скакали казаки, хуторяне, бабы, шли старые и малые — с бутылками, четвертями, с ведрами, кувшинами, будто на Иордань за крещенской водой».

В этой связи любопытна одна из записей писателя, которую мы находим в набросках к плану романа: «Октябрь — страна срывается с якорей и на всех парусах устремляется в море гражданской войны».

Эта динамичность эпопеи Артема Веселого соответствовала революционным темпам эпохи, отвечала ее стремительному движению, ее рывку к будущему. Недаром «державным шагом» вперед и вперед идут двенадцать красноармейцев Блока, недаром «двигутся, движутся, движутся» цепи людей по Главной улице Демьяна Бедного, и, мечтая о будущем, где «счастье, хлеб и вечера, как золотистая рожь», уже не просто движутся, а летят, точно на крыльях, красные полчища в «Падении Дaira».

И, может быть, с особой силой эта динамика эпохи, когда сдвинулась с насиженного места застывшая было в своей дремоте царская Русь, обнажена в «Железном потоке» Серафимовича, где непрерывно движущийся людской поток («льется черный человеческий поток», «растекается людское море») символизирует революционное преобразование народной массы, постепенно превращающейся в монолитную, железную, сплоченную силу.

Поэтизируя стихийную вольницу, воспевающая «мятежный пляс раскованного огня», Артем Веселый, как и Блок в «Двенадцати», как и Бабель в «Конармии», видел за ди-

ким всплеском народной стихии, за бесшабашным разгулом гневную волю борцов, горячо защищающих народную правду. «И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся».

В этой железной революционной воле масс, героически-самозабвенно преданных революции, жертвующих во имя ее самым драгоценным — своей жизнью, — и заключается основной пафос эпопеи Артема Веселого.

7

От сжатой эпопеи-легенды («Падение Даира»), от эпопеи-поэмы («Железный поток»), от широкой, размашистой «событийной эпопеи» Артема Веселого, включающей не один героический эпизод народной борьбы, как у Малышкина и Серафимовича, а целую цепь событий из жизни народа, — советская литература шла к созданию эпопеи-романа с отчетливо выраженным сюжетом, в котором личности принадлежала уже первенствующая роль. Не только на столкновении социально-антагонистических сил, но и на столкновении характеров, исторически и социально объясненных, строится советский роман-эпопея.

Роман-эпопея в идеале — это не механическое объединение двух жанров, а синтетическое их слияние. Роман-эпопея — это, с одной стороны, роман, раздвинувший свои рамки, разросшийся до эпопеи, а с другой стороны — эпопея, включившая в себя роман. В этом диалектическом единстве — суть этого жанра.

Еще Бальзак говорил, что современное искусство «позволяет создавать эпопею в романе и роман в эпопее».

В лучших произведениях советского эпоса наряду с образом массы или, вернее, отвлечения и дополнения этот образ, возникают большие, монументальные характеры, люди с их индивидуальными, неповторимыми судьбами, с их страстями, переживаниями, поступками, действиями.

8

Для русского романа прошлого века характерно отступление от традиционного типа западноевропейского романа с его устоявшимися, каноническими формами.

Нарушали каноны жанра и Пушкин, создав свободный «роман в стихах», и Гоголь, назвавший «Мертвые души» поэмой, и Лер-

монтов, автор романа «Герой нашего времени», представляющего по существу цикл сцепленных между собой новелл.

Работая над «Войной и миром», Л. Н. Толстой был обеспокоен тем, что его «писание не пойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории».

Ощущая постоянно в своем творчестве отступление от традиционных жанров, автор «Войны и мира» замечал: «История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного». Толстой, имея в виду опять-таки западноевропейский роман, говорил, что «русская художественная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя новой».

Интрига, по мысли писателя, отнюдь не является основополагающим законом жанра. «Мы, русские, — заключал он, — вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе».

В каком-то отношении нарушением традиционного жанра романа является и советский роман-эпопея с его свободной композицией, с его вольным пересечением исторического и личного плана.

В книгах Горького, Ал. Толстого, Шолохова история становится элементом структуры романа, получая разнообразное воплощение в зависимости от замысла автора, от его индивидуально-стилевой манеры, от всей архитектоники произведения.

Органическое включение истории в ткань романа характерно прежде всего для Горького. В романе «Дело Артамоновых», представляющем своего рода подступ к масштабной эпопее тридцатых годов, вся история разных поколений артамоновского рода как бы символизирует реальную историю, историческую судьбу буржуазии. Параллельно в романе намечена пунктиром история рабочей семьи Морозовых. В то время как род Артамоновых стремительно катится вниз, семья Морозовых, олицетворяющая крепнущие силы пролетариата, неуклонно подымается вверх. Немоги и бессилию одного класса противопоставит крепость и здоровье другого, будущего хозяина жизни.

Иной художественный принцип лег в основу «Жизни Клима Самгина».

Здесь история на протяжении сорока лет становится по существу основным содержанием романа, его стержнем, тем возду-

хом, гои атмосферой, в которой живут многочисленные герои произведения.

Среди десятков и сотен вымышленных персонажей, окружающих Самгина, то и дело выплывают исторические фигуры с их подлинными именами — Николай II, Гапон, Савва Морозов, сказительница Орина Федосова, Шаляпин, Леонид Андреев и другие.

Не только политическая история, но и история общественной мысли — идеологические споры, идейные распри, словесные поединки в литературных салонах, религиозных обществах, философских и политических кружках и т. д. и т. д. — широко демонстрируется в романе. Перерождение и ренегатство народничества, возникновение марксизма, легальный марксизм, увлечение декадентством, мистикой, черносотенство и кадетство, шовинистический угар в годы империалистической войны, созревание большевистских идей, революционной партийной мысли — все это разнообразие идеологий, философских систем, политических позиций, мировоззрений, эстетических концепций вбирает в себя эпопея Горького.

Почти все без исключения персонажи выступают как носители тех или иных идей своего времени, своеобразных «примет» эпохи.

История в «Жизни Клима Самгина» определяет и движение образов, их эволюцию. Изменения характеров диктуются в ряде случаев не столько их индивидуальными чертами, сколько воздействием самой истории на человека. Это она превращает учителя Томилина из яркого индивидуалиста и скептика в апологета православия, Марину Зотову, бывшую ученицу Кутузова, в фанатичную сектантку, вырывает Лютова, Туробоева, Тагильского из их социальной среды, омещанивает родителей Самгина и их друзей, в прошлом революционных народников, и, с другой стороны, приводит на путь революции Макарова.

Социально-исторические сдвиги, происходящие в стране, борьба идеологий, политических доктрин — это те факторы, которые далеко не всегда прямолинейно определяют в эпопее Горького движение образа.

Даже, казалось бы, статичный образ Клима Самгина, в характере которого уже с раннего детства заложено его «потенциальное предательство», имеет свою динамику, опять-таки связанную с поворотными пунктами истории. В зависимости от победы или поражения революции, от наступления ре-

акции или революционного подъема Самгин поворачивается к нам той или другой стороной «пустой души», то обнажая до конца самгинскую сущность, то надевая на себя разнообразные маски, за которыми скрывается этот мещанин в мировом масштабе, равнодушный ко всему на свете, кроме своей бесцветной, безликой и безгаланной личности. Меняется социальная мимикрия Самгина (заигрывание с революцией, зоологический страх перед ней, наконец прямое предательство интересов народа), зависящая от переживаемого исторического момента, проявляются то одни, то другие черты и его облике.

Рядом с Климом Самгиным возникают многочисленные персонажи, появляющиеся эпизодически на страницах романа и так же неожиданно исчезающие в толпе образов.

Замысел Горького состоял в том, чтобы с помощью всей этой пестрой многоликой галереи воссоздать историческую панораму, сложную политическую, идеологическую борьбу, которая имела место в русской действительности конца XIX — начала XX века. Одни из этих персонажей связаны с Самгиным внутренним родством, обнажая и усиливая его основные черты и являясь, таким образом, как бы дополнительным средством для характеристики этого «интеллигента средней стоимости». Другие, наоборот, соотносятся с ним по контрасту. Подобного рода композиционные связи «стягивают» весь роман к единому центру, создают стройную художественную систему. Так самый жанр эпопеи с ее многоразветвленностью рождает свои особые законы композиции.

9

В трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» «ходят по мукам» не только основные герои произведения — четыре интеллигента, прошедшие нелегкий путь со своей родиной, «ходит по мукам» вся Россия, весь народ.

Этот эпический замысел отчетливо намечен уже в первой части трилогии, выходящей за рамки обычного семейно-бытового романа. И уже в первой книге автора трогают не только злоключения, неожиданные радости, мучительные страдания двух сестер и любящих их героев, а, как вскрывает эпиграф к роману из «Слова о полку Игореве» («О, русская земля!», и судьбы родины, ее национальная независимость.

Национальная гордость, русский патриотизм, не сразу правильно понятый героями книги,— один из сквозных мотивов первой части трилогии.

К концу романа «Сестры» эпическая тема России становится ведущей темой, подчиняя себе все остальные. В полемике Телегина и Рошина о судьбе России, о ее будущем фактически сосредоточивается внутренний смысл «Сестер».

По мере развертывания трилогии личные судьбы героев органически включаются в большую историю.

Композиция всех трех частей трилогии как бы проясняет соотношение частной жизни и исторической действительности. В «Сестрах» А. Н. Толстой подчеркивает их разобщенность. В то время как «Русская земля», содрогаясь от ударов войны, вступает на путь «хождения по мукам», наперекор истории, вопреки ей, вопреки всей трагической атмосфере эпохи, Телегин и Даша «в радостном безумии любви... пожелаали быть счастливыми».

Рошин и Катя в грозные дни, когда «революция в опасности», предаются мечтам о нетленном, вечном счастье, не зависящем ни от войн, ни от революций. Дальнейшая судьба этих героев — своего рода историческое возмездие за эту их внутреннюю отрешенность от общей жизни страны, от общего дела народа.

Композиция романа «Сестры» и подчеркивает этот конфликт частного и общего, личного и исторического. Поток событий идет как бы мимо основных героев, почти не задевая их. Рядом стоящие главы порой обнажают эту замкнутость личных интересов. За главой, посвященной безоблачной счастливой встрече Даши и Телегина на белом сияющем волжском пароходе, непосредственно следует другая — заставка на механическом заводе, где работает Иван Ильич Телегин.

Глава о домашнем, ласковом, уютном мире двух сестер, почти не затронутом войной, соседствует с главою, пронизанной зловещей грезой, недовольством солдат, чувствующих себя брошенными на произвол судьбы («Пропала Россия, продали нас...»).

Но уже к концу первой книги история все чаще напоминает о себе, все чаще вливается в жизнь героев, связывая их с трагической судьбой родины. Это сплетение частных судеб и общих, личного и исторического во второй книге подчеркивается новы-

ми композиционными решениями. Большая часть глав «Восемнадцатого года» открывается своего рода историческими зачинами, хроникальными сводками военных событий. И в эту историческую раму как бы вставляется повествование о тех или иных персонажах. Иной раз «историческое» завершает главу, подводя общий итог событию, явлению, поведению того или иного героя. Эти исторические экскурсы порой превращаются в сухую военную сводку, носят характер деловой информации. Невольно вспоминаются при этом романы-хроники первых лет революции («Два мира» Зазубрина, «Колчаковщина» Павла Дорохова и другие), в которых еще главенствовали хроникальные материалы, регистрация исторических событий.

В последней книге трилогии хроникальность ослаблена, сочетание истории и частной жизни, действительного и вымышленного, становится разнообразнее, переходы от большого исторического плана к малому более естественны и незаметны. Герои эпопеи органически втягиваются в стремительно движущуюся, несущуюся в бешеном темпе историю. Теперь они не только ее «зрители», стоящие где-то в стороне от происходящих событий, занятые своими личными переживаниями и желающие только «смотреть революцию»,— теперь они активные деятели новой жизни, «делатели» истории.

Заключительная сцена в Большом театре является своего рода композиционным завершением всего процесса приобщения частной жизни людей к не отделимой от нее великой истории. Эпилог становится прологом к будущему, когда на смену «хмурому утру» придет солнечный день.

В эпопее М. Шолохова бурная революционная история постепенно врывается в повествование о мирном существовании казачьих семей, обитающих в своих отгороженных друг от друга куренях. В первой книге в центре семья Мелеховых с ее нерушимым патриархальным укладом, с ее застывшим, замкнутым бытом.

Начиная со второй книги, как и во второй части трилогии А. Н. Толстого, судьбы героев все теснее сплетаются с историческими судьбами народа, с судьбами страны, вздыбленной Октябрем. Сложный разворот событий революции и гражданской войны закружил, словно в вихре, героев

«Тихого Дона». Их поражения и победы, их взлеты и падения даны в романе-эпосе Шолохова как исторически закономерные, обусловленные временем и той сложной драматической обстановкой, которая создалась на берегах Тихого Дона.

Историческая основа в романе Шолохова, подкрепленная документальными источниками, точными хронологическими датами, топографическими данными, нужна писателю прежде всего для того, чтобы раскрыть органическую связь человеческих и исторических судеб. Однако в такой общей форме эта связь присутствует почти в любом советском романе большого масштаба. Но в «Тихом Доне» акцент на другом — на формировании характера, и прежде всего характера центрального героя, под влиянием бурно развивающейся, стремительно движущейся истории. История в романе Шолохова интересна не столько сама по себе, как это порой имеет место в эпосе Горького «Жизнь Клима Самгина», сколько как фактор, определяющий движение характера, жизненный путь героя.

Метания Григория Мелехова в поисках правды и справедливости, его напряженная нравственная жизнь, его душевные срывы и противоречия, разлад с самим собой, изломы характера, острые повороты судьбы — можно ли все это понять и объяснить вне широкого исторического контекста, вне революционной действительности, вне исторических путей родины, с которой так тесно перепелась его частная жизнь?

К. Федин в одной из своих статей, говоря о недостатках современной прозы, указывал, что в ней «герой рожден событиями повести, а не событиями истории. Мы не видим биографии его характера. Поэтому вынуждены принимать на веру этот характер, объясняемый данным эпизодом, а не всем предшествующим развитием».

...Характер литературного героя должен быть пронизан ощущением времени, из которого он вышел, должен быть историчным».

Как и Федина, Шолохова в «Тихом Доне» привлекает воссоздание «биографии характера», «характера исторического», сложного и противоречивого, но гораздо более трагического, чем у Горького и А. Н. Толстого.

Если в «Жизни Клима Самгина» и даже в «Хождении по мукам» связующим элементом сюжета являлись исторические со-

бытия, то в «Тихом Доне» эту сюжетную связь осуществляет в большей степени индивидуальная «биография характера», в свою очередь зависящая от «биографии века». Исторический смысл эпохи как бы просматривается через судьбу человека, через его жизненный путь. История в романе Шолохова объясняет человека, но в свою очередь человек в какой-то мере объясняет историю.

Если в романе XIX века личность давалась главным образом во всем богатстве и разнообразии социальных связей (романы Тургенева, Льва Толстого, Достоевского и других), то в советском романе, в особенности в романе-эпосе, умножаются и усиливаются ее исторические связи. «Мы жили в эпоху, когда история бесцеремонно забиралась в нашу жизнь днем или ночью, как будто она полтавский городской», — пишет Илья Эренбург в своих мемуарах. И действительно, никогда еще человек не был так тесно «притерт» к истории, как в наше время. Одновременно возросла и ответственность человека перед своей эпохой, перед историей, двигателем которой он является.

Открытием классического реализма была социальная объясненность человека, установление его социальных связей, его зависимости от среды.

Художник, «затевая ткань романа», — писал Лесков, — должен быть еще и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки, искусства и весьма часто политики».

Автор романа-эпоса должен быть, кроме того, и историком, он «должен показать живые создания своей фантазии» в отношении их к большой истории. Пафос исторического исследования не заменяет, а дополняет пафос социального исследования. Эта тенденция социалистического реализма с наибольшей силой и отчетливостью проявляется в жанре романа-эпоса.

Характерно, что Фадеев, работая над «Последним из удэгов», неоднократно возвращался к своему роману, обновлял и перерабатывал его. Он писал в 1951 году: «Я лично не удовлетворен этим романом потому, что этот роман исторический, а в нем очень мало подлинной истории. Я хочу этот роман коренным образом переработать, т. е. внести в него подлинную историю, в частности, внести туда образ Сергея Лазо».

Но, может быть, не столько в недостаточном количестве введенного исторического материала, сколько в неорганичности соединения этой «подлинной истории», историко-философского замысла, навеянного, как известно, книгой Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», с личными судьбами героев, взятых на широчайшем социальном фоне, в недостаточной внутренней сцепленности исторического и личного и заключалась причина глубокой неудовлетворенности писателя, так и не завершившего своей работы над книгой.

10

Что представляет собой в жанровом отношении трилогия Константина Федина? Она отнюдь не претендует на масштабность большого эпического жанра. В ней преобладает романическое начало. Сюжетная канва трилогии связана с индивидуальными судьбами героев, с их сложными взаимоотношениями, острыми конфликтами, разнообразными связями. Однако тяготение к «эпопейности» повествования дает себя знать и здесь.

Кратким вступлением, написанным в толстовской манере, раскрывающим философские взгляды автора на историю, начинается вторая часть трилогии — «Необыкновенное лето», произведения гораздо более широкого исторического масштаба, чем «Первые радости».

«Исторические события сопровождаются не только всеобщим возбуждением, подъемом или упадком человеческого духа, но непременно из ряда выходящими страданиями и лишениями, которых не может отвести человек. Для того, кто сознает, что происходящие события составляют движение истории, или кто сам является одним из сознательных двигателей истории, страдания не перестают существовать, как не перестает ощущаться боль оттого, что известно, какой болезнью она порождена. Но такой человек переносит страдания не так, как тот, кто не задумывается об историчности событий, а знает только, что сегодня живется легче или тяжелее, лучше или хуже, чем жилось вчера или будет жить завтра. Для первого логика истории осмысливает страдания, второму они кажутся созданными единственно затем, чтобы страдать, как жизнь кажется данной лишь затем, чтобы жить».

И с этими мыслями автора перекликаются рассуждения героя трилогии — писателя Пастухова — о людях, сознательных двигателях истории. «Это — история, в которой я — действующее лицо», — обращается он к жене. И далее: «Уразуметь, что происходящее в Петербурге, в Саратове, в Козлове и не знаю — где.. есть движение истории — это не фокус. Фокус в том, чтобы внутри этого движения найти поступательную силу. Надо быть там, где заложено развитие истории вперед...»

Пастухов произносит свой большой монолог, обращаясь к жене, в первые минуты свидания после возвращения из тюрьмы, после долгой и тяжелой разлуки с семьей. В данном случае устами героя говорит сам автор, раскрывая фактически исторический подтекст трилогии, не ограничивающейся романической интригой, разветвленным сюжетом и тяготеющей к большому масштабам, к синтезу исторического и личного.

В своем произведении К. Федин умеет воссоздать внутреннее течение истории, то, что скрывается за видимой поверхностью жизни. Так, в «Первых радостях» мы видим, как при внешнем торжестве реакции идет накопление, формирование и взлет революционных сил. История у Федина постоянно сопровождает героев, она беспокоит их, как своя личная судьба. История действует в воспоминании Дибича, о «современной истории» говорят между собой Извеков и Рагозин, разгадать тайны исторического процесса пытается Пастухов. Повествование нередко прерывается историческими экскурсами в прошлое и настоящее, история вклинивается в сюжет, дается как своеобразное обрамление тех или иных действий, поступков героя и в виде самостоятельных вставок вроде «Пролога к военным картинам» или «Эпилога к военным картинам».

Сильной стороной трилогии Федина является «историчность» самих героев, их биографий, «историчность» быта. Ставя своей задачей воскресить «образ времени», Федин останавливает внимание не столько на исторических событиях, сколько на истории характеров, на проблемах воспитания новой этики, на «картинах нравов и быта».

Рассказывая о творческом замысле будущей своей трилогии, Федин писал: «Мне хотелось бы в своей работе осуществить один из своих постоянных литературных планов:

построить роман так, чтобы время было главным действующим лицом, чтобы причина и следствие возникали и исчезали не на плоскости книжных страниц, а во временной протяженности. Картины нравов, картины быта — эти слагаемые истории представляются мне сейчас самым заманчивым жанром, и в этом жанре и будет писаться роман о годах 1910, 1919, 1934» (подчеркнуто мною. — Л. П.).

Впоследствии Федин несколько изменил свой замысел, отнеся последнюю часть не к 1934 году, а к годам Великой Отечественной войны. Но общая направленность трилогии, которую сам автор рассматривает как произведение историческое («...я смотрю на свою трилогию как на произведение историческое»), осталась той же.

«Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам» — это образцы жанра романа-эпопеи в советской литературе. Трилогия Федина по своему замыслу, по своим особенностям — произведение, в котором роман берет верх над эпопеей.

11

«Эпопея, — писал в «Сграницах воспоминаний» Николай Тихонов, — это крупное произведение, в котором обязательно участвует народ в важнейшие моменты своей истории».

Этим требованиям жанра отвечают и «Жизнь Клима Самгина», и «Тихий Дон», и «Хождение по мукам», и «Последний из удэге», и в какой-то, хотя и меньшей, степени трилогия Федина.

Однако в каждом из этих романов-эпопей участие народа в важнейшие, чаще всего переломные, моменты истории показано в разных масштабах, разными художественными средствами.

В эпоху глубоких потрясений изображена жизнь донского казачества в «Тихом Доне». Жизнь народа запечатлена не только в массовых, групповых сценах, в сценах коллективного труда в мирное время, в батальных сценах в годы гражданской войны, — она воплощена и в индивидуальных портретах, и в характерах.

Григорий Мелехов и Пантелей Прокофьевич с Ильиничной, Наталья и Аксинья, Михаил Кошевой и Дуняшка, Гаранжа, машинист Котляров, слесарь Бунчук, вальцовщик по прозвищу Валет и многие, многие

другие — это все люди из народа, люди труда, поэтически воспетые автором «Тихого Дона». Отобразив в своем романе революционный путь народа, путь к большевистской правде во всех его сложных противоречиях и изломах, Шолохов одновременно с необычайной тщательностью, глубиной и точностью живописует внутренний мир героев, их мысли, их душевные дела и переживания.

Немного найдется произведений не только в русской, но и мировой литературе, где судьба человека из народа была бы представлена столь объемно и вместе с тем проникновенно, с какой-то особой, присущей Шолохову теплотой и задушевностью. Это в подлинном смысле слова книга о народе. И мучительный путь Григория Мелехова, отбывшего от белых и к красным не представшего, запутавшегося в поисках истины, не мирящегося с железной логикой революции, отражает трагедию той части народа, которая вела длительную и нелегкую для нее тяжбу с эпохой, с историей.

В трилогии Алексея Толстого центральные персонажи, как известно, русские интеллигенты. Люди из народа (Рублев) в первой книге сюжетно изолированы от других героев, не соприкасаются ни с одним из них, кроме Телегина. По мере развертывания действия все органичнее становится взаимосвязь четырех героев-интеллигентов с героями из народа. Две сюжетные линии постепенно как бы смыкаются, подчеркивая тем самым основной идейный смысл произведения о едином пути в революции передовой интеллигенции и народа. В соотношении судьбы человека и судьбы народа — суть эпичности трилогии. Каждого из своих героев автор проверяет, испытывает отношением к народу, степенью близости его к народным массам. Связь с народом выводит героев-интеллигентов из узкого, камерного мирка, из петербургской уютной спаленки, из московских салонов на просторы большого мира, большой истории.

Эпическое начало, открыто выраженное в «Тихом Доне», в «Хождении по мукам» дано через изображение взаимосвязей народа и интеллигенции.

В «Жизни Клима Самгина» народные массы не только не находятся в центре повествования, как в «Тихом Доне», но даже не играют той сюжетной роли, как в трилогии Алексея Толстого. Происходящие события, пестрая галерея

рея людей даны через восприятие буржуазного интеллигента, глазами индивидуалиста-мещанина, пассивного «зрителя», хладнокровного регистратора текущей мимо него жизни. Но сама идея этого многопланового романа — идея бессилия капиталистического мира и растущей силы поднимающихся народных масс — зиждется на эпической основе. Только народ способен победить Самгинных и самгинщину — таков вывод, вытекающий из всей системы образов романа-эпопеи Горького.

В «Жизни Клим Самгина» особое значение приобретают массовые народные сцены. Количественно они занимают скромное место в книге. Но рядом с рассказом о Самгине и его окружении они приобретают большой внугренний смысл, подчеркивая постепенное пробуждение революционного самосознания. Картины верноподданнических демонстраций, организованных по приказу царского правительства, сменяются сценами мощного шествия рабочих, спянных единой целью, единой волей к победе, на похоронах Баумана, сценами баррикадных боев пятого года, революционных демонстраций в преддверии Октября. По сохранившимся наброскам финала можно предполагать, что эпопея Горького должна была завершиться сценой встречи революционного народа, осознавшего свою силу, с В. И. Лениным.

Так народная тема у Горького, разворачивающаяся на втором плане, фактически становится ведущей, обнажая стержневую идею всего романа. Книга о бескрылом индивидуалисте Самгине явилась одновременно книгой о его коренном антагонисте, о растущем народе, о народе-победителе, творящем свою великую историю.

Как видим, не обязательно, чтобы народ был главным героем произведения, чтобы он был показан крупным планом. В этом случае могут быть найдены самые разнообразные художественные решения.

Хотя главный герой горьковской эпопеи — Клим Самгин — человек, в сущности, ненавидящий народ, и хотя в «Хождении по мукам» и особенно в трилогии К. Федина основная сюжетная линия сплетена с судьбой интеллигентов, тем не менее эпичность названных произведений не подлежит сомнению. Народ в этих произведениях является основным критерием нравственной высоты, оценки не только главных, но и второстепенных действующих лиц.

12

Героем монументально-эпического искусства наряду с собирательным, обобщенным образом народа является личность, включенная в борьбу за свободу масс.

«Для личности, искренно и серьезно озабоченной свободой саморазвития, — писал А. М. Горький в предисловии к французскому изданию романа Л. Леонова «Барсуки», — очевидно, необходимо принять участие в борьбе за свободу массы — единственной силы, действительно способной обеспечить свободу роста личности и развития «частного хозяйства ее души» до размеров всемирного хозяйства, до тех размеров, когда человек почувствует себя не человеком науки, класса, церкви, а человеком человечества».

Этого «человека человечества» и призван отразить героический советский эпос. Значительность изображенного времени сочетается в эпопее со значительностью героя.

Алексей Толстой, раскрывая сущность «монументального реализма», призывал писателей-современников «...в страсти, в грандиозном напряжении создавать тип большого человека».

Историческая масштабность не только не противопоказана изображению личности во всем богатстве ее внутреннего мира, но, наоборот, в сочетании эпической широты и психологической глубины и заключается художественная сила романа-эпопеи.

Тургенев, которому во многом была чужда стилистическая система Льва Толстого, не понял художественного метода автора «Войны и мира», сумевшего с одинаковым мастерством описать острый носок сапога Александра, вздернутую губку маленькой княгини Болконской и одновременно изобразить со свойственным ему эпическим размахом батальные сцены, патриотическое движение народа в войну 1812 года.

«Как это все мизерно на широком полотне исторического романа!» — возмущался Тургенев психологическими деталями в романе Льва Толстого «Война и мир». Это новаторство художника не сразу было понято и принято не только Тургеневым, но и другими современниками Толстого.

Тончайшая нюансировка психологических состояний героев «Тихого Дона» не вступает в противоречие с монументальным изображением народного героизма.

Тот же художественный принцип лег в

основу «Хождения по мукам», где описания тончайших психологических чувствований, тайн душевной жизни четырех основных героев, раскиданных историей по разным дорогам страны, переплетаются с изображением бурных, трагических событий гражданской войны, больших социальных конфликтов, движения народных масс.

Тридцатые годы — это расцвет монументальных эпических жанров в советской литературе, когда роман и эпопея воссоединились.

«Мысль народная» и «мысль семейная» не были отчуждены друг от друга, а представляли гармоническое единство. Масса не вытесняла уже личность, как на заре рождения советского эпоса, напротив — личность обогащалась связью с массой, приобретала новые качества.

Жанр романа-эпопеи в советской литературе имеет тенденцию не только к «интенсивному» художественному осмыслению связей человека и истории, но и к «экстенсивному», вовлекая в повествование весь окружающий мир, мировую историю, шагая через океаны и континенты.

Это расширение рамок эпопеи, стремление к универсальному охвату действительности, которое характерно и для зарубежных романов, связано с теми общими процессами, которые происходят в мировом масштабе, прежде всего с повышением ответственности отдельной личности за все, что творится в мире, с чувством общей судьбы, сплывающим все передовое человечество.

«Роман нашего времени, — пишет Эренбург, — многим отличается от романа XIX века, построенного на истории одного человека или одной семьи. В современном романе больше героев, судьбы их переплетаются, писатель часто переносит читателя из одного города в другой, порой даже в другую страну, композиция повествования напоминает сменяющиеся на экране кадры с чередованием крупных планов и массовых сцен».

Эта тенденция к «экстенсивности» изображения жизни, отказ от изоляции, свойственной камерному роману, особенно отчетливо проявилась в романах самого Ильи Эренбурга — «Падение Парижа», «Буря», «Девятый вал», — представляющих собой своеобразную трилогию.

Вовлекая в свою орбиту десятки героев, сложно между собою связанных, часто и не

подозревавших о существовании друг друга, избегая внешней сцепленности эпизодов, сознательно разрывая главы, мелькающие перед читателем, как кадры кинематографа, Эренбург стремится воссоздать картину жизни человечества в данную эпоху, его сложные и разветвленные взаимосвязи.

История представлена в романах Эренбурга не только в динамике, не только во временном движении, как это имеет место и у Фелина (годы 1910, 1919, 1941), и у Шолохова (казачество царской России и России революционной, эпохи гражданской войны), и у Алексея Толстого (от десятых годов до 1920-го), у Горького (последовательная историческая хроника за сорок лет — от восьмидесятых годов до 1917-го), но и во временном единстве.

Писатель запечатлевает в своей трехтомной эпопее судьбы людей Советской страны, Франции, фашистской Германии, оккупированной Чехии и т. д. синхронно — в один и тот же исторический момент, в один и тот же день, а иногда и час. Человек во множественных связях с миром — таков принцип в романах Эренбурга, воплощаемый с разной мерой художественной выразительности.

Вот сержант Садофьев выполняет очередное боевое задание, переплывая ледяную реку — Днепр — под яростным обстрелом врага. Слух о его подвиге, как круги по воде от брошенного камня, расходится по миру, вызывая различные реакции у друзей, у врагов, у родных. Так многочисленными нитями связывается судьба одного со многими, так сблизжаются события, совершающиеся одновременно в разных точках земного шара.

13

Раздвижение рамок романа, стремление писателя создать огромные полотна привели нередко и к серьезным художественным просчетам и потерям.

Даже в лучших романах-эпопеях, как, например, «Тихий Дон», «Хождение по мукам», введение хроникального материала, оголенная фактичность, обилие документов, репортаж событий иной раз ослабляли драматизм сюжета, динамичность действия, вытесняли художественную образительность.

Эти недостатки сказались особенно явно на романе Эренбурга «Девятый вал»,

где широта охвата материала рождает поверхностную описательность.

Сама по себе плодотворная тенденция к широкому социально-историческим обобщениям, к художественному синтезу оборачивается иной раз своей негативной стороной, не находя художественного полноценного выражения.

Так, многотомные романы А. Сергеева-Ценского, задуманные как единое целое, как грандиозная эпопея, страдают сюжетной аморфностью, многоречивостью, иллюстративностью. Мнимая широта ослабляет эстетическую ценность этих произведений.

Прегендовали на эпопею в не столь давние времена многие романы, отличавшиеся помпезностью, риторическим пышнословием. Но внешняя монументальность никогда не компенсирует глубины и интенсивности изображения людей и событий.

Острота противоречий, драматизм борьбы в подобных произведениях заменялись сглаженными, «обструганными» образами, картинками выдуманной, несуществующей жизни. Так, на смену эпопее, разветвляющейся драматическую «историю современности», воссоздающей героические и одновременно трагедийные ее страницы, возникала лже-эпопея с облегченными конфликтами и счастливыми развязками.

К «эпическому объему» (по слову Гоголя) тяготеет проза Великой Отечественной войны. Наиболее характерны в этом отношении романы Василия Гроссмана «Народ бессмертен» (это скорее заявка на эпопею) и «За правое дело».

В литературе последних лет особенно возрос интерес к сложной человеческой личности, к ее интеллекту, к ее нравственным устоям, к ее разветвленному внутреннему миру, к человеку гармоническому, обогащенному связью с обществом, с окружающим миром.

В наше время в противоположность эпосу двадцатых — тридцатых годов роман как бы вбирает в себя эпопею, «биография истории» органически включается в биографию героя.

Создание романа-эпопеи не прошло бесследно для других жанров.

Раздвинулись, например, рамки автобиографического романа, казалось бы, одного из самых «личных» жанров, поскольку внимание автора обычно сосредоточено на своем «я», на одной частной жизни.

Так, продолжая традиции горьковской

автобиографической трилогии, Гладков написал не только историю своего детства и юности, сколько книгу о судьбе русского крестьянства в дореволюционную эпоху. Задумав ее, по собственным словам, не как обычные воспоминания, а как эпопею о русском народе, как «автобиографическую эпопею», он создал целую галерею образов крестьян, показал трудный и многострадальный путь русской деревни к революции. Таковы же многие другие автобиографические произведения последнего времени.

14

Широта охвата общественного бытия, историческая значительность содержания, интерес к тематике, почерпнутой из исторического опыта современности, верность объективной действительности, многосторонность воспроизведения жизни, взятой в решающие моменты ее развития, глубокий демократизм, утверждение народа как субъекта истории, как ее активной, жизнегворящей силы — все эти черты, характерные для социалистического реализма, определяют эпическую устремленность этого искусства.

Между тем прогрессивная литература Запада и Америки выступает в этом отношении как союзник социалистического реализма.

Тяготение к эпической широте, к монументальным формам, характерное уже для критического реализма XIX века — Бальзака, Стендаля, Флобера, Золя и других, — усилилось в творчестве Р. Роллана, Голсуорси, Томаса Манна, Роже Мартен дю Гара, Синклера и многих других художников XX века. Проблема семьи органически сочеталась в романах этих писателей с проблемой общественной и исторической. Поворот к эпосу нового времени, явственно осязаемый в XX веке в творчестве прогрессивных писателей различных стран, связан с необходимостью глубокого осмысления сложной современной действительности, ее трагических конфликтов.

Но иной раз выводы из этих монументальных произведений были значительно шире замысла писателя.

Так, например, Томас Манн, рассказывая о процессе создания своих «Будденброков», посвященных истории «гибели одного семейства», писал: «...я и сам не сознавал того, что рассказал в «Будденброках» о распаде

буржуазной семьи, что я повествовал в этой книге о разложении, об окончании последнего периода XIX века, предсказав период новой, гораздо более значительной культурной и социально-исторической эпохи».

Логика художественных образов оказывается сильнее задуманного писателем.

Характерно, что Мартен дю Гар, автор монументальной книги «Семья Тибо», начал свой роман как историю одной семьи, а закончил его повествованием об исторической судьбе Франции и всей Европы перед лицом первой мировой войны.

«Школа Толстого, а не Пруста» — такова лаконичная заметка в дневнике Мартен дю Гара (запись 8 апреля 1943 года), касающаяся художественного метода автора «Семьи Тибо».

И в другом месте: «Открытие Толстого было, конечно, одним из самых больших событий моего отрочества и оказало сильное и длительное влияние на мою писательскую жизнь. Моя безусловная приверженность к роману как к литературной форме, в частности большому роману с многочисленными героями и множеством эпизодов, сложилась у меня после чтения «Войны и мира».

Советский роман-эпопея вообрал в себя не только традиции Льва Толстого, но и прогрессивных зарубежных романистов. За этими традициями, однако, выступают новаторские черты жанра.

Ясная историческая перспектива, изображение жизни с высоты великих целей будущего, но по ее горячему следу, пафос сознательного творчества истории, истории,

движущейся по революционному пути, утверждения активности народных масс, сочетание объективного изучения мира с тенденциозностью в лучшем смысле этого слова, последовательное и принципиальное включение человека в историю — таковы основные эстетические, художественные принципы советского эпоса.

Монументальный жанр романа-эпопеи, включающий в себя такие разные в стилевом отношении произведения, как «Железный поток», «Россия, кровью умытая», и кончая «Жизнью Клима Самгина», «Тихим Доном», «Хождением по мукам», несомненно, многим обогатил искусство социалистического реализма. Однако было бы глубоко неверным абсолютизировать этот жанр, выдвигать его как ведущий или привилегированный. Установление в искусстве иерархии форм, родов или видов неразумно и нелепо.

Объемность художественного произведения отнюдь не является залогом его высокого качества.

Сжатая до предела новелла по своему художественному весу, по силе обобщения может превзойти вялую, растянувшуюся на многие тома эпопею, каких немало появлялось на долгом, многосложном пути нашей литературы.

Трудно предвидеть и предугадать, по какому пути пойдет дальнейшее развитие в советской литературе эпических жанров. Но твердо и уверенно можно сказать, что новаторство советского романа-эпопеи и в отношении содержания и формы не прошло и не пройдет бесследно для нашего искусства и искусства за рубежом.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Роцин. Главная книга.— **Н. Штейн.** Кудряко и другие герои А. Бека.— **О. Михайлов.** У начала советской журналистики.— **С. Кармалита.** «Из реки по имени — «факт»...».

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Семанов, В. Старцев. Десять шагов революции.— **В. Кабанов.** Крестьянские мемуары.— **Бор. Шабалин.** Путь завода.— **М. Константинов.** Эстафета революционной борьбы.— **Ф. Светов.** Записки революционера.— **Людмила Зак.** Рыцарь интернационализма.

Литература и искусство

ГЛАВНАЯ КНИГА

Ольга Берггольц. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. 364 стр. Том 2. Проза. 652 стр. «Художественная литература». Л. 1967.

Имя Ольги Берггольц широко известно. У нее много книг, богатая литературная биография, о ней пишут — и, главное, ее давно знают и любят читатели. Мы читаем и повторяем ее стихи, помним ее выступления по радио, ее героическую работу в долгие месяцы ленинградской блокады; как свежая и новая музыка прозвучала несколько лет назад ее проза, а затем статьи. Стихи Берггольц высечены на белых камнях одного из самых горестных кладбищ на свете — Пискаревском кладбище в Ленинграде.

Нет, это не послужной список, не перечень заслуг — это напоминание, что дело поэта стало явлением не только литературы, но и жизни, что личность поэта, растворившись в его произведениях, обогатила наше представление о времени. Читая Берггольц, мы прочли судьбу, жизнь человека, нашего современника.

Всегда интересно заново перечитать знакомые прежде вещи писателя; при этом возникает новая, общая их оценка — что же здесь главное и самое ценное? Что

вдохновляло поэта? Чему он служил своим словом?

Двухтомник Ольги Берггольц отвечает на эти вопросы ясно: писательница всю жизнь служит революции, народу. Ее стихи (о стихах я буду говорить меньше, поскольку в «Новом мире» недавно была напечатана рецензия Л. Левицкого на книгу «Узел», см. № 1 за 1966 год), ее проза, статьи, дневники, заметки, речи удивительно тесно связаны, соотнесены со временем. Со страстью «газетчика» отзываясь Берггольц на события, происходящие со всеми — со всей страной. Ее сжигает желание «говорить о главном», и свою Главную книгу она видит такой: «Главная книга писателя — во всяком случае моя главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце». Эти слова Берггольц сделали за последние годы почти афоризмом. Нелепые споры вокруг слова «самовыражение» утихли, сама проза Берггольц все сказала за себя, и отчет-

ливо, недвусмысленно определилось, что значит «правда нашего общего бытия» и что значит «мое сердце». «Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу,— пишет сама Берггольц,— наконец предпочесть исповедь проповеди — или наоборот — вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но еще, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди».

Итак, мы видим, что для Берггольц исповедь — это один из способов познания и отражения «нашего общего бытия».

На это могут возразить (и возражали), что, дескать, сердца бывают разные, люди разные, и разные позиции, мировоззрения, и не есть ли такой подход к действительности идеалистический, и не дает ли он возможность истолковывать одни и те же события как угодно, искажая объективную истину. Да, разумеется. Но ведь Берггольц не зря подчеркивает: «мое сердце». Это сердце патриотки, коммунистки, человека, с юных лет преданного революции, «мое» и «наше» совершенно слиты в нем, и взгляд этого человека на мир не может быть не близок всем нам.

Берггольц пишет свою Главную книгу, и одно из самых интересных лиц в ней — сам автор. Мы читаем повесть «Журналисты», книгу «Говорит Ленинград», «Дневные звезды» — и постепенно узнаем жизнь советской женщины.

Мы видим ребенка, девочку, живущую в Угличе, куда мать увезла ее с сестрой из голодного Питера восемнадцатого года. Отец девочки дерется с белыми. Мы попадаем в мир детства, детских игр, детских чудес, страхов, мы живем в древнем и прекрасном русском городе. Но это не узкий мир, — он открыт всем ветрам времени, всем разговорам и событиям, оставляющим след в детской душе, и рядом со словами «папа», «мама», «сестра», «лес», «солнце» стоят слова «революция», «го-

лод», «фронт», «хлеб». Это удивительно, и это, конечно, могло быть рождено только пафосом того времени, но Берггольц с одинаковой душевной силой и страстью, с глубокой личным отношением произносит «любовь» и «Волховстрой», «семья» и «ГОЭЛРО», «любимый» и «электрификация». Теперь это звучит даже несколько наивно, но Берггольц сохраняет и умеет передать нам неистовое воодушевление тех лет. Потом, спустя много лет, в ленинградскую блокаду, когда она будет жить так же неотделимо от всех, как в годы первых пятилеток, она напишет:

И мне любой дорожке славы,
что я ценой моей зимы
владею счастьем и правом
в стихах поставить «Я» как «Мы».

Книга «Говорит Ленинград» — это страстная публицистика, это вся история ленинградской блокады, потому что Берггольц ежедневно говорит о том, что происходит в городе, в стране, на фронте, она говорит о ленинградцах, об их горе и мужестве. Вот слова из статьи «Ленинград — фронт»:

«Это было очень тяжело, но ни с единого рубежа жизни мы не отступили. Мы совсем по-новому поняли, что жизнь — это деятельность и что, как говорят у нас, «раньше смерти помрешь», если перестанешь трудиться».

Для своих обращений к согражданам, к воинам-ленинградцам и особенно к ленинградкам, Берггольц находит слова самые добрые:

«Уж очень много приняло и вынесло женское сердце за время войны, и тебе, хозяйка города-фронта, ленинградка, известно это лучше других. Но, все израненное и обожженное, сердце твое готово принять все, что предстоит, во имя полной победы...»

Итак, если следовать чисто биографической канве, мы узнаем, как девочка из Углича написала первые стихи о Ленине, как их «напечатали» в стенгазете, как она вступила в комсомол, работала, училась, ездила, участвовала в строительстве новой жизни, новой России. Потом великие испытания сил, духа, и здесь как бы сливаются в одно, дополняя друг друга, и новеллы из «Дневных звезд», и стихи, и выступления по радио, и страницы о Ленинградской симфонии Шостаковича, и «Ленинградская поэма» самого автора...

Двухтомник становится единым произведением, и как определить его жанр, связать это вместе, не оскорбив строгого литературного представления о жанрах? Но об этом уже не думаешь, забываешь, потому что изо всего продолжает вырастать и обретать почти скульптурность образ героини этой книги:

Еще тебе такие песни сложат,
так воспоют твой облик и дела,
что ты, наверно, скажешь: — Не похоже,
я проще, я угрюмее была.

Мне часто было страшно и тоскливо,
меня томил войны кровавый путь,
я не мечтала даже стать счастливой,
мне одного хотелось — отдохнуть...
Да, отдохнуть ото всего на свете:
от поисков тепла, жилья, еды,
от жалости к моим исчезающим детям,
от вечного предчувствия беды,
от страха за того, кто мне не пишет
(увиджу ли его когда-нибудь?),
от свиста бомб над беззащитной крышей,
от мужества и гнева отдохнуть...

Тема войны, военного горя и военного мужества еще долго, да и по сей день, не оставляет Берггольц. И в этом опять-таки сказывается не только личная боль, но и общая вечная память о минувшей беде и победе. «Я знала теперь, что горе мое бессрочно, что вдовство мое никогда не пройдет, даже если я полюблю другого человека. Но все равно я буду жить. Я была так же слаба, как позавчера, но я знала, что должна идти, должна жить и работать, потому что работа моя нужна людям. Я не испытывала, повторяю, от этого сознания ни гордости собой, ни счастья. Я просто шла и делала дело...»

Для Берггольц важно, чтобы слово что-то делало, сейчас, сегодня, сию минуту помогало людям так же быстро и с той степенью активности, с которой оно было произнесено. Может быть, поэтому Берггольц так настаивает на том, что Главная книга писателя всегда в отрывках, в замыслах, в движении черновика, а не в статике переписанного набело:

«Сама жизнь и обретаемая в ней истина все время держат свою суровую корректуру над Главной книгой».

И дальше она еще заостряет свою мысль:

«...И у меня, как и у других писателей, есть Главная книга, которая вся еще вперед, отрывки из которой рассеяны, и в том, что напечатано стихами и прозой, и

в том, что держится пока еще в черновике, в столе, или только в сердце, в памяти».

Это и так и не так. Просто Ольга Берггольц нашла удачную, свободную форму для своей книги. На одной и той же странице, сейчас, во время письма, автор как бы находится сразу в прошлом, настоящем и будущем, и иначе не могло быть, потому что девочка из Углича, бывшая комсомолка, человек, проживший каждый день своей страны, как свой собственный, пришла вместе со страной, с народом, с революцией к нашим дням, к тому времени, когда необычайно близко сошлись и настоящее, и оценка прошлого, и мысль о будущем. Отсюда, вероятно, у писательницы и возникает ощущение, что никак нельзя написать Главную книгу. Вдруг оказывается, что в ней нет одного или другого или осталось недосказанным третье.

Но книга все-таки уже есть, существует, потому что существуют Человек и Время. Они уже вошли в книгу, живут в ней, дышат, думают, работают.

Ольге Берггольц нужна правда: потому что книга о Революции должна быть книгой Правды. «Жизнь и обретаемая в ней истина» действительно строгие и непрощающие судьбы, и они требуют всей правды. Берггольц не раз возвращается к одним и тем же эпизодам, то рисует их, то думает над ними, то объясняет что-то читателю, то дополняет. Так проходит через ее книгу тема света над Россией, электрификации, или тема дневных звезд, детской сказки, ставшей символом служения поэта своему народу. Или тема любимого сна. Вот, например, как пишет Берггольц свой любимый сон в светлом и трогательном рассказе «Та самая полянка», примыкающем к «Дневным звездам»:

«...И вот мне снилось, как я иду к той самой полянке — так, как и ходили мы в отрочестве, — по узенькой тропочке через густую, старую ольховую рощу, полную тревожного, несомненно что-то значащего сумрака, и шороха, и бормотания невидимого сердитого ручья, бегущего по темно-ржавым палым листьям между замшелых камней. Долго вьется черная, сырая тропка в сумраке и ропоте настороженной рощи, идешь по ней, и немножко чего-то страшно, но как только ступишь за последнюю ольху, на ту самую полянку — сразу так и обдаст тебя сияющий, зеленоватый,

мягкий свет: на полянке нежнейшей зелени трава, с боков — березки с мелкими своими листьями, и с полянки настужь распахивается могучий, светлый, тихий-тихий простор...»

Значительна в книге и тема отца, доброго человека и хорошего доктора, и другая, проходящая от стихов до статей, — тема утраты: любимых, друзей. Да, об этом надо сказать много, и вместе с писателем ощущаем мы за строчками еще не выказанное, то, что впереди, «в столе, или только в сердце, в памяти».

Я столько говорю о раздумьях в книге Берггольц, ее связи с революционной нашей историей, что может возникнуть ощущение, будто речь идет о публицистическом труде. Нет, это не так, хотя присущи порою Берггольц и публицистика и даже журна-

лизм. Но Главная книга пишется поэтом, свободно переходящим от одного настроения к другому, от мысли к мысли, от воспоминания к мечте, от сна к яви, от открытой публицистики к пейзажу.

Первые главы «Дневных звезд» появились несколько лет назад. В ту пору их открытость, лиризм показались неожиданными. Прошло время, и теперь мы видим, как широко и прочно вошел в литературу этот не то чтобы новый, но воскрешенный жанр — пусть доступный в подлинной художественности не всем. Эти книги — еще одно доказательство, что Берггольц и на этот раз не изменило чуткое чувство художника, знающего, как он лучше всего может сказать о своем времени.

М. РОЩИН.

★

КУРАКО И ДРУГИЕ ГЕРОИ А. БЕКА

Александр Бек. Мои герои. Повести. «Советская Россия». М. 1967. 458 стр.

О книге А. Бека «Мои герои» очень легко и одновременно очень трудно писать. Ее легко похвалить: книга посвящена развитию и становлению отечественной металлургии, автор прекрасно знает доменное производство и его историю, труд доменщиков, людей труда, настоящей творческой страсти. Все это правда. Но эти похвалы стерлись от частого и долгого употребления и вряд ли могут заинтересовать и убедить в том, что книга А. Бека — интересная книга. А книга действительно очень интересная. Она полна живого, конкретного, реального содержания.

Во-первых, «люди труда» — «мои герои» А. Бека. Все восемь повестей, из которых состоит книга, скреплены несколькими человеческими характерами, и лучшие из них — находка, открытие автора.

Первая повесть называется «Курако». В ней завязка, пролог, на ней «настаивается», «замешивается» вся книга. Написана она о реальном человеке — знаменитом русском доменщике Курако. Но тон, который с самого начала берет автор, — тон человека, пишущего о необычайных вещах.

Начинается повесть одним эпизодом — на Юге России останавливаются построенные американцами доменные печи. «Американские домы охотно и безропотно подчинялись американским инженерам. Когда

поводья перешли в другие руки, печи вышли из повиновения». И в рассказе, действие которого происходит в 1899 году, возникает испытанная сказочная ситуация. «В кабинете директора — мрачные лица. Там говорят по-французски... Входит мокрый и грязный человек. Его сапоги обшиты грубым ларусным брезентом. На голове войлочная шляпа, прожженная в нескольких местах. Так одеваются рабочие доменных печей». Начинаются чудеса. Русский рабочий говорит по-французски, и «французские слова вылетают у него непринужденно и легко, как родные». Он предлагает чаладить печи. «На Юге России ни один русский инженер не допускался к ведению доменных печей... Горновой был наглец или сумасшедший. Его следовало бы выгнать вон. Директор не сделал этого. Он разрешил воскресить «труп»: в распоряжение горнового предоставлена была погибшая печь». И горновой спас печь. «Юг узнал фамилию горнового. Это был Курако».

С такого зачина, похожего на «уроки» сказочных героев, обязанных за одну ночь построить церковь или перебраться по зернышку воз пшеницы, начинается повесть о Курако.

Вся она развивается как бы из двух начал: из легендарного, чудесного, необыкновенного и из реального, даже документаль-

ного. Герой творит чудеса в реальном Донецком бассейне, работая у французских и английских хозяев. И автор создает свою легенду, вовсе не преступая через реальность, не противопоставляя реальность ей.

Реальность, о которой пишет А. Бек, содержит в себе возможность легенды. 90-е — 900-е годы описаны и изучены достаточно. Мы читали о них у русских классиков, учили по школьным учебникам. И все-таки в вещах давно известных А. Бек нашел неизведанную сторону. Он открывает целый мир — мир даже географически новый, мир совершенно особых устремлений и страстей. А каждое открытие легко уживается с легендой. И конкретность сведений, которыми подкрепляет свое повествование автор, только придают легенде особую достоверность.

Историю замечательного русского металлурга Курако А. Бек вплетает в цепь событий, связанных с освоением Кузнецкого бассейна. Он вызывает к жизни множество образов, связанных между собой самыми различными интересами. Здесь и рыжий «Владимир Федорович Трепов, тайный советник, придворный, брат знаменитого Дмитрия Трепова — «патронов не жалеть» и Александра Трепова, министра путей сообщения», получившего от кабинета его величества в концессию на девяносто девять лет, до 2012 года, целое государство между Обью и Томью. Там лежала кузнецкая угленосная котловина, Кузнецкий бассейн». И Леонид Иванович Лутугин — «мировая геологическая величина, знаменитый следопыт и разведчик угля, открыватель подземных Америк» с «озорной и веселой вагагой своих учеников», и сам царь Николай II, которого Трепов «всегда считал хамом», горный инженер Краатов, фанатик освоения Кузнецка, и иностранные акционеры, от чьих капиталов зависит успех предприятия.

Все интересы этих людей связаны, пересекаются в одной точке — богатейшем Кузнецком месторождении. Грандиозные планы, грандиозные цифры, смелые интриги, точный научный расчет — все это создает динамичный и напряженный фон, на котором действует доменщик Курако.

Самая яркая фигура этого «фона» — инженер Краатов. По силе страсти, по преданности идее он равен Курако. Но если Курако, идя от яростного желания поко-

рять себе домны, сделаться «русским американцем», приходит к идее перестройки всей русской металлургии, а в дальнейшем — к революции, то Краатов проходит путь от инженера — социал-демократа, «левого, очень левого, самого левого среди своей блестящей компании» до крупного буржуазного деятеля. Кончив институт, Краатов поклялся никогда не быть инженером, никогда не идти в услужение капиталу. В 1909 году он принял первое выгодное предложение. К плану освоения Кузнецкого бассейна его привели и личная выгода, и грандиозный размах задачи. Но Краатова фанатическая преданность своей идее не обращает к большим вопросам жизни, а отгораживает от них. Для него, директора Копикуза, идея технического прогресса никак не совпадает с идеей переустройства общества, она превращается в самодовлеющую цель, теряет свой человеческий смысл.

Вот эти два типа человека творческой страсти создают истинную завязку, задают тон всей книге. Противопоставление их друг другу дано не в лоб, оно прослеживается в многочисленных перипетиях и сложностях жизни того и другого. И тут автору помогает его великолепное знание материала, скрупулезная, документальная точность изложения. Он нигде не сбивается на патетику, на голословные утверждения, он просто описывает факты, но именно те, которые говорят сами за себя.

Остальные повести книги развивают внутреннюю тему первой — тему столкновения людей творческой страсти с людьми, эту страсть поправшими. Это, например, история талантливого сына горного Максима Луговика и преуспевающего инженера Крицына («События одной ночи»), это и истории Власа Луговика, крестьянина глухой белорусской деревни, и рабочего Коробова, рассказанные ими самими («Влас Луговик», «Записки доменного мастера»).

Повести в своей книге А. Бек располагает во временной последовательности. Она как бы заменяет общий сюжет, скрепляет собой книгу. Но действительной связью между повестями, подлинной пружиной действия является развитие ее внутренней темы. Там, где тема эта исчезает, книга теряет свой интерес. Так случилось в последней повести «Новый профиль», которая нужна лишь для временного, фор-

мального завершения книги — она посвящена 50-м годам, — а действительного, при-сущего всей книге конфликта в ней нет. И не связывают ее с остальными повестями ни профессия героя, ни привычное место действия — металлургический Юг страны.

А в целом книга А. Бека «Мои герои» — это действительно своеобразная история

индустриализации страны. Эта история рассказана через человеческие характеры, отразившие ее и по-разному сформированные ею. И именно это «человеческое отражение» делает книгу о судьбе русских домен интересной для любого читателя.

Н. ШТЕЙН.

★

У НАЧАЛА СОВЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Очерки истории русской советской журналистики. 1917—1932.
«Наука». М. 1966. 507 стр.

Советская наука о литературе встречает пятидесятилетие нашего государства новыми обобщающими работами с культурной и духовной жизни страны. Партийность в подходе к сложным явлениям недавнего прошлого в этих работах предполагает строгую документированность и научную добросовестность. Все реже сталкиваемся мы с субъективизмом, легковесным обращением с фактами, подтягиваемыми в угоду заданной схеме. Постепенно исчезают вчера еще столь многочисленные белые пятна на карте истории советской литературы. Серьезный пробел восполняет и выпущенный Институтом мировой литературы коллективный труд по истории русской советской журналистики, охватывающий исторический отрезок 1917—1932 годов.

В самом деле, возникновение и становление советских журналов, общественно-литературная борьба на их страницах, их участие в социалистическом строительстве — эти и другие важные темы до последнего времени не попадали в поле зрения исследователей. И если можно назвать ряд монографий о многих ведущих дореволюционных журналах (о «Современнике», «Отечественных записках», «Русском слове» и т. д.), то советская журнальная периодика впервые получает основательное и подробное освещение. И не совсем понятно, почему эта книга до сих пор не получила отклика в наших литературных журналах — за исключением журнала «Советская печать» (№ 11, 1966), где в статье декана факультета журналистики МГУ Я. Засурского дана весьма положительная оценка этому труду.

В главах обзорного характера — «Введение» (автор Н. Дикушина), «В. И. Ленин

и советская журналистика» (А. Дементьев), «Журналы А. М. Горького» (В. Максимова); в монографических «портретах» журналов («Красная новь» — М. Кузнецов, «Печать и революция», «Литература и марксизм» — Г. Белая, «Сибирские огни» — М. Минокин и В. Чуваков, «Лэф» и «Новый Лэф» — Л. Швецова, журналы «Кузницы» — Л. Скворцова, «Молодая гвардия» — А. Хайлов, «На посту» — Т. Дмитриева и т. д.) — с разных сторон рассматривается деятельность главных журналов пореволюционного пятнадцатилетия, дается характеристика ведущих тенденций общественно-литературной жизни той поры, выявляется и специфика каждого печатного органа и общая складывающаяся традиция новой, советской журналистики.

В «Очерках» охарактеризованы основные принципы партийного руководства в области литературы, дана оценка литературным группировкам двадцатых годов и их периодическим изданиям, выявлено живое движение, рост и развитие журнальной печати. Вехами общественно-литературной жизни закономерно становятся исторические документы — статьи В. И. Ленина, решения партии и правительства: «Декрет о печати» 1917 года, письмо ЦК РКП(б) о Пролеткульте 1 декабря 1920 года, резолюция XII партконференции «Об антисоветских партиях и течениях» (август 1922 года), документы совещания при Отделе печати ЦК РКП(б) 9—10 мая 1924 года, резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» 18 июня 1925 года, постановление ЦК ВКП(б) 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Причем все эти документы рассматривают-

ся в глубоком жизненном контексте, в сопоставлении их с огромным количеством фактов. Так воссоставляется сложная историко-литературная панорама, прослеживаются события на протяжении полутора десятков лет существования Советского государства — от первых дней Октября до начала тридцатых годов. Этот обширный период предстает перед читателем как пора активной и богатой жизни советской печати, напряженной литературной и идеологической борьбы, с известными потерями и издержками, но прежде всего с замечательными достижениями и завоеваниями в сфере художественной литературы, критики, журналистики.

Как известно, революция провела резкую межу, оставив «по ту сторону» всю дореволюционную периодику, за исключением большевистской печати. «Мы и раньше заявляли, — говорил в своем выступлении на заседании ВЦИК 4(17) ноября 1917 года В. И. Ленин, — что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки». И хотя старые «толстые» журналы — от кадетской «Русской мысли» до народнического «Русского богатства» — продолжали выходить вплоть до лета 1918 года, их судьба была предопределена победой Октября. Вскоре, уже в 1918 году, возникли новые, революционные периодические издания — «Творчество», «Пламя», «Горнило» и другие, подготовившие почву для хорошо известных нам «толстых» журналов.

В становлении советской журналистики непосредственное участие принял В. И. Ленин. В специальной статье А. Дементьев собирает и обобщает материалы и сведения, характеризующие отношение вождя рабоче-крестьянского государства к литературной журналистике, понимание Лениным ее задач, его мнение о тех или иных литературно-художественных журналах. В этой главе привлекает (как, впрочем, и во всем коллективном труде в целом) ее сугубая конкретность, насыщенность фактами и документами. Оттого-то многие даже хорошо известные эпизоды истории звучат с особой, обновленной убедительностью. Непримируемость В. И. Ленина к враждебным идейным течениям и его бережное отношение к росткам новой культуры прослежены автором на ряде эпизодов общественно-литературной жизни первых пореволюционных лет. Так закономерно возникают темы: Ленин и Горький в

1918 году; Ленин и футуристы; Ленин и Пролеткульт; Ленин и первый советский «толстый» литературно-художественный журнал «Красная новь».

Помимо важности общих, «генерализующих» выводов, здесь любопытны и многие «мелочи», «пылинки» истории, позволяющие воскресить ее живой облик: и то, что Луначарский «провел» печатание «150 000 000» Маяковского тиражом в 5000 экземпляров (а Ленин считал, что надо было печатать не более 1500 экземпляров), и то, что Ленин «без восторга» относился к пролеткультовской поэзии, и то, что он потребовал конфискации номера «Коммунистического Интернационала», где была помещена, на его взгляд, апологетическая статья о нем Горького и т. д. А. Дементьев внимательно анализирует взгляды В. И. Ленина на социалистическую культуру и в точных формулировках дает вывод: «До конца своих дней Ленин продолжал бороться со всякого рода упрощенно-сектантскими представлениями о культурном строительстве — с нигилистическим отношением к культурному наследию, с призывами создать новую культуру силами одного рабочего класса и т. д.».

Конкретность, документированность позволяет избежать многих укоренившихся в нашем литературоведении шаблонов. Вот один из примеров. Мы знаем, что Ленин принял самое близкое участие в создании «Красной нови». организационное собрание редакции происходило на его квартире; для первого номера журнала он дал свою статью «О продовольственном налоге»; внимательно следил он и за материалами, печатавшимися в «Красной нови». Во главе журнала стоял критик А. К. Воронский, в ту пору сделавший немало для строительства молодой советской литературы. Воспоминания Воронского о Ленине и его помощи журналу, естественно, используются А. Дементьевым. Приводятся они и другими авторами, пишущими о советской журналистике первых пореволюционных лет, скажем, А. Максимовым в его брошюре «У истоков советской журналистики» (Ленинград. 1967).

Любопытно, что обоих исследователей привлек один и тот же эпизод: ошибка Воронского, поместившего во втором номере журнала за 1922 год отрывок из «Записок о революции» Н. Суханова и статью В. Базарова о книге немецкого философа-

идеалиста Освальда Шпенглера «Закат Европы». В те годы ошибка Воронского, пусть существенная, никак не была следствием какой-то его особой фракционной «линии» (что проявилось в его редакторской практике позднее). И вот — два подхода, достаточно характерных. Ссылаясь на воспоминания Воронского, А. Максимов утверждает: «Критические» пассажи о Шпенглере и «мемуары» Суханова вызвали глубокое возмущение В. И. Ленина. Как вспоминает сам Воронский, он имел неприятный разговор с Владимиром Ильичем. Ленин сделал редактору «Красной нови» строгое внушение и потребовал не допускать впредь подобного некритического отношения к подбору авторов и подготовке материалов». А. Дементьев предпочитает свободному пересказу воспоминаний цитату из них. И вот как выглядит то же место в первоисточнике. «Не скрою, — вспоминал Воронский, — что у меня был случай, когда он (то есть Ленин. — О. М.) пожурил меня за помещение воспоминаний о Февральской революции Суханова и за статью Базарова о Шпенглере. Я сказал ему, что Суханов не является постоянным сотрудником «Красной нови», статья же Базарова помещена в дискуссионном порядке и в следующем номере будет помещен ответ на эту статью. Он успокоился, но заметил, что, по его мнению, Шпенглер не интересен и что им заниматься в Советской России не стоит...»

Как видим, А. Максимов дал весьма «вольную» трактовку этому эпизоду.

Научная добросовестность, которой отмечены «Очерки», является следствием трудоемкой и скрупулезной работы, проделанной каждым из авторов. Подняты целые пласты периодики, разработан огромный справочный аппарат. Поэтому-то, например, так полно освещена во «Введении» журналистика первых лет революции и двадцатых годов. Широкое сопоставление периодических органов советской печати позволяет Н. Дикушиной сделать ряд интересных наблюдений, непосредственно идущих от изучения документов. Об абстрактности материалов пролеткультовских журналов говорилось и писалось немало. Но вот автор «Введения» напоминает о тех конкретно-исторических условиях, в которых появлялись номера «Пролетарской культуры» «Социалистическое отечество в опасности!» — провозглашала партия, призывая

народ к борьбе с интервентами. Среди рабочих, ушедших на фронт, были и те, кто занимался в студиях Пролеткульта. Пролеткультовские поэты, художники, агитаторы выезжали на фронт, работали во фронтовой печати, но эта важная и нужная деятельность почти не находила отзвука в журнале. Разве только время от времени появлялись некрологи и сообщения о гибели того или иного пролетарского поэта на фронте или скупые отчеты о поездках на фронт». В самом деле, листая подшивку журнала, совершенно забываешь, что выходил он в ту пору, когда молодая Советская республика находилась в «огненном кольце» фронтов.

Документированно и основательно разобраны и пролеткультовские журналы «Грядущее», «Горн», и проводившая идеи футуристов газета «Искусство коммуны», и внегрупповые издания «Пламя», «Художественное слово», «Творчество». Уделяет автор место и журналам, в которых сказалось влияние буржуазной интеллигенции: «Вестник литературы», «Книжный угол», «Дом искусств», «Записки мечтателей». И здесь все анализируется точно и убедительно. Тем более бросаются в глаза отдельные неаргументированные оценки, когда мимоходом, например, уничтожаются помещенные в пятом номере «Записок мечтателей» стихи А. Белого и В. Ходасевича, в которых, по словам Н. Дикушиной, «не было ни больших мыслей, ни глубоких чувств». В подобном случае, когда речь идет о таких поэтах, как А. Белый и В. Ходасевич, хотелось бы хоть какой-нибудь доказательности.

В иных разделах «Введения» (а их там ни мало, ни много целых девятнадцать) интересная сама по себе фактография начинает уже заслонять литературоведческий «сюжет», движение мысли. Быть может, отчасти это объясняется немалой сложностью задачи, стоявшей перед автором: показать всю гигантскую картину советской журналистики времен революции и двадцатых годов. Построение отдельных «портретов» — будь то «Красная новь», «Печать и революция» или «На посту» — в этом смысле предполагало куда меньше композиционных трудностей, оставляя лишь сложности «по существу». Надо сказать, что авторы центральных монографических глав — М. Кузнецов, В. Максимова, Г. Белая, Л. Швецова и другие — в основном удачно и

достаточно полно охарактеризовали деятельность ведущих журналов двадцатых и начала тридцатых годов.

Закономерно, что «биографии» отдельных журналов одновременно стали и очерками о русских советских критиках. А. Луначарскому, А. Воронскому, В. Полянскому, В. Полонскому отведено в книге немало места. Понятно, особенно важной оказалась роль критики в определении «лица» тех периодических изданий, жанр которых исключал публикацию художественных произведений: «Печать и революция», «На посту», «На литературном посту», «Литература и марксизм» и т. д. Говоря о специфике «Печати и революции», Г. Белая подробно характеризует деятельность В. Полонского, руководившего журналом с момента основания и до середины 1929 года. Она приводит высказывания видных коммунистов и писателей о новаторском характере журнала и заслугах в этом его главного редактора. По словам Н. Мещерякова, «Полонский со свойственной ему страстью набросился на работу. Он проявил в ней необыкновенную настойчивость и из ряда вон выходящую энергию. Полонский сам собирал авторов, давал им заказы, уговаривал их работать, сам правил статьи, сам писал статьи для журнала, сам бурно воевал в Госиздате». «Пожалуйста, высылайте мне «Печать и революцию», — писал М. Горький В. Полонскому в начале 1926 года, — интересный журнал. Не в комплимент будь сказано, Вы его отлично ведете». А в статье в «Известиях», посвященной пятилетию журнала, Н. Пиксанов заключал: «При всем богатом развитии русской журналистики в довоенное время, такого своеобразного журнала у нас не было». Интересен и плодотворен оказался курс на энциклопедичность — публикация статей и заметок, посвященных различным областям науки, искусству, литературе.

Очевидно, журналам, как и людям, отпущены различные, определенные сроки жизни: одни из них «состарились» и умерли, другие живут и по сей день. С перемнами в редакционной коллегии, как отмечает Г. Белая, с торжеством откровенной «кружковщины» журнал быстро шел к своей, так сказать, физической смерти: «К середине 1930 г. журнал окончательно погряз в групповой борьбе, стал бессодержательным и утратил обретенную в начале

своего существования специфику. Исчез «энциклопедизм» журнала; была растворена в вульгарной социологии методологическая проблематика; поиски новых — научных — приемов критики подменила хлесткая «литфронтовская» фраза. В июне 1930 г. журнал «Печать и революция» прекратил свое существование».

В отличие от журнала «Печать и революция», создавшего богатый критический актив, ежемесячник «кузнецов» «Рабочий журнал», как показала Л. Скворцова, отличался слабостью критической мысли: «Кузница» не сумела привлечь в свой журнал ни одного талантливого критика. Причина тому — групповая замкнутость, установка только на «своих». Групповые интересы сказались не только в подборе рецензентов, они определили и круг тем, сам отбор книг для рецензий». И в других позднейших периодических изданиях «Кузницы» с критикой дело обстояло из рук вон плохо. В пылу полемики рецензенты не гнушались подчас прямой подтасовки и фабрикацией «документов». Так, на страницах «Журнала для всех» были опубликованы полемические заметки под разными именами. Автором всех этих статей был ответственный редактор журнала, не опубликовавший ни одной заметки под своим именем. В качестве примера приводится статья «О писателях и критиках», опубликованная под псевдонимом А. Голодников. Статья представляет собой стилизацию под письмо «рабочего от станка». В ней автор обрушивается на редактора «Нового мира» Полонского, выступившего на страницах своего журнала с рецензией на роман Олеси «Зависть». Статья начинается так: «Я двадцать лет стоял у станка и посейчас работаю на заводе» — и далее: «Мы, читатели, хоть и не обучались в высших учебных заведениях, как некоторые из критиков...» Редакция журнала сочла возможным через год сослаться на это письмо в редакционной статье «Нашим критикам». «Не мешало бы Полонскому, профессиональному журналисту, поучиться у непрофессионала А. Голодникова, работающего на заводе, элементарной добросовестности». «Так иногда на практике, — пишет Л. Скворцова, — осуществлялась «связь» с массовым читателем».

Таким образом, важно было не только количество критических имен, но и, так сказать, «качество» критики, ее не только

идейно-эстетическая, но и моральная ценность. Отмечая важную роль, какую сыграли в становлении пролетарской литературы журналы «На посту» и «На литературном посту», авторы соответствующих глав подчеркивают противоречивые тенденции в деятельности этих журналов, нетерпимость к «инакомыслящим», претензии на монополию в «чистоте» идеологии, безудержную рекламу и саморекламу. О стихах Лелевича и Родова, к примеру, в журнале «На посту» писалось такое: «Что есть в этой книжке... страницы из прошлых побед и походов, нарисованные Родовым... и новый интересный, живой быт красноармейцев, который так удачно сумел схватить Лелевич... Это не мистический бред серапионов — это и не батальная здравница. Это то, что нужно новой пролетарской литературе». Совершенно не случайно, что авторами «нового» и «нужного» оказались редакторы того же журнала «На посту» — Лелевич и Родов. Зато поэзия Маяковского, Асеева, проза А. Толстого, Пришвина, Малышкина, В. Иванова и даже Горького подвергалась бездоказательному разному за «несоответствие».

Роль критики была чрезвычайно важной и в тех журналах, которые мы называем «литературно-художественными». Разве можно, к примеру, говорить о первом «толстом» советском журнале «Красная новь» без подробного разбора редакторской и критической деятельности А. К. Воронского? Характеризуя «Красную новь», М. Кузнецов внимательно и объективно прослеживает различные этапы в журналистской работе Воронского — от собирания литературных сил на широкой основе приятня революции до сужения платформы журнала в конце двадцатых годов.

Лучшее в критическом наследии Воронского получает в главе заслуженно высокую оценку. Это прежде всего «Литературные портреты», которые часто появлялись на страницах журнала и «читались наравне с прозой и стихами». Недаром Луначарский назвал Воронского «одним из образованнейших и наиболее глубоких представителей нашего художественного или научно-художественного коммунистического мира», хотя и отмечал его ошибки. Заслуживала одобрения и позиция, какую занимал в первые годы своего редакторства Воронский, — курс на художественно правдивое и конкретное изображение революционной

нови. Нельзя не согласиться с М. Кузнецовым: «Познание истины, изображение жизни как она есть на самом деле — было девизом художников «Красной нови». И талант понимался тут не как виртуозность и поражающие новизной художественные приемы, а как способность глубже других заглянуть в тайны жизни и заразить своим видением читателей». Сам Воронский, уже отошедший от журнала, писал в 1927 году Горькому: «Красная новь» была в основном ставкой на Вас, на Вашу литературную традицию, я сказал бы — на Вашу школу».

Ошибки Воронского привели к тому, что первый главный редактор «Красной нови» должен был покинуть журнал. Со второй половины 1927 года «Красная новь» выходит уже без него. Не раз меняется редколлегия журнала и ее главные редакторы (с 1927 по 1932 год четырежды — Вл. Васильевский, Ф. Раскольников, И. Беспалов, А. Фадеев). Но — странное дело — с этого момента статья М. Кузнецова о «Красной нови» становится гораздо менее выразительной, теряет многие свои достоинства, склоняется подчас к описательности. В отдельных случаях автор как бы останавливается на полпути, характеризуя важные события общественно-литературной жизни той поры.

Разговор, который ведется на страницах «Очерков» о советских журналах, постоянно возвращается к одной малоисследованной и очень важной теме: взаимоотношению творчества крупнейших писателей двадцатых годов и теоретических установок тех литературных групп, к которым эти писатели себя причисляли. Давно стала общим достоянием нашего литературоведения мысль о том, что ни творчество Маяковского, ни творчество Есенина, ни художественная практика Гладкова и т. д. не уместается в узкие рамки цеховых пристрастий. Но не происходит ли зачастую при этом некий «перехлест», когда того или иного писателя уже начисто отсекают от его литературной среды? Следует прислушаться к рассуждениям Л. Скворцовой, соотносящей творческую практику Ф. Гладкова и Н. Ляшко с программой «Кузницы». Полемизируя с литературоведом В. Ивановым, традиционно заявившим в своей книге «Формирование идейного единства советской литературы», что успехи Ф. Гладкова были обеспечены «вопреки» деклара-

циям «Кузницы», автор главы резонно замечает: «Такая точка зрения, несомненно, вызвана стремлением «реабилитировать» писателя, оторвав его от почвы группировки. Между тем творчество ведущих писателей «Кузницы» Гладкова и Ляшко достаточно наглядно показывает, насколько подчас искусственно такое полное отсечение писателя от основных эстетических установок группы. Можно ли считать случайным, что первые в послеоктябрьской литературе произведения о рабочем классе вышли из «Кузницы», что именно на ее почве возник жанр «производственного романа»? Можно ли считать случайностью, что два писателя группы одновременно обратились к одной и той же теме, решая ее по существу на совершенно одинаковом материале?»

Случай с Гладковым и Ляшко, быть может, наиболее очевидный пример связи творческой практики писателя с платформой литературной группировки. Чаше эта связь сложнее. Но и тут словесная хирургия неуместна. Прямолинейны, в частности, рассуждения во «Введении» о молодом Есенине и группе «Скифы»: «Понски «новой веры», «нового Назарета», «нового Спаса» были не органичны для поэзии Есенина». Почему «не органичны», если Есени-

ным все-таки были написаны «Пришествие», «Преображение», «Инония»? Сложнее и глубже решен вопрос о связи писателя с его окружением в главе «Леф» и «Новый Леф», где автор Л. Швецова рассматривает деятельность Маяковского не только как поэта, но и как редактора, автора стихотворных передовиц и программных статей.

«Очерки истории русской советской журналистики» — работа обобщающая. Коллективу авторов удалось в ней соединить богатство фактического материала с важными выводами, «генерализующей» мыслью, проходящей через всю книгу. Возникновение и упрочение новых, революционных традиций советской журналистики рассматривается последовательно во всех главах «Очерков». При этом авторы не затушевывают сложностей литературной борьбы, групповых ошибок — будь то «Красная новь» Воронского или рапповские «На посту» и «На литературном посту», «Леф» и «Новый Леф» Маяковского или журнал с такой сложной судьбой (тщательно прослеженной в «Очерках»), как «Сибирские огни».

Создан капитальный документированный труд.

О. МИХАЙЛОВ.



«ИЗ РЕКИ ПО ИМЕНИ — «ФАКТ»...»

«Иностранная литература», № 5, 1967.

«Мы сейчас должны заняться созданием социалистического государства. Всего несколько простых слов, но за ними — целые эпохи прошлой и будущей истории человечества...»

«Точно так же, как историки разыскивают малейшие подробности о Парижской Коммуне, так они захотят знать все, что происходило в Петрограде в ноябре 1917 года. каким духом был в это время охвачен народ, каковы были, что говорили и что делали его вожди.»

«Тот, кто не видит надежды в русской революции, подобен слепцу, глядящему на восход солнца...»

Эти строки принадлежат трем американским журналистам, свидетелям событий Октябрьских дней, первым западным летописцам Октября, первым друзьям Республи-

ки Советов, первым зарубежным литераторам, сказавшим миру правду о русской революции. Альберт Рис Вильямс, Джон Рид и Бесси Битти вбежали в Зимний дворец сразу же за ворвавшимися туда отрядами питерских красногвардейцев, солдат и матросов. События Октябрьских дней навсегда останутся в их памяти, определяют их дальнейшую жизнь и судьбу.

За плечами у Джона Рида — поэта, журналиста, бунтаря — стачка в Патерсоне, мятеж в Колорадо, революция пеонов в Мексике. Он везде, где происходит борьба. Повсюду выступает на стороне угнетенных. Летом 1917 года, предчувствуя приближение великой классовой борьбы, Рид спешит в Россию.

Альберт Рис Вильямс посвятит изучению России всю жизнь. Пересечет страну вдоль

и поперек, побывает в ее самых глухих углах.

Бесси Битти, вернувшись в Америку, напишет книгу «Красное сердце России», выступит с циклом лекций, расскажет о мужестве и героизме советских людей.

Три американских журналиста начали рассказ о великом переломе, который продолжают десятки и сотни писателей, создавая летопись становления нового общества.

Фрагменты этой летописи опубликованы в посвященной пятидесятилетию Октября пятой книжке журнала «Иностранная литература» за 1967 год. Впервые на русском языке воспроизведено около двадцати произведений зарубежных писателей, в разное время посетивших Советский Союз. Отобразив основные этапы борьбы народов нашей страны, они повествуют о нашей родине так, как ее увидели и поняли люди иных политических убеждений и жизненных привычек.

Читая материалы номера, мы воспринимаем события, давно ставшие уже для нас обычными, с иной, непривычной точки зрения, с позиции внимательного, вдумчивого наблюдателя. Юбилейный номер журнала последовательно публицистичен.

Здесь очерки. Путевые заметки. Дневниковые записи. Документы. Ответы на анкету редакции. Отрывки из писем и телеграмм. Среди авторов номера Генрих Манн, Артур Лундквист, Джон Бойнтон Пристли, Роквелл Кент, Саша Вереш... Несмотря на отсутствие беллетристики, номер читается как цельная увлекательная книга.

Мемуарная и документальная литература завоевывает сейчас все большее признание. Причина неослабевающего читательского влечения к ней кроется в обострившемся интересе к истории, истории не фальсифицированной, а подлинной, к факту и документу, в достоверности которых можно не сомневаться, к неопровержимости цифр и точности свидетельств очевидцев, а то и участников исторических событий.

Октябрьская революция в корне изменила всю систему общественных и политических отношений в России. Она послужила отправным пунктом последующих изменений в мировой политике и жизни народов. Рождение нового мира в России дало могучий толчок возникновению документального искусства и литературы. Человечество острее ощутило историзм происходящего. История

стала измеряться не веками и десятилетиями, а днями, часами, минутами. В то время, как большинство буржуазных газет обрушивает на Советское правительство лавину клеветы, первые друзья нашей страны рассказывают миру правду о русской революции.

Беседуя с Бонч-Бруевичем после выхода сухановских «Записок о революции», посвященных февральским событиям 1917 года, Ленин сказал: «Смотрите, вот какой огромный том написал Суханов о первых четырех днях Февральской революции. А об Октябрьской будут писать еще больше: некоторые дни будут изучать каждые полчаса и подробно писать о тех событиях, которые тут совершались. Необходимо, чтобы ее участники начали бы записывать каждый все то, что он знает».

И первые записи в этом «Дневнике революции» сделали американские журналисты.

Главы из книги Вильямса «Новая Россия глазами американцев» открывают номер журнала. В русской революции автор увидел реальную возможность осуществления гуманистических идеалов и безоговорочно встал на сторону восставшего народа. Вильямс был не пассивным наблюдателем или равнодушным свидетелем. Революция захватила его целиком и безраздельно. Журналист не только описывает события, происходящие перед его глазами. Он деятельно в них участвует, чувствует себя неотъемлемой частью революции. Напечатанный в журнале фрагмент книги показывает, как из человека, увлеченного идеей бунта, потрясенного сказочной атмосферой свершающегося, опьяненного духом вольности, Вильямс становится сознательным сторонником пролетарской революции. Журналист поспевает всюду. Зимний дворец, Смольный, нахождение солдат и матросов, позиция большевиков и меньшевистских лидеров — все попадает в сферу его внимания. Вильямс пишет о том, что позднее так точно формулирует Генрих Манн: «У Октябрьской революции в России, помимо всех необходимых предпосылок, была еще одна, совсем особого свойства. Не только самые последовательные ее мыслители обладали убежденностью и волей, такую же искренность и готовность к действию они встречали и у большинства своего народа. А лишь это и создает возможность действий, оставляющих след в веках».

Значительная часть творчества Вильямса посвящена Ленину. В отличие от буржуазных исследователей, отводящих Ленину в руководстве революцией роль номинальную, считающих, что он «не вмешивался» в стихию народного бунта, американский журналист сразу же отмечает, что «рабочий К. П. Иванов», скромно появившийся накануне восстания в Смольном, «держал в своих руках все нити восстания».

Книга Вильямса, насколько можно судить по опубликованным главам, неоднородна по стилю. Романтическая восторженность человека, увидевшего столь долгожданное воплощение идеи социализма, сочетается с озабоченными раздумьями, попытками обобщить увиденное. И чем дальше, тем серьезнее становится рассказ писателя, вернее и тоньше анализ основных этапов идейной борьбы. Как и автор «Десяти дней, которые потрясли мир», Вильямс не скрывает своего отношения к революции. Он сразу же заявляет, что стоит на стороне восставшего народа.

События в России 1917—1918 годов стали для американских журналистов не темой очередного репортажа, а поворотным моментом в их судьбе и творчестве.

О резонансе, который вызвала Октябрьская революция на Западе, рассказывают публикуемые в разделе «Документы» главы из книги Жака Дюкло «Франция перед лицом Октября». В ретроспективном обзоре документов — неоспоримых свидетельств эпохи — Дюкло показывает, как была воспринята русская революция во Франции. Он анализирует политику правительства Клемансо, позиции буржуазных газет, историю французской интервенции в России.

Десятки деятелей культуры всех континентов откликнулись на предложенную редакцией журнала анкету. Ее тема — влияние Октября на судьбы человечества, на мировую культуру, на нравственное, духовное развитие человека. Первые пятнадцать ответов, опубликованных в этом номере, говорят о том огромном значении, которое имела русская революция для развития литературы и искусства мира.

«Перед писателями предстал герой, — говорит американский литератор Филлип Бонски, — о котором они всегда тайно мечтали, — не одинокий бунтарь, но сознательный создатель жизни. Факт этот повлиял на культуру и искусство столь же глубоко, как и на ход самой истории».

Если нам предстоит последующие пять десятилетий, то потому, что состоялось нынешнее пятидесятилетие. Человечество освоило секрет собственного спасения. Оно в вечном долгу перед мужчинами, женщинами и детьми вчерашней России, взявшей штурмом Зимний дворец, чьи дети потом остановили Гитлера под Москвой и Сталинградом и чьи внуки построили такой несокрушимый бастион против сил мировой реакции, войны и смерти.

Двадцатые годы. Пресса мира наполнена угрозами, сфабрированными фальшивками, нелепыми измышлениями белогвардейцев. Буржуазная пропаганда кричит о «красной опасности», «большевистской угрозе», «коммунистическом заговоре». Но одновременно ширится движение в защиту русской революции. Бастуют десятки тысяч рабочих американской сталелитейной промышленности, митинг австрийских пролетариев принимает резолюцию о безусловной поддержке Страны Советов. «Спасайте правду человеческую, спасая правду русскую!» — призывает Анри Барбюс. Со всех концов мира съезжаются в новую Россию западные литераторы. Они хотят своими глазами увидеть народ, свергнувший самодержавие, выстоявший в борьбе против отечественной, европейской и американской контрреволюции.

Но путь в Россию, а затем и возвращение на родину нелегки. Иван Ольбрахт вынужден добираться обратно нелегально, с чужим паспортом. Его жена, писательница Хелена Малиржова, возвращается домой через Норвегию. Раймонд Лефевру, участвовавшему в работе II конгресса Коминтерна в Москве, блокада закрыла путь через Польшу. Вместе с товарищами по партии — Лепти (Ф. Барто) и Марселем Верже — он выходит на рыбацком баркасе из Мурманска и гибнет во время шторма. Но никакие препятствия, никакие кордоны не могут остановить друзей Страны Советов.

Хронике событий России продолжают посветившие ее в двадцатые годы чешская романистка Мария Майерова, написавшая тогда книгу о России «Победный марш», «неистовый репортер» Эгон Эрвин Киш, Теодор Драйзер.

Они увидели уже иную Россию — Россию, строящую социализм. Еще совсем недавно свирепствовали банды Деникина и Юденича, геперь уже разбитые наголову. Еще косит людей тиф, но разутая и раздетая, голодная страна строит новую жизнь.

На каждом шагу открывает для себя Ольбрахт великие ценности жизни, зарождение невиданных ранее отношений и традиций. Публицистически остро, с юмором опровергает писатель утверждение западной пропаганды об упадке искусства, о запуске в русских театрах. Ольбрахт тонко анализирует то новое, что принесла в искусство революция. С увлечением рассказывает он о «Мистерии-буфф», об интересной постановке мольеровского «Скупого» в Малом театре, о новом виде театрального искусства — массовых театрализованных представлениях. В них он находит выражение коллективного духа русской революции. Коллективность, по мнению Ольбрахта, особенно характерна для искусства и культуры послереволюционных лет. Художники обращаются к плакату и карикатуре — искусству действенному, мгновенно откликающемуся на все события, искусству борющемуся, призывающему, проклинаящему, гневному и праздничному. «Плакат, первое приветствие революции, темпераментно выкрикнет вам свое «здравствуй!» уже на первой станции, как только вы вступите на русскую землю...—замечает Ольбрахт.—Плакат — термометр революции. Если температура и пульс нормальные, плакат приносит мудрые успокоительные слова. Но одно неправильное биение пульса — и плакат уже сигнализирует о нем своим пылающим красным цветом. Жар поднимается, и плакат загорается кровью и огнем, а во время кризиса пронзительно зовет на помощь, бьет тревогу...»

Интересны очерки Эгона Эрвина Киша об Институте Маркса — Энгельса, о двух больших праздниках России, пришедшихся в 1925 году на один день: революционном Первомае и пасхе — празднике старого мира, наполненном «средневековой мистикой и средневековым экстазом».

Через всю европейскую Россию лежал путь Киша. Несколько суток проводит журналист в темном-зеленом вагоне, узнает жизнь и быт окружающей его разношерстной публики. Он получает возможность увидеть и услышать «старую и новую, северную и южную, восторженную и возмущенную Россию, познакомиться с прототипами всех литературных героев, от ветерана наполеоновских войн, с таким благородством описанных Лермонтовым, до красных конников Буденного, которым посвящены дерзкие рассказы Бабеля... Здесь

завязываются дружба и знакомства, разыгрываются комедии и трагедии». С точностью хроникальной ленты воспроизводит Киш подробности путешествия, вызывает у читателя удивительное ощущение присутствия, сопричастности, близкого знакомства с попутчиками, зрительное впечатление проделанного пути. Киш пишет живо, темпераментно, иронично, с удивительной образностью и точностью сравнений.

Журнал публикует отрывки из дневника Теодора Драйзера, побывавшего в Советской России в 1927 году. Это дневниковые записи о двенадцати днях, насыщенных встречами с писателями и режиссерами, впечатлениями от знакомств с людьми, от бесед о крестьянстве, о промышленности, о безработице, об искусстве.

В заключительной главе книги «Россия», опубликованной в этом же номере журнала, Барбюс, с первых же дней вставший на защиту революции, подводит итоги первых двенадцати лет советской власти. Французский писатель находит противоестественным, что в мировом общественном мнении сложились о Советском Союзе две диаметрально противоположные точки зрения. Он призывает вдумчиво изучать советскую действительность, руководствуясь при этом искренностью, здравым смыслом, справедливостью и интеллектуальной честностью.

В дни Отечественной войны мир, как никогда раньше, ощутил силу и мощь Советского государства. «В эти трагические ужасные часы историю делают народы Советского Союза», — сказал в ноябре 1941 года Элтон Синклер.

Журнал публикует несколько корреспонденций Джеймса Олдриджа. Как и многие другие западные литераторы, он умом и сердцем понял, чем явилась война для советского народа. Корреспонденции его очень лаконичны. Часто это диалог с невидимым собеседником, с советским солдатом, вернувшимся с поля боя, с тем, кто может объяснить, что скрывается за простыми словами «пал город», «взят плацдарм»... Какая жизнь стоит за этими словами! И даже когда эта жизнь становится известной до мельчайших бытовых подробностей, что-то остается для писателя недоступным.

Лиза Коноплева летает на ночных бомбардировщиках; шесть раз самолет подбит, четыре вынужденных посадки — а девушке нет еще и двадцати! Корреспонденции Олд-

риджа пронизывает, может быть даже не осознанное им самим, чувство удивления.

В отрывках из писем и телеграмм военного времени Хемингуэя, Фейхтвангера, Томаса Манна, Эйнштейна и других, публикуемых в журнале, раскрывается историческая значимость каждого военного дня для судеб всего человечества.

«Самые великие произведения искусства революции — создаваемые ею люди», — гласит знаменитый афоризм Ромена Роллана. Одним из основных завоеваний революции было освобождение человека. Все материалы, напечатанные в номере, так или иначе затрагивают эту тему.

«Изменилась ли душа русского народа?» — спрашивает французский писатель Шарль Вильдрак, дважды, в 1920 и 1935 годах, посетивший Советскую Россию. «Да, изменилась, она высвободилась, и в той мере, в какой меняется зеркало, вынесенное из затемненной комнаты и впервые отражающее весну».

Очерк Андре Вюрмсера целиком посвящен советскому человеку. Он назвал его «Сквозь ритмы пяти десятилетий». В свой очерк Вюрмсер вмонтировал отрывки из нескольких книг французских писателей о СССР. На примере судьбы одного человека, инженера Арона Гиндина, показывает писатель «дух и характер советского строительства». В тридцатые годы Поль Вайян-Кутюрье, путешествуя по «стране Тамерлана», встретился на пустынном каменном берегу стремительного Варзоба с тогда двадцативосьмилетним инженером. Под палящими лучами солнца, преодолевая все препятствия — набеги басмачей, наводнения, грязь и... бюрократизм, — работал небольшой авангард Варзобстроя. Поль Вайян-Кутюрье рассказывает о Гиндине как об одном из тысяч тружеников первой пятилетки. И вот на Братской гидроэлектростанции, спустя тридцать лет и за тысячу километров от таджикской долины, Андре Вюрмсер тоже встречается с Гиндиным, теперь уже главным инженером строительства, одним из крупнейших советских энергетиков. Тридцать лет назад весь первоначальный штат начальника Варзобстроя «состоял из одного возницы и одного рабочего». Тридцатилетний опыт Гиндина, накопленный им на строительстве пятнадцати

ГЭС, подтвердил высказанную им когда-то Вайяну-Кутюрье «веру в технические возможности социализма».

За пятнадцать лет Жан Казальбу совершил тринадцать путешествий в Советский Союз. Французский публицист хочет настоящему узнать советского человека, рассказать о нем соотечественникам. Герой его книги — «некто Иванов». Книга состоит из небольших очерков о людях различного возраста, разной судьбы, разных национальностей. Каждая встреча была для Казальбу открытием, опрокидывающим представления, бытующие во Франции. В лирическом заключении Казальбу обращается к герою книги — советскому человеку: «В нашем черстве мире ты вот уже полвека олицетворяешь молодость и страстное стремление к будущему, разумному и справедливому».

Пятая книжка «Иностранной литературы» воспроизвела лишь фрагменты хроники пяти революционных десятилетий. Глазами западных литераторов мы еще раз взглянули на пройденный страной путь. Мы не всегда согласны с выводами, суждениями и оценками авторов летописи. Иногда, рассказывая о каких-то частностях, они не сразу замечают за ними общих тенденций, порою сложных проблем. Но это и естественно. Важно, что авторов объединяет вера в возможности нового строя, социалистической системы.

Журнал сделал первую попытку собрать накопленные за пятьдесят лет мировой литературой впечатления и суждения об Октябре. Материалы удачно подобраны. Несмотря на естественную фрагментарность, они позволяют читателю вспомнить о важнейших событиях в России, почувствовать дух времени, ощутить движение истории. Основной вывод, к которому приходят объективные свидетели перемен, свершившихся и свершающихся в некогда нищей и забытой России, выражен в ответе Чарльза Сноу на анкету журнала: «Нет, безусловно, никакого сомнения, что Октябрьская революция — заглавное, определяющее событие двадцатого века. Оно повлияло на судьбы всех нас — независимо от того, живем ли мы в Советском Союзе или за его пределами».

С. КАРМАЛИТА.

Политика и наука

ДЕСЯТЬ ШАГОВ РЕВОЛЮЦИИ

И. П. Лейберов. Свержение царизма. Ю. С. Токарев. Апрельский кризис. Ю. А. Прохвятилов. Июньская демонстрация. З. В. Степанов. Июльские события. Н. Я. Иванов. Крах заговора против революции. А. Я. Великанова. Накануне штурма. Е. П. Путырский. Восстание совершилось! А. Л. Фрайман. Революция дает отпор. О. Н. Знаменский. Конец Учредительного собрания. А. В. Красникова. Мы новый мир построим!

Серия «Библиотечка Октября». Научный редактор А. Л. Фрайман. Составитель Ю. А. Прохвятилов. Лениздат. 1967.

«Библиотечка Октября», изданная в Ленинграде к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции,— интересное и во многом удачное издание. Издательство проявило выдумку и оригинальность. Десять историков выступают авторами десяти книжек, связанных между собой, но в то же время представляющих вполне самостоятельные работы. Вместо одной громоздкой книги — десять брошюр в общей суперобложке, причем каждая стоит от 11 до 14 копеек. Правда, книгопродавцы почему-то и здесь ввели принцип принудительного ассортимента: брошюры — во всяком случае в Ленинграде — продаются только вместе.

Научно-популярная литература потому так и называется, что имеет в своей основе научный анализ фактов. Она должна в доступной форме знакомить широкого читателя с последними достижениями исследовательской мысли. Новизна в историографии обычно определяется двумя сторонами: привлечением нового материала (или источников) и появлением новых точек зрения на события уже известные. Новых материалов в брошюрах много. И это естественно: ведь большинство авторов — специалисты. Есть в серии несомненные удачи. Так, например, обстоятельства назначения и отмены большевистской демонстрации 10 июня изложены Ю. А. Прохвятиловым с такой полнотой и точностью, что его брошюра оказывается впереди некоторых академических исследований. Много говорится о провокационной роли анархистов в возникновении июньского и особенно июльского кризиса. Интересно рассмотрены события первых послеоктябрьских дней, в том числе организация и разгром мятежа Керенского — Краснова.

В «Библиотечке Октября» отразились новейшие достижения советской исторической науки. Н. Я. Иванов, автор брошюры «Крах заговора против революции», сде-

лал, на наш взгляд, шаг вперед даже по сравнению со своей капитальной монографией на эту тему. Если там он называл «корниловщиной» всю политику буржуазии и Временного правительства, то в рецензируемой работе четко ограничивается заговорщический курс правых военных кругов (собственно мятеж генерала Л. Г. Корнилова) от контрреволюционных намерений Временного правительства и его главы А. Ф. Керенского.

Менее удачно, по нашему мнению, освещены в серии два центральных события 1917 года: февральская и Октябрьская революции. И. П. Лейберов, много и плодотворно изучавший рабочее движение в годы первой мировой войны, все же преувеличивает роль организованных действий пролетариата в момент февральского восстания. Наши историки немало поработали, чтобы показать множественность революционных потоков в февральские дни. Нельзя при этом преуменьшать значение движения в армии (ведь судьбу восстания решили присоединившиеся к революции солдаты гарнизона). В брошюре «Накануне штурма» дана упрощенная схема подготовки Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Сложность обстановки, напряженность межпартийной борьбы и борьбы течений внутри самой большевистской партии — все это остается фактически за пределами книжки.

Нередко еще бывает, что популяризация понимается у нас как повторение давно известных истин. Этот грех не миновал и некоторые из рецензируемых брошюр.

Хуже, когда читателю приходится сталкиваться с упрощенным изображением реальных событий, упрощенным настолько, что уже стирается грань между правдой и фантазией. Общеизвестно, какие неслыханные трудности переживала молодая советская власть в первые месяцы своего существования, — достаточно вспомнить статьи и

речи В. И. Ленина того периода. Но в брошюре, посвященной именно этому времени, читатель находит следующий бравурный рассказ: «Декрет Совнаркома об уничтожении сословий и гражданских чинов — и не стало в России ни дворян, ни мешан... Еще декрет — и уравниены в правах все военнослужащие, огменены все прежние армейские чины и звания, ликвидированы старые знаки отличия и ордена... Церковь отделена от государства... Ликвидирован старый буржуазный суд...» («Мы новый мир построим!»). Декрет, еще декрет — и уже все сделано, получается у автора. Но ведь с провозглашением декретов только начиналась сложная и зачастую весьма долгая борьба за их осуществление. Напряженный, полный драматических конфликтов ритм первых послереволюционных недель хорошо показан, например, в брошюре «Революция дает отпор». Здесь читатель убедится, как нелегко доставалась молодой советской власти ее первые победы.

Коллективные труды вообще, а серии книг (даже небольших) в особенности, требуют от составителей тщательной редакционной работы, чтобы избежать повторов, согласовать стыки между сопредельными темами и т. п. В целом А. Л. Фрайман и Ю. А. Прохвятилов успешно справились с этим трудным делом. Им удалось добиться того, что они не повторяют друг друга. Как правило, изложение начинается прямо с существа темы и продолжается далее по строгой хронологии событий. Если бы все эти брошюры существовали отдельно, то для каждой из них потребовалось какое-то вступление и заключение. В серии книжек на одну тему оказалось возможным сократить этот второстепенный материал. Так почти всюду и сделано.

К сожалению, не столь взыскательно составители огнеслись к языку и стилистике авторов. Почти во всех брошюрах нет-нет да и встретятся штампованные фразы и выражения. И совсем плохо, когда при-

вычка к словесным штампам оборачивается фактической небрежностью. Говоря об июньском наступлении, З. В. Степанов роняет стереотипную фразу о «бездарности командования». Но ведь этот эпитет по существу адресуется прежде всего такому выдающемуся военачальнику, как генерал А. А. Брусилов. Неудача же июньского наступления объяснялась не в последнюю очередь тем, что солдаты, уставшие от войны, не желали идти в бой.

Изобразительное оформление брошюр интересно и оригинально, в этом отношении опыт «Библиотечки Октября» будет полезен для других наших издательств. Обложки имеют единый графический почерк, однако весьма разнообразны по цвету и рисунку. В брошюрах много фотографий. Авторы и составитель стремились избежать примелькавшихся иллюстраций, которые давно уже кочуют из одного издания в другое. Несколько ценных фотографий воспроизводятся впервые. Например, в брошюре «Июльские события» опубликован снимок, на котором мы видим демонстрантов и броневик под красным флагом на углу Садовой и Невского за некоторое время до выстрелов, раздавшихся здесь, — это кладет конец сомнениям в подлинности известной фотографии К. Булла, изображающей расстрел у Публичной библиотеки. Привлечет внимание читателя изображение могил жертв февральской революции на Марсовом поле в их первоначальном виде. Несомненный интерес представляют также воспроизводимые в серии карикатуры из газеты «Правда» 1917 года, облигация «Займа свободы», большевистская листовка в период выборов в Учредительное собрание и другие подлинные материалы.

Ленинградские историки и издатели отметили пятидесятилетие Октября добротной, содержательной серией.

С. СЕМАНОВ, В. СТАРЦЕВ,
кандидаты исторических наук.



КРЕСТЬЯНСКИЕ МЕМУАРЫ

1917 год в деревне (Воспоминания крестьян). Политиздат. М. 1967. 288 стр.

Когда речь идет о мемуарах, то их авторство невольно связывается с именами известных писателей, актеров, дипломатов, государственных и общественных деятелей. Широко известны воспоминания выдающихся революционеров, героев гражданской войны: В. Н. Фигнер, И. В. Бабушкина, Н. К. Круной, В. Д. Бонч-Бруевича, Н. И. Подвойского, А. В. Луначарского, М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, В. К. Блюхера; представителей русского искусства — Ф. И. Шаляпина, К. С. Станиславского, И. Е. Репина. Не утратили интереса воспоминания и дневники известных государственных деятелей прошлого: С. Ю. Витте, А. А. Половцова и других. Читатель без труда продолжит этот список, присовокупив к нему интересные повествования о дворцовых интригах, об интимной жизни знаменитых артистов, не забыв упомянуть также весьма любопытные дневниковые записи о событиях больших и малых. Однако если любителю подобной литературы предложить воспоминания крестьян, то он, пожалуй, недоверчиво спросит:

— Разве такие бывают?

Передо мной лежит книжка, которая называется «1917 год в деревне (Воспоминания крестьян)». В 1925 году Я. А. Яковлев, видный партийный и государственный деятель, в то время редактор «Крестьянской газеты», разослал обращение к селькорам с просьбой прислать свои воспоминания о революционных событиях 1917 года в деревне. Было получено 490 корреспонденций из пятидесяти семи губерний. В 1929 году книга, включившая пятьдесят девять воспоминаний, вышла в свет, была положительно встречена читателем и быстро разошлась. Так крестьянин, составлявший более 80 процентов населения России, впервые вошел в круг мемуаристов. Книга давно стала библиографической редкостью. И вот спустя почти сорок лет Политиздат подготовил переиздание, в котором принял участие ее первый составитель И. В. Грицкий (работа по подготовке и переизданию книги выполнена научным сотрудником Института истории АН СССР Ю. У. Томашевичем).

За последние годы усилиями историков и архивистов в научный оборот введено немало архивных документов. В частности, Институтом истории АН СССР, архивиста-

ми Москвы, союзных республик и областных городов уже в течение ряда лет осуществляется публикация пятидесяти томной серии сборников документов по истории коллективизации сельского хозяйства в СССР. Но во всех этих публикациях мало таких документов, как воспоминания, письма, дневники рядовых тружеников города и деревни. Необходимо собирать, тщательно хранить и публиковать эти документы. Их значение для науки трудно переоценить.

Воспоминания, вошедшие в книгу, различны по качеству: скупые и размашистые, точные и расплывчатые. Есть среди них и такие, которые отмечены литературным дарованием. Выделяются рассказы И. Я. Бугреева, Ф. Ф. Арбекова, А. А. Биндусова (особенно интересен динамичный рассказ Бугреева). Это уже беллетризованные воспоминания: в них используются элементы художественного образа, диалог, прямая речь. Они читаются с большим интересом, хотя фактическая сторона этой группы воспоминаний беднее.

Воспоминания субъективны. Но это не недостаток, а, напротив, ценное качество мемуаров: мы узнаем о восприятии и осмыслении событий семнадцатого года их авторами, участниками и очевидцами завершающего этапа вековой борьбы крестьянства за землю. Воспоминания передают то духовное раскрепощение личности, которое происходило под влиянием революции.

Книга показывает, как начиналось и развивалось крестьянское движение в различных районах страны, какие формы принимала классовая борьба крестьян против помещиков на разных этапах аграрного движения, как вносились элементы сознательности и организованности в стихийное крестьянское движение, каким образом высвобождались крестьяне из-под эсеровского влияния и распространялось влияние большевиков, как встретили крестьяне Октябрьский переворот и т. д.

Книга четко отражает настроения трудового крестьянства. Быть вольным хлебопашцем на вольной земле — не этого ли хотел каждый крестьянин? Мысль о «свободном мирном труде мужика» на своей земле проходит через всю книгу. Но она интересна и тем, что показывает революционное движение крестьян в его сложности и противоре-

чивости Из воспоминаний видно, что толчком к аграрному движению, начавшемуся весной 1917 года, стало известие о свержении царского правительства. Представляется любопытной такая деталь: наиболее распространенной формой информации об этом событии были в деревне слухи. Шли они подчас «один нелепее другого», и тем не менее они всколыхнули крестьянскую массу. Видно, благодаря такого рода информации начавшиеся события были названы крестьянами «великой смутой». И «зашевелилась нужда, закипела в корявых сердцах мужиков и затаенная ненависть к вековому угнетателю, выползла змеей на волю... Впервые услышали темные ночи и собрания мужиков, и проклятия, и слова о мести паразиту. Красной струйкой побежало слово «захват» по деревням» (И. Я. Бугреев, Костромская губерния).

Появившиеся затем солдаты-фронтовики, агитаторы различных партий разъясняли крестьянам происходившее. Под их влиянием крестьянское движение росло вширь и вглубь. Вместе с тем возникала и растерянность от обилия друзей, предлагавших свои услуги. Крестьяне не знали различий между партиями: попробуй разберись, кто враг, а кто друг. «У нас в то время все называли себя социалистами-революционерами, а в действительности никто у нас тогда в деревне не знал подлинной программы этой партии», — писал крестьянин В. Г. Лысов (Самарская губерния). Так создавался мнимый политический вес некоторых буржуазных партий, не отражавший реального соотношения классовых сил в стране. Вообще 1917 год характерен небывалой тягой крестьян к различного рода организованности: крестьяне вступают в политические партии, обычным явлением становятся собрания, митинги, повсюду возникают всевозможные комитеты. Туда нередко попадают даже помещики. Но примечателен сам факт такого внедекретного демократизма, который возникает без всякого распоряжения сверху или, вернее, вопреки верхам.

Крестьянские воспоминания показывают, что несориентированность в политической обстановке для ряда мест продолжалась вплоть до осени 1917 года. Это наиболее ярко проявилось во время выборов в Учредительное собрание.

Рост большевистского влияния в деревне обуславливался тем, что аграрная программа большевиков, агитация за которую нача-

лась наиболее интенсивно с августа 1917 года, была предельно проста, доступна для понимания и абсолютно приемлема для крестьян: вся земля без всякого выкупа должна быть передана трудовому крестьянству. Эта программа зачастую шла дальше требований самих крестьян, ограничивавшихся только передачей крестьянству арендных земель, сокращением рабочего дня сельскохозяйственным рабочим, увеличением им заработной платы, то есть частичными требованиями, сохранявшими помещичью хозяйственность, чем умело пользовались наиболее гибкие помещики. Они отдавали крестьянам ближайших к поместью деревень бесплатно часть худших своих пахотных земель и покоса, чему крестьяне были рады, с тем чтобы они защищали помещичьи усадьбы от посягательств других селений. Это приводило крестьян к столкновению друг с другом, разжигало между ними вражду.

Аграрное движение достигло наибольшей остроты осенью. Этому способствовали дезертиры из армии. Они «главарями, вожаками поперли» в крестьянские организации, решительно направляя крестьян на захват помещичьей земли. В сентябре — октябре крестьянское движение принимает размах настоящей войны против помещиков, одной из форм которой были погромы имений. Составитель книги отводит им роль случайных фактов и изымает из второго издания книги пятнадцать документов на том основании, что «воспроизведенная в них картина скорее являлась исключением, нежели соответствовала общим закономерностям развития аграрной революции».

Но если это и так, то достаточное ли это основание для изъятия документов? Как известно, случайности всегда входили составной частью в закономерный ход исторического развития, выступая как форма проявления закономерности. К. Маркс писал, что «история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли».

Это во-первых. А во-вторых, нам кажется, что представление составителя о самих этих «общих закономерностях» несколько схематично и нуждается в уточнении.

Составитель пишет, что поджоги и погромы возникали только там и тогда, «где карательные экспедиции Временного правительства мешали пострадавшему крестьянству организованным путем забрать помещичью землю... где в крестьянских рай-

онах верховодили богатеи». Документы этого не подтверждают. Ни в одном из пятнадцати исключенных воспоминаний не упоминается о фактах погромов, вызванных карательными экспедициями. Более того, документы свидетельствуют о том, что подчас солдаты, присланные на усмирение крестьян, «сами подстрекали крестьян» к грабежу, принимали в нем активное участие и «не выдавали властям вожаков и крестьян».

Таким образом, мы видим чрезвычайно пеструю и противоречивую картину, не укладывающуюся в желаемую схему, которая неубедительна еще и потому, что подменяет объект крестьянской ненависти. Не карательные меры Временного правительства причина погромов, а вековая ненависть крестьянина к помещику, к своему рабству. Разве грабили от неорганизованности, от жадности или от озорства? Было, конечно, и это. Но главное заключалось в другом, о чем хорошо сказали сами крестьяне: «Сметем все до основания, чтобы некуда возвратиться было нашим эксплуататорам и врагам народа, чтобы не было никому ника-

го приюта из наших врагов, чтобы не были они здесь совсем» (воспоминания крестьянина Г. Р. Цыганкова в первом издании книги).

Умолчание о событиях, кажущихся странными или неприятными, не лучший путь. Не следует забывать слова В. И. Ленина о том, что социолог (это относится и к историкам) обязан изучать всю совокупность исторических фактов без единого исключения. Если же мы начнем просеивать факты согласно заранее заданному тезису, то следствием такого «иллюстративного» подхода к истории может явиться лишь искаженное представление о событиях прошлого. Нужно доверять читателю, который в наши дни достаточно квалифицирован.

И все же переиздание книги — хороший подарок обществу. Хочется верить вместе с составителем, что книга о борьбе крестьян за землю и волю, вышедшая вторым изданием к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, будет прочитана с интересом.

В. КАБАНОВ.



ПУТЬ ЗАВОДА

С. Костюченко, И. Хренов, Ю. Федоров. История Кировского завода. 1917—1945. «Мысль». М. 1966. 702 стр.

В истории не только русского, но и всего мирового рабочего движения, пожалуй, не было другого предприятия, которое сыграло бы столь же выдающуюся роль в революционной борьбе, в победе пролетарской революции, в строительстве социалистического общества, как ленинградский Кировский (бывший Путиловский) завод. Уже по одному этому появление большой монографии, посвященной послеоктябрьскому периоду истории прославленного лидера советской индустрии, не может не привлечь внимания.

Хронологически книга охватывает период от победы Октябрьской революции до конца Великой Отечественной войны. В ней повествуется о том, какой громадный вклад вносил многотысячный коллектив путиловцев-кировцев на всех этапах истории в строительство Советского государства, в создание материально-технической базы социализма, в осуществление ленинского плана социалистического преобразования де-

ревни, культурной революции, организации нового быта, в защиту завоеваний Октября.

Много страниц посвящено производству тракторов, массовый выпуск которых был освоен на заводе впервые поистине подвижническим трудом коллектива. Не меньше таланта и энтузиазма было проявлено при создании новых локомотивов, легковых автомобилей, гурбин, драг, железнодорожных кранов, многих десятков новых марок сталей и т. д. Чего только не изготавливали кировские умельцы, чтобы освободить страну от иностранной зависимости в решающих областях производства!

Исключителен вклад кировцев в усиление обороноспособности страны: в предвоенные годы они освоили производство новых тяжелых танков, наладили массовый выпуск маневренных полковых пушек, новых систем морской артиллерии и других видов боевой техники. Участники боев на Хасане и Халхин-Голе, финской кампании, Великой Отечественной войны узнают теперь имена творцов грозной боевой техники.

Обильно полита кровью путиловцев-кировцев советская земля. В годы Отечественной (как и в годы гражданской) войны Кировский завод дал фронту тысячи и тысячи бойцов. В ополчение записались пятнадцать тысяч человек. Более пятнадцати тысяч кировцев были отправлены на Урал, в Челябинск, где на базе тракторного завода вместе с челябинцами и рабочими Харьковского дизельного завода они в немалом количестве короткое время наладили поточный выпуск тяжелых танков. А те, что остались в Ленинграде, работали под непрерывными артобстрелами и бомбежками, вынося нечеловеческие лишения.

Книга дает возможность проследить, как на протяжении четверти века менялся, рос завод, менялись люди, как возникало и развивалось новое отношение к труду, формировался облик нового советского рабочего, инженера, хозяйственного, партийного, профсоюзного руководителя. Перед взором читателя проходит целая галерея образов замечательных людей, большевиков и беспартийных, типичных представителей тридцатитысячного коллектива. «История Кировского завода» обогащает, конкретизирует наши представления о путях и формах многотрудной борьбы рабочего класса за строительство социализма в нашей стране. Мы видим, как после победы Октябрьской революции коренным образом изменяется социальная функция советского завода. Он стал одним из оплотов диктатуры пролетариата, проводником в жизнь народа всех ее функций. Из этой цитадели гнутся рычаги и приводы ко всем сферам государственной, экономической, культурной, общественно-политической жизни страны. Одновременно авторы рассказывают о многообразных международных связях кировцев с компартиями и рабочими организациями капиталистических стран, о помощи испанским республиканцам, английским горнякам и другим братьям по классу.

Выдающиеся достижения Кировского завода явились результатом усилий не только

самого заводского коллектива. Завод был всегда в поле зрения партийных руководителей, органов советской власти. В книге много страниц посвящено встречам путиловцев с Лениным, с виднейшими руководителями партии и правительства — Калининным, Дзержинским, Куйбышевым, Орджоникидзе, Серебровским, Бадаевым, Луначарским и многими другими. Своим человеком был на заводе Киров, — он и на партийном учете состоял в третьем механическом цехе «Красного путиловца». Биографии этих исторических деятелей пополняются многими живыми чертами.

«Историк Кировского завода» написали не профессионалы-историки и не профессионалы-писатели, а способные члены заводского литературного объединения. Они стремились осуществить горьковский замысел о создании научно-художественной истории заводов и фабрик и выполнили эту задачу, в общем, успешно. Книга читается с интересом — и не только благодаря новизне материала, но прежде всего благодаря живой, эмоциональной форме его изложения.

Конечно, в книге такого объема и такой широты охвата разнородного материала можно найти немало частных недостатков. Не везде отработана стилистика: местами язык похож на язык отчетов, не всегда выразительны и оправданы диалоги (например, вряд ли Антон Васильев точно передает беседу с Лениным, в которой Владимир Ильич якобы употребил такое несвойственное ему выражение, как «Будет баня немцу!»); встречается и пресловутая «литературщина». Есть эпизоды слишком растянутые за счет излишней детализации.

Тем не менее в целом книга удачна. Она явилась хорошим подарком к пятидесятилетнему юбилею Советского государства, в строительство которого коллектив Кировского завода внес так много.

Бор. ШАБАЛИН,
кандидат исторических наук

ЭСТАФЕТА РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ

Революционеры Прикамья. 150 биографий деятелей революционного движения, работавших в Прикамье. Составители Н. А. Аликина и И. Г. Горовая. Пермское книжное издательство. 1966. 823 стр.

Одним из условий правильного понимания нашего революционного прошлого является знание конкретного хода революции на разных этапах и в различных районах страны. В связи с этим особое значение имеет появление в нашей исторической литературе наряду с мемуарами книг о жизни и деятельности активных участников революционного движения и социалистического строительства. К числу таких книг принадлежит сборник «Революционеры Прикамья», подготовленный рядом научно-исследовательских учреждений Перми.

В сборнике — сто пятьдесят биографий пермских революционеров. Кроме того, даны справки о некоторых революционерах, достаточных биографических сведений о которых собрать не удалось.

Очень хорошо, что составители не ограничились биографиями большевиков, а постарались заглянуть и в гораздо более ранние годы. Сборник ведет читателя к истокам революционно-освободительной борьбы в Прикамье. В кратких очерках о П. И. Поносове и Я. К. Кузнецове рассказывается о подвиге безвестных крепостных интеллигентов, поднявшихся на борьбу с царским и помещичьим гнетом еще в николаевской России. Революционно-демократический период представлен более широким кругом участников. Интересны сведения о жизни и революционных шагах А. И. Иконникова, И. Е. Пономарева и других, распространявших известную прокламацию «К молодому поколению», жизнеописания вожakov крестьянских волнений А. Кокшарова и Т. И. Механошина.

Основным содержанием сборника являются биографии деятелей пролетарского периода освободительного движения, пермских большевиков. Отметим как характерные в этом отношении биографии П. М. Обросова, И. И. Карякина, М. П. Туркина, А. Л. Борчанинова, А. Г. Белобородова, А. П. Спундэ и других, дающие яркое представление об этих деятелях. Со страниц книги встает глубоко впечатляющий собирательный образ пролетарского революционера с такими типическими его чертами, как упорство, преданность интересам масс, стремление к знаниям, товарищество, со-

хранение преемственности в революционной партийной работе. «Много раз местные власти,— читаем во «Введении»,— считали полностью ликвидированными Пермскую и Мотовилихинскую социал-демократические организации — и ошибались. Всегда находились люди, которые брали на себя сложную и опасную работу возрождения организации, и на смену вырванным из строя борцам приходили свежие силы».

Жизненный путь революционера никогда не был легким. На судьбах людей, чьи биографии даны в сборнике, сказались тяготы прошедших лет: гражданская война, лишения в годы разрухи, тяжелый, напряженный труд. Многие из них ушли из жизни слишком рано.

Составители сборника не обошли и тех, кто, внося на известном этапе свой вклад в дело освободительной борьбы, не проявил достаточной выдержки, порой отступался и отходил от движения (Ф. П. Пахомов, В. А. Волков, В. Е. Гомзинов и другие). Особого внимания с этой точки зрения заслуживает биография Александра Михайловича Лбова. Это был смелый участник вооруженного восстания в Мотовилихе в декабре 1905 года. После поражения революции он скрывается в лесах, организовал боевую группу и еще почти два года боролся с царскими властями. Это был боевик, человек действия, который не мог и не умел ждать, когда это было нужно. Он был казнен в мае 1908 года. Автор статьи о Лбове Б. Н. Назаровский кончает ее словами: «Лбов был честным человеком, отдавшим свою жизнь борьбе с самодержавием, и память его заслуживает уважения. Жизнь его не может служить образцом. Все же помнить о ней следует: она учит, как одна только самоотверженность в борьбе, не освещенная ясным революционным сознанием, может перестать приносить пользу и начать вносить дезорганизацию в общее дело».

Составители и авторы сборника находились в трудном положении. Архивных материалов оказалось мало, и особенно мало таких, которые помогли бы воссоздать облик живого человека. Нелишне напомнить, что подробная история революционной

борьбы стала создаваться только с середины двадцатых годов (журнал «Каторга и ссылка», издания общества старых большевиков и общества политкаторжан и др.). Затем и эта литература, у которой было огромное достоинство — достоверность, в значительной своей части погибла. Поэтому в ряде биографий имеются серьезные пробелы. В отдельных же случаях авторы сборника пишут слишком кратко и бегло даже тогда, когда могут опереться на достаточный материал. Примером могут служить заключительные строки биографии Н. Г. Толмачева, героически погибшего в боях под Петроградом. Его героизм за-

служивает большего, чем сухая информация: погиб «в одном из боев».

Но это частности. В целом же труд составителей и авторского коллектива заслуживает высокой оценки. Была проделана огромная работа в местных и центральных архивах, поднята почти вся доступная литература. Книга проникнута стремлением не упустить ни одного важного факта, не сказать ни одной фальшивой фразы, не забыть ни одного имени, достойного памяти и уважения.

М. КОНСТАНТИНОВ,
член КПСС с 1915 года.



ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

П. А. Кропоткин. Записки революционера. «Мысль». М. 1966. 504 стр.

Судьба воспоминаний Петра Алексеевича Кропоткина сложилась и трудно и необычно. «Записки революционера» были написаны в конце девяностых годов прошлого века, изданы на английском языке, быстро разлетелись по всему свету в переводах почти на все европейские, на китайский и японский языки. Первое русское издание «Записок революционера» (вышло оно в Лондоне в 1902 году) было переводом с английского, так же, как и последующие дореволюционные издания. Только в 1933 году воспоминания Кропоткина удалось издать полностью по русскому оригиналу. Но с тех пор «Записки революционера» не переиздавались.

В предисловии к первому русскому изданию Кропоткин четко сформулировал задачи, которые ставил перед собой, работая над книгой воспоминаний. Пятидесятые, шестидесятые, наконец семидесятые годы — «годы пробуждения общественной совести среди молодежи» — эти три десятилетия, пишет в предисловии Кропоткин, так знаменательны и наложили такой сильный отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что «иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений». По мысли Кропоткина, такое воссоздание самой атмосферы ушедшей эпохи столь важно еще и потому, что и крепостное право, и крепостные нравы в пору создания книги были уже забы-

ты, а «очистительная, беспощадная критика нигилизма», даже «великое движение в народ» представлялись молодежи «каким-то сказочным героическим периодом», который толковался весьма своеобразно. А между тем, по словам Кропоткина, разбитый в 1861 году крепостной строй вернулся снова в русскую жизнь «под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами...».

Именно это понимание важности книги для нового поколения читателей и двигало пером Кропоткина, за плечами которого в пору создания «Записок революционера» был уже огромный опыт революционной и научной деятельности — целая жизнь. Перед нами история мужания мысли, нравственного осознания ответственности и перед отечественной историей, и перед будущим страны. Разумеется, анархистское мировоззрение наложило отпечаток на оценку Кропоткиным событий и людей, действующих в его книге. Предисловие В. А. Твардовской, написанное «о том, чего в книге нет, но что должно помочь правильно прочесть ее», помогает читателю «преодолеть эту односторонность и искаженность изложения, приблизиться к пониманию объективного смысла его».

Время течет в книге Кропоткина медленно только в первых главах, где автор погружает нас в устоявшийся барский быт и тихую заводь Старой Конюшенной — «Сен-Жерменского предместья Москвы» — с прелестными и одновременно глубокими за-

рисовками ее жизни: с идеалистом немецким гувернером Карлом Ивановичем, декламировавшим своим воспитанникам Шиллера; со студентом — учителем русской словесности Смирновым, который принес на Старую Конюшенную демократический дух русской литературы, вытравившей все то, что пытался старый князь Кропоткин внушить своим сыновьям; и с самим старым князем, чей род восходил прямо к Рюрику; и с матерью Кропоткина, чья доброта стала легкой в доме; и со страшным бытом крепостничества, с которым братья Кропоткины неоднократно сталкивались в отцовском доме. Мы встречаемся с Николаем I, приласкавшим восьмилетнего Петю, а потом вместе с юношей Кропоткиным читаем бюллетени о болезни царя, появившиеся уже после его смерти, — они должны были «постепенно подготовить «народ».

Время еще как бы медлит в главах книги, рассказывающих о годах, проведенных Кропоткиным в пажеском корпусе, когда закладывался прочный фундамент знаний, с таким блеском развернувшихся в последующей научной деятельности Кропоткина. Молодой офицер отказывается от самой головокружительной карьеры, открывшейся перед камер-пажом, блестяще закончившим это привилегированное учебное заведение. Воспитанник пажеского корпуса все более глубоко погружается в мир естественных наук, серьезно занимается географией, математикой, астрономией. А кроме того — современная литература: Некрасов и Тургенев, Герцен, Бакунин, Огарев, «Полярная звезда» и Чернышевский, отчетливое понимание того, что такое в России цензура, эзопов язык («Все умели читать между строками и понимали, что означает, например, «Критика китайской финансовой системы»)...

Эпоха «умственного пробуждения России», развития общественной мысли, неотвратимость глубоких общественных изменений — все это передано не в публицистических отступлениях и декларациях, а в самой художественной плоти воспоминаний.

Между тем время сгущается, движется все стремительнее. И вот уже Кропоткин ведет караван барж с мукой, солью и соляной по Амуру; под именем «иркутского второй гильдии купца Петра Алексеева с товарищами» переваливает через Большой Хинган (если бы китайские власти узнали в «купце» русского офицера, он был бы

арестован и доставлен в клетку на верблюде в Пекин); путешествует по Сунгари вплоть до самого сердца Маньчжурии, странствует по Забайкалью... Причем движет Кропоткиным не просто страсть к путешествиям. Он входит в жизнь ссыльных поляков, встречается в Сибири с людьми, получающими лучшие русские журналы, революционные издания Герцена; с энтузиазмом девятнадцатилетнего юноши бросается в работу, пытаясь реформировать всю систему сибирской ссылки, городского самоуправления...

Все это написано с такой подкупающей внутренней энергией, что читателю кажется, будто он сам идет вслед за молодым энтузиастом, сам сталкивается с чудовищной бюрократической системой и учится понимать, что, скажем, «история маленькой Читы (речь идет о бесконечной волоките со строительством каланчи в этом городе. — Ф. С.) была историей всей России», что Александр II не просто «совершил большую ошибку, вызвав так много ожиданий, которых потом он не мог удовлетворить», но сделал «нечто худшее»: казалось бы, дал в руки людям по всей России реальное дело реформ, убедил их пожертвовать частью идеалов ради конкретной сегодняшней работы, а затем все ими сделанное перечеркнул — все осталось таким, как было! (И потом «тридцать пять лет вносили в разряд «подозрительных» всех тех, кто дерзал заметить, что нужны перемены. Из одного страха перед страшным словом «реформы» учреждения, осужденные всеми, признанные всеми за гнилые пережитки старого, были оставлены в нетронутом виде».)

Кропоткин возвращается в Петербург, и уж здесь время начинает вращаться головокружительно: он поступает в университет, его захватывают смелые обобщения сделанных им в Сибири географических исследований (именем Кропоткина назван один из горных хребтов в Азии), спорит с Гумбольдтом, пишет одну работу за другой, испытывает «восторг научного творчества», работает в комиссии по организации русской полярной экспедиции... Географическое общество предлагает ему пост секретаря. Однако Кропоткин отказывается и от почетной должности, и, надолго, от «восторгов творчества» («Какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба?»). Отказывается не

ради фразы, не из тщеславия или легкомыслия — им руководит четкое ощущение нравственного долга.

События, о которых рассказывает Кропоткин, слагаются в яркую, реалистически точную картину. Выстрел Каракозова, равнодушная жестокость Александра II, бесчинства Шувалова и Трепова, ощущение растерянности в Петербурге. «Прогрессисты» еще надеются, что Александр II снова станет преобразователем, но более всех других чувств ими владеет страх («Лбом стены не прошибешь», «Мы кое-что уже сделали, не требуйте больше от нас», «Потерпите, такое положение вещей долго не продержится» или откровенней: «Радуйся, что выжил»). Каждую ночь могут прийти и забрать за знакомство с кем-то, в чем-то замешанным, за записку, захваченную во время обыска, просто за убеждения, за синие очки, подстриженные волосы или плед, а там — годы заключения в крепости, ссылка, даже пытки в казематах. Никакого контроля над жандармами не существует, они делают все, что хотят, ничуть не заботясь о том, есть ли в России суд и закон.

Об этой-то трагической борьбе, «на пятнадцать лет приковавшей к себе внимание всей России», и рассказывает далее Кропоткин: и о так называемом «женском движении» за образование — о его самоотверженности и чистоте; и о нигилизме с его абсолютной искренностью, авторитетом разума, ненавистью ко всякой лжи, фальши; и о чайковцах, противопоставивших нечаяшине «кружки саморазвития», полагавших, что в основе всякой организации независимо от ее программы должна быть нравственно развитая личность; и о борьбе лучшей части интеллигенции с «нравственной трусостью, выросшей на почве несправедливости»; и о тайной лиге по охране царя, настолько законспирированной, что ее члены, не зная друг друга, нередко один другого провоцировали и арестовывали («Эта лига существует до сих пор, — писал Кропоткин в 1898 году, — в более официальном виде под названием «охраны» и время от времени пугает царя всякими сочиненными ужасами, чтобы поддержать свое существование»).

Воспоминания Кропоткина великолепно передают само ощущение стремительности, лихорадочной деятельности в кружках. Глубоко впечатляет рассказ об аресте автора

Петропавловская крепость, одиночка, упорная борьба за человеческое достоинство (Кропоткин заявил при аресте, что не станет отвечать ни на один вопрос, и свое слово сдержал); история страшной судьбы его брата Александра, отправленного в Сибирь и там погубленного; фантастический, как в романах Александра Дюма, побег Кропоткина среди бела дня из военного госпиталя в Петербурге (записки, условные сигналы, до мелочей разработанный план: пролетка у ворот, караульный отвлечен нелепым разговором — и призовой рысак Варвар мчит Кропоткина по улицам Петербурга. «Что нам делать теперь?» — «К Дону!.. Никому не придет в голову искать нас в модном ресторане...» Царь в бешенстве, весь город поднят на ноги, но никому действительно не приходит в голову...).

А дальше страницы, посвященные заграничным скитаниям, встречам, участию в международном революционном движении, французская тюрьма Клэрво, в которую был заключен Кропоткин, новые и новые работы Кропоткина по географии, геологии, истории, биологии, социологии...

«Записки революционера», как уже говорилось, написаны в конце минувшего века. Большая жизнь П. А. Кропоткина меж тем продолжалась. «Дедушка русской революции» умер в Дмитрове в 1921 году, он работал до последних дней (последняя его книга — «Происхождение и развитие нравственности» — вышла в 1922 году), писал письма, пытался участвовать в происходящем, встречался с Лениным...

Воспоминания Кропоткина написаны так густо, комплекс идей и проблем, затрагиваемых автором, столь обширен, что всякая рецензия на эту книгу неминуемо сможет коснуться только части содержащегося в ней. Но, пожалуй, самое интересное и важное в «Записках» — это все-таки личность их автора. В подборе подробностей «личной жизни или общественного настроения», в отношении к ним, в их анализе всякий раз виден человек самоотверженный и чистый, никогда в угоду «высшим соображениям» не поступавшийся отчетливым осознанием нравственных обязательств перед временем. Вероятно, этим в наибольшей степени и объясняется современность звучания его книги.

Ф. СВЕТОВ.

РЫЦАРЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

Ирина Кун. Бела Кун. Воспоминания. Авторизованный перевод с венгерского. Агнессы Кун. «Молодая гвардия». М. 1966. 312 стр.

С первого дня своего существования Страна Советов служит опорой и поддержкой для международного революционного движения. В то же время и это движение поддерживает первую страну социализма. Ярким проявлением солидарности трудящихся явилось участие зарубежных интернационалистов в боях нашего народа против интервентов и белогвардейцев в 1918—1920 годах. Иностранцы рабочие, бывшие военнопленные, оставшиеся на территории России, они вступили в Красную Армию по велению сердца. Тщетно контрреволюция пыталась обвинить интернационалистов в «измене» собственному отечеству. На полях сражений против врагов революции в России они защищали и свои родные края, выступая как борцы за освобождение своих народов. Это движение, охватившее десятки тысяч людей самых различных национальностей,— явление выдающееся в истории.

Одним из бесстрашных рыцарей интернационализма был венгерский коммунист Бела Кун. Книга, посвященная ему в серии «Жизнь замечательных людей», представляет собой сокращенный вариант вышедших в Венгрии воспоминаний жены Бела Куна — Ирины. Перевод на русский язык осуществлен дочерью Куна — Агнессой. Как и всякие воспоминания, книга не может претендовать на исчерпывающую полноту. Но в ней бесхитростно и просто раскрывается образ человека чистого и горячего, скромного и вспыльчивого, боевого и нежного. Сила этих воспоминаний в том, что их пишет женщина, пронесшая сквозь все испытания жестокого времени свою большую любовь к мужу — революционеру. Останавливая наше внимание то на острых картинах революционной борьбы, то на мелочах быта и характера, она создает образ такой правдивый и жизненный, что читатель невольно подпадает под его обаяние.

Почему скромный юноша из семьи бедного писателя стал на путь революции? Ирина Кун пытается раскрыть его внутренний мир. В своих первых воспоминаниях она хорошо сказала: «Мне кажется, что в революционное движение его привело не только

научное мировоззрение, но и безграничная любовь к людям». Она приводит отрывки из литературных сочинений гимназиста Бела Куна (кстати, удостоенных премии). «Если мы хотим поглубже вникнуть в тайну помыслов и души народа, то нам надо обратиться к национальной поэзии,— писал Кун,— ибо она выражает это вернее всего и наиболее пластично». «На труды Петефи и Араня мы должны смотреть как на свод законов венгерской души».

Боевой журналист, председатель митингов студентов, бесстрашный организатор рабочих забастовок, секретарь рабочей страховой кассы, ярый защитник бедняков — таким рисует Ирина Кун молодого революционера, облик которого вырисовывается особенно рельефно на фоне тихой мещанской жизни девушки-музыкантки. И когда они поженились в 1913 году, она поняла, как правдиво его полусутильное предупреждение, что отныне у жены революционера никогда не будет спокойной минуты.

Мобилизованный на фронт мировой войны, Бела Кун в 1916 году попадает в плен, где сразу устанавливает связь с томской партийной организацией, вступает в ряды большевиков, работает в группе военнопленных. «Бела Кун сразу же по приезде дал решительно марксистское направление деятельности группы», — вспоминал его друг и соратник Ференц Мюнних.

В конце 1917 года он попадает в Петроград, знакомится с В. И. Лениным, сотрудничает в «Правде», затем, уже в Москве, учреждает Венгерскую группу РКП(б). 14—18 апреля 1918 года проходил съезд военнопленных. 400 делегатов от 500 тысяч пленных поддержали советскую власть. Выступавший на съезде Бела Кун призвал товарищей стать по возвращении домой «учителями революции». Тогда же была создана при ЦК РКП(б) Федерация иностранных групп, председателем которой был избран Бела Кун. В книге весьма мало говорится об этой работе. Между тем ее значение огромно. Недаром в своем докладе на VIII съезде партии В. И. Ленин говорил о «той, по внешности невидной... работе иностранных групп в России, которая со-

ставляла одну из самых важных страниц в деятельности Российской коммунистической партии...».

Возвратившись в Венгрию, Бела Кун основал там коммунистическую партию, стал выпускать в Будапеште газету «Вереш уйшаг». О бурных событиях этих месяцев конца 1918—начала 1919 года Ирина Кун повествует подробно и обстоятельно. Растет революция, но сатанеет враг. Вот уже отважные коммунисты, и среди них Бела Кун, брошены в тюрьму. Контрреволюция стремится расправиться с ним, как с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом. Но он остался жив. В тюремной больнице на свидании жена увидела огромный ком ваты, из которого виднелись только рот и запухшие глаза.

Двадцать первого марта 1919 года в Венгрии бескровно победила пролетарская революция, было создано Советское правительство. На следующий день радио сообщило: «Здесь Ленин. Искренний привет пролетарскому правительству Венгерской советской республики и особенно т. Бела Куну. Ваше приветствие я передал съезду Российской коммунистической партии большевиков. Огромный энтузиазм».

Нельзя без волнения читать страницы книги, посвященные Венгерской коммуне. Здесь нет подробного анализа ее движущих сил, деятельности революционного правительства. Все это читатель найдет в специальных трудах историков. Автор же передает свежо и самобытно самую атмосферу революции, чистоту и искренность ее помыслов, трудности задач, борьбу не только против контрреволюционеров, но и против мещанства и обывательщины. Колоритны сцены прихода жалобщиков или «налета» жен рабочих на Дом Советов с целью проверить, как живут и чем питаются руководители правительства. Страстно призывает автор будущих и настоящих историков покончить с непрерывным «выявлением ошибок» венгерской революции, шире и глубже оценить ее опыт. «Революции,— пишет Ирина Кун,— с годами молодеют и хорошеют».

Обогащенный опытом русской революции, воспитанный на идеях ленинизма, Бела Кун стремился проводить эти идеи в жизнь на родной венгерской почве. Верностью ленинским принципам проникнуты его доклады и выступления той поры, не потерявшие своей свежести и остроты и сегодня.

Большим достоинством воспоминаний

является то, что автор показывает Бела Куна всегда в кругу товарищей. Много теплых страниц посвящено его близкому другу Тибору Самуэли, погибшему при переходе австрийской границы во время поездки в Россию, к Ленину. Автор рассказывает о Тимар Серене — старой деятельнице социал-демократического движения, о Дюла Сикре — начальнике народной милиции, а впоследствии, уже в СССР, одном из руководителей ЦСУ, о Ференце Мюннике, Бела Санто, Бела Ваго, Лайоше Немети и других. Перед читателями проходит целая галерея прекрасных людей венгерской революции.

Сто тридцать три дня существовала в 1919 году в Венгрии советская власть. В последние трагические дни Венгерской республики Бела Кун получил радиogramму Ленина: «Дорогой товарищ Бела Кун! Прощу Вас не волноваться чересчур и не поддаваться отчаянию... Мы знаем тяжелое и опасное положение Венгрии и делаем все, что можем. Но быстрая помощь иногда физически невозможна. Старайтесь продержаться как можно дольше...» После поражения революции начался белый террор. Книга повествует о том, как семьи «опасных» революционеров были высланы в концлагеря, о заключении коммунистов в сумасшедший дом близ Вены, о попытках отравить заключенных и их семьи. Девяносто семь дней проходил в Будапеште «процесс народных комиссаров», направленный против Бела Куна и его товарищей, его протоколы составили 19 580 страниц. В книге рассказано о переговорах Советского правительства с Хорти по поводу обмена венгерских революционеров. Советской страной было сделано все, чтобы спасти пятьсот венгерских революционеров, и это спасение участников Венгерской коммуны явилось ярким проявлением пролетарской солидарности.

Вместе с командующим Южного фронта М. В. Фрунзе и С. И. Гусевым Бела Кун как член Реввоенсовета участвует в 1920 году в разгроме Врангеля. В 1922 году по заданию Ильича он направляется на партийную работу на Урал. Автор передает суровость первых лет восстановления, неустраиваемость быта уральских руководителей, заботу Куна о подготовке кадров специалистов в Екатеринбургском университете. Много в книге ярких фактов о работе Бела Куна в Москве в качестве заведующего отделом

агитации и пропаганды Коминтерна, о его поездке в Вену, откуда, соблюдая правила конспирации, он руководил Загранбюро КП Венгрии. В конце книги приведен документальный материал об аресте Бела Куна в 1928 году в Австрии и о его мужественном поведении на венском судилище...

Из множества событий, фактов, документов перед нами вырастает фигура человека необычайного, смелого в борьбе, доброго и отзывчивого к людям. Бела Кун всегда заботился о своих товарищах, отдавал последнюю рубашку, был щедр на приют и ночлег, никогда при этом не заботясь о собственном благополучии. Образ революционера, однако, отнюдь не «засахарен»: он и вспыльчив, и горяч, и не всегда прав — он живой, дышит, и в этом особое обаяние книги Ирины Кун.

Жаль, что книга обрывается на событиях

1928 года: десять последних лет короткой, но замечательной жизни борца остались пока что нераскрытыми. Остается терпеливо ждать появления второго тома.

...Последнее, что писал Бела Кун незадолго до гибели, был труд о поэзии Шандора Петефи. Мы не сможем прочитать этой работы. Но пылкие строки его юношеского сочинения о любимом поэте звучат и сегодня и с полным правом могут относиться к самому Бела Куну: «Кому придет в голову назвать его бедным и несчастным за то, что он рано погиб? Это мы бедные, а он богач!.. Раны его, из которых вытекла кровь, превратились в уста, и они обращаются к поздним потомкам со словами утешения и поднимают их дух...»

Людмила ЗАК,
кандидат исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ИСТОРИЯ СССР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ. Серия вторая. Том VII. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР 1917—1920 гг. «Наука». М. 1967. 751 стр.

Институт истории Академии наук СССР продолжает выпускать многотомную историю нашей родины с древнейших времен и до наших дней.

В рецензируемом томе речь идет о Великой Октябрьской революции и о жизни Советского государства в годы интервенции и гражданской войны. Книгу можно рассматривать как творческий отчет наших историков к пятидесятилетию Октября.

В книге использованы новейшие достижения советской исторической науки, в том числе исследования, выполненные в союзных республиках. Привлечение обобщающих трудов и специальных исследований, многочисленных публикаций документов и архивных данных дало возможность насытить изложение фактическим материалом, сделать обоснованные научные выводы, интересные оценки и наблюдения.

В первой части книги показано, как шла наша страна к Октябрю 1917 года после февральской демократической революции и установления двоевластия в стране. Повествуется о мобилизации революционных сил на вооруженное восстание в Петрограде и о победе восстания. В полной мере обрисовано историческое значение Второго Всероссийского съезда Советов, провозгласившего переход всей власти в стране в руки Советов, образовавшего Советское правительство, принявшего знаменитые декреты. Мы узнаем, как было организовано Советское государство, его центральный и местный государственные аппараты, как складывались и оформлялись в законах принципы советской демократии: выборность всех органов власти снизу доверху, подотчетность и подконтрольность депутатов своим избирателям, право отзыва, соединение законодательной и исполнительной власти. С большим интересом читается глава о социальном преобразовании России, ознаменовавшемся созданием социалистического уклада в экономике страны, проведением в жизнь Декрета о земле и ликвидацией класса помещиков, началом строительства социалистической культуры. Пер-

вая часть книги завершается главой об упрочении советской власти и принятии Конституции РСФСР 1918 года.

Во второй части книги дана история нашей страны в период иностранной интервенции и гражданской войны,— история, убедительно свидетельствующая о том, что нельзя победить тот народ, который взял власть в свои руки и которому было что защищать...

Для советского народа всегда будет священна память большевиков-ленинцев, героев социалистической революции и гражданской войны. В книге названы многочисленные имена и даны фотографии тех, кто устанавливал советскую власть, поднимал массы на революцию, кто отдал свою жизнь за народное дело. Фотокопии первых декретов Октября, рукописей Ленина, обложек брошюр, плакатов, газетных страниц, схем и карт— все это помогает лучшему восприятию прочитанного, более отчетливо представить себе неповторимый «колорит эпохи» с ее героизмом и буднями, блистательными победами и временными неудачами.

Вполне естественно, что в столь обширном труде авторскому коллективу и редакторам не удалось избежать некоторых пробелов и фактических неточностей. Так, вряд ли можно согласиться с тем, что приказ Керенского от 11 мая 1917 года об основных правах военнослужащих установил неограниченную власть генералов и офицеров. Думается, что подобная оценка приказа грешит преувеличением. Отменить, например, такое завоевание, как солдатские комитеты, Временное правительство было уже не в силах. Кроме того, говорить о неограниченной власти генералов и офицеров после издания приказа № 1 по Петроградскому гарнизону никак не приходится.

В книге сказано, что инициатива создания предпарламента была выдвинута соглашателями после того, как на Демократическом совещании 14 сентября они убедились в невозможности добиться вотума доверия правительственной коалиции с кадетами. Между тем идея «Временного совета республики», названного потом предпарламентом, возникла в недрах Временного правительства еще до открытия Демократического совещания.

Но эти и подобные им недочеты носят частный характер. В целом же внимание

советского и зарубежного читателя предлагается серьезный труд, в котором обобщается исторический опыт пролетарской революции и защиты ее завоеваний.

Е. Скрипилев,
кандидат юридических наук.



ГОЛОС ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Политиздат. М. 1967. 223 стр.

Как-то, листая архивные дела девятисот семнадцатого года, я наткнулся на любопытную листовку. «За свободу! Вперед! Идем за Керенским!» — такими словами, набранными крупным шрифтом, начиналось это обращение к фронтовикам. «Солдаты и офицеры! Временным правительством революционной России вы призваны к наступлению». Далее шли обычные цветистые слова, призывы к крестьянам дать больше хлеба и демагогические обещания всяческих благ после победы. И ниже: «Комитет по организации духа». Однако внимание привлекает не столько сама листовка, сколько надпись на обороте, сделанная председателем солдатского собрания Ф. Трифоновым и секретарем А. Ветровым. «Им, депутатам, дай больше хлеба, чтобы они выкрикивали громче «Вперед за Керенским!» в своих комитетах» — такими словами заканчивается изложение резолюции фронтовиков, выразивших свое возмущение призывами к продолжению империалистической войны. Не нашла эта листовка, да и не могла найти в солдатских сердцах того отзвука, на который рассчитывал Комитет по организации духа.

Об этой листовке я вспомнил, когда раскрыл книгу «Голос великой революции», побравшую в себя листовки, выпущенные большевистской партией в 1917—1920 годах. Сила этих листовок в том, что они выражают мысли и устремления тех, к кому обращены. В самые трудные, переломные моменты революции и в радостные дни побед партия обращалась к народу с призывным словом. Многие листовки принадлежат перу В. И. Ленина.

«Временное правительство низложено...» — так начиналась листовка, выпущенная утром 25 октября 1917 года.

Листовками распространялись первые законы советской власти: Декрет о мире, Декрет о земле. С помощью листовок партия обращается к населению, отвечает на запросы крестьян, в листовках призывает на борьбу с саботажем сторонников свергнутых классов.

Над молодой Советской республикой сгущаются тучи. «Социалистическое Отечество в опасности!.. Священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии», — призвала партия 21 февраля 1918 года.

Надвигается новый неумолимый враг — голод. «Борьба за хлеб теперь означает борьбу против контрреволюции...» — пишет

В. И. Ленин 22 мая 1918 года, и листовки разносят по стране призыв вождя к рабочим: «Записывайтесь в ряды продовольственных отрядов... Не колеблясь, немедленно открывайте беспощадную борьбу с кулаками, мародерами, спекулянтами и дезорганизаторами за хлеб».

Листовки революции находили в сердцах людей живейший отклик.

Хорошо сказано о листовках во вступительной статье к книге: «Перелистываешь, вчитываешься в их скупые, но полные революционного пафоса строки и как бы воочию видишь революционный Питер, слышишь залпы красногвардейцев. осаждающих Зимний, переносишься в окопы гражданской войны, на фабрики, заводы, в деревни и села первых советских лет».

Такие книги очень пугжны: ведь это документы — самая яркая и самая правдивая историческая литература.

Б. Исаев.



Н. Е. БУРЕНИН. Памятные годы. Воспоминания. Лениздат. 1967. 303 стр.

«Когда-нибудь наши молодые художники слова,— писал в 1931 году Горький в предисловии к брошюре Н. Е. Буренина «Люди большевистского подполья», — изобразят... процесс раскола в среде буржуазии и переход их детей в армию врагов своего класса».

Николай Евгеньевич Буренин (1874—1962) был как раз одним из тех, в чьей судьбе отразился этот сложный исторический процесс.

Внук крупных торговцев, воспитывавшийся в доме бабушки-миллионерши, Буренин не стал, однако, наследником торговой фирмы своих дедов. Не стал он художником и музыкантом, хотя много и серьезно занимался живописью и музыкой. В двадцать шесть лет он «окунулся в революционную деятельность, о которой раньше не имел ни малейшего представления».

Биография Буренина во многом типичная биография молодого интеллигента на рубеже веков.

Детские годы, проведенные «в ханжеской, полной лицемерия среде», в которую уже начали просачиваться иные веяния. Смутное недовольство окружающим и робкий внутренний протест («Еще со времени, проведенного в доме бабушки, богатство осталось навсегда связанным в моем сознании с представлением о ханжестве, подхалимстве, угнетении и оскорблении одного человека другим. Я видел, как люди, считавшиеся родными, братья и сестры, становились врагами, готовы были один другому горло перегрызть из-за денег»). Сочувствие прислуге, с которой варварски обращались в доме. В студенческие годы — участие в общественной работе среди народа (организация литературно-музыкальных воскресных чтений в земской школе на одной из окраин Петербурга). Знакомство с семьей Стасовых. Случайный арест во время демонстра-

ции студентов и рабочих возле Казанского собора в 1901 году и тюрьма, где молодой Буренин вплотную столкнулся с революционно настроенными студентами. И после выхода из тюрьмы — начало непосредственной революционной работы, к которой привлекла его Е. Д. Стасова.

Буренин стал одним из активных сотрудников гехнической группы при Петроградском комитете РСДРП. Интересы дела требовали, чтобы в целях конспирации он не порывал со своей средой. И в светских салонах он еще долгое время оставался молодым баринном, музыкантом, художником, который «нигде не служил, в средствах не нуждался, мог свободно располагать своим временем, имел много знакомых». Трудно было предположить, что этот человек в то же самое время переправлял в Россию ленинскую «Искру» через Финляндию, используя с этой целью имени своей матери, ведал подпольными типографиями, явочными квартирами, складами подпольной литературы, налаживал производство оружия и выполнял много других партийных заданий.

Буренин встречался с Лениным, Крупской и многими другими видными работниками партии.

Долгие годы дружбы связывали его с Горьким. Дважды он по заданию партии организовывал охрану писателя — первый раз, когда за участие в декабрьском восстании Горькому угрожали репрессии, и затем весной того же 1906 года, когда по поручению партии писатель выехал в Америку. Буренин сопровождал Горького и М. Ф. Андрееву во время их поездки в Америку, а затем и в Италию.

Прекрасный пианист, Буренин во время этих поездок много играл Горькому, часто и подолгу говорил с ним о музыке. Он был непосредственным свидетелем тех впечатлений писателя, которые позже отразились в его произведениях, связанных с этими поездками.

Буренину принадлежала инициатива создания «Общества изящных искусств», которое своей целью ставило распространение искусства в самых широких рабочих массах. К работе в этом обществе он привлек многих известных исполнителей-музыкантов, профессоров Петербургской консерватории, писателей.

В книге воспоминаний Буренина читатель найдет немало других интересных сведений о работе партии на заре ее истории и о людях, жизнь которых безраздельно была отдана делу революции.

И. Евгеньева.

★

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ. Пятый день. Повести и рассказы. «Советский писатель». М. 1967. 592 стр.

Недавно вышедшая посмертно книга Николая Чуковского содержит его историко-революционные повести и рассказы: «Пятый день», «Ярославль», «Сестра», «Варя», «Март», «Князь Угол». В аннотации гово-

рится о «сюжетной напряженности, драматическом развитии действия, духе революционной романтики». Это так, поскольку нет революций без напряжения, драмы, романтики. Но это и не так, потому что ни то, ни другое, ни третье не является для автора ни целью изображения, ни тем более манерой письма: собранные вместе, эти повести и рассказы характеризуют Н. Чуковского не как романтика, а скорее как бытописателя революционной эпохи.

Писательское сознание Н. Чуковского сосредоточено на том, как через обыденные подробности каждодневного человеческого существования просвечивают непреложные исторические закономерности. Оценка мира и событий дается глазами некогда близких Н. Чуковскому по возрасту и духовному облику шестнадцати-восемнадцатилетних учащихся, подростков, подхваченных водоворотом гражданской войны и пытающихся осмыслить происходящее.

Наивные Павлики, Настя, Ваня, Вари, Кости и Васи увидели, может быть, лишь схему событий, но эта схема впечаталась в судьбу каждого, определив ее навсегда. Они увидели тех, кто был живым воплощением революции. Таковы у Н. Чуковского слесарь Иван Гаврилыч, ткач Константин Федотыч, командир отряда Дионис-Игнациус, сормовский рабочий Яков Иванович Потанин, солдат Баскаков — люди, о которых пелось в песне «Готовы на горе, готовы на муки, готовы на смертный бой». Увидели и тех, кто жестокостью и подлостью пытался вернуть прошлое, кто от авантюрных попыток мгновенного переворота (штабс-капитан Чекалин в «Пятом дне») переходил к сложным провокатерским приемам, рассчитанным на десятилетия вперед (Острцов в «Князь Угол»). Тема белого мятежа, разнообразия планов, уловок, способов борьбы, направленных против революционной бедноты и всех, кто принял ее сторону, не оставляет писателя; он по-разному варьирует ее в каждом произведении.

Сквозь трудности военной разрухи, ожесточение борьбы, страшные в своей обыденной простоте картины зверских расправ и безвременных смертей, сквозь дебри собственной наивности, книжных представлений о героизме и славе — молодые герои Н. Чуковского приходят к осознанию необходимости, неистребимости жизненной силы народа, тяжкими жертвами добывающего право отстаивать себя от коварных, но обреченных мятежников.

Ориентация на особенности восприятия юного, еще не вполне зрелого героя, известная навязчивость основных мотивов, устойчивый круг типажей — все это и ряд других особенностей авторского стиля сообщает историко-революционным произведениям Н. Чуковского заметный оттенок дидактичности, не растворяемый даже в заботливо соблюденной конкретности житейски достоверных деталей.

В этом смысле тематический принцип объединения произведений в новой книге Н. Чуковского — не самый безусловный и

не самый благодарный: в творчестве писателя есть достижения более значительные, но они, видимо, не «подошли» по теме.

Но при всем этом сборник историко-революционных повестей Н. Чуковского запечатлел частицу биографии «ровесников века», которым суждено было стать юными гражданами нового, Советского государства, которым предстояло сложить его судьбу и за нее ответить.

Г. Трефилова.

★

И. ДУБИНСКИЙ. Контрудар. Роман. «Советский писатель». М. 1967. 384 стр.

Роман И. Дубинского посвящен «воинмоб:атарьям шахтерской 42-й стрелковой, бывшей 1-й Украинской партизанской дивизии, своей беспримерной отвагой и героизмом разгромившим вместе с другими войсками Южного фронта озверелые банды Деникина...». Писатель и рассказывает о делах и днях героической дивизии, о разгроме денкинских армий, о рейде против Врангеля.

Герои романа И. Дубинского — бойцы, командиры, комиссары, в кровавых боях создавшие легендарные кавалерийские части Красной Армии, разгромившие белогвардейщину. Перед читателем проходят люди разных судеб и биографий, объединенные единым чувством и единым порывом. Читатель видит их на привалах, в конном строю, в стремительной кавалерийской атаке и перед лицом смерти. Военспецы-офицеры, перешедшие на службу к большевикам, комиссары, мужающие на глазах читателя, превращающиеся в опытных командиров рядовые бойцы героической дивизии...

В памяти читателя остается Петро Дындик — бывший грузчик фирмы «Юлий Генрих Циммерман», бывший минер царского флота, командир эскадрона Донецкого кавалерийского полка, любимый бойцами «морячок», погибший под Перекопом; его товарищ комиссар Алексей Булат, комиссар-большевик Боровой, героическая Мария Коваль...

Роман И. Дубинского доносит до читателя атмосферу гражданской войны — тех грозных лет, когда в огне и крови создавалось государство рабочих и крестьян.

Ф. Григорьев.

★

СЕРГЕЙ МАРКОВ. Топаз. Стихотворения. «Художественная литература». М. 1966. 230 стр.

У поэзии Сергея Маркова не совсем обычные «источники питания». Он не только поэт, но и прозаик, очеркист, исследователь. Круг его интересов в области науки и художественной прозы — это история путешествий, судьбы географических открытий и биографии тех, кому эти открытия принадлежат.

Все это неожиданно соединилось в его

стихах: с одной стороны — широкая эрудиция ученого, с другой — непосредственные впечатления жизни, огромный и разнообразный личный опыт, о котором поэт в одном из стихотворений тридцатых годов писал:

Я спал в пустыне. знал ее народ.
 Меня несли и конь и самолет.
 Я разделял почетные труды
 С искателями нефти и руды.
 В крутых горах по имени Кучук
 Мы открывали смуглый каучук:
 Рябой басмач там целился в меня
 Из длинного и узкого ружья.

С. Маркова влечет тревожный мир неизведанных дорог, неустанных поисков и напряженной творческой мысли, человеческая жизнь, озаренная «светлой молнией познания».

Его часто называют романтиком. По-видимому, романтической представляется особая и действительно очень заманчивая «география» стихов поэта — от гор Алатау до сибирской тайги и тундры у Полярного круга, от берегов Белого моря до Забайкалья...

Но все это вошло в его стихи не просто причудливой экзотикой ярких красок тяньшаньской весны или скудной, но по-своему привлекательной природы Крайнего Севера, говорами средней России или удивительно зазвучавшими вдруг привычными названиями:

Знаю я — малиновою ранью
 Лебеди плывут над Лебедянью,
 А в Медьни золотится мед,
 Не скопá ли кружится в Скопине?
 А в Серпейске ржавой смерти ждет
 Серп горбатый в дедовском овине.

Как бы далеко «в еще неведомые страны и в неоткрытые моря» ни уводила нас поэтическая мысль Маркова, она никогда не теряет своей земной, реальной основы.

Поэт приближает мир еще не известного, не изученного, не обжитого, которому предстоит быть познанным и обжитым, как «дальней Мезени» из стихотворения «Плавань».

За отдельным эпизодом жизни человека, картиной природы или случайно всплывшим в памяти воспоминанием возникает второй, более глубокий и обобщающий план. Это мощный поток времени, которое в своем стремительном движении связывает прошлое, настоящее, будущее.

Мыслью о сложном единстве мира соединяются в его стихах природа, люди, история.

Вот почему стихи С. Маркова, далекие от той поверхностной «злости дня», которую иногда принимают за актуальность, по-своему точно и глубоко выражают подлинное лицо времени.

Новая книга Сергея Маркова, куда вошли стихи четырех десятилетий — от первых юношеских попыток найти свой голос до стихов, написанных зрелым мастером, — дает, пожалуй, наиболее полное представление о творческом пути этого интересного и своеобразного поэта.

И. Гитович.

Ф. И. ХАСХАЧИХ. Вопросы теории познания диалектического материализма. «Высшая школа». М. 1967. 328 стр.

Сначала несколько слов о Федоре Игнатьевиче Хасхачихе. Крестьянский парень, затем студент, преподаватель, декан философского факультета, он в октябре 41-го вместе со своими учениками стал солдатом. Геройски сражался и погиб на фронте. Лучшее из того, что было написано Ф. И. Хасхачихом, стараниями его бывших студентов и фронтовых товарищей Г. Ф. Кирьянова, Г. Д. Карпова и А. П. Серцовой предстало теперь перед читателем.

Книга привлекает прежде всего своей доступностью и популярностью в самом хорошем смысле этих слов. Сложные, весьма общие проблемы: соотношение материи и сознания, происхождение и сущность сознания, вопросы истины — изложены ясно, убедительно, интересно, в полном соответствии с самыми строгими современными требованиями. Изложение построено на добротном естественнонаучном материале, в особенности по физиологии высшей нервной деятельности. Вместе с этим работа оригинальна и самостоятельна. Если же учесть, что Ф. И. Хасхачих писал в такое время, когда эти качества не очень-то ценились, то уважение к автору и его исследованию станет еще большим.

Сборник работ Ф. И. Хасхачиха займет свое место в философской литературе как содержательное пособие для изучающих вопросы теории познания.

М. Слуцкий,
кандидат философских наук.

★

А. В. ФАДЕЕВ. Идейные связи и культурная жизнь народов дореформенной России. «Наука». М. 1966. 154 стр.

Деятнадцатый век был для России поистине переломным. Его дыхание, пишет автор, стало «ощущаться в России еще до того, как старый стал достоянием истории».

Анализ новых черт в культурном облике России А. В. Фадеев начинает с характеристики градостроительства. Гюго, говоривший об архитектуре как о застывшей музыке, мог бы сказать, что в России зазвучали замечательные симфонии и оратории: Петербургская Биржа на стрелке Васильевского острова, Казанский собор... Но не только столичный Петербург строился и обновлялся; меняла свой облик и Москва. Новшества пришли и в провинцию. Троицкий собор в Симбирске, университет в Казани не уступали лучшим столичным сооружениям.

Интересны страницы книги, посвященные переменам в быту, во внешнем облике людей, в частности в облике женщин из среды купеческой и мещанской. Уходил в прошлое воспетый в песнях старинный сарафан, на смену кокошникам пришли модные шляпки. В пищевой рацион прочно вошел картофель, который еще в начале века звался «чертовым яблоком».

Росло национальное самосознание. Не

случайно, пишет автор, к этому времени относятся «поиски памятников древнерусской письменности», счастливо увенчанные открытием Лаврентьевской летописи и «Слова о полку Игореве».

Значительная часть книги посвящена борьбе идейных течений в науке и искусстве. Автор показывает связи и взаимное обогащение культур народов, населявших русское многонациональное государство. Одним из главных условий культурного подъема народов России было распространение светской школы. Благодаря ей формировалась национальная интеллигенция, направлявшая просветительную деятельность на пробуждение национального самосознания, чести и достоинства угнетенных. Прогрессивная русская культура всегда чуждалась каких бы то ни было элементов национального превосходства и чванства. Ее деятели выступали как поборники дружбы и братства народов. Это убедительно показано в книге.

И. Матюшина,
кандидат исторических наук.

★

РАБОЧИЙ КЛАСС АФРИКИ. «Наука». М. 1966. 275 стр.

Африканский пролетарий. Еще не так давно это выражение казалось необычным. Африку символизировал кто угодно, но не современный рабочий. Ведь промышленность на континенте — за исключением более развитых районов Севера и Юга — отсутствовала. Однако в наши дни о том, есть ли в Африке пролетариат, уже не спорят. Обсуждают другие вопросы: кого следует включать в эту категорию, каковы особенности рабочего класса континента, почему сравнительно невысока степень его организованности?

Обстоятельный анализ судеб африканского пролетариата составляет содержание книги, выпущенной Институтом Африки Академии наук СССР. Авторы — кандидаты наук Л. Н. Прибытковский, М. И. Брангинский и В. А. Мартынов — прослеживают развитие армии наемного труда, роль рабочего класса в борьбе за национальное освобождение и строительство молодых африканских государств.

Социальные перемены протекают в Африке весьма своеобразно. И здесь, конечно, действуют общие объективные законы общественного развития. Но вместе с тем в Африке немало такого, что не укладывается в привычные рамки, не подходит под принятую классификацию. Своеобразие социальных слоев таково, что в литературе об Африке их называют то «классы-сословия», то «новые средние слои», то «новые силы». И Африке чрезвычайно присуща «слитность масс и пролетарских и непролетарских» (В. И. Ленин). Вот почему нельзя не согласиться с авторами, которые на первой же странице монографии предупреждают читателя: «На политическую арену (в Африке.— Л. К.) вышли новые силы», классовая природа которых «остаётся во многих случаях неясной».

Многочисленные факты показывают возрастание роли рабочего класса в борьбе против неоколониализма, феодализма, реакции. Общепризнана роль рабочих и других членов профсоюзов в свержении неоколониалистских режимов Юлу в Конго—Браззавиль (август 1963 года), Маги в Дагомее (октябрь 1963 года), султана Абдулла Бин Халифа на Занзибаре (январь 1964 года), диктатора генерала Аббуа в Судане (октябрь 1964 года), сопротивление профсоюзов Конго — Киншаса режиму Чомбе (1964—1965 годы). Таковы лишь некоторые страницы революционной активности пролетария-африканца.

Находятся люди, особенно «ультрареволюционеры» из Пекина, которые наешпывают африканцам, что все белые их враги. Однако история свидетельствует о том, что Европа — это не только маршалы-вешатели, не только садисты-надсмотрщики. Книга «Рабочий класс Африки» повествует о солидарности французских коммунистов с освободительной борьбой африканцев, об антиколониальной борьбе коммунистов Великобритании, Португалии, Бельгии.

Работа наших африканистов не свободна, однако, и от некоторых упущений, порожденных, на наш взгляд, тем, что это по существу первая советская монография на такую тему. Недостаточно уделено внимания рабочему классу стран, находящихся на некапиталистическом пути развития. Вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что в Африке имеет место «быстрое распространение учения научного социализма». К сожалению, дело пока обстоит не так. Шестьдесят тысяч коммунистов на континенте с более чем трехсотмиллионным населением — эти цифры дают основание для более осторожных оценок. На континенте более половины взрослого населения неграмотно, почти треть населения — во власти исламской идеологии, современный пролетариат находится лишь в стадии становления, а степень его организованности все еще невелика. Здесь научный социализм может получить по-настоящему широкое распространение лишь завтра или послезавтра.

Юбилейный год советской власти дает более чем достаточно поводов для размышлений об исторических судьбах африканского пролетариата в свете опыта нашей страны. «Октябрьская революция, — говорит президент Гвинейской республики Ахмед Секу Туре, — оказала решающее влияние на развитие современной истории... Мы стремимся познать плоды опыта каждого социалистического государства». Материал книги убеждает, что передовые отряды рабочего класса Африки готовы использовать достижения советских братьев по классу: опыт союза с крестьянством и управления производством, индустриализации и электрификации, культурного развития и международной солидарности революционеров.

Л. Клецкий,
кандидат исторических наук.

В. ГОФФЕНШЕФЕР. Из истории марксистской критики. Поль Лафарг и борьба за реализм. «Советский писатель». М. 1967. 450 стр.

В 1933 году молодой советский критик Вениамин Гоффеншефер опубликовал книгу «Поль Лафарг — практик марксистской критики». В этой работе менее ста страниц, но материал для нее пришлось собирать несколько лет: оказалось, что творческий облик Лафарга, «одного из ранних и ярчайших критиков-марксистов», — белое пятно в истории французской литературы: во Франции Лафарг был забыт, а в Советском Союзе только в 1936 году появился сборник его литературно-критических статей под редакцией, со вступительной статьей и комментариями В. Гоффеншефера. Лишь после этого такой же сборник издали и во Франции; в нем в предисловии французского писателя Жана Фревила читаем: «С радостью и благодарностью мы называем в начале этой книги имя превосходного советского критика Гоффеншефера, самого большого современного знатока Лафарга. Это он с замечательным энтузиазмом и упорством посвятил себя «реабилитации» Лафарга». Газета «Юманите» дважды — в 1934 и в 1936 годах — отметила, что Лафарга во Франции не знали, и советский литературовед возродил для нее этого критика-марксиста в своей книге.

Прошли годы, и В. Гоффеншефер, автор книги о М. Шолохове, исследование о новелле, работ о М. Горьком, В. Маяковском и о многих других советских писателях, критик, помогавший в послевоенные годы расти молодым кабардинской и осетинской литературам, в 1946 году снова вернулся к изучению ранней марксистской критики в Западной Европе. В течение почти двадцати лет он изучал забытые историко-литературные материалы во французской и немецкой социалистической журналистике восьмидесятых и начала девяностых годов XIX века.

И вот издана монография, завершившая работу, которая была начата критиком более тридцати лет назад. Автор сумел заполнить существенный пробел в истории развития марксистской эстетики, до тонкости разобраться в обстоятельствах драматической борьбы идей, участниками которой были Энгельс, Лафарг, Меринг, Шарль Бонье, Эвелинг и другие марксистские критики той поры.

Особое место в книге уделено творчеству Лафарга, «ближайшего продолжателя Энгельса в изучении истории культуры». Как выяснил В. Гоффеншефер, журнал Каутского «Нойе цайт» заказал статью о Золя Лафаргу по настоянию Энгельса. «Для этой работы, — писал Энгельс, — Лафарг — самый подходящий человек». Ведь и в замысле «Рюгон-Маккаров», и в творческом методе Золя сказались те самые идеи позитивизма и «социального дарвинизма», которые Лафарг изучал и метко критиковал и раньше

(эта сторона деятельности Лафарга рассмотрена в третьей главе монографии).

Высоко ценя смелое изображение новых сторон действительности в романах Золя, Лафарг с обычной для него публицистической страстностью вскрывал ограниченность и опасность тех тенденций шовинизма и биологизма, которые дали себя знать в «Ругон-Маккарах». Он показал, что они ведут к примитивизации человека, механическим, но не реалистическим принципам его изображения, к исчезновению из искусства «интеллектуальной выразительности»; они рождают недоверие к воображению, без которого трудно разглядеть тенденции развития явлений и предугадать «отдаленные результаты», показать развитие характеров в типических обстоятельствах.

В. Гоффеншефер подробно анализирует критику натурализма Лафаргом, Эвелингом, Мерингом, их борьбу за утверждение реалистических принципов изображения жизни. Этот анализ обращен не только в прошлое, но и к нашему времени. Примитивизация человека, так же как разновидности неопозитивизма, предписывающие уклоняться от глубокого познания мира, не редкость и во второй половине XX века.

А. Луначарский написал на полях первой работы В. Гоффеншера о Лафарге: «Книга умная и осторожная при всей любви к Лафаргу». Во второй работе автор еще более трезв и далек от безусловного восхваления ранней марксистской критики только потому, что она — марксистская. Он рассматривает и черты ее незрелости. Еще Энгельс не только поощрял Лафарга и одобрял его статьи, но и указывал на его промахи (например, на неточную формулировку, из которой можно было понять, будто для социалистической тенденциозности типичны декларативность и «навязки под идеал», а не ее совпадение с тенденцией объективного развития действительности).

Советский исследователь вписал и в историю французской литературы, и в историю марксистской критики новую, значительную по содержанию главу. Книга В. Гоффеншера, до выхода которой ее автору не довелось дожить, останется воплощением его преданности своему призванию.

★

Я. Фрид.

РЯДОМ С ГЕРОЯМИ. «Советский писатель». М.—Л. 1967. 428 стр.

Слово «герои» в названии этой книги имеет значение двойное.

Это — люди героических характеров и героической судьбы, которым выпала на долю безмерно грудная и благородная задача — отстаивать независимость нашей родины от нашествия фашистских варваров.

Это — и герои книг, литературные персонажи, появившиеся на свет тогда же, когда шли бои, или несколько лет спустя, когда уже отгремела война.

О том, как возникли замыслы этих книг, как зарождались и видоизменялись сюжеты их, какие люди послужили прототипами их героев, и рассказывает большинство авторов этого коллективного сборника — писатели, чьи имена достаточно хорошо известны.

Николай Тихонов вспоминает, как он писал поэму «Киров с нами»; Александр Розен — о тех реальных фактах, которые легли в основу романа «Последние две недели»; Вера Панова — о своей поездке в санитарном поезде, описанном в повести «Спутники»; Павел Журба — о работе над повестью «Александр Матросов»; Всеволод Азаров — о создании поэмы «Товарищ Тельман»; Александр Штейн — о том, как он жил и работал в гостинице «Астория»; Александр Крон — как в его творчество вошла «морская тема». В сборнике помещены письма Всеволода Вишневского руководителю Камерного театра — Александру Таирову. По этим письмам видно, сколько темперамента и пыла вкладывал Вишневский в пьесы «Раскинулось море широко» (она была создана в соавторстве с Всеволодом Азаровым и Александром Кроном) и «У стен Ленинграда». Рядом с письмами Всеволода Вишневского напечатаны дневники ленинградского поэта Бориса Лихарева.

Есть у слова «герои» в названии этой книги и третий смысл, хотя он и не очень бросается в глаза. Авторы сборника, в основном ленинградские писатели, меньше всего склонны выпячивать свою роль в событиях военных лет. Они куда с большей охотой рассказывают о малоизвестных людях, с которыми свела их война и блокада. Но со страниц сборника встают образы писателей, которые бесстрашно и спокойно исполняли свой гражданский и писательский долг. О них вспоминают Вера Кетлинская и Николай Чуковский, Лев Успенский и Леонид Рахманов. Все эти материалы вместе с блокадными записями Л. Пантелеева, воспоминаниями Ильи Авраменко и Даниила Гранина, Эльмара Грина и Михаила Дудина, Петра Капицы и Георгия Холопова воскрешают время, которое никогда не сотрется в памяти народной.

Л. Левицкий.

★

Н. И. НАКОВНИК. Охотники за камнями. «Недра». Л. 1966. 242 стр.

Хотя романтическая профессия геолога не обойдена в советской художественной литературе, тем не менее книга «Охотники за камнями», принадлежащая перу известного ученого, доктора геолого-минералогических наук Н. И. Наковника, будет, без сомнения, замечена читателями.

Книга состоит из двенадцати автобиографических очерков, написанных по экспедиционным дневникам.

Н. И. Наковник рассказывает о первых советских геологических экспедициях двадцатых годов, когда пережитки прошлого еще крепко держали в руках сознание местного населения, а по долинам и горам

Казахстана бродили шайки басмачей, внося тревогу и опасность в трудную и без этого работу разведчиков недр.

В частности, из очерка «Жемчужина Казахстана» читатель узнает, как было найдено в Семиз-Бугу крупнейшее в мире месторождение корунда — самого твердого после алмаза минерала. Это открытие богатой корундовой руды в кварцитовых породах было неожиданным для геологической теории того времени и вызвало сенсацию в науке.

Читателя подкупает ровное, доброжелательное, с постоянной долей юмора отношение автора к своим спутникам от начальника экспедиции до рабочего и проводника, к многочисленным случайным встречным. Ему понравится, например, уверенный в себе, бравоый и ладно скроенный начальник экспедиции 1925 года (в будущем один из виднейших казахстанских геологов профессор Русаков).

Сюжетная канва очерков занимательна, язык их свеж и образен. Жаль только, что автор оставил без разъяснения употребляемые им (впрочем, довольно умеренно) геологические термины: для читателя-неспециалиста это может затруднить понимание некоторых мест книги.

В. И. Лебединский,

доктор геолого-минералогических наук.

★

А. Я. ГУРЕВИЧ. Походы викингов. «Наука». М. 1966. 183 стр.

Эта книга лишена предвзятости, над ней не тяготеют суровые «табу», усложнявшие на протяжении многих лет серьезное изучение древнейшего периода нашей истории, когда отрицалось даже существование великого водного пути «из варяг в греки» или утверждался тезис о чрезвычайной отсталости викингов. Конечно, все это не способствовало изучению истории и культуры наших соседей — народов скандинавских стран. Вот почему выход книги А. Я. Гуревича — отрадное явление.

Походы викингов сыграли видную роль в истории ряда народов Европы. В итоге этих походов сложились государственные образования завоевателей в Ирландии, Франции, Сицилии. Норманны колонизовали острова Северной Атлантики, Исландию и Гренландию и за пятьсот лет до Колумба достигли берегов Северной Америки. Завоевательные экспедиции и смелые морские плавания способствовали развитию ремесла и торговли, стимулировали распад родового строя, привели к обмену достижениями культуры. У скандинавов имела сложная и развитая мифология, богатая и красочная поэзия, высокое и своеобразное художественное ремесло.

Небольшая книга — шесть печатных листов, — конечно, не может охватить все вопросы истории и культуры скандинавских народов в раннее средневековье. Автор сосредоточил внимание читателя на основных проблемах — социально-экономических

предпосылках и последствиях походов норманнов, политической надстройке и культуре скандинавов.

Глава «Походы викингов» является центральной в книге. В ней четко освещена роль норманнов в истории древнерусского государства. Варяги не создали государственности на Руси, ибо государство у славян сложилось задолго до их набегов и независимо от них. Однако киевские князья Олег, Игорь и Ольга были по происхождению скандинавами, хотя и обрусевшими. В княжеской дружине, бесспорно, имелись варяжские воины. Имена дружинников, зафиксированные в договорах с Византией 911 и 944 годов, скандинавские, хотя договоры эти написаны на греческом и славянском языках. Конечно, является аксиомой то, что древнерусское государство сложилось на славянской основе: государственность, язык, культура, религия, быт Киевской Руси славянские, а не норманские. Но этой аксиоме нисколько не противоречит тот факт, что киевский великокняжеский престол занимали два-три обрусевших варяга.

В исторической литературе долгое время забывали, что этническое (или национальное) происхождение главы государства само по себе не имело большого значения. Крупный политический деятель Руси XII века Андрей Боголюбский был сыном половецкой княжны, внуком английской принцессы и правнуком византийской царицы, но разве неславянские родственные связи умаляют его значение как выдающегося русского деятеля? Число подобных примеров легко умножить. Книга А. Я. Гуревича хороша уже тем, что способствует изживанию наивного исторического предрассудка.

Не все разделы книги написаны одинаково ровно. Есть в ней утверждения спорные, есть неточности. Так, нельзя согласиться с утверждением, что корабли викингов могли плыть в бейдевинд. До XIV—XV веков европейские моряки не умели плавать против ветра, хотя брали рифы и могли управлять кораблем при боковом ветре. Ряд претензий можно предъявить к иллюстрациям книги. Они подобраны со вкусом и знанием дела, но, к сожалению, они глухие. Перед нами эффектные рукояти мечей, но неизвестно, из какой они страны, какого века и где хранятся. На странице 125 среди «изображений викингов» помещен Фрей — божество, а не викинг... Это, однако, мелочи, которые не колеблют основного нашего вывода: читатель получил интересную, ценную книгу.

М. Коган,

кандидат исторических наук.

★

Л. ДЖ. МИЛН, М. МИЛН. Чувства животных и человека. Перевод с английского. «Мир». М. 1966. 302 стр.

«Чувство восхитения» — так называли авторы, известные американские ученые-биологи, вступление к своей книге «Чувства

животных и человека». И в самом деле, что может быть удивительнее, чем чувства, природа которых еще во многом не объяснена, покрыта тайной. Неизвестно, например, как и чем руководствуются насекомые, рыбы, птицы, летучие мыши, двигаясь в нужном им направлении. Это чувство часто врожденно: молодые птицы первый раз и в полном одиночестве могут в точности совершить перелет, характерный для их вида. В других случаях дело объясняется сложной ориентацией по солнцу или звездам: известно, что птицы избегают летать в облачную погоду. И все же, как и почему слепые летучие мыши летят в нужном направлении над океаном, лишенным каких-либо ориентиров? Это остается загадкой.

В книге рассказывается о многих чувствах помимо известных пяти — зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. О них мы как будто ничего и не знаем. Существует чувство веса предмета, ощущение позы собственного тела, чувство равновесия и направления. А чувство времени! Многие животные, особенно насекомые, придерживаются режима в своих отправлениях с точностью до десятков минут. Чувствуют животные и время года, вероятно по длительности дня и ночи. Организм чувствует и приближающееся изменение погоды. Осязание с помощью усиков у насекомых, кошек, мышей, сомов помогает узнавать о близких предметах в полной темноте. Для многих животных очень важно восприятие кожей звуковых колебаний и света. И у людей в слабой степени осталась эта чувствительность, но она имеет существенное значение только для слепых и глухих.

Читая книгу, можно узнать о фактах удивительных и неожиданных. Оказывается, подводный мир наполнен звуками в гораздо большей мере, чем воздушный, рыбы издадут звуки с не меньшей активностью, чем птицы, и хорошо слышат их. А многие ли знают, что ребенок быстро успокаивает биение сердца матери, если мать спокойна, но если он слышит биение ее сердца, когда она взволнована, раздражена, то беспокойство сразу передается ему и он начинает плакать.

Ценность книги не только в массе новых, неизвестных широкому читателю сведений, но и в стремлении авторов понять живой мир в его целостности, связать биологию с другими науками. Многие проблемы новой науки — бионики — описаны с чувством восхищения перед ее возможностями. Оно передается читателю.

И. К.



Н. Н. БОЛХОВИТИНОВ. Становление русско-американских отношений. 1775—1815. «Наука». М. 1966. 640 стр.

«История новейшей, цивилизованной Америки,— писал В. И. Ленин,— открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно револю-

ционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн». Война за независимость североамериканских колоний явилась важнейшей вехой и в истории русско-американских отношений. Конечно, историк может напомнить, что еще весной 1698 года во время пребывания в Англии Петр I встретился с Вильямом Пенном, что уже в первой половине XVIII века Америка была включена в сферу русской внешней политики и тогда же между Америкой и Россией завязываются экономические связи (правда, еще спорадические, в основном через Англию). Однако американская революция внесла совершенно новый оттенок в характер этих отношений: она положила начало становлению отношений между двумя суверенными государствами и — самое важное — нашла горячий отклик у передовых кругов русского общества, что способствовало еще большему сближению двух стран.

Начальному этапу отношений между Россией и Соединенными Штатами и посвящена книга Н. Н. Болховитинова. По теме, о вещаемой здесь, существует довольно обширная литература. Однако монография Болховитинова впервые дает всестороннее исследование этого периода дипломатических, общественно-политических, экономических и культурных связей между Россией и Америкой.

Предпринятое автором исследование советских архивов, главным образом Архива внешней политики России, изучение ряда рукописных и печатных источников, полученных им в виде микрофильмов из США, использование массы русских, американских и западноевропейских публикаций, трудов, мемуаров и корреспонденций помогло воссоздать с достаточной полнотой конкретную картину развития ранних русско-американских связей и решить многие важные проблемы.

Автор с полным основанием говорит о признании Россией молодой заокеанской республики де-факто еще во время войны за независимость, за несколько лет до формального признания. Общая позиция России в те трудные для Соединенных Штатов годы «объективно имела положительное значение для улучшения международного положения восставших колоний, дипломатической изоляции Англии и в конечном итоге победы Соединенных Штатов». Сильно подорвало английскую морскую блокаду Америки провозглашение Россией декларации о вооруженном нейтралитете, получившей официальное одобрение конгресса США в октябре 1780 года. Болховитинов обнаружил неизвестные ранее архивные материалы о плаваниях русских кораблей из Бордо к берегам Америки и о существовании русско-американских торговых связей в период войны за независимость. Уделив большое внимание изучению вопроса о первых американцах в России, а также путешествиях русских в Соединенные Штаты, автор выясняет некоторые запутанные обстоятельства, связанные с пре-

быванием в России знаменитого моряка Поля Джонса и путешественника Джона Ледиарда. Много новых материалов найдено и опубликовано им об американском путешествии и общественно-политических взглядах Ф. В. Каржавина, о деятельности русского консула в Бостоне А. Г. Евстафьева и т. д.

Нельзя не сказать также о важной направленности рассматриваемой монографии: она служит веским опровержением измышлений сторонников «холодной войны» о мнимом существовании в русско-американских отношениях извечной и «естественной» враждебности (Томас Бейли, «Америка против России»; Кларенс Мэннинг, «Русское влияние в ранней Америке» и др.). Автор вовсе не стремится изобразить картину русско-американских отношений в розовом свете, но, несмотря на немалое число спорных вопросов и даже конфликтов, утверждает он в своей книге, развитие этих отношений шло в основном в русле дружественности.

В монографии Н. Н. Болховитинова найдется интересный и полезный материал и историк, и дипломат, и литературовед. Как достоинство следует отметить, что книга хорошо написана и, несмотря на обилие документальных материалов, читается легко и увлекательно.

А. Толстяков.

★

ЮРИЙ АЛЯНСКИЙ. *Театр в квадрате обстрела.* «Искусство». Л.—М. 1967. 230 стр.

О блокадном быте Ленинграда написано много. Мы хорошо знаем страшную статистику тех девяносто дней — нормы хлеба, количество сброшенных на город бомб. Знаем, сколько человек погибло от голода и обстрелов. И как в самый трудный период блокады, в ее первую зиму, ленинградские дома превратились в каменные братские могилы.

Но, кроме этих цифр и фактов, были еще и другие, без которых также нельзя понять подлинный смысл того, что происходило в те дни в Ленинграде. Вот некоторые из них.

В течение всей блокады в городе почти без перерывов работало радио. За годы блокады состоялось несколько художественных выставок. Уже на второй год войны открылось несколько кинотеатров. На сцене бывшего Александринского театра, здание которого на немецких планах значилось как центр квадрата обстрела, была поставлена написанная в Ленинграде в те же блокадные дни музыкальная комедия. Спектакль выдержал 168 представлений. «История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров. Впервые это произошло в Ленинграде. Возникший театр, названный официально Городским, зрители прозвали Блокадным». За годы войны и блокады симфонический оркестр ленинградского радио дал сто шестьдесят концертов, в одном из которых была исполнена Седь-

мая симфония Шостаковича... «Не стоит прикидывать в уме, много это или мало, — пишет в своей книге, посвященной искусству блокадного Ленинграда, Юрий Алянский, — каждый явился подвигом». «Надо, обязательно надо понять, почувствовать, как брались за скрипки, за смычки, за флейты оркестранты сорок второго года. Утрагивали гибкость руки солдат, пожарников, землекопов. Не слушались одеревеневшие пальцы. В легких не хватало воздуха, каждая нота давалась трубачам, как шаг — обессилевшему пешеходу».

Книга Алянского рассказывает о работе ленинградского оркестра в дни блокады. О кинооператоре Ефиме Учителе, ни на один день не прекращавшем своей работы. Тысячи метров отснятой им пленки день за днем фиксировали для истории горе и смерть, будничность происходившей трагедии и величие человеческого духа. Героями документальных рассказов стали балетмейстер Аркадий Обрант и ленинградские дети, возродившие в дни блокады танцевальный ансамбль, сотрудники ленинградского радио, актеры театра, писатели Ольга Берггольц и Александр Крон и другие ленинградцы.

Но нужно ли было все это людям, умирающим от истощения, — концерты симфонической музыки, спектакли, выставки, радиопередачи?

Жизнь ленинградцев в те дни показала, что нужно. И если читатель книг о блокаде, о жизни в осаде, в изумлении спросит, как люди могли пережить все это, с полным правом можно сказать, что одним из источников нравственной несгибаемости людей в те дни было искусство. Об этом говорит жизнь тех, кому посвятил свою книгу Алянский. Об этом говорили в дни блокады переполненные залы филармонии и театра... Когда на несколько дней прервалась подача энергии, замолчало радио и городом завладела мертвая тишина, люди из последних сил шли в радиокомитет узнать, что случилось. «Люди просили, — пишет Алянский, — что угодно, как угодно, пусть нет хлеба и воды, пусть условия нечеловеческие, только надо, чтобы работало радио! Без него жизнь останавливается».

Книга Юрия Алянского продиктована благородным желанием не дать исчезнуть из памяти подвигу этих людей, напомнить еще раз о трагедии и мужестве ленинградцев. «Никто не забыт и ничто не забыто» — эти слова Ольги Берггольц, высеченные на памятнике Пискаревского кладбища, стали для автора формулой долга, заставившего его написать эту книгу.

★

Г. Иренина.

ВРЕМЕНА ХОКУСАЯ. Сборник японской научной фантастики. Перевод с японского. «Мир». М. 1967. 286 стр.

Действие в рассказах сборника «Времена Хокусая» отнесено в будущее, но, в сущности, речь в них идет о современности.

Напрасно мы стали бы искать в произве-

денях японских фантастов национальный колорит. Их рассказы напоминают книги Брэдбери и Азимова. И это не столько от несамостоятельности научно-фантастической литературы Японии (хотя и это есть), сколько от общности проблем, стоящих сегодня перед людьми и в Токио, и в Нью-Йорке, и в других местах земного шара.

Некогда фабулы сказок кочевали из страны в страну. Так и теперь отдельные сюжеты научной фантастики привлекают писателей разных национальностей, разных поколений, — вспомним хотя бы уэллсовскую «Машину времени».

Сакэ Комацу, один из талантливейших писателей Японии, придает уэллсовской теме антивоенное звучание: призрак атомного гриба в стране восходящего солнца возвращает нас к современности, более драматичной и абсурдной, чем самые изощренные фантазии.

К грустному итогу приходят герои рассказа Морио Кита, так и названного «Машина времени». Изобретенная ими машина становится удобным орудием мелкой спекуляции: путешествуя в 1947 год — голодный год послевоенной Японии, — изобретатели продают там консервы, а на вырученные деньги покупают марки, за которыми теперь, спустя двадцать лет, охотятся филателисты.

Японские писатели обеспокоены тем, что многие уродливые явления, утверждающиеся ныне в быту и психологии, могут стать преобладающими в будущем. В этом смысле символичен образ в рассказе «Когда придет весна»: на носовой части космической ракеты намалевана огромная бутылка с яркой этикеткой, а рядом — улыбающаяся красотка с подведенными глазами и призыв: «Пейте прохладительные напитки».

Герои рассказов японских фантастов — «белые воротнички». Так называют в япон-

ской столице служащих фирм, издательств, банков. Жизнь «белого воротничка» подчинена стереотипу, который предначертал все — быт, труд, развлечения, интересы. И когда жертва социального и духовного стандарта сталкивается с чем-либо, выходящим за его пределы, земля превращается для нее в сумасшедший дом и вся вселенная кажется гигантским экраном телевизора, а люди — персонажами неведомо кем созданной пьесы...

Но давящему социальному стереотипу, который формирует по своему подобию миллионы жертв, противостоят такие стороны человеческой души, которых не коснулась эта зараза. И рядом с трагедией «белых воротничков» возникает тема самоотверженности, нравственного подвига и душевной щедрости. Она явственно звучит в рассказах Ясукуни Такахаши, Рю Мицуси, Синити Хоси. В последний час жизни героем рассказа «Мужчина в космосе», пилотом межпланетного корабля, потерпевшего аварию, владеет мысль о пропавших без вести многочисленных штурманах космоса и их семьях. «Всем родителям приятно верить, что письмо послал именно их сын», — говорит он, отправляя на Землю ракету с прощальным письмом без подписи.

Научная фантастика начала развиваться в Японии в конце сороковых годов. По своему художественному уровню она далека еще от книг признанных мастеров этого жанра. Порой в рассказах японских фантастов преобладает склонность к анекдотической фабуле, откровенной развлекательности.

И все же из рассказов сборника «Времена Хokusая» возникает портрет современной буржуазной цивилизации, ее конфликтов и трагедий.

В. Крейденков.

Ленинград.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

И. Адабашев. Шаги в грядущее. Рассказ о восьмой пятилетке. 183 стр. Цена 29 к.

Т. Бан. Влияние Великой Октябрьской революции на канадское рабочее движение. 151 стр. Цена 20 к.

Л. Гаврилэв и В. Кутузов. Великий Октябрь. Летопись важнейших событий. 160 стр. Цена 22 к.

Л. Жаров. Правда Октября. 175 стр. Цена 32 к.

Колониализм сегодня. Политико-экономический справочник. 207 стр. Цена 24 к.

К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии (Предисловие Ф. Энгельса). Перевод с немецкого И. Скворцова-Степанова. Том I. Книга I. 907 стр. Цена 1 р. 86 к.

Д. Немеш. Пятидесятилетие Советского государства и Венгрия. 164 стр. Цена 22 к.

Политические партии зарубежных стран. Справочник. 350 стр. Цена 63 к.

Рыцарь революции. Воспоминания современников о Ф. Э. Дзержинском. 335 стр. Цена 82 к.

Слово о партии. Сборник статей. 351 стр. Цена 71 к.

Шаги революции. Великий Октябрь глазами современников. 239 стр. Цена 54 к.

«МЫСЛЬ»

Антикоммунизм — орудие империалистической реакции. Сборник. 248 стр. Цена 97 к.

К. Бостанджян. Диалектика становления коммунистического способа производства. 301 стр. Цена 1 р. 59 к.

Великий Октябрь и прогрессивная Америка. Сборник документов и материалов. Перевод с английского. 349 стр. Цена 79 к.

Б. Еремеев. Социально-экономические проблемы технического творчества в СССР. 126 стр. Цена 39 к.

Современные циклы и кризисы. Сборник статей. 471 стр. Цена 1 р. 73 к.

Современный капитализм и буржуазная политическая экономия. Труды Всесоюзной конференции по критике буржуазных экономических теорий. 451 стр. Цена 2 р. 3 к.

Г. Трукан. Октябрь в Центральной России. 364 стр. Цена 1 р. 29 к.

Л. Чернов. Под знаменем пролетарского интернационализма. 198 стр. Цена 31 к.

В. Чирко. Коммунистическая партия — организатор братского сотрудничества народов Украины и России в 1917—1922 гг. 383 стр. Цена 1 р. 31 к.

«ЭКОНОМИКА»

В. Арнаут, И. Маглыш и Л. Штофер. Экономический анализ работы промышленного предприятия в новых условиях. 94 стр. Цена 24 к.

Коллектив астовов. Математические методы анализа в торговле (Очерки теории и практики). 247 стр. Цена 1 р. 30 к.

Мировая экономика. Краткий справочник. 320 стр. Цена 59 к.

И. Негидов и Л. Никонова. Кибернетика и экономическая работа в промышленности. 232 стр. Цена 72 к.

Г. Слезингер. Труд в управлении промышленным производством. 256 стр. Цена 98 к.

Б. Степанов. Социальное планирование на предприятиях. 48 стр. Цена 14 к.

Е. Чернов. Основные фонды в новых условиях хозяйствования. 64 стр. Цена 15 к.

Экономические основы развития социалистического сельского хозяйства. 200 стр. Цена 1 р. 34 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Анарбаев. Судьба Мунаввар. Повесть. Перевод с узбекского. 279 стр. Цена 47 к.

С. Бондарин. Повесть для сына. 447 стр. Цена 94 к.

Венюк Чаренцу. 70 стр. Цена 11 к.

С. Джуусев. Дымом над айлом. Стихи и поэма. Перевод с киргизского. 71 стр. Цена 25 к.

С. Журахович. Одним счастьем меньше. Рассказы. Перевод с украинского. 323 стр. Цена 68 к.

П. Куприяновский. Художник революции. О Дмитрие Фурманове. 332 стр. Цена 88 к.

Л. Лагин. Голубой человек. Роман. 319 стр. Цена 79 к.

И. Ланкутис. В. Миколайтис-Путинас. Критико-биографический очерк. 163 стр. Цена 30 к.

Я. Ниедре. За окном растет репейник. Перевод с латышского. 255 стр. Цена 55 к.

Л. Плоткин. Литература и война. 358 стр. Цена 85 к.

А. Русецкий. Его Величество. Поэма. Перевод с белорусского. 46 стр. Цена 25 к.

И. Сельвинский. О, юность моя! Роман. 519 стр. Цена 98 к.

Д. Стонов. Раннее утро. Повести и рассказы. 543 стр. Цена 1 р. 3 к.

П. Турсун. Учитель. Роман. Перевод с узбекского. 384 стр. Цена 67 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Леопарди. Лирика. Перевод с итальянского («Сокровища лирической поэзии»). 130 стр. Цена 33 к.

Мирза-Шафи. Лирика. Перевод с азербайджанского. 231 стр. Цена 29 к.

М. А. Ненсе. Молодость. Рассказы. Перевод с датского. 375 стр. Цена 95 к.

Э. Ниношвили. Кристине. Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 399 стр. Цена 61 к.

Мацумото Сэйте. Черное евангелие. Перевод с японского. 288 стр. Цена 86 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Гидаш. Другая музыка нужна. Роман. Перевод с венгерского. 557 стр. Цена 2 р. 4 к.

А. Маркуша. Люди моей земли. 176 стр. Цена 40 к.

Ю. Щербак. Как на войне. Повесть. 175 стр. Цена 24 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ч. Айтматов. Первый учитель. Повести. Перевод с киргизского. 206 стр. Цена 51 к.

С. Алексеев. Октябрь шагает по стране. Рассказы. 92 стр. Цена 1 р. 38 к.

З. Воскресенская. Утро. Повесть. 207 стр. Цена 1 р. 2 к.

С. Георгиевская. Повести. 496 стр. Цена 1 р. 5 к.

Н. Гильен. Сонгоро косонго. Избранные стихи. Перевод с испанского. 95 стр. Цена 28 к.

Н. Дубов. Горе одному. Роман в 2-х книгах. 534 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Попов. Страницы великой жизни. Ленин в Петрограде. Апрель 1917 г.— март 1918 г. 103 стр. Цена 85 к.

М. Прилежаева. Удивительный год. Повесть. 239 стр. Цена 1 р. 11 к.

Х. Эдилов. Приговор. Повесть. Перевод с чеченского. 110 стр. Цена 27 к.

«ИСКУССТВО»

Э. Краснянский. Встречи в пути. Страницы воспоминаний. Театр. Эстрада. Цирк. 359 стр. Цена 1 р. 45 к.

Л. Погонева. Михаил Ромм («Мастера советского кино»). 159 стр. Цена 57 к.

Н. Сибиряков. Станиславский и зарубежный театр. 204 стр. Цена 1 р. 3 к.

«НАУКА»

Г. Горбаткина. Пьесы-легенды Назыма Хикмета. 167 стр. Цена 56 к.

Н. Дружинин. Воспоминания и мысли историка. 114 стр. Цена 28 к.

Есенин и русская поэзия. Сборник. 395 стр. Цена 1 р. 18 к.

История Великой Октябрьской социалистической революции. 671 стр. Цена 3 р. 40 к.

История русской советской литературы. 1917—1965. В 4-х томах. Том 1 (1917—1929). 835 стр. Цена 4 р.

История узбекской советской литературы. 794 стр. Цена 3 р. 59 к.

И. П. Павлов в воспоминаниях современников. 384 стр. Цена 1 р. 95 к.

Развитие биологии в СССР. 763 стр. Цена 4 р. 56 к.

Участие трудящихся зарубежных стран в Октябрьской революции. 343 стр. Цена 1 р. 66 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Джеммер. Понятие массы в классической и современной физике. Перевод с английского. 254 стр. Цена 1 р. 3 к.

Л. Кинг. Морфология Земли. Изучение и синтез сведений о рельефе Земли. Перевод с английского. 560 стр. Цена 10 р.

Панорама. Сборник рассказов. Перевод с шведского. 352 стр. Цена 1 р. 26 к.

Р. Рив. Чрезвычайное положение. Роман. Перевод с английского. 278 стр. Цена 91 к.

Э. Триоле. Душа. Роман. Перевод с французского. 224 стр. Цена 82 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Волков, А. Малахов. Заработная плата и премирование работников совхозов. 184 стр. Цена 48 к.

А. Мазалов. Гражданский иск в уголовном процессе. 200 стр. Цена 62 к.

Октябрь и социалистическое государство. 287 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Первушин. Материальная ответственность колхозников и должностных лиц колхоза. 168 стр. Цена 55 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Алешин. Эволюция творчества. Поэт Никул Эркай. Саранск. Мордовское книжное издательство. 40 стр. Цена 6 к.

Е. Горбов. Черный князь. Повесть. Тула. Приокское книжное издательство. 109 стр. Цена 21 к.

И. Мацанов. Калмыцкая советская художественная литература (20-е и 30-е годы). Элиста. Калмкнигоиздат. 68 стр. Цена 24 к.

Е. Павлова. Встречи. Повесть. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 118 стр. Цена 13 к.

Переллчка над Кокшагой. Сборник стихов. Йошкар-Ола. Маркнигоиздат. 111 стр. Цена 38 к.

Рассказы 1966 г. Перевод с татарского. Казань. Таткнигоиздат. 277 стр. Цена 34 к.

Н. Ромашко. Советская русская проза на современном этапе. Минск. «Высшая школа». 123 стр. Цена 19 к.

Г. Стафеев. А. К. Толстой. Очерк жизни и творчества. Тула. Приокское книжное издательство. 128 стр. Цена 31 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров**
(ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 25/VIII 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 30/X 1967 г.
Формат бумаги 70 × 108^{1/16}. 27,2 уч.-изд. л.+ вклейка. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 13216. Зак 2841. Тираж 142.350

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

В. Каверин Канин Доминг

Мамин - Гараволь У Манерин

В. Гамм Минусинск А. Шапов

В. Акулиничев Копей Чуковский

К. Наумовский Свердлов Благовол

В. Брусилов Свердлов Минусинск

В. Абдулов Свердлов Свердлов

К. Сидоров Ер. Ефремов

Свердлов Вильямс

М. Усачевский Свердлов

З. Айтун Свердлов

В. Мещеряков Свердлов

А. Горбанов Ольга Боровая

В. Кудряков Свердлов

В. Бондарь Свердлов

В. Бондарь Свердлов

Цена 70 коп.

70636